

"Люди, годы, жизнь" Книга 3

- [И. Эренбург](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [ГУМ.](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)

- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [ГУМ.](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)

И. Эренбург

"Люди, годы, жизнь" Книга III

Поздней осенью 1921 года после сытого и спокойного Брюсселя я увидел Берлин. Немцы жили, как на вокзале, никто не знал, что приключится завтра. Продавцы газет выкрикивали: «Бе Цет! Последний выпуск! Коммунистическое выступление в Саксонии! Подготовка путча в Мюнхене!» Люди молча читали газету и шли на работу. Владельцы магазинов каждый день меняли этикетки с ценами: марка падала. По Курфюрстендамму бродили табуны иностранцев: они скупали за гроши остатки былой роскоши. В бедных кварталах разгромили несколько булочных. Казалось, все должно рухнуть, но дымили трубы заводов, банковские служащие аккуратно выписывали многозначные цифры, проститутки старательно румянились, журналисты писали о голоде в России или о благородном немецком сердце Людендорфа, школьники зубрили летопись былых побед Германии. На каждом шагу были танцульки «диле»; там методически тряслись отощавшие парочки. Грохотал джаз. Помню две модные песенки: «Вы любите ль бананы» и «Моя черная Соня» («Шварце Сониа»). В одной из танцулек хриплый тенор выл: «Завтра светопреставление...» Светопреставление, однако, со дня на день откладывалось.

Келлерман выпустил роман о революции в Германии - «9 ноября». Не знаю, скажет ли что-нибудь эта дата молодым читателям. 9 ноября 1918 года кайзер поспешно отбыл в Голландию, и социал-демократы объявили республику. В министерствах, однако, сидели прежние сановники и чиновники, швейцар почтительно говорил: «Добрый день, господин тайный советник». Я остановился в пансионе на Прагерплац; рядом был широкий проспект Кайзераллее; я пошел бродить по городу и попал на огромную площадь, она называлась Гогенцоллернплац. В комнатах пансиона висели портреты усатого Вильгельма.

Я подружился с поэтом Карлом Эйнштейном. Это был веселый романтик, лысый, с огромной головой, на которой красовалась шишка. Он рассказывал, что был на Западном фронте солдатом и заболел психическим расстройством. Он напоминал мне моих давних друзей,

завсегдаев «Ротонды», и любовью к негритянской скульптуре, и кощунственными стихами, и тем сочетанием отчаяния с надеждой, которое уже казалось воздухом минувшей эпохи. Карл Эйнштейн написал пьесу о Христе. Его предали суду за богохульство. Я пошел на судебное разбирательство. Происходило это в полутемном, мрачном зале. Обычно понятие религиозного фанатизма связывают с католицизмом, с папскими буллами, с инквизицией. Однако медика Сервета сожгли не католики, а кальвинисты, которых католики считали вольнодумцами,- сожгли за то, что он не связывал функций организма с провидением. Эксперты на процессе Карла Эйнштейна цитировали труды просвещенных теологов XX века.

(В 1945 году я увидел размолотый войной Берлин. От здания, где когда-то судили Карла Эйнштейна, оставалась стена, на которой русский сапер написал, что район очищен от мин.)

В Берлине 1921 года все казалось иллюзорным. На фасадах домов по-прежнему каменели большегрудые валькирии. Лифты работали; но в квартирах было холодно и голодно. Кондуктор вежливо помогал супруге тайного советника выйти из трамвая. Маршруты трамваев были неизменными, но никто не знал маршрута истории. Катастрофа прикидывалась благополучием. Меня поразили в витринах магазинов розовые и голубые манишки, которые заменяли слишком дорогие рубашки; манишки были вывеской, доказательством если не благоденствия, то благопристойности. В кафе «Иости», куда я иногда заходил, бурду, именуемую «мокка», подавали в металлических кофейниках, и на ручке кофейника была перчаточка, чтобы посетитель не обжег пальцев. Пирожные делали из мерзлой картошки. Берлинцы, как и прежде, курили сигары, и назывались они «гаванскими» или «бразильскими», хотя были сделаны из капустных листьев, пропитанных никотином. Все было чинно, по-хорошему, почти как при кайзере.

Как-то вечером мы шли с В. Г. Лидиным, который только что приехал из Москвы. Кафе закрывались рано: «полицайштунде» был остатком военных лет. К нам подошел человек и предложил провести в ночное кафе - «нахтлокаль». Мы ехали в метро, долго шли по скудно освещенным улицам и наконец оказались в добропорядочной квартире. На стенах висели портреты домочадцев в офицерской форме и картина, изображавшая закат солнца. Нам дали шампанское -

лимонад с примесью спирта. Потом пришли две дочки хозяина, голые, и начали танцевать. Одна из них разговорилась с Владимиром Германовичем; оказалось, ей нравятся романы Достоевского. Мать с надеждой поглядывала на иностранных гостей: может быть, они соблазнятся ее дочками и заплатят - разумеется, в долларах, с марками беда, за ночь они снова упадут. «Разве это жизнь? - вздыхала почтенная мамаша.- Это светопреставление...»

Незадолго до моего приезда в Берлин исступленные националисты убили одного из руководителей партии центра - Эрцбергера. Приверженцы монархического союза «Бисмарк», не стесняясь, одобряли убийство. Законники делали вид, что изучают параграфы уложения, социал-демократы стыдливо вздыхали, а будущие эсэсовцы учились стрелять в живую цель.

Все это не мешало выдавать катастрофу за естественную, хорошо налаженную жизнь. Протезы инвалидов не стучали, а пустые рукава были заколоты булавками. Люди с лицами, обожженными огнеметами, носили большие черные очки. Проходя по улицам столицы, проигранная война не забывала о камуфляже.

Газеты сообщали, что из ста новорожденных, поступающих в воспитательные дома, тридцать умирают в первые дни. (Те, что выжили, стали призывом 1941 года, пушечным мясом Гитлера...)

«Уфа» поспешно изготавливала кинокартины; они были посвящены всему, кроме минувшей войны. Зрители, однако, требовали аффектации страданий, исступленной жестокости, трагических развязок. Я случайно попал на съемку одного фильма. Героиню отец пытался замуровать, любовник бил ее плеткой, она кидалась вниз с седьмого этажа, а герой вешался. Режиссер рассказал мне, что в картине будет и другой, счастливый конец - для экспорта. Не раз я видел, с каким восхищением глядели бледные, тщедушные подростки на экран, где крысы загрызали человека или ядовитая змея жалила красавицу.

Я смотрел выставки «Штурма»; передо мной были не холсты, не живопись, а истерика людей, у которых вместо револьверов или бомб оказались кисти и тюбики с красками. В моих заметках остались названия нескольких холстов: «Симфония крови», «Радиохаос», «Цветная гамма конца света». Душевный разлад требовал выхода, и то, что критики называли «неоэкспрессионизмом» или «дадаизмом»,

было куда более связано с памятью о битве на Сомме, с восстаниями и путчами, с манишками на голом теле, чем с живописью. У вдохновителя «Штурма» Вальдена было лицо осунувшейся птицы и длинные космы. Он любил говорить о двойниках, об интуиции, о конце цивилизации. В картинной галерее, где стены метались, он чувствовал себя уютно, как в обжитом доме, угощал меня кофе и тортом со взбитыми сливками - их приносили из соседнего кафе.

Я поехал в Магдебург; фасады домов, трамваи, газетные киоски были щедро покрыты все той же исторической живописью. Во главе строительного управления города стоял талантливый архитектор Бруно Таут. Корбюзье вдохновлялся геометрией. Что ж, он жил во Франции... А Бруно Таут жил в стране, где все путалось: голод и спекуляция, вчерашние мечты о Багдаде и завтрашний поход в Индию, «пивные путчи» и рабочие восстания. (После прихода к власти Гитлера Бруно Таут уехал в Японию и обрадовался, увидав там современную архитектуру - традиционные японские дома, светлые и голые.)

Я помнил полотна супрематистов на улицах Москвы и все же в Магдебурге растерялся. Как бы ни был непривычен, порой сух язык Татлина, Малевича. Поповой, Родченко, то был язык искусства. В немецкой живописи меня стесняла литературщина, да и полное отсутствие чувства меры: холсты вопили.

Помню обложку стихов Газенклевера: человек с отчаянным лицом кричит. В поэзии свирепствовала инфляция прорицаний; и Верфель и Унру сулили миру гибель. А на улице прохожие, равнодушные к поэзии, подозрительно молчали.

Я встречался с Леонгардом Франком. Ему исполнилось сорок лет, он был уже известным писателем, но оставался мечтательным юношей: стоит людям поглядеть друг другу в глаза, улыбнуться - и сразу исчезнет злое наваждение. Да и потом он мало менялся; ничто не могло его ожесточить. Я встречал его в годы фашизма в Париже, после войны, когда, проживая в Западной Германии, он приезжал в Берлин и дружески беседовал с писателями ГДР. Одна из его книг называется «Человек хорош»; это очень субъективная оценка - Франк узнал, что такое эсэсовцы, но он-то сам действительно был хорошим человеком.

Артур Голичер потрясал седыми кудрями. «Ты увидишь - не пройдет и года, как рабочий Берлин протянет руку Москве...»

В квартале, облюбованном иностранными мародерами и новыми богачами, которых звали «шиберами», пометалось «Романишес кафе» - приют писателей, художников, мелких спекулянтов, проституток. Там можно было увидеть итальянцев, убежавших от касторки Муссолини, венгров, спасшихся от тюрем Хорти. Там венгерский художник Моголи Надь спорил с Лисицким о конструктивизме. Там Маяковский рассказывал Пискатору о Мейерхольде. Там итальянские фантазеры мечтали о международном походе рабочих на Рим, а ловкачи покупали или продавали мелкие купюры долларов. Солидные бюргеры, направляясь в воскресенье на богослужение в Гедехтнискирхе, пугливо поглядывали на «Романишес кафе» - им казалось, что напротив церкви разместился штаб мировой революции.

Западный Берлин и тогда был «западным»: это связано не только с ветрами истории, но и с обыкновенными ветрами: в Берлине, в Лондоне, в Париже западные районы облюбованы богатыми людьми - обычно ветры дуют с океана и заводы размещаются на восточных окраинах.

В западном Берлине надеялись на Запад и в то же время его ненавидели: мечты о защите против коммунистов смешивались с мечтами о реванше. В витринах магазинов можно было увидеть надписи: «Здесь не продают французских товаров»; это редко соответствовало действительности, и жене шибера не приходилось ломать себе голову над вопросом, где купить духи Герлена: патриотизм отступал перед жадой наживы. Однако московскому Камерному театру, когда он приехал в Берлин на гастроли, пришлось переименовать французскую оперетку «Жирофле-Жирофля» в «Близнецов», а «Адриенну Лекуврер» - в «Морица Саксонского».

В восточном и северном Берлине можно было порой услышать «Интернационал». Там не торговали долларами и не оплакивали кайзера. Там люди жили впроголодь, работали и ждали, когда же разразится революция. Ждали терпеливо, может быть слишком терпеливо... Я видел несколько демонстраций. Шли ряды хмурых людей, подымали кулаки. Но демонстрация заканчивалась ровно в два часа - время обедать... Помню разговор с одним рабочим. Он мне доказывал, что число членов в его профсоюзе возрастает, значит,

пролетариат победит. Страсть к организации - почтенная страсть; однако в Германии она мне казалась чрезмерной. (В 1940 году я увидел Берлин без автомобилей - берлинские машины носились по дорогам Европы: третий рейх завоевывал мир. Но прохожие, увидев красный свет, цепенели, никто не осмеливался перейти пустую улицу.) Мой собеседник в 1922 году жил начальной арифметикой. А на дворе была эпоха Ленина и Эйнштейна...

В пивной на Александерплац я впервые услышал имя Гитлера. Какой-то посетитель восторженно рассказывал о баварцах: вот кто молодцы! Скоро они выступят. Это свои люди, рабочие и настоящие немцы. Они всех приберут к рукам: и французов, и евреев, и шиберов, и русских... Соседи запротестовали, но сторонник некоего Гитлера упрямо повторял: «Я говорю как немец и как рабочий...»

Марка продолжала падать; когда я приехал, газета стоила одну марку; вскоре приходилось платить за нее тридцать. Открыли новую линию метро. В «диле» парочки танцевали до изнеможения, танцевали старательно, будто выполнили тяжелую работу. Ллойд-Джордж заявил, что немцы выплатят репарации до последнего пфеннига. Смертность на почве хронического недоедания возрастала. Все говорили о Стиннесе и Шпенглере. Стиннеса знали хорошо: он был некоронованным кайзером, властителем Рура, Гефестом нового Олимпа. Мало кто читал труды Шпенглера, но все знали название одной из его книг - «Закат Западного мира» (по-русски перевели «Закат Европы»), в которой он оплакивал гибель близкой ему культуры. На Шпенглера ссылались и беззастенчивые спекулянты, и убийцы, и лихие газетчики, - если пришло время умирать, то незачем церемониться; появились даже духи «Закат Запада».

То и дело вспыхивали забастовки. В кафе «Иости» прилично одетый посетитель упал на пол. Врач, сидевший за соседним столиком, осмотрел его и громко сказал: «Дайте ему настоящего кофе... Истощение на почве хронического недоедания...» Жить становилось все труднее, но люди продолжали аккуратно, старательно работать.

В переполненном трамвае меня обозвали «польской собакой». На стене хорошего буржуазного дома, где возле парадной двери значилось «Только для господ», я увидел надпись мелом: «Смерть евреям!» Все было колоссальным: цены, ругань, отчаяние. Поэты из

журнала «Акция» писали, что после нэпа они больше не верят в Россию, немцы покажут миру, что такое настоящая революция. Один из поэтов сказал: «Нужно начать с того, чтобы в различных странах одновременно убили десять миллионов человек, это минимум...» (Герцен писал о «Собакевиче немецкой революции» Гейнцене, который мечтал: «Достаточно избить два миллиона человек на земном шаре, и дело революции пойдет как по маслу».) Один из сотрудников «Роте Фане» мне говорил: «Ваш «Хуренито» - безобразная книга! Не понимаю, как могли ее издать в Москве. Когда мы придем к власти, у нас такого не будет...»

У власти стоял канцлер Вирт. Он пытался спасти Германскую республику и в Рапалло подписал соглашение с Советской Россией. Англичане и французы возмутились. Что касается немцев, то они продолжали ждать: одни ожидали революции, другие - фашистского путча.

Канцлера Вирта я встретил в 1952 году в Вене, на Конгрессе сторонников мира. Ему тогда было семьдесят пять лет. Как-то после затянувшегося заседания мы разговорились. Вирт сказал: «Когда писатель заканчивает роман, он должен испытывать удовлетворение - хотя бы несколько страниц удались. Другое дело - вечер жизни политического деятеля; здесь важны не отдельные удачи, а концовка. Я могу сказать, что моя жизнь перечеркнута. Сначала пришел Гитлер. Я знал, что будет война. Мне пришлось уехать за границу. Когда война кончилась, пришел Аденауэр. Мы с ним были в одной партии, он старше меня на три года. Я ему говорил, что он повторяет ошибки своих предшественников. Он умный человек, но этого понять он не может... Я не хочу дожить до третьей войны. А что я могу сделать? Разве что выступать на ваших конгрессах. Но это, простите меня, ребячество». Он закрыл свои тусклые, утомленные глаза...

В летний день на улице Груневальда фашист из организации «Консул» застрелил министра иностранных дел Ратенау. Когда полиция набрела на след убийц, они покончили жизнь самоубийством. Фашистов похоронили с воинскими почестями.

Владельцы магазинов не успевали менять цены; они придумали выход: цены якобы оставались неизменными, но их нужно было множить на «шлюссельцаль» - на коэффициент. Вчера он был четыреста, сегодня шестьсот: На экранах окраинных кино продолжал

безумствовать все тот же доктор Калигари. За один день в Берлине было зарегистрировано девять самоубийств. Начал выходить журнал «Дружба», посвященный теории и практике гомосексуализма.

Германия тех лет нашла своего портретиста - Георга Гросса. Он изображал шиберов, у которых пальцы напоминали короткие сосиски. Он изображал героев минувшей и будущей войны, человеконенавистников, обвешанных железными крестами. Критики его причисляли к экспрессионистам; а его рисунки - сочетание жестокого реализма с тем предвидением, которое люди почему-то называют фантазией. Да, он осмелился показать тайных советников голыми за письменными столами, расфуфыренных толстых дамочек, которые потрошат трупы, убийц, старательна моющих в тазике окровавленные руки. Для 1922 года это казалось фантастикой, в 1942 году это стало буднями. Рисунки Гросса в их жестокости поэтичны, они сродни деревянным Ледам Гильдесгейма, типографским гномам готической азбуки, кабачкам под ратушами, запаху горя и солода, который стоит на узких средневековых улицах.

У Гросса были светлые глаза младенца, застенчивая улыбка. Он был мягким и добрым человеком, ненавидел жестокость, мечтал о человеческом счастье; может быть, именно это помогло ему беспощадно изобразить те хорошо унавоженные парники, в которых укоренялись будущие оберштурмфюреры, любительницы военных трофеев, печники Освенцима.

Весь мир тогда плядел на Берлин. Одни боялись, другие надеялись: в этом городе решалась судьба Европы предстоящих десятилетий. Все мне здесь было чужим - и дома, и нравы, и аккуратный разврат, и вера в цифры, в винтики, в диаграммы. И все же я тогда писал: «... Мои любовные слова о Берлине я снабдил столь непривлекательными описаниями, что ты, вероятно, обрадуешься, что ты не в Берлине... Я прошу тебя, поверь мне за глаза и полюби Берлин - город отвратительных памятников и встревоженных глаз». Два года я прожил в этом городе в тревоге и в надежде: мне казалось, что я на фронте и что короткий час, когда замолкают орудия, затянулся. Но часто я спрашивал себя: чего я жду? Мне хотелось верить, и не верилось...

Маяковский, приехав впервые в Берлин осенью 1922 года, объяснялся в любви:

Сегодня хожу по твоей земле, Германия, и мои любовь к тебе расцветает все романнее и романнее.

«Романнее» звучит для нас странно; видимо, оно произведено от «романа» не в литературном, а в разговорном значении этого слова. Иногда поэт видит то, чего не видят критики, и тогда поэта обвиняют в ошибках. Иногда поэт ошибается вместе с другими, и критики, как добрые экзаменаторы, одобрительно кивают головами. Говоря о Германии, Маяковский повторил то, что думали в 1922 году миллионы людей. Правда, позади были разгром Советской республики в Баварии, убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург; но впереди маячили огни Гамбургского восстания. Для современников ничего еще не было решено, и осенью 1922 года я вместе с другими ждал революцию.

Напрасно немцам приписывали умеренность, любовь к золотой середине: не только искусство экспрессионистов, но и слишком многие страницы немецкой истории помечены чрезмерностью.

Маяковский писал, что «сквозь Вильгельмов пролет Бранденбургских ворот» пройдут берлинские рабочие, выигравшие битву. История решила иначе: одиннадцать лет спустя сквозь эти ворота прошли бесновавшиеся гитлеровцы, а в мае 1945 года советские солдаты...

Не знаю, сколько русских было в те годы в Берлине; наверно, очень много - на каждом шагу можно было услышать русскую речь. Открылись десятки русских ресторанов - с балалайками, с зурной, с цыганами, с блинами, с шашлыками и, разумеется, с обязательным надрывом. Имелся театр миниатюр. Выходило три ежедневных газеты, пять еженедельных. За один год возникло семнадцать русских издательств; выпускали Фонвизина и Пильняка, поваренные книги, труды отцов церкви, технические справочники, мемуары, пасквили.

Где-то в Сербии врангелевские генералы еще подписывали военные приказы. Газета «Двуглавый орел» публиковала рескрипты «его императорского величества». Суворин-сын в «Новом времени» составлял списки будущего правительства; иностранные дела предполагалось поручить Маркову-второму, внутренние - Бурцеву. Какие-то проходимцы вербовали изголодавшихся людей в фантастические «отряды смерти». Однако вчерашние поручики и корнеты мечтали уже не о штурме российских городов, а о французской или немецкой визе. Атаман Краснов, отложив батожок, единым духом написал длинейший роман «От двуглавого орла к красному знамени».

Некоторым головорезам трудно было сразу стать шоферами такси или рабочими; они пытались продлить прошлое. Большевики были далеко, приходилось сводить счеты с товарищами по эмиграции. На лекции Милюкова монархисты застрелили кадета Набокова. Черносотенцы обрушились на Керенского, уверяя, будто он сын известной революционерки Геси Гельфман. «Черный гусар» Посажной писал:

Языком, что без оков,
Глупости болтает.
Забывает Милюков,
Что терпенье тает.
Загораются огни,
Мщения пожары.
Он погибнет от меня,

Черные гусары!

Помню, как нас веселила книга некоего Бостунича «Масонство и русская революция», в которой говорилось, что эсер Чернов на самом деле Либерман, а октябрист Гучков - масон и еврей по имени Вакье; Россию погубили вечные ручки Ватермана и шампанское Купферберга, помеченные дьявольскими пентаграммами.

Известный в дореволюционные годы журналист Василевский - Не-Буква писал, что «большевики растлили Сологуба», ссылаясь на роман «Заклинательница змей», написанный до революции. Бурцев называл Есенина «советским Распутиным», К. Чуковского за статью «Ахматова и Маяковский» объявили «советским прихвостнем»; а тот самый Кайранский, что сочинил про меня юдофобские стишки, острил: «Музыкальный инструмент Маяковского - канализационная труба». Не уступали журналистам и писатели с именем. Зинаида Гиппиус травила Андрея Белого, беллетрист Е. Чириков, который многим был обязан Горькому, написал пасквиль «Смердяков русской революции». Бунин чернил всех. Белые газеты, что ни день, объявляли о близком конце большевиков.

Все это было бурей в стакане воды, истерикой низ верже иных помпадуров, работой десятка иностранных разведок или бредом отдельных фанатиков. Среди эмигрантов было много людей, не понимавших, почему они очутились в эмиграции. Одни убежали в припадке страха, другие от голода, третьи потому, что уезжали их соседи. Кто-то остался, кто-то уехал; один брат ходил на субботники в Костроме, другой мыл тарелки в берлинском ресторане «Медведь», взгляды у них были одинаковые, да и характеры сходные. Судьбу миллионов людей решила простая случайность.

Казалось бы, все стало на свое место, твердь отделилась от хляби; а на самом деле еще царила неразбериха переходного времени. Издатель Ладыжников выпускал книги Горького и Мережковского. Другой издатель, З. И. Гржебин, на своих изданиях ставил: «Москва - Петербург - Берлин», а печатал он произведения самых различных авторов - Брюсова и Пильняка, Горького и Виктора Чернова.

Издательство, выпустившее «Хулио Хуренито», называлось поэтично - «Геликон». Горы, где обитали некогда музы, не оказалось; была маленькая контора на Якобштрассе, и там сидел молодой человек поэтического облика - А. Г. Вишняк. Он сразу подкупил меня

своей любовью к искусству. Абрам Григорьевич издавал стихи Пастернака и Цветаевой, книги Андрея Белого, Шкловского, Ремизова. Эмигрантские критики его называли «полубольшевиком». А мы его прозвали «Мурзуком». Он внес в берлинский быт нравы московской зеленой богемы. Марина Цветаева посвятила ему цикл стихотворений в книге «Ремесло», писала о глазах Абрама Григорьевича:

Орлы и гады в них, и лунный год.

Весь грустноглазый твой, чужой народ...

Я подружился с ним и с его женой Верой Лазаревной. Потом Вишняки перебрались в Париж. Когда гитлеровцы оккупировали этот город, мы часто обедали у старых друзей. Расстался я с ними в тревоге, а потом узнал, что эти хорошие, добрые люди погибли в Освенциме.

В Берлине существовало место, напоминавшее Ноев ковчег, где мирно встречались чистые и нечистые; оно называлось Домом искусств. В заурядном немецком кафе по пятницам собирались русские писатели. Читали рассказы Толстой, Ремизов, Лидин, Пильняк, Соколов-Микитов. Выступал Маяковский. Читали стихи Есенин, Марина Цветаева, Андрей Белый, Пастернак, Ходасевич. Как-то я увидел приехавшего из Эстонии Игоря Северянина; он по-прежнему восхищался собой и прочитал все те же «поэзы». На докладе художника Пуни разразилась гроза; яростно спорили друг с другом Архипенко, Альтман, Шкловский, Маяковский, Штеренберг, Габо, Лисицкий, я. Вечер, посвященный тридцатилетию литературной деятельности А. М. Горького, прошел, напротив, спокойно. Имажинисты устроили свой вечер, буянили, как в московском «Стойле Пегаса». Пришел как-то Е. Чириков, сел рядом с Маяковским, спокойно слушал.

Теперь мне самому все это кажется неправдоподобным. Года два или три спустя поэт Ходасевич (я уже не говорю о Чирикове) никогда не пришел бы в помещение, где находился Маяковский. Видимо, не все кости еще были брошены. Горького некоторые называли «полуэмигрантом». Ходасевич, ставший потом сотрудником монархического «Возрождения», редактировал с Горьким литературный журнал и говорил, что собирается вернуться в Советскую Россию. А. Н. Толстой, окруженный сменовеховцами, то

восхвалял большевиков как «собирателей земли русской», то сердито ругался. Туман еще клубился.

Успеху Дома искусств немало содействовал его первый председатель, поэт-символист Николай Максимович Минский. Ему тогда было шестьдесят семь лет; он был низеньким, круглым, улыбался и мурлыкал, как ласковый кот. Теперь его имя всеми забыто, а когда я был юношей, о нем много говорили; с ним спорил Вячеслав Иванов, про него писал Блок; барышни зачитывались его стихами, попавшими в «Чтец-декламатор»: «Сны мимолетные, сны беззаботные снятся лишь раз...»

В 1905 году Минский, как многие поэты-символисты, пережил увлечение революцией. У него имелось разрешение на издание газеты, и по иронии судьбы проповедник культа «абсолютной личности» стал официальным редактором первой легальной большевистской газеты «Новая жизнь». В редакционную работу он не вмешивался, но напечатал в газете стихи:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Наша сила, наша воля, наша власть.

В бой последний, как на праздник, собирайтесь.

Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть. Поэтом он был посредственным, но роль его в развитии эстетической культуры в конце прошлого века бесспорна.

Газету «Новая жизнь» царские власти вскоре закрыли, а Николая Максимовича предали суду. Он уехал за границу и прожил там до смерти (умер он в возрасте восьмидесяти трех лет).

Может быть, именно потому, что он не видел ни революции, ни гражданской войны, он благодушно беседовал и с советскими писателями, и с самыми непримиримыми эмигрантами. По-моему, он не совсем ясно понимал, что именно их разделяет, и часто попадал впросак: доказывал Л. Шестову, что и у коллектива свои права, требовал от Маяковского признания свободы слова, ссылаясь при этом на традиции Короленко, а обращаясь к А. Н. Толстому, неизменно восхвалял футуризм, имажинизм и другие новшества. Но говорил он все это доброжелательно, и никто на него не обижался. Улыбался он всем, а особенно нежно - женщинам.

Мне он неизменно доказывал: «Мало победы работников физического труда, необходимо объединить работников умственного

труда. Нужно воспитывать детей - от них зависит будущее. Очаги воспитания - такова задача молодых». Он был очень оторван от жизни, особенно русской. Я едва удерживался, чтобы не рассмеяться, когда он называл проектируемые им детские приюты «альмами»; по-латыни «альма» - «кормилица», но по-русски звучит странно, и как раз у моих знакомых была овчарка, которую звали Альмой. А Николай Максимович мурлыкал и улыбался. При встрече Нового года в Доме искусств он прочитал стихотворный тост:

Встретим, радуясь, как дети.

Год тысяча девятьсот двадцать третий...

Конец распрям вздорным,

Андрей Белый подружится с Сашей Черным...

Шкловский примирится с содержанием Шекспира.

Пастернаку достанется Лермонтова лира.

А председателю Минскому в награду за старанья

Достанутся бурные рукоплесканья...

Был в Берлине еще один клочок «ничьей земли», где встречались советские писатели с эмигрантскими,- страницы журнала «Новая русская книга». Издавал его профессор Александр Семенович Яценко, юрист и любитель литературы; из России он уехал с советским паспортом и, подобно Минскому, старался объединить всех. Кто только не сотрудничал в его журнале! Я прославлял работы Татлина и возражал эмигрантским хулителям советской поэзии. Александр Семенович вздыхал: «Резко, чересчур резко»,- но статьи мои печатал. А рядом ставил заклинания бывшего толстовца, монархиста И. Наживина: «Старая Русь быстро стала царством Хама... Но молодежь погибала, генералы пьянствовали, крали, беззаконничали, а тылы спекулировали на крови и похабничали... В эмиграции я стал энергично продолжать национальную и монархическую работу, но с каждым днем во мне грозно нарастали сомнения... И все оподлели, и все обессилели. Будущее наше мучительно и мрачно...» А в следующем номере выступал Маяковский: «Стал писать в «Известиях». Организую издательство МАФ. Собираю футуристов коммуны...»

Кругом был Берлин, с его длинными, унылыми улицами, с дурным искусством и с прекрасными машинами, с надеждой на

революцию и с выстрелами первых фашистов. Поэт Ходасевич описывал берлинскую ночь глазами русского:

Как изваянья - слипшиеся пары.
И тяжкий вздох. И тяжкий дух сигары...
Жди: резкий ветер дунет в окарино
По скважинам громоздкого Берлина,-
И грубый день взойдет из-за домов
Над мачехой российских городов.

Понять «мачеху российских городов» было нелегко. В ее школах сидели чинные мальчики, которым предстояло двадцать лет спустя исполосовать мать городов русских. Впрочем, Ходасевич, как и большинство русских писателей, отворачивался от жизни Германии.

Сидел у себя дома, сгорбившись, А. М. Ремизов и причудливой вязью писал «Россию в письменах». Андрей Белый говорил, что пишет о Блоке. А. Н. Толстой вместе с художником Пуни работал над книгой о русском искусстве. Марина Цветаева в Берлине написала одну из своих лучших книг - «Ремесло».

Я много работал; за два года написал «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Трест Д. Е.», «Тринадцать трубок», «Шесть повестей о легких концах», «Любовь Жанны Ней». После «Хулио Хуренито» мне казалось, что я вышел на дорогу, нашел свои темы, свой язык; на самом деле я блуждал, и почти каждая новая книга перечеркивала предшествующую. Об этом я расскажу дальше. Теперь скажу о другом: вместе с художником-конструктивистом Эль Лисицким я издавал журнал «Вещь».

Лисицкий твердо верил в конструктивизм. В жизни он был мягким, чрезвычайно добрым, порой наивным; хворал; влюблялся, как влюблялись в прошлом веке,- слепо, самоотверженно. А в искусстве он казался непреклонным математиком, вдохновлялся точностью, бредил трезвостью. Был он необычайным выдумщиком, умел оформить стенд на выставке так, что бедность экспонатов казалась избытком; умел по-новому построить книгу. В его рисунках видны и чувство цвета, и мастерство композиции.

«Вещь» выпускало издательство «Скифы». Легко догадаться, насколько революционные славянофилы и неисправимые народники были далеки от идей конструктивизма, которые мы проповедовали.

После первого номера они не выдержали и печатно от нас «отмежевались».

Что касается меня самого, то я в каждой книге «отмежевывался» от самого себя. Именно тогда В. Б. Шкловский назвал меня «Павлом Савловичем». В его устах это не могло звучать зло. В жизни он делал то, что делали почти все его сверстники, то есть не раз менял свои воззрения и оценки, делал это без горечи, даже с некоторым задором; только глаза у него были печальными - с такими он, видимо, родился. В книге «Цоо», написанной в Берлине, он писал: «Из-за холода отрекся апостол Петр от Христа. Ночь была свежая, и он подходил к костру, а у костра было общественное мнение, слуги спрашивали Петра о Христе, а Петр отрекался... Хороню, что Христос не был распят в России: климат у нас континентальный, морозы с бураном...» Шкловский никогда ни от чего не отрекался для того, чтобы подойти поближе к костру; но мне кажется, что этому пылкому человеку холодно на свете. Холодно ему было и в Берлине. Там он написал, на мой взгляд, лучшую свою книгу «Сентиментальное путешествие». Ее построение - внезапные переходы от одного сюжета к другому («в огороде бузина, а в Киеве дядька»), ассоциации по смежности, мелькание кадров и подчеркнуто личная интонация,- все это диктовалось содержанием: Шкловский описывал страшные годы России и свое внутреннее смятение. Потом он продолжал писать о предметах куда более спокойных, даже академических, так, как писал прежде о теплушках восемнадцатого года. В нем очень много блеска; отдельные его фразы вошли в фольклор нашей эпохи; это фейерверк, который на минуту озаряет все вокруг; читать при фейерверке трудно.

В Берлине печальные глаза Шкловского были печальны вдвойне; он никак не мог приспособиться к жизни за границей; писал он тогда «Цоо».

Эта книга имела непредвиденное продолжение в жизни: она способствовала рождению писательницы, которую некоторые молодые читатели считают француженкой. Эльза Юрьевна Триоле жила тогда в Берлине, и мы с ней часто встречались. Она - москвичка, сестра Лили Юрьевны Брик. В начале революции она вышла замуж за француза Андре Триоле. Андрея Петровича, которого мы вслед за Эльзой называли просто Петровичем, и уехала с ним на Таити. (Петрович был своеобразным человеком, основной его страстью были

лошади. Как-то в Париже он сказал мне, что на каникулы едет в Данию: там чудесные пастбища, и его лошади смогут хорошо отдохнуть.) Андре Триоле после возвращения с Таити остался в Париже, а Эльза Юрьевна уехала в Берлин. Была она очень молода, привлекательна - розовая, как некоторые холсты Ренуара, и печальная. В. Б. Шкловский включил в свою книгу «Цоо» четыре или пять писем Эльзы. Когда книга вышла. Горький сказал Виктору Борисовичу, что ему понравились женские письма. Два года спустя московское издательство «Круг» издало первую книгу Эльзы Триоле «На Таити». Эльза Юрьевна потом жила в Париже, почти каждый вечер я видел ее на Монпарнасе. Там в 1928 году она познакомилась с Арагоном и вскоре начала писать по-французски.

Шкловский в «Цоо» упрекал свою героиню за то, что она слишком любит «общеевропейскую культуру» и, следовательно, может жить вне России. Чувства Виктора Борисовича понятны: случайно очутившись в Берлине, он тосковал и рвался домой.

Борис Андреевич Пильняк, приехав в Берлин, с любопытством разглядывал чужую жизнь. Был он человеком талантливым и путаным. Он хорошо знал то, о чем писал, поразил читателей и русских и зарубежных не только жестокими деталями описываемого быта, но и непривычной формой повествования. На книгах Пильняка двадцатых годов, как и на книгах многих его сверстников, лежит печать эпохи - сочетание грубости и вычурности, голода и культа искусства, увлечения Лесковым и услышанной на базаре перебранкой. Он погиб одним из первых в начале 1937 года, и трудно сказать, как пошел бы дальше его писательский путь. В Берлине в 1922 году он говорил, что революция «мужицкая», «национальная», ругал Петра, который «оторвал Россию от России». Простота его была с хитрецей: он обожал юродство (это слово, кажется, не существует ни в одном из европейских языков) - древнюю русскую форму самозащиты.

Есенин прожил в Берлине несколько месяцев, томился и, конечно же, буянил. Его неизменно сопровождал имажинист Кусиков, который играл на гитаре и декламировал:

Про меня говорят, что я сволочь,
Что я хитрый и злой черкес.

Они пили и пели. Напрасно Айседора Дункан пыталась унять Есенина; одна сцена следовала за другой. Пильняк, выпив, пытался

построить на русском разоре философию, а Есенин в отчаянии бил посуду.

Начала выходить газета «Накануне». Мне привелось раза два или три разговаривать с ее идеологами. Сменовеховцы откровенно признавались, что коммунизм им не по душе, но хорошо, что большевики создали армию, выгнали интервентов, дали отпор Польше. «Мы за твердую власть,- говорили они,- а остальное образуется». Я писал поэтессе М. М. Шкапской: «Накануновцы» не хотят простить мне отказа писать у них, но, что делать, я для них слишком левый...» Журналист Василевский - Не-Буква напечатал в «Накануне» хлесткую статью обо мне, вспоминая, как в «Хуренито» мулатка хлестала героя романа Эренбурга ломтями ростбифа по щекам, говорил, что меня следует бить по лицу окороком с хорошей костью.

Алексей Николаевич Толстой сидел мрачный, попыхивая трубкой, молчал и вдруг, успокоенный, улыбался. Как-то он сказал мне: «В эмиграции не будет никакой литературы, увидишь. Эмиграция может убить любого писателя в два-три года...» Он уже знал, что скоро вернется домой.

«Скифы» были за Разина, за Пугачева, цитировали то «Двенадцать», то стихи Есенина о «железном госте». Сменовеховцы говорили, что большевики - наследники Ивана Грозного и Петра. Все они клялись Россией, и все твердили о «корнях», о «традициях», о «национальном духе». А рядовые эмигранты, выпив в ресторане «Тройка» несколько стопок и услышав «Выплывают расписные...», плакали и ругались, как плакали и ругались в последней русской теплушке, улепетывая за границу.

Толстой был прав: для большинства русских писателей эмиграция была смертью. В чем тут дело? Действительно ли любая эмиграция убивает писателя? Не думаю. Вольтер прожил в эмиграции сорок два года, Гейне - двадцать пять лет, Герцен - двадцать три года, Гюго - девятнадцать лет, Мицкевич - двадцать шесть; в эмиграции написаны и «Кандид», и «Германия. Зимняя сказка», и «Былое и думы», и «Отверженные», и «Пан Тадеуш». Дело не в разлуке с родиной, как бы тяжела она ни была, в эмиграции могут оказаться разные писатели - и разведчики и обозники. Дантон сказал, что нельзя унести родину на подошвах своих ботинок; это верно; но можно

унести родину в сознании, в сердце. Можно уехать за тридевять земель не с мелкой злобой, а с большими идеями. Тем и отличается судьба Герцена от судьбы Бунина.

«Скифы», «евразийцы», «сменовеховцы» сходились на одном: гнилому, умирающему Западу противопоставляли Россию. Эти обличения Европы были своеобразным отголоском давних суждений славянофилов.

(Четверть века спустя после тех лет, о которых я пишу, неожиданно воскресли некоторые мысли, да и словечки. Бесспорно, низкопоклонство - непривлекательное зрелище, оно унижает и того, кто кланяется, и того, кому кланяются. Еще сатирики XVIII века высмеивали русских дворян, старавшихся «французить». Мне противен советский мешанин, который, увидев пошлый американский фильм, говорит своей супруге (у такого не жена, а обязательно супруга): «Далеко нам до них!» Я готов, однако, низко поклониться не только Шекспиру или Сервантесу, но и Пикассо, Чаплину, Хемингуэю, не думаю, что это может меня принизить. Непрерывные разговоры о своем превосходстве связаны с пресмыкательством перед чужестранным - это различные проявления того же комплекса неполноценности; и мне не менее противен другой мешанин, готовый искренне или лицемерно оплевать все хорошее, если это хорошее - чужое.)

В «Записках писателя» Е. Г. Лундберга есть запись, относящаяся к началу 1922 года: «Группа русских писателей собралась пить чай и ликеры в нарядном кафе над рестораном Вилли. Начались тосты. Кто пил за литературу, кто за мудрость, кто за свободу. «Против насилия!» - поднял бокал, закусывая от внутренней боли губы, экспатриированный философ. Все стихли. Ясно было, против кого направлен тост. Помолчали, обнялись, выпили. Только И. Эренбург и я остались в стороне. О чем думал Эренбург, я не знаю. А я - о рабстве полунищего среднего человека на этом милом сердцам культурных людей кладбище Европы». Я не помню, конечно, о чем я думал в кафе Вилли; смутно припоминаю самую встречу. Но я хорошо знаю, о чем я думал в те годы.

«Скифы» родились от известного стихотворения Блока. Как ни сильна блоковская магия слова, некоторые строфы этого стихотворения мне были и остались чуждыми:

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!
Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Нет, я не хотел принять «азиатской рожи»! Слова эти звучат исторически несправедливо, и, конечно же, в Индии не меньше философов и поэтов, чем в Англии. Е. Г. Лундбергу Европа тогда казалась милым сердцу кладбищем. А я Европу не отпевал. Мой роман «Трест Д. Е.», написанный в те годы, - история гибели Европы в результате деятельности американского треста. Это сатира; я мог бы ее написать и сейчас с подзаголовком - «Эпизоды третьей мировой войны». Европа для меня была не кладбищем, а полем битвы, порой милым, порой немилым: такой я ее видел юношей в Париже, такой нашел в тревожном Берлине 1922 года. (Такой вижу ее и теперь. Можно, разумеется, по-разному относиться к Европе - «открывать окно», законопачивать двери, можно и вспомнить, что вся наша культура - от Киевской Руси до Ленина - неразрывно связана с культурой Европы.)

О чем еще я думал в то время? О том, как примирить «интеграл» с человечностью, справедливость с искусством. Я знал, что можно гордиться подвигом народа, который первым решился пойти по неисследованному пути, но этот путь мне казался куда более широким, чем традиции одной страны или душа одной нации.

Не помню, кто именно пил чай и ликеры в кафе Вилли. Может быть, один из находившихся там потом направился в «Тройку» и за рюмкой водки бубнил о миссии России. Чехов записал монолог: «Патриот: «А вы знаете, что наши русские макароны лучше, чем итальянские! Я вам докажу! Однажды в Ницце мне подали севрюги - так я чуть не зарыдал...»

Со временем тостов в кафе Вилли прошло сорок лет. Старая эмиграция исчезла: люди состарились, умерли; их дети стали исправными французами, немцами, англичанами. Сын кадета Набокова, убитого некогда ультра монархистом, теперь один из самых

читаемых писателей Америки; он писал сначала по-русски, потом по-французски, теперь пишет по-английски.

Газеты не раз отмечали недостатки наших рыбных промыслов. Но та северюга, о которой писал Чехов, осталась...

В 1922 году в бюргерский скромный пансион на Траутенауштрассе, где я жил, пришел неизвестный мне человек, застенчиво и гордо сказал: «Я - Тувим». Я тогда не знал его стихов, но сразу почувствовал смятение: передо мной был поэт. Все знают, что стихотворцев на свете много, а поэтов мало, и встречи с ними потрясают. Пушкин говорил, что вне часов вдохновения душа поэта «вкушает хладный сон». Не этот ли мнимый холод обжигает окружающих? «Хладный сон» Тувима был страстен, горек, неистов.

Он расспрашивал меня про русских поэтов, про Москву. Он жил двумя страстями: любовью к людям и трудной близостью к искусству. Мы сразу нашли общий язык.

Почти всю жизнь мы прожили в разных мирах и встречались редко, случайно (прежде говорили - «как корабли в море», я скажу - как пассажиры на шумном аэровокзале, где громкоговорители ревут: «Производится посадка...»). А вот мало кого я любил так нежно, суеверно, безотчетно, как Юлиана Тувима...

При первой встрече меня поразила его красота. Ему тогда было двадцать восемь лет. Впрочем, красивым он оставался до конца своей жизни. Большое родимое пятно на щеке придавало строго обрисованному лицу трагический характер, а улыбался он печально, почти виновато; порывистые движения сочетались с глубокой застенчивостью.

Поэтам не положено долго засиживаться на земле, и молодые литераторы называли Тувима «стариком», а он не дожил до шестидесяти.

Линии жизни извилисты не только на ладони. Некоторые газетчики укоряли Тувима: он тогда-то того-то не понял, отвернулся, отступился, забежал вперед, отошел в сторону. В годы второй мировой войны Тувим писал: «Политика не является моей профессией. Она - функция моей совести и темперамента». Конечно, его путь не был прямой столбовой дорогой, но где и когда поэты маршировали по бетонированным шоссе?.. Тувим страдал болезнью пространства - агорафобией: ему трудно было перейти большую площадь. А

пришлось ему переходить через пустыри и пустыни, перешагнуть из одной эпохи в другую.

Маяковский писал о нем: «беспокоящийся, волнующийся» и, отмечая противоречия, приписывал их условиям жизни в Польше 1927 года: «Ему, очевидно, нравилось бы писать вещи того же порядка, что «Облако в штанах», но в Польше и с официальной поэзией и то не просуществуешь,- какие тут «облака». А ведь Маяковский написал «Облако в штанах» в царской России, и Тувим перевел эту поэму в реакционной Польше. Если он не написал «Облако в штанах», то только потому, что поэты не похожи один на другого.

В 1939 году советский знаток польской литературы уверял, что для Тувима характерны «безыдейность, бегство от жизни». За несколько месяцев до смерти Тувима я слышал радиопередачу «Конгресса за свободу и культуру» (организация, поддерживаемая американцами); комментатор говорил, что Тувим предал Польшу, изменил поэзии, потерял совесть.

Путь человека нельзя понять, увидев один его шаг; дорога жизни видна с горы, а не из подворотни. Годы меняют и облик государства, и мысли людей, но нечто самое существенное поэт проносит через все свое творчество. Маяковский правильно назвал Тувима «беспокоящимся, волнующимся»; таким он остался до самой смерти: и когда ходил в кафе «Малая Земьянская» со своими друзьями «скамандритами» - Слонимским, Ивашкевичем, Лехонем (группа поэтов, хотевших обновить польскую поэзию, окрестила себя «Скамандр»), и когда порвал со многими из давних друзей, решив вернуться в новую Польшу, и когда в ранней молодости проклинал классические каноны, дерзил, куролесил, и когда незадолго до смерти восклицал: «Я полон таких шаблонов, как вера, надежда, любовь к благородным людям, ненависть к подлецам...»

В ноябре 1950 года в Варшаве проходил Второй Конгресс сторонников мира. Один очень сведущий и в то время очень влиятельный человек, показав мне на Тувима, который скромно сидел в глубине зала, сказал: «Видите, что значит перековка? Поэт беглых настроений теперь участвует в борьбе за мир...» Я в ответ усмехнулся: вспомнил давнее стихотворение Тувима, за которое его ругали на всех перекрестках,- он писал о нефти, о крови и призывал солдат бросить винтовки. Это было за четверть века до Первого

Конгресса сторонников мира. Но у некоторых людей, которые ездят в машинах, а из конного транспорта запомнили только образ обязательной подковы, длинные руки и короткая память.

Марина Цветаева писала, что «каждый поэт - в гетто». Эти строки нравились Тувиму, он их не раз мне повторял. А когда ему еще не было тридцати лет, он написал о тех, кто сажает поэтов в гетто, и о тех, кто в гетто не сдаётся:

Нет, вам не добиться ни службой, ни лестью

Моего свободного званья Поэта.

Господь не нацепит вон те созвездья

На ваши мундиры и эполеты.

Польша не всегда была ласкова к Тувиму, но он всегда любил Польшу. Природа польского патриотизма связана с трагической историей трех разделов; я никогда об этом не забывал, слушая признания Тувима. (Они, правда, были приправлены той долей иронии, которая диктуется стыдливостью.) Он страстно любил родную Лодзь, город, менее всего созданный для любования. В 1928 году я был в Варшаве, потом в Лодзи - читал отрывки из моих книг. Тувим заклинал меня не забыть посмотреть в Лодзи и Петроковскую улицу, и базар, и гостиницу «Савой», и фабрики, и нищие Балуты. Я остановился в лодзииским «Савое», видел фабрики, Балуты, большую тюрьму, видел литераторов, рабочих, жандармов, гимназистов, фабриканта Познанского, подпольщиков. Я записал тогда: «Короткое имя «Лодзь». Короткие фразы: «пять ящиков», «три вагона», «порцию гуся», «врача», «полицию», «похоронное бюро». Мысли еще короче. «Доллар - восемь злотых», «Сдохну!», «Выбьюсь!», «К черту!», «Арестовать!». Хороший город, откровенный город! Во всей Европе вы не найдете ни такой злобы, ни такой воли к жизни, ни такой тоски». Когда я встретился с Тувимом, я ему сказал: «Чудесный город!» Он улыбнулся,- наверно, он видел Лодзь другой: я был там неделю, а он там вырос; да и тем сильна любовь, что она многое преображает. Только недавно я прочитал стихи Тувима:

Пусть те восхваляют Сорренто, Крым,

Кто на красоты падок.

А я из Лодзи. И черный дым

Мне был отраден и сладок.

Вероятно, Тувим был куда сложнее, чем он казался не только начетчикам из различных монастырей, но и друзьям. Впрочем, об этом я еще скажу. Продолжаю о его любви к Польше.

В 1940 году Тувим добрался до Парижа. Странная то была зима или, как говорили французы, «странная война»! По ночам город был затемнен; но в ресторанах, в кафе за щитами окон было светло и шумно - военные развлекались. На фронте солдаты скучали, а в Париже полицейские работали без устали: никто в точности не знал, с кем Франция воюет - с немцами или с коммунистами. Стекла окон были покрыты узорами из тонких полосок бумаги - парижане страховали стекла от предполагаемых бомбежек; но все было тихо, невыносимо тихо, и вряд ли кто-нибудь догадывался, что через несколько месяцев разлетится вдребезги не окно предусмотрительной консьержки, а вся Франция. В ту зиму я болел и мало кого видел - многие друзья не хотели со мной встречаться: кто побаивался, а кто сердился - дружба дружбой, политика политикой. Тувим, однако, меня разыскал. Он думал об одном - о Польше, и Париж в ту зиму был ему чужим. Наша дружба выдержала трудное испытание; мы обнялись и поняли друг друга.

Мы расстались на шесть лет. Незачем говорить, какие это были годы. Осенью 1941 года, когда сводки Совинформбюро каждый день сообщали: «Наши войска оставили...», а по московским переулкам нестройно маршировали пожилые ополченцы, когда на Западе нас отпевали, я получил телеграмму из Нью-Йорка - Тувим говорил о дружбе, о любви, о вере. (Ничего у меня не сохранилось, кроме нескольких записных книжек, и я не помню текста телеграммы.) Тувим потом писал: «В период самых больших «триумфов» Гитлера на Восточном фронте я послал телеграмму Эренбургу - телеграмму, исполненную веры в грядущую победу Красной Армии».

Весной 1946 года я сидел в нью-йоркской квартире Тувима, среди сундуков и чемоданов: через неделю он должен был уехать во Францию, а оттуда в Варшаву. Он был необычайно весел, приподнят. Многие поляки, жившие тогда в Нью-Йорке, пробовали его отговорить: возвращение в Варшаву они называли «предательством». Конечно, Тувиму было нелегко рвать с иными из своих друзей, но жил он одним - близкой встречей с Польней, радовался, волновался, как подросток, который идет на первое свидание.

Осенью 1947 года я был в Польше. Тувим днем, вечером, ночью водил меня по развалинам Варшавы. «Нет, ты посмотри - какая красота!..» Город был страшен. Прекрасны развалины древних городов: время - гениальный зодчий, оно умеет и запустению придать гармонию; а города, только что разрушенные войной, терзают и глаз и сердце груды щебня, развороченные дома с клочьями обоев, с повисшей в небе винтовой лестницей, люди, которые ютятся в подвалах, в землянках, в щелях. Но Тувим видел красоту и в сожженной, истерзанной Варшаве: на то он был поляком, и на то он был поэтом.

Мне хочется сказать о любви Тувима к русскому народу и к русской поэзии. Казалось, прошлое могло бы заслонить многое: он ведь хорошо помнил царские порядки и городских на улицах Лодзи. В течение двадцати лет правящие круги Польши разогревали неприязнь: все русское поносилось. Тувима это не коснулось. Много лет он отдал переводам русских поэтов. Когда он читал мне свой перевод «Медного всадника», я слышал сложный пушкинский ритм. При одной из последних встреч он сказал мне: «Русский язык как будто нарочно создан для поэзии...»

Еще в двадцатые годы он мечтал поехать в Советский Союз. Он приехал в Москву весной 1948 года. В день его приезда мы пошли в ресторан. Он рассказывал, что именно хочет увидеть, а хотел он увидеть все. В тот же вечер он заболел; его отвезли в Боткинскую больницу. Врачи заподозрили, что у него рак. Больного Тувима отправили в сопровождении врача в Брест, куда был вызван польский доктор. Советский врач на латыни сообщил коллеге диагноз. Тувим знал латинский язык лучше молодых медиков. Он ждал быстрой развязки. Однако польские врачи установили, что у Тувима язва желудка, его оперировали, и он как будто воскрес. Пять лет спустя он умер от инфаркта. Так он и не увидел Москвы, кроме больничной палаты да номера в «Национале», о котором говорил, что он удивительно напоминает ему номера лодзинского «Савоя».

Есть у меня близкие друзья иностранцы; беседуя с ними, я вдруг чувствую - вот граница... Уж слишком по-разному мы жили и живем. Никогда с Тувимом я ничего подобного не испытывал, между нами не было не только «железного занавеса», но и легонькой занавески.

Гейне писал: «Когда я умру, они вырежут язык у моего трупа». Книги поэта, который прославил Германию, обогатил немецкую лирику, сто лет спустя горели на кострах в его родном Дюссельдорфе: расисты не могли простить автору «Зимней сказки», что он еврей. Когда я был в Польше в 1928 году, антисемиты травили Тувима; он показал мне газету, где говорилось, что его поэзия «отдает чесноком».

Есть у Тувима стихотворение о нищем еврейском мальчике, который пост грустную песню под окнами, надеясь, что какой-нибудь пан швырнет ему медяк. Тувиму хочется бросить мальчику свое сердце, уйти с ним, вместе петь песни печали под чужими окнами.

Только нет приюта в мире человеческом
Странникам-евреям с песней сумасшедшей.

В 1944 году Тувим написал обращение, озаглавленное «Мы - польские евреи». Я приведу несколько выдержек: «И сразу я слышу вопрос: «Откуда это «мы»? Вопрос в известной степени обоснованный. Мае задавали его евреи, которым я всегда говорил, что я - поляк. Теперь мне будут задавать его поляки, для подавляющего большинства которых я был и остаюсь евреем. Вот ответ и тем и другим. Я - поляк, потому что мне нравится быть поляком. Это мое личное дело, и я не обязан давать кому-либо в этом отчет. Я не делю поляков на породистых и непородистых, я предоставляю это расистам иностранным и отечественным. Я делю поляков, как евреев, как людей любой национальности, на умных и глупых, на честных и бесчестных, на интересных и скучных, на обидчиков и па обиженных, на достойных и недостойных. Я делю также поляков на фашистов и антифашистов... Я мог бы добавить, что в политическом плане я делю поляков на антисемитов и антифашистов, ибо антисемитизм - международный язык фашистов... Я - поляк, потому что в Польше я родился, вырос, учился, потому что в Польше узнал счастье и горе, потому что из изгнания я хочу во что бы то ни стало вернуться в Польшу, даже если мне будет в другом месте уготована райская жизнь... Я - поляк, потому что по-польски я исповедовался в тревогах первой любви, по-польски лепетал о счастье и бурях, которые она приносит. Я поляк еще потому, что береза и ветла мне ближе, чем пальма или кипарис, а Мицкевич и Шопен дороже, нежели Шекспир и Бетховен, дороже по причинам, которых я опять-таки не могу объяснить никакими доводами разума... Я слышу голоса: «Хорошо.

Но если вы поляк, почему вы пишете «мы - евреи»? Отвечу: «Из-за крови».- «Стало быть, расизм?» - «Нет, отнюдь не расизм. Наоборот. Бывает двойная кровь: та, что течет в жилах, и та, что течет из жил. Первая - это сок тела, ее исследование дело физиолога. Тот, кто приписывает этой крови какие-либо свойства, помимо физиологических, тот, как мы это видим, превращает города в развалины, убивает миллионы людей и в конце концов, как мы это увидим, обрекает на гибель свой собственный народ. Другая кровь - это та, которую главарь международного фашизма выкачивает из человечества, чтобы доказать превосходство своей крови над моей, над кровью замученных миллионов людей... Кровь евреев (не «еврейская кровь») течет глубокими, широкими ручьями; почерневшие потоки сливаются в бурную, вспененную реку, и в этом новом Иордане я принимаю святое крещение - кровавое, горячее, мученическое братство с евреями... Мы, Шлоймы, Срули, Мойшки, пархатые, чесночные, мы, со множеством обидных прозвищ, мы показали себя достойными Ахиллов, Ричардов Львиное Сердце и прочих героев. Мы в катакомбах и бункерах Варшавы, в зловонных трубах канализации дивили наших соседей - крыс. Мы, с ружьями на баррикадах, мы, под самолетами, которые бомбили наши убогие дома, мы были солдатами свободы и чести. «Арончик, что же ты не на фронте?» Он был на фронте, милостивые паны, и он погиб за Польшу...»

Эти слова, написанные кровью, «той, что течет из жил», переписывали тысячи людей. Я прочитал их в 1944 году и долго не мог ни с кем говорить: слова Тувима были той клятвой и тем проклятием, которые жили у многих в сердце. Он сумел их выразить.

Прошли годы. Гитлер отравился. Лидеры польских антисемитов эмигрировали в Англию, в Америку. Но в сердце Тувима не зажила рана. Помню последнюю встречу с ним; было это в злое время в 1952 году... Много мы вспомнили, о многом происходящем говорили. Юлек (да позволено мне будет здесь назвать его именно так) вдруг встал, подошел, обнял меня и тотчас, желая скрыть волнение, сказал: «А теперь пойдём в «Золушку», там готовят кофе по-итальянски...»

Я упомянул о Гейне: было у Тувима с ним нечто общее помимо того, что интересует знатоков человеческих пород,- ирония, порождаемая обостренной чувствительностью. Тувим мог порой

показаться высокомерным; многие его стихи обижали людей, уважающих иерархию; он отпускал едкие словечки. «Ты знаешь, у ежа, наверно, нежнейшее сердце»,- как-то сказал он. Будучи растроганным, он обычно пытался шутить. В 1950 году на Конгрессе мира к Тувиму подошла молоденькая девушка и стала восторженно рассказывать, как она любит его книгу «Седьмая осень». Тувим застеснялся и неожиданно, повернувшись ко мне, сказал: «А ты помнишь, как шпик оказался моим поклонником?..» Это было в 1928 году; в Варшаве за мной присматривали два шпики; один был рослый, с лицом и повадками боксера, другой - тщедушный, чернявый и очень близорукий: на улице он часто терял меня из виду. Я к ним привык, просил иногда купить газету или пакет табаку, словом - приручил. Однажды я шел по улице с Тувимом, мы говорили о поэзии; вдруг я увидел, что чернявый, вместо того чтобы трусить позади, идет рядом с Тувимом. Я рассердился и напомнил шпику о правилах приличия, но он ответил: «Это я не по службе... Как же мне не слушать, когда говорит Тувим?..» Мы рассмеялись от неожиданности.

Есть у Тувима много злых стихов о мещанах. Я вспоминаю кафе «Малая Земьянская» зимой 1928 года. Приходили туда не только поэты-«скамандриты», не только блистательный адъютант Пилсудского, Длугошовский-Венява, обожавший мир искусства,- там варшавяне, желавшие прослыть изысканными, за час до обеда пили кофе и поглотали пирожные с кремом. Тувим над ними издевался:

В час дня благоговейно
Балбес вошел в кофейню,
Сел важный, энергичный.
Почти что заграничный,
Из кожи лез бедняга,
Изображая гордо
Боксера иль варяга,
А может быть, и лорда...
Никем замечен не был
И, улыбаясь криво.
Решился быть испанцем
Де Мендос-и-Олива,
Дельцом из Пампелоны,
Певцом из Аликанте,

Испанцем-монархистом,
Испанцем-эмигрантом.
Но было все напрасно.
Хоть был он из Толедо,
И посему пошел он
До Ватер-и-Клозедо.
И там, изливши горе
Старухе бестолковой,
Вернулся в дом семнадцать
На Малой Кошиковой.

Порой многим казалось, что Тувим готов в сердцах повторить пушкинские слова: «Подите прочь - какое дело поэту мирному до вас!» На самом деле Тувим любил тех, кого называл «простыми людьми», когда эти слова еще не стали газетным штампом. Не случайно одно из лучших стихотворений, «Парикмахеры», он посвятил Чарли Чаплину - трогательному насмешнику, который в наш грозный век попытался защитить смешного маленького человека:

Вдоль стен пустой парикмахерской парикмахеры дремлют часами.

Ждут, глядят - нет клиентов, томятся, без дела шатаются,
Сами бреются, сами стригутся - все сами и сами,
Перемолвятся словом, задремлют, всхрапнут и опять
просыпаются...

Назревает гроза, посинело вокруг, петухи распевают,
Парикмахерам страшно, забегали - слышите гром!
Парикмахеры плачут, поют, парикмахеры ошалевают.
То стоят истуканами, то мечутся чуть не бегом.

Вряд ли в 1926 году политики Польши, сидя в парикмахерских или даже в зале сейма, слышали первые раскаты грома. Их услышал поэт.

В 1928 году я писал о Тувиме: «Спорить с ним нельзя. Он думает ассоциациями, аргументирует ассонансами...» Да, Тувим был прежде всего лириком; это не помешало ему понять эпоху лучше, чем ее поняли иные трезвенники сознания, которые думают схемами и аргументируют цитатами. Тувим в стихах выражал себя; может быть, поэтому его стихи воспринимались людьми как выражение их мыслей и чувствований, как нечто общее. Один поляк мне рассказывал, что,

будучи в годы войны партизаном, он повторял, как заклинание, стихи Тувима:

Я, может, лишь день там прожил,
А может, прожил век...
Я помню только утро
И белый-белый снег.

В молодости Тувим страстно любил Артюра Рембо, озорника и провидца, мятежника и подростка с лицом отчаявшегося ангела. При последней нашей встрече он вдруг сказал: «А лучше Блока, кажется, никто не сказал о самом трудном...» Поэтов он любил бескорыстно, переводил с равным увлечением «Облако в штанах» и «Слово о полку Игореве», не пытаясь ни у кого заимствовать. А Блок ему был все-таки сродни... Я очень люблю стихотворение Тувима «За круглым столом» с эпиграфом, взятым из песни Шуберта «О высокое искусство, сколько раз в часы печали...»:

А может, снова, дорогая,
В Томашув на день закатиться.
Там та же вьюга золотая
И тишь сентябрьская длится...
В том белом доме, в том покое,
Где мебель сдвинута чужая.
Наш давний спор незавершенный
Должны мы кончить, дорогая.

Может быть, это и есть «самое трудное» - поэзия здесь обнажена, она кажется сделанной из ничего, как в «Ночных часах» Блока, как в песенках Верлена.

Говоря, что Тувима порой не понимали даже его друзья, я думал именно об этом: в необычайной сложности, которая становится простотой, о человеке, много знавшем, мудром и в то же время ребячливом, об авторе смешных фарсов и трудной лирики. Он писал стихи для детей, и в одном стихотворении рассказал о чуде Янеке, который все делает наоборот. Дети, слушая стихи, смеялись, а Тувим виновато улыбался: он сам походил на высмеянного им Янека.

Когда в последний раз я был у него дома, он шутил с восьмилетней Евой. Почему-то нам было грустно обоим; но не думал я, что больше его не увижу.

Он любил деревья. Помню его стихи: в лесу он пытался опознать то дерево, из которого ему сколотят гроб; по светлой печали это стихотворение сродни «Брожу ли я вдоль улиц шумных...».

В парках Варшавы, за городом, в саду поэта Ивашкевича, глядя на деревья, я думал о дереве Юлиана Тувима. Он был на три года моложе меня, и вот уже много лет прошло с его смерти. Я привык к потерям и все же не могу примириться: больно.

Но как хорошо, что я его встретил!

В кафе «Прагер-диле» иногда приходили русские писатели. Разговоры между ними были шумливыми и путаными; и кельнеры никак не могли привыкнуть к загадочным завсегдатаям. Однажды Андрей Белый поспорил с Шестовым; говорили они о распаде личности, и говорили на том языке, который понятен только профессиональным философам. Потом настал роковой «полицейский час», в кафе погасили свет, а философский спор не был закончен.

Как забыть последующую сцену? В створках вращающейся двери кричали Андрей Белый и Шестов. Каждый, сам того не замечая, толкал вперед дверь, и они никак не могли выйти на улицу. Шестов, в шляпе, с бородой, с большой палкой, походил на Вечного жида. А Белый неистовствовал, метались руки, вздымался пух на голове. Старый кельнер, выдавший виды, сказал мне: «Этот русский, наверно, знаменитый человек...»

В 1902 году Андрею Белому, или, вернее сказать, Борису Николаевичу Бугаеву, студенту московского физико-математического факультета, было двадцать два года. Он писал тогда слабые символистические стихи и предстал перед В. Я. Брюсовым, который считался мэтром новой поэзии. Вот что записал Валерий Яковлевич в дневнике: «Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии. Это едва ли не интереснейший человек в России. Зрелость и дряхлость ума при странной молодости». А. А. Блок был связан с Андреем Белым многолетней дружбой; все было в их взаимоотношениях - и близость, и тяжелые разрывы, и примирения. Казалось, Блок мог привыкнуть к Белому; но нет, к Борису Николаевичу привыкнуть было невозможно. В 1920 году после встречи с Белым Блок записал: «Он такой же, как всегда: гениальный, странный».

Гений? Чудак? Пророк? Шут?.. Андрей Белый потряс всех с ним встречавшихся. В январе 1934 года, узнав о смерти Бориса Николаевича, Мандельштам написал цикл стихотворений. Он видел величие Белого:

Ему кавказские кричали горы

И нежных Альп стесненная толпа,
На звуковых громад крутые всхоры
Его ступала зрячая стопа.
И все же, выражая смятение других, писал:
Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер?
Не Гоголь, так себе писатель, гоголек.
Тот самый, что тогда невнятицу устроил,
Который шустрился, довольно уж легок.
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил.
Затеял кавардак, перекрутил снежок...

В 1919 году я так описал Андрея Белого: «Огромные, разверстые глаза - бушующие костры на бледном, изможденном лице. Непомерно высокий лоб с островком стоящих дыбом волос. Читает он стихи, как вещает Сивилла, и, читая, машет руками: подчеркивает ритм - не стихов, а своих тайных помыслов. Это почти что смешно, и порой Белый кажется великолепным клоуном. Но когда он рядом - тревога и томление, ощущение какого-то стихийного неблагополучия овладевает всеми... Белый выше и значительнее своих книг. Он - блуждающий дух, не нашедший плоти, поток вне берегов... Почему даже пламенное слово «гений», когда говорят о Белом, звучит как титул? Белый мог бы стать пророком - его безумие юродивого озарено божественной мудростью. Но «шестикрылый серафим», слетев к нему, не закончил работы: он разверз очи поэта, дал ему услышать нездешние ритмы, подарил «жало мудрыя змеи», но не коснулся его сердца...»

Когда я писал эти строки, я знал Андрея Белого только по книгам да по беглым московским встречам. В Берлине и в приморском местечке Свинемюнде я часто встречался с Борисом Николаевичем и понял, что, говоря о серафиме и сердце, ошибался: принимал за душевный холод несчастье, поломанные крылья, разбитую личную жизнь и чрезмерный блеск словаря.

Теперь, думая о судьбе этого воистину необычайного человека, я не могу найти разгадки. Вероятно, пути художников великих (да и не только великих) неисповедимы. Рафаэль умер молодым, но успел сказать все, что в нем было. А Леонардо да Винчи прожил долгую жизнь, открывал, изобретал, причем его научные труды были изданы тогда, когда все его открытия и изобретения имели только

историческую ценность, писал красками, им изготавливаемыми, которые быстро жухли, тускнели, осыпались, и миллионы людей знают не живописный гений Леонардо, а придуманную легенду о «таинственной улыбке» Джиоконды... Есть писатели, которые меньше написанных ими книг: вспоминаешь человека и дивишься, как он мог такое написать?.. Есть другие. Я и теперь, как сорок лет назад, думаю, что Андрей Белый был крупнее всего им написанного.

Я не хочу сказать, что его произведения незначительны или малоинтересны. Некоторые стихи из книги «Пепел» мне кажутся совершенными; роман «Петербург» - огромное событие в истории русской прозы; мемуары Андрея Белого захватывают. Но эти книги не переиздаются, их не переводят, не знают ни у нас, ни за границей.

Большая Советская Энциклопедия нашла доброе слово для отца Белого, математика Н. В. Бугаева, а Борису Николаевичу не повезло - он назван в манере 1950 года «клеветником». (Снова я думаю о преимуществе точных наук: к работе математика этикетки «клеветник» не приклеишь...)

Современному читателю трудно одолеть книгу Андрея Белого: мешают придуманные им словообразования, произвольная перестановка слов, нарочито подчеркнутый ритм прозы. Даже в замечательных мемуарах, написанных незадолго до смерти, Андрей Белый то и дело старался «перекрутить снежок»: «Балтрушайтис, угрюмый, как скалы, которого Юргисом звали, дружил с Поляковым... И не раздеваясь садился, слагал на палке свои две руки; и запахивался, как утес облаками, дымком папироски; с гримасой с ужаснейшей пепел стрясал, ставя локоть углом и моргая из-под поперечной морщины на собственный нос в красных явственных жилках...» Это кажется написанным на древнем языке, нужно расшифровывать, как «Слово о полку Игореве». Не всякий из молодых советских прозаиков знаком с книгами Андрея Белого. Однако без него (как и без Ремизова) трудно себе представить историю русской прозы. Вклад Андрея Белого чувствуется в произведениях некоторых современных авторов, которые, может быть, никогда не читали «Петербурга» и «Котика Летаева».

Пути развития литературы еще более загадочны, чем пути отдельных писателей. Эфирные масла, извлекаемые из корневищ ириса или из цветов иланг-иланга, никогда не применяются в чистом

виде, но ими пользуются все парфюмеры мира. Эссенция неизменно разбавляется водой. Мало кто способен прочесть от доски до доски собрание сочинений Велимира Хлебникова. А этот большой поэт продолжает оказывать влияние на современную поэзию - скрытыми, обходными путями: влияют те, на кого повлиял Хлебников. То же самое можно сказать и о прозе Андрея Белого.

Его путь был запутанным и малопонятным, как его синтаксис. В 1932 году неподалеку от Кузнецка, в поселке, где жили шорцы, я видел последнего шамана. Он понимал, что его дни сочтены, и начинал шаманить неохотно, может быть с голоду или по привычке; но несколько минут спустя впадал в экстаз и вдохновенно выкрикивал никому не понятные слова. Вспоминая некоторые выступления Андрея Белого, я думаю об этом шамане. Мне кажется, что Борис Николаевич и говорил и писал часто в состоянии иступления, если угодно, шаманил - торопился, всегда что-то видел и предвидел, но не мог подобрать для увиденного понятных слов.

Он вдохновился Штейнером, антропософией, строил храм в Дорнахе, строил не как Волошин, нет, всерьез, иступленно. В Берлине в 1922 году было множество танцулек; растерянные полуголодные немки и немцы часами танцевали входивший в моду фокстрот. Что приснилось Андрею Белому, когда он услышал впервые джаз? Почему он начал неистово танцевать, пугая глазами пророка молоденьких приказчиц? Он рано поседел; лицо было темным от загара, а глаза все сильнее и сильнее отделялись от лица, жили своей жизнью.

Все в нем было несчастьем: и сердечные драмы, и дружба с Блоком, и постоянные разуверения, и литературное одиночество. Еще в 1907 году он написал эпитафию себе:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил.
А жизни прожить не сумел.

Умер он в возрасте пятидесяти четырех лет не от солнечных стрел, а от усталости: хотел идти в ногу с веком, но то обгонял его. то оставался позади - «жизни прожить не сумел». Все, кажется, он испробовал - и мистику, и химию, и Канта, и Соловьева, и Маркса; был после Дорнаха руководителем литературной студии

Пролеткульта, писал для советских газет очерки о росте социалистической экономики, написал заумную «Глоссолалию», не раз хоронил себя и снова «затевал кавардак».

Непримиримые эмигранты его ненавидели: он им казался перебежчиком - ведь он проводил вечера в беседах с Шестовым, с Бердяевым, дружил с Мережковским и вдруг в Берлине в 1922 году заявил, что подлинная культура в Советской России, а убежавшие от революции мертвы и смердят.

«Скифы» считали его своим, трудно сказать почему, вероятно потому, что он восхищался гражданским мужеством Блока. Ничего «скифского» в Андрее Белом не было, он боялся «панмонголизма», о котором писал Соловьев и которым вдохновился Блок. Автоматизм западноевропейской буржуазной жизни Андрей Белый обличал не как скиф, мечтающий о древних кочевьях, а как гуманист эпохи Возрождения.

Помню два его признания. Разговаривая с Маяковским в Берлине (я писал, как высоко ценил Белый поэму «Человек»), Борис Николаевич сказал: «Все в вас принимаю - и футуризм, и революционность, одно меня отделяет - ваша любовь к машине как к таковой. Опасность утилитаризма не в том, что молодые люди увлекутся утилитарной стороной науки - это я только приветствую. Опасность в другом - в апологии Америки. Америки Уитмена больше нет, побеги травы высохли. Есть Америка, ополчившаяся на человека...» В другой раз Белый поспорил с крупным писателем, близким к сменовеховцам. Борис Николаевич кричал: «Вам не по душе революция, вы верите в нэп, вы восхищаетесь порядком, твердой рукой. А я за Октябрь! Понимаете? Если мне что-нибудь там не по душе, это именно то, что вам правится...»

Я писал в этой книге, что Андрей Белый в 1919 году предсказал атомную бомбу. Беседуя со мной, он часто говорил о том, что математики, инженеры, химики отрекаются от своего долга служить человечеству, работают над усовершенствованием гибели, катастрофы, смерти. (Он писал об этом в своем дневнике 1915 - 1916 годов «На перевале»).

Гений? Бесспорно. Бессильный гений. Незадолго до смерти он сам попытался разобраться в этом противоречии. «Тридцать лет припевы сопровождали меня: «Изменил убеждениям. Литературу

забросил... В себе сжег художника, став, как Гоголь, больным!.. Легкомысленнейшее существо, лирик!.. Мертвенный рационалист!.. Мистик!.. Материалистом стал!..» Я подавал много поводов так полагать о себе: перемудрами (от преждевременного усложнения тем), техницизмами контрапунктики в оркестрировании мировоззрения, увиденного мною многоголосной симфонией; так композитор, лишенный своих инструментов, не может напеть собственным жалким, простуженным горлом - и валторны, и флейты, и скрипки, и литавры в их перекликании». Вероятно, это самое правильное объяснение: сложнейшая партитура и слабый человеческий голос.

Отсюда и одиночество. На берегу моря, крепкий, казалось бы бодрый, он говорил мне: «Всего труднее найти связь с людьми, с народом». Подарив мне «Петербург», надписал: «...с чувством постоянной связи». Я говорю не о случайном совпадении слов, а о навязчивой идее. Он так хотел живой связи с людьми! А судьба его обошла. Личное горе выглядело холодом, «золотом в лазури». В стихотворении, посвященном Андрею Белому, Мандельштам писал:

Меж тобой и страной

Ледяная рождается связь.

Эти строки были написаны на следующий день после кончины Бориса Николаевича.

Я писал, что на развитие нашей прозы повлияли Андрей Белый и А. М. Ремизов, хотя их книги теперь почти всеми забыты. Эти писатели не походили друг на друга. Андрей Белый витал в небесах, не мог прожить и дня без философских обобщений, много ездил по свету, восторгался, горячился, спорил. Алексей Михайлович Ремизов был домоседом, жил на земле, даже под землей, ходил на колдуна и на крота, вдохновлялся корнями слов, не мудрил, как Белый, а чудил.

В 1921 - 1922 годах в литературу вошли молодые советские прозаики - Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Зощенко, многие другие; почти все они пережили увлечение Андреем Белым или Ремизовым. Я как-то заглянул в мои книги того времени («Неправдоподобные истории», «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Шесть повестей о легких концах») и удивился: запутанные или оборванные фразы, переставленные или придуманные словечки; а когда я так писал, подобный язык мне казался естественным. Так были написаны и «Голый год» Пильняка, и многие произведения молодых «Серрапионов». Если это можно назвать болезнью, то, говоря по газетному, она была болезнью роста.

Влияние Белого и Ремизова на молодых писателей было настолько очевидным, что А. М. Горький писал К. А. Федину: «Но - не поймите, что я рекомендую Вам Белого или Ремизова в учителя - отнюдь! Да, у них - изумительно богатый лексикон, и, конечно, это достойно внимания, как достоин его и третий обладатель сокровищами чистого русского языка - Н. С. Лесков. Но - ищите себя. Это тоже интересно, важно и, может быть, очень значительно».

Я рассказал об Андрее Белом. Теперь мне хочется вспомнить А. М. Ремизова, с которым я познакомился в 1922 году в Берлине. В мещанской немецкой квартире, в комнате, заставленной чужими вещами, сидел маленький сгорбленный человек с большим любопытным носом и с живыми, лукавыми глазами. Его жена, Серафима Павловна, хлопотливо потчевала гостей чаем. На письменном столе я увидел рукописи, написанные, вернее, нарисованные мастером каллиграфии. А на веревочках покачивались

различные черти, вырезанные из бумаги: домашние и злые, хитрые и простодушные, как новорожденные козлята. Алексей Михайлович тихо посмеивался: в тот день, кроме привычных игрушек, у него была новенькая - Пильняк, который рассказывал фантастические истории о жизни в Коломне.

В Берлине Ремизов был таким же, как в Москве или в Петрограде, писал такие же сказки, играл в те же игры, разводил тех же чертяк - я говорю это, читая теперь записи людей, встречавшихся с ним до его отъезда за границу. Вот что писал В. Г. Лидин в 1921 году: «Не перевелись еще человечки такие, русские, земляные, мышинные, живет и здравствует, и дай бог лета долгие человечку российскому, в ночи перышком скрипящему да скрипящему - в голодуху и холод - царю обезьяньему Алексею Михайлычу Ремизову». В 1944 году в книге «Горький среди нас» К. А. Федин вспоминал первые годы революции: «Сутулый, схожий чем-то с Коньком-горбунком, чуть-чуть вприсядочку бежит по Невскому человек, колюче выплядывающий из-за очков, в пальтеце и в шапочке... Он прячет большой, многоумный затылок в поднятый воротник, а подбородок и губы выпячивает, и крючковатый немалый нос его чувствительно движет кончиком, вероятно принюхиваясь к тому, что излетает из выпяченных уст». (Лидин написал приведенные мной строки в годы повального подражания Ремизову, Федин - двадцать лет спустя, но и он, рассказывая об Алексее Михайловиче, невольно заговорил на давно забытом ремизовском языке...)

Среди прочих игр Ремизов играл в некий таинственный орден, созданный им,- «Обезьянья великая и вольная палата» или «Обезвелволпал». Он производил в кавалеры, в князья, в епископы друзей-писателей: Е. И. Замятина, П. Е. Щеголева, «Серапионов». Я числился «кавалером с жужелиным хоботком».

В 1946 году, приехав в Париж, я пошел к Алексею Михайловичу. Я не видел его перед тем лет двадцать. Незачем напоминать, какие это были годы. Много несчастий перенес и Алексей Михайлович. В годы немецкой оккупации он голодал, бедствовал, мерз. В 1943 году умерла Серафима Павловна. Я увидел согнутого в три погибели старика. Жил он один, забытый, заброшенный, жил в вечной нужде. Но тот же лукавый огонек посвечивал в его глазах, те же черти кружились но комнате и так же он писал - древней вязью, записывал сны, писал

письма покойной жене, работал над книгами, которые никто не хотел печатать. Недавно Н. Кодрянская прислала мне книгу, посвященную последним годам жизни Алексея Михайловича. Я гляжу на его фотографии. Он терял зрение, с трудом писал, называл себя «слепым писателем», но, удивительно, глаза сохраняли прежнюю выразительность, и работал он до последнего дня; писал все о том же и все так же - «Мышкину дудочку», «Павлинье перо», «Повесть о двух зверях». Умер он в 1957 году, в возрасте восьмидесяти лет. Незадолго до смерти писал в дневнике: «Напор затей, а осуществить не могу - глаза!.. Сегодня весь день мысленно писал, а записать не мог». Он и дурачился до смерти - на книгах, изданных в последние годы, значится: «Цензуровано в верховном совете Обезвельволпала».

Кажется, можно позавидовать такой устойчивости, верности себе, душевной силе. А завидовать нечему: Ремизов узнал всю меру человеческого несчастья. Его часто упрекали за то, что в его книгах нагромождение неправдоподобностей, а его судьба куда нелепее всего, что он мог придумать.

Писатель всегда старается обосновать поступки своих героев; даже если они идут вразрез с общепринятой логикой. Поэты логически оправдывают свои алогизмы. Мы понимаем, почему Раскольников убивает старуху, почему Жюльен Сорель стреляет в госпожу Реналь. А жизнь не писатель, жизнь может без всяких объяснений все перепутать или, как говорил Алексей Михайлович, перекувырнуть. Ремизов был наирусейшим из всех русских писателей, а прожил за границей тридцать шесть лет и говорил: «Не знаю, почему так вышло...»

В ранней молодости, будучи студентом, Ремизов увлекся политикой, стал социал-демократом, угодил в тюрьму, шесть лет провел в ссылке вместе с Луначарским, Савинковым и будущим пушкинистом П. Е. Шеголевым. В ссылке он встретил свою будущую жену - Серафиму Павловну, наивную эсерку. Ремизов в разговорах всегда подчеркивал, что от революционной работы он отошел, потому что счел себя плохим организатором и еще потому, что увлекся писательством. О том, как он пришел к революционной работе, он писал в дневнике незадолго до своей смерти: «Как в России делалась революция. Переустройство жизни - уклада жизни. Мое чувство начинается - нищие на паперти и фабричные каморки», Он продолжал

три месяца спустя: «История мне представляется кровожадной, война и расправа, надо кого-то мучить и замучить. Человек хочет сытно есть, спокойно спать и свободно думать. А впроголодь не всякому удается. Не насытившись и не выспишься. Забота глушит и убивает мысль. Революция начинается с хлеба».

В одной из последних книг, говоря о Тургеневе, Ремизов возвращается к той же проблеме: «В революцию все бросились на «Бесов» Достоевского, искали о революции... И никто не подумал о неумиренной пламенной Марианне «Нови», которая, я знаю, никогда не успокоится, и о ее сестре, открытой к мечте о человеческой свободе на земле, о Елене «Накануне», а кстати поискать «бесов» совсем не там - жизнь человека трудная и в мечте человека облегчить эту жизнь, какие там «бесы»! - нет, не там, и уж если говорить о бесах, вот мир, изображенный Тургеневым, Толстым, Писемским и Лесковым,- вот полчища бесов, а имя которым праздность и самовольная праздность».

В книгах «Пруд», «Крестовые сестры» Ремизов показал подлинных бесов дореволюционной России. Ромен Роллан в предисловии к французскому переводу «Крестовых сестер» писал, что эта книга показывает неправду старого общества, объясняет и оправдывает бурю.

Бунин знал, почему он жил и умер в изгнании, а Ремизов о белой эмиграции всегда говорил недружелюбно - «они», повторял: «Что они ни говорят, а живая жизнь в России». Н. Кодрянская приводит такие слова Алексея Михайловича: «Из 1947 года мне памятливы три крепких отзыва: «ретроград», «подлец», «советская сволочь». Когда я был у него летом 1946 года, он говорил «паспорт у меня советский» - хотел хоть этим утешить себя и печально улыбался.

За границей он мыкался, его выселяли, высылали. В Берлине за него вступился Томас Манн. В Париже его обвинили в том, что он развел в доме мышей. Всегда он был в долгах, не знал, чем заплатить за маленькую квартиру.

К. А. Федин писал: «Ремизов мог быть и в действительности был своеобразнейшим «правым фронтом» литературы». Слово «правый» относится, конечно, не к политике, но к эстетике: Ремизов у Федина противопоставлен левовцам. А мне кажется, что страсть к старым народным оборотам, к корням слов, отличающая Ремизова, была присуща и Хлебникову, без которого нельзя себе представить Лефа.

Ремизов говорил, что из современников ему ближе других Андрей Белый, Хлебников, Маяковский, Пастернак. Не очень-то «правые» вкусы были у Алексея Михайловича. В живописи он любил Пикассо, Матисса. Архаизмы диктовались не консервативными наклонностями, а стремлением найти новый язык.

Ремизов часто с любовью вспоминал М. М. Пришвина. В предсмертном письме он радовался, что в Москве торжественно почтили память Михаила Михайловича. В своей автобиографии Пришвин, желая объяснить природу искусства, писал: «Писатель Ремизов в свое время тоже имел революционную прививку и дружил с Каляевым. Ремизов не был легкомысленным дезертиром в искусство. Каляев продолжал к нему относиться с тем же самым уважением, когда он стал писать свои утонченнейшие, изящные словеса. Однажды, близко к своему концу, Каляев случайно встретился на вокзале с Ремизовым, улыбнулся приветливо и так наивно-простоудушно спросил на ходу: «Неужели все о своих букашках пишешь?»»

Конечно, Ремарка читают больше, чем Гофмана, и Апухтин был куда популярнее Тютчева. Но статистика не решает дела: есть крылья разного калибра для разных полетов.

Ремизов был поэтом и сказочником. На одной из книг, которую он мне подарил, он написал: «Здесь все для елки». Елки одно время были у нас не в почете; потом их восстановили в правах. Алексей Михайлович в книгах был таким же, как в жизни: играл, выдумывал, иногда веселил своими нелепостями, иногда печалил. Елку любят не только дети, и редко встретишь человека, которому хотя бы раз в жизни не понадобилась до зарезу сказка. В этом оправдание «букашек» - долгих трудов большого писателя Алексея Михайловича Ремизова.

Произведя меня в кавалеры «Обезвельволпала», А. М. Ремизов определил «с хоботком жужелицы» не случайно: жужелица, защищаясь, выделяет едкую жидкость. Критики называли меня скептиком, злым циником.

В начале этой книги я сказал, что хочу написать исповедь; вероятно, я обещал больше, чем могу выполнить. В католических церквях исповедальни снабжены занавесками, чтобы священник не видел, кто ему поверяет тайны. Говорят, что биография писателя - в его книгах; это верно; однако, придавая вымышленным героям свои черты, автор маскируется, замечает следы - есть у него помимо книг личная жизнь, любовь, радости, потери. Пока я писал о моем детстве, о ранней молодости, я не раз отодвигал занавеску исповедальни. Дойдя до зрелых лет, я о многом умалчиваю, и чем дальше, тем чаще придется опускать те события моей жизни, о которых мне трудно было бы рассказать даже близкому другу.

И все же эта книга - исповедь. Я сказал, что меня часто называли скептиком. В Ленинграде в 1925 году вышла книга Н. Терещенко «Современный нигилист - И. Эренбург». (Тургенев, пустивший в ход словечко «нигилист», писал: «Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было употреблено мною это слово; но как точное и уместное выражение проявившегося - исторического - факта; оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного осуждения,- почти в клеймо позора».) Я хочу сейчас разобраться в правильности этикетки, которую часто на меня вешали.

С детских лет я жил сомнениями в абсолютности тех истин, которые слышал от родителей, преподавателей, взрослых. Так было и потом; слепая вера мне казалась иногда прекрасной, иногда отвратительной, но неизменно чужой. Порой в молодости я пробовал пересиливать себя, а дойдя до возраста, который Данте называл «серединой жизненного пути», понял, что можно изменить суждения, но не натуру. Уже в старости я написал о моем отношении к слепой вере, которой противопоставлял критическое мышление и верность идее, людям, да и себе.

Не был я учеником примерным
И не стал с годами безупречным.
Из апостолов Фома Неверный
Кажется мне самым человеческим.
Услыхав, он не поверил просто -
Мало ли рассказывают басен?
И, наверно, не один апостол
Говорил, что он весьма опасен.
Может, был Фома тяжелодумом,
Но, подумав, он за дело брался,
Говорил он только то, что думал,
И от слов своих не отступался.
Жизнь он мерил собственной меркой,
Были у него спои скрижали.
Уж не потому ль, что он «неверный»,
Он молчал, когда его пытали?

Я упоминал не раз в этой книге о характере моих сомнений. Будь я социологом или физиком, астрономом или профессиональным политиком, наверно, мне легче было бы перейти поле жизни. Я не хочу этим сказать, что путь политических деятелей или ученых устлан розами; но, переживая временные неудачи или поражения, они видят, что побеждает разум. А я стал писателем, то есть человеком, который по характеру своей работы должен интересоваться не только устройством общества, но и внутренним миром индивидуума, не только судьбами человечества, но и судьбой отдельных людей.

Мы теперь частенько говорим о потускнении литературы, искусства, о том, что «физики» опередили «лириков». В 1892 году А. П. Чехов писал: «Разве Короленко, Надсон и все нынешние драматурги не лимонад? Разве картины Репина или Шишкина кружили Вам голову? Мило, талантливо. Вы восхищаетесь и в то же время никак не можете забыть, что Вам хочется курить. Наука и техника переживают теперь великое время, для нашего же брата это время рыхлое, кислое, скучное, сами мы кислы и скучны, умеем рожать только гуттаперчевых мальчиков, и не видит этого только Стасов, которому природа дала редкую способность пьянеть даже от помоев». Порой, заглядывая в прошлое, успокаиваешься: когда Антон Павлович писал процитированное мною письмо, он не знал, что его

путь идет в гору, что в тифлисской газете напечатан первый рассказ Максима Горького, что двенадцатилетний мальчик Саша Блок станет великим поэтом и что русская поэзия находится накануне подъема. Приливы всегда чередовались с отливами. Иногда прилив затягивался. Французские импрессионисты выступили в семидесятые годы прошлого века. Многие из них еще были в расцвете сил, когда на смену им пришли Сезанн, Гоген, Ван Гог, Тулуз-Лотрек; в начале нашего века впервые выставили свои работы Боннар, Матисс, Марке, Пикассо, Брак, Леже, и только четверть века спустя начался отлив. Современная американская литература создана писателями, родившимися вокруг 1900 года,- Хемингуэем, Фолкнером, Стейнбеком, Колдуэллом; их называли «потерянным поколением», но не они, а последующее поколение потеряло дорогу, завязло в трясине. Между смертью Некрасова и первым сборником стихов Александра Блока прошло почти тридцать лет.

Я видел появление крупных писателей, художников и не могу пожаловаться, что жил в эпоху спада искусства. Нет, тяжело было другое: я жил в эпоху необычайного взлета и столь же необычайного падения человека, в эпоху разлада между быстрым прогрессом естествознания, развитием техники, победами справедливых социалистических идей и душевным запустением миллионов человеческих существ. Слишком часто мне приходилось видеть необыкновенно сложные машины и необычайно примитивных людей - с предрассудками, с грубостью чувств пещерного века.

Я рассказал, какой была Москва моего детства - темной, с «Московским листком», со снобами, не сводившими глаз с Парижа, с неграмотными рабочими, с заграничными товарами. На Западе о России тогда говорили редко: страна кнута, с храбрыми казаками, с пшеницей и пушниной, край бомб и виселиц. Стоит заглянуть теперь в любую газету любого континента, чтобы увидеть, сколько пишут про нас; на Москву смотрят все - одни с надеждой, другие с опаской; зеленый, сонный город моего детства стал подлинной столицей. Родился новый Китай. Добилась независимости Индия; поднялась буря: и одна за другой страны Азии и Африки скидывают господство «белых». Да, все переменялось. Мог ли я мальчиком себе представить, что буду перелетать за несколько часов океан, что появятся радио и

телевидение, что человек отправится в космос? Чудеса, семимильные шаги!

Но разве в те же годы отрочества я мог себе представить, что впереди Освенцим и Хиросима? Мы воспитывались на книгах прошлого столетия, и я знал два полюса: прогресс и варварство, просвещение и невежество. А XX век многое перепутал. Я вспоминаю дневник немецкого офицера, который мне принесли на фронте в 1943 году. Автор был студентом, цитировал Гегеля и Ницше, Гёте и Стефана Георге, увлекался перспективами современной физики, и вот он записал: «Сегодня в Кельцах мы ликвидировали четырех еврейских детенышей, они прятались под полом, и мы потом смеялись, что умеем вымаривать крыс...» Недавно мы видели, как терзали Патриса Лумумбу. Репортеры фотографировали пытки, и аппараты у них были превосходные.

Дикость, если она связана с невежеством, объяснима; труднее ее понять в людях образованных, порой одаренных. Будущие эсэсовцы учились в школах той Германии, которую я знал; с детских лет им говорили, что Кант написал «Критику чистого разума» и что Гёте, умирая, воскликнул: «Больше света!» Все это не помешало им десять лет спустя швырять русских младенцев в колодцы. «Изуверские идеи маньяка» - скажут мне. Конечно. Но меня потрясло не появление на арене истории Гитлера, а то, как быстро изменился облик немецкого общества: люди с высшим образованием превратились в людоедов; тормоза цивилизации оказались хрупкими и при первом испытании отказали.

Но что говорить о фашистах! Я видел, в другом лагере некоторые люди, казалось бы приобщенные к благородным идеям, совершали низкие поступки, во имя личного благополучия или своего спасения предавали товарищей, друзей; жена отрекалась от мужа; расторопный сын чернил попавшего в беду отца.

Не знаю, оттого ли, что шла борьба за построение нового общества, борьба подчас кровавая, в которой противники не брезгали ничем, оттого ли, что приходилось за несколько лет наверстывать упущенное веками, но многие люди развивались односторонне. Автор книги «Современный нигилист», о которой и упомянул, ставил мне в вину «культ любви», называя его мещанством: «В частных случаях по отношению к слабым или малоразвитым людям половая любовь еще

может сыграть роль двигателя вперед, но при условии, если любовь поставлена на свое место...» Я помнил Петрарку, Лермонтова, Гейне, и мне казалось, что мой обвинитель - «слабый или малоразвитый человек» и что, хотя он считает себя коммунистом, его понимание любви, «поставленной на свое место», - апология мещанства.

Вправду ли я скептик, циник, нигилист? Я оглядываюсь на свое прошлое. Я хотел сам многое понять, проверить и не раз ошибался. Но я твердо знал, что, как бы меня ни огорчали, ни возмущали те или иные вещи, я никогда не отступлюсь от народа, который первый решился покончить с ненавистным мне миром корысти, лицемерия, расового или национального чванства. Думаю, скептик просидел бы с горькой усмешкой всю свою жизнь где-нибудь в нейтральном закутке, а циник писал бы именно то, что устраивает самых придирчивых критиков.

Сартр говорил мне как-то, что детерминизм ошибка, что у нас всегда есть свобода выбора. Думая теперь о его пути, я лишний раз вижу, насколько мы связаны в своем выборе историческими обстоятельствами, средой, чувством ответственности за других, той общественной атмосферой, которая неестественно повышает голос человека или, наоборот, глушит его, меняет все пропорции.

Бывают эпохи, когда, облюбовав место «над схваткой», можно сохранить любовь к людям, человечность; бывают и другие, когда духовно независимые киники становятся циниками, а бочка Диогена превращается в ту самую хату, которая всегда с краю. Уж что-что, а эпохи человек не выбирает.

В чем же были нравы критики? Да в том, что по своему складу я вижу не только хорошее, но и дурное. Правы и в том, что я склонен к иронии; чем больше я взволнован, растроган, тем резче выступают иглы, шипы; это явление довольно распространенное; в свое время был даже литературный термин - «романтическая ирония».

В моих ранних книгах преобладала сатира; на авансцену часто вырывались рвачи, злые мещане, лицемеры. Потом я увидел, что сплошь да рядом доброе и дурное сосуществуют в одном человеке. Я написал «День второй». Однако этикетка оставалась. А. Н. Афиногенов, с которым я познакомился в тридцатые годы, писал в своем дневнике: «У Эренбурга взгляд на все происходящее скептический...» Это написано дружеской рукой, но в замечании

сказалась инерция установившегося реноме. Да зачем говорить о том, что было четверть века назад? В 1953 году я написал «Оттепель»; само название книги, казалось бы, показывало доверие автора к эпохе и людям; но критиков возмутило, что я показал директора завода, человека бесчувственного и нехорошего.

Есть писатели, которые как бы видят вокруг только хорошее, доброе. Это не связано с личной добротой автора. Мне кажется, что в жизни Чехов был мягче, снисходительнее, добрее Толстого. Но Чехов справедливо писал: «Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войну и мир». Читаешь с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо. Только не люблю тех мест, где Наполеон. Как Наполеон, так сейчас и натяжка и всякие фокусы, чтобы доказать, что он плутое, чем был на самом деле. Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов,- все это хорошо, умно, естественно и трогательно...» Толстой сделал из Николая Ростова обаятельным человеком, а Наполеона описать не сумел. Что касается Чехова, то он очень хорошо показывал людей, обижающих других, да и обиженные в его рассказах отнюдь не ангелы.

Что нужнее людям - раскрытие пороков, душевных изъянов, язв общества или утверждение благородства, красоты, гармонии? Вопрос, по-моему, праздный: людям нужно все. В одно время жили Державин и Фонвизин; остались «Глагол времен! металла звон!», остался и «Недоросль». Никогда не существовало, не существует, да и вряд ли будет существовать общество, лишенное пороков; долг писателя, если только он чувствует к этому призвание, говорить о них, не страшась, что с чьей-то легкой руки его причислят к скептикам или циникам.

Я люблю Белинского и за его гражданскую страсть, и за страсть к искусству, за глубокую честность. Часто я вспоминал его слова: «... когда же мы находим в романе удачными только типы негодяев и неудачными типы порядочных людей, это явный знак, что или автор взялся не за свое дело, вышел из своих средств, из пределов своего таланта и, следовательно, погрешил против основных законов искусства, то есть выдумывал, писал и натягивал риторически там, где надо было творить; или что он без всякой нужды, вопреки внутреннему смыслу своего произведения, только по внешнему

требованию морали ввел в свой роман эти лица и, следовательно, опять погрешил против основных законов искусства».

Порой я грешил против законов искусства; порой попросту ошибался в оценках событий и людей. В одном я только неповинен: в равнодушии.

Мои рассуждения могут показаться литературной полемикой. Я ведь говорил об исповеди, а то и дело цитирую Белинского, Толстого, Тургенева, Чехова. Но я должен был сказать о глазах и о сердце, о верности времени, которая оплачивается и бессонными ночами, и неудачными книгами. Без этой главы мне было бы трудно продолжать мое повествование.

Я говорил, что мое поколение может сосчитать на пальцах относительно спокойные годы; к ним следует отнести то время, о котором я начинаю рассказывать.

Осенью 1923 года всем казалось, что Германия накануне гражданской войны. Стреляли в Гамбурге, в Берлине, в Дрездене, в Эрфурте. Говорили о коммунистических «пролетарских сотнях», о «черном рейхсвере» фашистов. Канцлер Штреземан взывал к патриотизму. Генерал Сект проверял, достаточно ли у артиллеристов снарядов. Иностранцы корреспонденты не отходили от телефона. Гроза представлялась неминуемой. Прокатились слабые раскаты грома. Ничего, однако, не произошло. Рабочие были обескуражены, измучены. Все мешалось в голове мещанина; он никому больше не верил; ненавидел Стиннеса и французов; побаиваясь блюстителей порядка, он в то же время мечтал о добротном и длительном порядке. Социал-демократы хвастали образцовой организацией. Профсоюзы аккуратно собирали членские взносы. А решимости не хватило... Канцлер приказал распустить рабочие правительства Саксонии и Тюрингии. Я видел листовку с призывом к восстанию; люди читали и молча шли на работу.

Мюнхен считался главной квартирой фашистов. Известный всем генерал Людендорф и еще мало кому известный Гитлер попытались захватить власть. Черновая репетиция трагедии вошла в историю под названием, скорее подходящим для фарса, - «пивной путч». Берлинцы равнодушно пробегали телеграммы из Мюнхена: еще один путч, капитан Рем, какой-то Гитлер... Приближалась пора «плана Дауэса», хитроумной дипломатии Штреземана, внезапного достатка после десяти лет беспросветной нужды. Газеты перешли на сенсационные убийства или на похождения кинозвезд.

Заводы не успевали выполнять заказы. Пустовавшие магазины начали заполняться покупателями. Герои художника Гросса в ресторанах Курфюрстепдамма пили французское шампанское «за новую эру».

О переходе военной экономики на мирную имеется обширная литература. Не менее трудно обыкновенному человеку перейти от жизни, перенасыщенной историческими событиями, к будням. Два года я прожил в Берлине с постоянным ощущением надвигающейся бури и вдруг увидел, что ветер на дворе улегся. Признаться, я растерялся: не был подготовлен к мирной жизни.

Дом искусств давно закрылся. Лопнули эфемерные издательства. Русские писатели поразъехались кто куда: Горький - в Сорренто, Толстой и Андрей Белый - в Советскую Россию, Цветаева - в Прагу, Ремизов и Ходасевич - в Париж.

Уехали из Берлина и чужеземные спекулянты: марка становилась на ноги. Газеты писали о том, что новый американский президент добьется ухода французов из Рура; начинается восстановление Германии. Некоторые немцы чистосердечно наслаждались покоем; другие говорили, что надо готовиться к реваншу, оккупированные не расставались с мечтой снова стать оккупантами. Однако стрелка барометра шла вверх; люди думали не о будущей войне, а о предстоящих каникулах.

Я много писал, и, пожалуй, в те месяцы (как и не раз потом) меня выручало ремесло. Не знаю, «святое» ли оно или попросту очень трудное; говорю сейчас не о замыслах, не о фантазии, а только о ноте. Вот я отмечал: написал столько-то книг (следовал перечень заглавий); а за этим скрывался прежде всего труд, разорванные страницы, по десяти раз переделанная строка, бессонные ночи - словом, все то, что известно любому писателю. Бывали дни, когда я настолько сердился на самого себя, что готов был отказаться от писательства; но потом снова сидел над листом бумаги - втянулся в это дело, поздно было гадать, есть ли у меня способности или нет.

Я закончил и отослал в Петроград сентиментальный роман «Любовь Жанны Ней» - отдал дань романтике революционных лет, Диккенсу, увлечению фабульной стороной романов и своему (уже не литературному) желанию писать не только о тресте, занимающемся уничтожением Европы, но и о любви.

Шагая по длинным улицам Берлина, удивительно похожим одна на другую, я иногда сочинял стихи, которые потом не печатал. Вот одно из стихотворений, написанных в то время:

Так умирать, чтоб бил озноб огни.

Чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский
– «Ну ты, угомонись, уймись, нишкни»,-
Прошамкал мамкой ветровому сердцу,
Чтоб - без тебя, чтоб вместо рук сжимать
Ремень окна, чтоб не было «останься»,
Чтоб, умирая, о тебе гадать
По сыпи звезд, по лихорадке станций,
Так умирать, понять, что гам и чай,
Буфетчик, вечный розан на котлете,
Что это смерть, что на твое «прощай!»
Уж мне никак не суждено ответить.

Форма как будто была заемной - пастернаковской, но содержание моим: я продолжал работать, бушевать и, разумеется, иронизировать, а на сердце скребли кошки.

(Мориак в одном из старых романов говорит: «Даже страдания - это роскошь». Да, слишком часто выпадали на нашу долю годы, когда люди не могли себе позволить роскошь быть печальными, страдать от душевной обиды, от неразделенной любви или от одиночества.)

Навстречу шли чинные бюргеры, франтихи, чиновники, школьники. Таксы, привязанные возле дверей колбасных, ждали хозяек и тоскливо позевывали.

Я расставался с Берлином без сожаления. А вот с некоторыми иллюзиями, жившими в сердце «нигилиста», расстаться было куда труднее...

Мы высмеивали романтизм, а на самом деле были романтиками. Мы жаловались, что события разворачиваются слишком быстро, что мы не можем задуматься, сосредоточиться, осознать происходящее; но стоило истории затормозить ход, как мы помрачнели не могли приспособиться к другому ритму. Я писал сатирические романы, слыл пессимистом, а в глубине сердца надеялся, что не пройдет и десяти лет, как изменится облик всей Европы. В моих мыслях я уже похоронил старый мир, и вдруг он ожил, даже прибавил в весе, заулыбался.

Наступала эпоха, которую наши историки именуют «временной стабилизацией капитализма». Возможно, что, читая эту часть моей книги, читатели подумают: первые части были куда интереснее,

чувствуется спад... Что ж, антракт не спектакль, а 1924 год не 1914-й и не 1919-й.

В годы передышки писатели поняли, что они могут писать; именно тогда были написаны прекрасные романы Хемингуэя, «Конармия» Бабеля, «Про это» Маяковского, «Семья Тибо» Мартен дю Гара, поэмы Цветаевой, «Волшебная гора» Томаса Манна, «Парижский крестьянин» Арагона, «Разгром» Фадеева и много других замечательных произведений. А рассказать о годах, когда не было ни мобилизации, ни боев, ни концлагерей, когда люди умирали в своей постели, да так рассказать, чтобы это было интересно, очень трудно. Флобер мечтал написать роман без фабулы, но не написал его: очевидно, даже для спокойного повествования требуются какие-то события. Впрочем, читателей можно успокоить: передышка была недолгой.

Кажется, в сентябре 1923 года из Праги приехал в Берлин друг Маяковского и Э. Ю. Триоле рыжий Ромка лингвист Роман Осипович Якобсон, работавший в советском представительстве. В стихотворении, ставшем хрестоматийным, Маяковский вспоминал, как дипкурьер Нетте, «глаз кося в печати сургуча, напролет болтал о Ромке Якобсоне и смешно потел, стихи уча». Роман был розовым, голубоглазым, один глаз косил: много пил, но сохранял ясную голову, только после десятой рюмки застегивал пиджак не на ту пуговицу. Меня он поразил тем, что все знал - и построение стиха Хлебникова, и старую чешскую литературу, и Рембо, и козни Керзона или Макдональда. Иногда он фантазировал, но, если кто-либо пытался уличить его в неточности, улыбаясь отвечал: «Это было с моей стороны рабочей гипотезой».

Роман Якобсон начал меня уговаривать съездить в Прагу, соблазнял и домами барокко, и молодыми поэтами, и даже моравскими колбасами (он любил поесть и начинал полнеть, хотя был еще очень молод).

В конце года я приехал в Прагу. Молодые поэты меня встретили дружески, расспрашивали о Маяковском, Мейерхольде, Пастернаке, Татлине - я был первым советским писателем, которого они видели. (Об этом написал Незвал в изданной посмертно книге воспоминаний.)

Франтишек Кубка, рассказывая о своих встречах с советскими писателями и художниками, пишет, что часто видел меня в Праге и не помнит, к какой встрече относится та или иная беседа. Я тоже не могу вспомнить, когда я впервые встретился со многими из моих пражских друзей - в 1923 году или позднее, но я хорошо помню один из первых пражских вечеров, когда Роман Якобсон привел меня в кафе «Народна каварня», облюбованное участниками «Деветсила» так окрестили себя чешские сторонники левого искусства. На диване у длинного стола сидели поэты Витезслав Незвал, Ярослав Сейферт, прозаик Владислав Ванчура и теоретик «Деветсила» критик Карел Тейге. Были еще молодые художники, но не помню, кто именно. Незвал пил сливовицу и восторженно вскрикивал. Потом Ванчура ушел домой, а

мы начали переходить из одной «винарни» в другую и на рассвете оказались в пустой холодной закуской, где по местным обычаям полагалось есть суп из требухи.

В присутствии Незвала трудно было кого-либо заметить: он заполнял не только комнату, но, кажется, всю Прагу. Он вдохновенно кричал, читал стихи, вскочив на стол, обнимал каждого из нас и все время помахивал короткими, широкими руками, похожими на лапы. Он вообще походил на морского льва. Его облик был настолько своеобразен, что художник Адольф Гоффмейстер рисовал его, как дети рисуют дерево или домик несколькими линиями, рисовал не глядя, в одну минуту, и все портреты отличались удивительным сходством. Как-то ночью на тихой улице Малой Страны Незвал громко декламировал стихи. Полицейский попросил его не будить людей. Незвал продолжал кричать. Удостоверения личности у него не оказалось, но, порывшись в кармане, он вытащил измятый клочок газеты с карикатурой Гоффмейстера и снисходительно показал полицейскому: «Незвал. Поэт».

Сила поэзии Незвала прежде всего в непосредственности, наивности. Обычно говорят «наивен, как ребенок». Я говорил, что Франсуа Вийон, считавшийся бесхитрым слагателем баллад и рондо, на самом деле был искуснейшим мастером. Незвал обладал высокой поэтической культурой, любил чешских романтиков. Новалиса, Бодлера, Рембо, Гийома Аполлинера, Маяковского, Пастернака, Элюара, Бретона, Тувима. Он не обошел ни одной из поэтических форм - от сонетов до стиха, связанного только внутренним ритмом, от классики до сюрреализма - и, любя сопротивление материала, неизменно выходил победителем. Наивен он был не как ребенок, а как соловей, как анемон, как летний дождь. Ежечасно он открывал мир; он подходил к природе, к человеческим чувствам, даже к предметам обихода, как будто до него не существовало тысячелетий цивилизации. Он был нов не потому, что хотел быть новатором, а потому, что видел и ощущал все по-новому:

Выставлены розовые холсты

Под открытым небом средь равнины.

Крыши там из обожженной глины -

Это вид Милана с высоты.

Зорька вдрызг рассыпалась на мелкие кусочки.

Солнышко, солнышко, лопай пирожочки!

Поэзия была для него стихией, водой для рыбы; отлученный от нее хотя бы на день, он задыхался. Он любил поэтов, чувствовал с ними родство, общность - от давней дружбы с Бретоном и Элюаром до поздних встреч с Назымом Хикметом; восторгался, открывая других поэтов. Как-то он попросил меня прочитать ему вслух стихи Леонида Мартынова, восхищался, обнимал ластами воздух. У него было очень доброе лицо, и это лицо не обманывало. В последние годы своей жизни он писал книгу воспоминаний; он говорил мне, что писать ее нелегко: знал, что многое на свете изменилось, но не хотел изменить друзьям своей молодости; никого не предал, писал мужественно и нежно. Мне кажется, что он сумел это сделать именно потому, что был поэтом. (Я вспоминаю простые и мудрые слова Пастернака о том, что плохой человек не может быть хорошим поэтом.)

Незвал часто в стихах писал о стихах:

Будьте строги и прекрасны! В добрый час!

Звездопады слез, и клятвы женских глаз.

И любовь в горах, где сотни звезд

Прямо в руки падают из гнезд!

До свиданья! До свиданья! Так и быть!

Снова буду я будильник заводить.

Сколько здесь людей живет вокруг,

Вот она, поэзия, мой друг!

Когда и познакомился с Незвалом, ему было двадцать три года. Годы шли. Критики, как им и подобает, корили Незвала: он отходит от революции, становится формалистом, хуже того - он влюбился в сюрреализм, он отходит от поэзии, он весь в политике, он чересчур сложен, он чересчур прост, он не одолел мастерства, он исписался. А Незвал оставался все тем же. Никогда я не встречал человека, который так упорно сопротивлялся бы обстригиванию, стрижке под гребенку, корректуре годов.

Юношей он написал, что отдает себя революции. Он считал, что справедливость и красота - сестры. Часто этого не хотели понять ни поэты, ни догматики. А Незвал стоял на своем. Может удивить его наивность: в 1934 году он обратился в ЦК Коммунистической партии Чехословакии, пытаясь доказать, что сюрреализм, которым он тогда

увлекался, вполне совместим с историческим материализмом. Но и много позднее, в конце своей жизни, он не высмеял прошлого, не отрекся от бывших друзей, даже если дороги разошлись. В 1929 году, когда многие крупные чешские писатели вышли из коммунистической партии, Незвал не последовал их примеру. Двадцать лет спустя он не захотел отступить от того, что считал искусством.

Революция для него была не абстрагированным политическим понятием, но сутью жизни. Он и в искусстве страстно любил все то, что порывало с канонами прошлого. Я знал его друзей - и смелого театрального режиссера Эмиля Буриана, который вдохновлялся в те годы Мейерхольдом, и художников - Шиму, Филлу, молодого Славичека, Штырского, Тоайен. Когда в конце сороковых годов их причислили к «формалистам», Незвал не мог с этим примириться. Как-то он сказал мне: «Почему у одного нет головы, у другого нет сердца, а у третьего и голова и сердце, но нет глаз он не видит живописи, и все же обязательно судит художников». Эпоха не раз ему говорила: «Выбирай - или-или...» Он не соглашался: был слишком широк для любых рамок. Его стихи, как разлившиеся реки, не признавали берегов, а его доброта всех обескураживала.

В конце сороковых годов он работал в отделе кино; но и в службе он нашел поэзию: фильмы Трнки. Мы с ним смотрели вместе «Соловья» по сказке Андерсена. Механическая игрушка не могла заменить живой птицы. И Незвал радовался: «С живописью теперь плохо. И вот Трнка... Гони искусство в дверь, все равно оно ворвется в окно...»

Он любил деревья Моравии и новую архитектуру Праги, любил пейзажи импрессиониста Славичека, написал о нем книгу, любил фильмы Чаплина, мансарды Парижа, душевные беседы. Когда он написал «Песнь мира», самые суровые критики умилились. А ведь Незвал всегда писал о мире...

Очень давно, в двадцатых годах, когда мы бродили по Праге, я ему сказал, что многое мне открыли глубокие дворы старого города, где дети играют, старушки судачат, где есть полутемные трактиры, в которых Швейк рассказывал свои замысловатые истории. Незвал вспомнил о нашей беседе в 1951 году и написал, что я знаю Прагу не только по Градчанам или по Вацлавскому наместью, что я люблю ее дворы. Он ведь знал каждый двор, каждый тупичок Праги. Мы с ним

встречались и в Париже и в Москве, но, думая о нем, я его неизменно вижу на набережной Влтавы, или на узкой, надышанной улочке возле Старого Места. Он посвятил любимому городу много чудесных стихов, одна из его книг называется «Прага с пальцами дождя».

Он увидел женщину, утонувшую во Влтаве, потом вспомнил маску, которую видел в Париже, и написал поэму «Неизвестная с Сены». Его поразила посмертная улыбка утопленницы.

Незнакомка мертвая! Мы пасынки судьбы.

Разве смерть откроет нам звездные сады?..

Через всю жизнь Незвала прошла зыбкая и вместе с тем плотная, реальная мечта. Где-то я прочитал, что он был последним романтиком; нет, не подходит к нему слово «последний» - он всегда и во всем начинал.

Я вспоминаю сейчас его старое стихотворение из книги «Женщина во множественном числе». Поэт идет по незнакомому городу мимо огромного дома, там, наверно, музей с чучелами птиц; улицы пусты, на углу он видит женщину, она одета слишком тепло для летнего дня, шляпа закрывает половину лица, женщине кажется, что она знакома с Незвалом, и Незвалу кажется, что он ее знает, а город чужой, хотя и знакомый, город нелюбимый, и вот они доходят до дома, поднимаются на третий этаж, она садится, не снимая шляпы, и Незвал ей говорит: «Вас нет. Вы здесь. Всю жизнь я писал для вас». Но женщины снова нет. Он снова идет по улицам, ищет. Кажется, она... «Я чувствую, что она близко, как мы чувствуем близость смерти...»

Это не книга о поэзии, а история моей жизни, именно поэтому я должен был рассказать о стихах Незвала - они вошли в мои дни.

Недавно с Гоффмейстером мы вспомнили прошлое; очень мало осталось в живых наших общих друзей, завсегдатаев пражских кафе «Метро», «Славия» и других. Ванчуру, мягкого, но непримиримо, немцы расстреляли. Из поэтов первым в 1949 году умер Галас. Трагически оборвались жизни Вибла и Тенге. Еще в тридцатые годы застрелился архитектор Фейерштейн, который делал декорации для пьес Незвала. Умер художник Филла.

О смерти Незвал думал давно. В стихотворении, написанном в 1935 году, он говорил, что у людей, которые пытаются отгородиться от смерти, «лицо лиловое, а ногти впиваются в ладонь». Смерть была ему противопоказана.

Лучше ссутулиться в жизни,
Чем распрямиться в смерть.
Лучше вся тяжесть жизни,
Чем облегченная смерть.

Всю свою жизнь он составлял гороскопы. О смерти он думал всерьез. В 1955 году в стихах, написанных на юге Франции, он повторял:

Море, растет вода.
Море, не в счет года,
Что тебе горе?
Растет трава, идет вода.
Человек хочет жить,
Человек умирает.
Что тебе до него? Ты - море...

Мне он казался морем: столько в нем было постоянной и бурной жизни. Вскоре после окончания войны Незвал повел Галаса и меня в винный погребок - он обнаружил бутылки старого вина, припрятанные от немцев. Позади были годы, каждый с десятилетие. Галас был печален. А Незвал радовался и бушевал: я невольно подумал - вот кому годы не в счет...

Как-то, приехав в Прагу, я нашел Незвала примолкшим. Друзья сказали, что у него плохо с сердцем, врачи запретили ему пить вино, курить. А дня два или три спустя я снова увидел буйного Незвала, он размахивал лапами, восхищался женщинами, пил вино, читал стихи и, конечно, по-прежнему составлял гороскопы. Однажды он мне сказал, что гороскоп предсказывает ему недоброе: он предпочитал умереть не по данным электрокардиограммы, а по волшебной карте созвездий.

В последний раз мы встретились весной 1958 года в аэропорту Праги. Я сидел в буфете и ждал самолета.

Вдруг я увидел Незвала - он только что прилетел из Италии. Он сказал мне, как всегда восхищенный: «Италия дивно!» Потом обнял меня и тихо добавил: «А мне плохо», - показал рукой на сердце.

Вскоре после этого он умер.

В одном из его лучших произведений, в поэме «Эдисон», написанной в 1931 году, есть строки о страсти, о смерти, о бессмертии:

Только клад не пропал бы безвестно.
Смерть сражается с нами нечестно.
Нас насильно уложат в кровать,
Чтоб лекарства моря выпивать.
Ты, спешивший в грядущее время,
Будешь предан столетьями всеми...
И могу ли я быть хладнокровен.
Что ни шаг, то собранье диковин.
Предо мною речной перевоз.
Плесень мельничных мокрых колес...
Вы, потомки, простите меня.
Нас крутила времен шестерня.
Лихорадка войны нас трепала,
Нам разлука платками махала...
Может статься, на души в бреду
Надевал я искусства узду.
Может, сам, уходя от надлома.
Вас спасал я от желтого дома?
Люди, люди, не может пропасть.
Что сказали страданья и страсть!

Не думаю, чтобы будущий историк понял пережитую нами эпоху только по газетам, по протоколам заседаний, по архивам академий или трибуналов; ему придется прибегнуть к поэзии, и одной из первых книг, к которой он потянется, будут стихи неумного Незвала.

Увидев снова Москву, я изумился: я ведь уехал за границу в последние недели военного коммунизма. Все теперь выглядело иначе. Карточки исчезли, люди больше не прикреплялись. Штаты различных учреждений сильно сократились, и никто не составлял грандиозных проектов. Пролеткультовские поэты перестали писать на космические темы. Поэт М. Герасимов сказал мне: «Правильно, но тошно...»

Машинистка ТЕО, рыжая девушка, которую мы почему-то называли Клеопатрой, давно позабыла «Октябрь в театре» и клетот Всеволода Эмильевича. Она стояла на Петровке, возле Пассажа, и торговала бюстгальтерами.

Старые рабочие, инженеры с трудом восстанавливали производство. Появились товары. Крестьяне начали привозить живность на рынки. Москвичи отъелись, повеселели. Я и радовался и огорчался. Газеты писали о «гримасах нэпа». С точки зрения политика или производственника, новая линия была правильной; теперь мы знаем: она дала именно то, что должна была дать. Но у сердца свои резоны: нэп часто мне казался одной зловещей гримасой.

Помню, как, приехав в Москву, я застыл перед гастрономическим магазином. Чего только там не было! Убедительнее всего была вывеска: «Эстомак» (желудок). Брюхо было не только реабилитировано, но возвеличено. В кафе на углу Петровки и Столешникова меня рассмешила надпись: «Нас посещают дети кушать сливки». Детей я не обнаружил, но посетителей было много, и казалось, они тучнели на глазах.

Пооткрывалось множество ресторанов: вот «Прага», там «Эрмитаж», дальше «Лиссабон», «Бар». Официанты были во фраках (я так и не понял, сшили ли фраки заново, или они сохранились в сундуках с дореволюционных Бремен). На каждом углу шумели пивные - с фокстротом, с русским хором, с цыганами, с балалайками, просто с мордобоем. Пили пиво и портвейн, чтобы поскорее охмелеть; закусывали горохом или воблой, кричали, пускали в ход кулаки.

Возле ресторанов стояли лихачи, поджидая загулявших, и, как в далекие времена моего детства, приговаривали: «Ваше сиятельство,

подвезу...»

Здесь же можно было увидеть нищенок, беспризорных; они жалобно тянули: «Копеечку». Копеек не было: были миллионы («лимоны») и новенькие червонцы. В казино проигрывали за ночь несколько миллионов: барыши маклеров, спекулянтов или обыкновенных воров.

На Сухаревке я услышал различные песенки, они, может быть, лучше многих описаний расскажут читателю о «гримасах нэпа». Была песенка философическая:

Цыпленок жареный, цыпленок пареный,

Цыпленки тоже хотят жить...

Я не советский, я не кадетский,

Я только птичий комиссар.

Я не обмеривал, и не расстреливал,

Я только зернышки клевал...

Была песня торговки бубликами:

Отец мой пьяница.

Он к рюмке тянется,

Он врет и чванится,

А брат мой вор,

Сестра гулящая.

Совсем пропащая,

А мать курящая -

Какой позор!

Была бандитская, кажется завезенная из Одессы:

Товарищ, товарищ, болят мои раны...

Товарищ, товарищ, за что мы боролись.

За что прилипали мы кровь -

Буржуи пируют, буржуи ликуют...

Встретил я цыганку, которая до революции пела в ресторане. В 1920 году она каждый день приходила к Мейерхольду, требовала, чтобы он ей устроил паек. Всеволод Эмильевич ее направил в МУЗО. Улыбаясь, она рассказывала: «Четыре года кочевала. А теперь осела - пою в «Лиссабоне».

Знакомая актриса позвала меня к себе. Не знаю, как ей удалось сохранить отдельную квартиру в особняке возле Кропоткинской. Было много гостей, танцевали фокстрот, торжественно, как будто

выполняли обряд. В полночь пришел молодой человек в узеньком ярко-рыжем пиджаке, начал снисходительно объяснять: в Москве не умеют отличить фокстрот от уанстепа - он ездил недавно в командировку и видел, как танцуют в Лейпциге. Все внимательно слушали. Завели патефон - те же куплеты, что в дансингах Парижа и Берлина: «Вы любите ль бананы», «Ищу мою Титину». Актриса мне рассказала, что юноша, ездивший в Лейпциг, учился с нею в театральной студии, а теперь работает во Внешторге. «Его, наверно, скоро посадят, уж очень он хапает...»

Буржуа с детства знали достаток; трата денег для них была привычным занятием. Старая буржуазия рассеялась по миру; многим за границей пришлось плохо; переход от богатства и праздности к нужде, к черной работе доводил людей до отчаяния, до самоубийства, до преступлений. Социальное происхождение нэпманов было пестрым. Бывший помощник присяжного поверенного, прослуживший два года в Наркомюсте, вдруг начал торговать местами в спальных вагонах. Я знал поэта, который в 1921 году читал полуфутуристические стихи в «Домино»; теперь он перепродавал французскую парфюмерию и эстонский коньяк. Судили бывшего рабочего завода Гужона, участника гражданской войны,- он похитил вагон мануфактуры и попался случайно: напился в ресторане, разбил зеркало; на нем нашли восемь миллионов. Конечно, он не походил на наследственного буржуа, как не походил на пролетария какой-нибудь поручик, в прошлом сын богатой домовладелицы, которого нужда загнала на парижский завод. Миллионы бросались в голову нэпманам, они сумасбродствовали, скандалили, быстро гибли. Редко кто откладывал на черный день: люди не верили ни в долголетие нэпа, ни в ассигнации. Грань между дозволенной наживой и наказуемой спекуляцией была тонкой. Время от времени сотрудники ГПУ арестовывали десяток или сотню наиболее предприимчивых делег; это называлось «снять накинь нэпа». Повар знает, когда ему снять накипь с ухи, но вряд ли все нэпманы понимали, кто они - рыбешка или накинь. Неуверенность в завтрашнем дне придавала развлечениям повой буржуазии особый характер. Та Москва, которую Есенин называл «кабацкой», буянила с надрывом; это напоминало помесь золотой лихорадки в Калифорнии прошлого века и уцененной достоевщины.

Рядом была другая Москва. Бывший «Метрополь» оставался Вторым домом Советов; в нем жили ответственные работники; в столовой они ели скромные биточки. Они продолжали работать по четырнадцать часов в сутки. Инженеры и врачи, учителя и агрономы если не с прежним романтизмом, то с прежней настойчивостью восстанавливали страну, разоренную гражданской войной, блокадой, годами засухи. На лекции в Политехническом по-прежнему было трудно пробиться; книги в магазинах не залеживались - штурм знаний продолжался.

В 1924 году я писал: «Не знаю, что выйдет из этой молодежи - строители коммунизма или американизированные специалисты; но я люблю это новое племя, героическое и озорное, способное трезво учиться и бодро голодать, голодать не как в студенческих пьесах Леонида Андреева, а всерьез, переходить от пулеметов к самоучителям и обратно, племя, гогочущее в цирке и грозное в скорби, бесслезное, заскорузлое, чуждое влюбленности и искусства, преданное точным наукам, спорту, кинематографу. Его романтизм не в творчестве потусторонних мифов, а в дерзкой попытке изготовлять мифы взаправду, серийно - на заводах; такой романтизм оправдан Октябрем и скреплен кровью семи революционных лет». (Конечно, в формулировках сказалось былое увлечение конструктивизмом; но мне кажется, что я верно подметил некоторые черты, присущие молодежи тех лет.) Я добавлял: «Хорошо, что они умеют критически подойти к фактам. Когда кто-нибудь начинает поддакивать любому докладчику, над ним смеются, называют «такальщиком» - от односложного «так, так»...»

Рабфаковцы, о которых я писал, были людьми, родившимися в первые годы нашего века. Я был старше их всего на десять-двенадцать лет; но смена поколений была резкой. Моими сверстниками были Маяковский, Пастернак, Цветаева, Федин, Мандельштам, Паустовский, Бабель, Тынянов. Мы прожили молодость в дореволюционные годы; многое помнили; иногда это нам мешало, иногда помогало. А студенты 1924 года увидели революцию глазами подростков, они формировались в годы гражданской войны и нэпа. Это - поколение Фадеева и Светлова, Каверина и Заболоцкого, Евгения Петрова и Луговского. Оно рано начало редеть. Теперь те, что выжили, выходят на пенсию; у них есть время, чтобы изучить тот

предмет, который Гюго называл «искусство быть дедушкой»; и я заметил, что молодые скорее находят общий язык с ними, нежели со своими отцами.

Снег белой сострадательной пеленой покрывает все. Когда приходит первая оттепель, земля обнажается. В годы нэпа нас потрясала, порой доводила до отчаяния живучесть мещанства; ведь мы тогда были наивными и не знали, что перестроить человека куда труднее, чем систему управления государством.

Маяковский в 1921 году, в медовый месяц нэпа, возмущался:

Опутали революцию обывательщины нити.

Страшнее Врангеля обывательский быт.

Скорее головы канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит!

Он писал о чиновниках, которые «засели во все учреждения. Намозолив от пятилетнего сидения зады, крепкие, как умывальники». Перечитывая эти стихи, я невольно улыбаюсь: кабинеты и спальни («гарнитуры») те же. а зады стали крепче...

Комнаты у меня в Москве не было, меня приютили в ЦЕКУБУ на Кропоткинской. Туда приходили старые ученые, беседовали или молча вздыхали - им трудно было понять, что к чему.

Вздыхали в те годы и многие поэты; и так как они это делали не в столовой ЦЕКУБУ, а на страницах журналов, их за вздохи ругали: улыбка считалась аттестатом политической стойкости. Выходил журнал «На посту»; название казалось романтическим, в действительности пост был скорее милицейским, чем боевым. Напостовцы ругали всех - А. Толстого и Маяковского, Всеволода Иванова и Есенина, Ахматову и Вересаева. Поэты, однако, продолжали вздыхать. Асеев написал печальную поэму о любви - «Лирическое отступление», и напостовцы, обрадованные, цитировали вырванные из нее строки:

Как я стану твоим поэтом, коммунизма племя, если крашено рыжим цветом, а не красным время?

Я пошел к Маяковскому. У Бриков было, как всегда, много гостей; пили чай, ели холодные котлеты. Маяковский, мрачный, здесь же дорисовывал какой-то плакат. Несколько дней спустя я его встретил в клубе; он доказывал, что нужно помочь государству бороться с частной торговлей; писал рекламы:

Все, что требует желудок, тело или ум,
Все человеку предоставляет

Или:

Разрешаются все мировые вопросы,- лучшее в жизни - «Посольские» папиросы.

Ночью он вдруг начал читать прекрасные отрывки из поэмы «Про это»; в стихах он пытался убедить себя, что добровольно никогда не расстанется с жизнью...

Наступило время для прозы: можно было продумать пережитое. Фадеев писал «Разгром», Бабель - «Конармию», Тынянов - «Кюхлю», Зощенко - «Рассказы Синебрюхова», Федин - «Города и годы», Леонов - «Барсуков».

Мне хотелось поехать по стране; денег у меня не было, и я соблазнился предложением одного из многочисленных в то время организаторов литературных вечеров. Он предложил мне поехать в Петроград, Харьков, Киев, Одессу и прочесть лекции о жизни Западной Европы. Импресарио хотел идти в ногу со временем,- следовательно, хорошо заработать; он был человеком немолодым и неизменным неудачником. Задумал он все безупречно: лекции устраивались Обществом Красного Креста, которое должно было получить часть доходов; в различные города выехали разведчики; один был сыном импресарио, Леней, молоденьким студентом, застенчивым нахалом, который решил, не теряя времени, написать книгу обо мне и все время ошарашивал меня вопросами: «Расскажите, как вы впервые влюбились», «Кого вы ставите выше - Вольтера или Анатоля Франса», «Какой, по-вашему, Эрос - крылатый или бескрылый»; другой организатор был человеком вполне деловым, он ел со вкусом гуся, на станциях находил скучающих девиц и заманивал их в купе спального вагона, торговался с учреждениями, сдававшими залы, и говорил мне: «Я должен сегодня заработать двадцать червонцев, и вы увидите, что я их заработаю...»

Нужно было найти название для лекций. Маяковский приучил публику к афишам, которым позавидовал бы любой американец: «Поэзия - обрабатывающая промышленность», «Анализ бесконечно малых», «Дирижер трех Америк», «Белые сосиски Лизистраты», «А

все-таки Эренбург вертится», «Курящийся Вересаев», «Бал в честь юной королевы», «Брюсов и бандаж». Импресарио молил: «Что-нибудь непонятное...» Я выбрал первое, что мне пришло в голову, - «Пьяный оператор».

В Харькове импресарио снял цирк «Миссури». Никаких микрофонов в то время не было. Я, надрываясь, кричал что-то о фильмах Чаплина, а публика редела: «Не слышно». Я хотел уйти; меня удержал импресарио: «Потребуют деньги за билеты. У меня большая семья... Постарайтесь!.. Жена вам уже взбивает гоголь-моголь...»

Я увидел впервые Одессу; я знал ее по забавным анекдотам, и «Одесса-мама» меня удивила: она оказалась печальной. В порту было пусто. Кое-где чернели развалины. Исчезло, видимо, бывшее легкомыслие; жизнь не налаживалась. На одной из площадей я увидел голову бородатого удельного князя, под ней значилось: «Карл Маркс». Молоденькая билетерша в театре, где я читал лекцию, потрясла студента Леню - неожиданно ему сказала: «Что вы мне все строите плазки?.. Это уже пройденный этап. Пригласите меня поужинать в «Лондонскую», и тогда мы поговорим, потому что я теперь на хозрасчете...»

«Лондонская гостиница» была живописным местом. В некоторых номерах по-прежнему жили ответственные работники; жены готовили на примусах обед, нянчили детей; вечером шли разговоры о последней передовице «Правды», о повестке дня Тринадцатого съезда. В других номерах останавливались спекулянты, журналисты, актеры эстрады, «красные купцы»; там пили, иногда дебоширили. На базаре я услышал песенку «Ужасно шумно в доме Шнеерсона...». А у Шнеерсона было очень тихо; тихо было на улицах, носивших новые имена: Интернациональная, Пролетарская, Лассаля, Коммуны. В кафе Печеского спекулянты, заказывая стакан чаю, старались перепродать друг другу трухлявые зеленые или оранжевые доллары. Маклеры на час нервно позевывали - время от времени происходила облава и всех забирали.

В местной газете секретарь редакции показал мне стихи молодого одессита; он писал о море, о птицах, о клетках для птиц; стихи мне понравились, я спросил, как зовут поэта; секретарь ответил: «Эдуард Багрицкий».

Я разбил стекло ручных часов и пошел к часовщику. Он долго подгонял стеклышко; я молча ждал, а он говорил не замолкая: «Сегодня в газете напустились на Керзона. Но я вам скажу, что Керзон их не боится. Это я их боюсь. Во-первых, я боюсь фининспектора, во-вторых, я боюсь ГПУ, в-третьих, я боюсь вас - откуда я знаю, что вы за человек и зачем вы хотите, чтобы я вам все выкладывал...»

Нищенки говорили: «Подайте, товарищ», «Ради господ бога, гражданин миленький», «Копеечку, барин»... Путались слова, путались и эпохи.

В Киеве я ехал по Крещатику, вдруг санки распались, лошадь с извозчиком уехали, а я с сиденьем саней очутился в сугробе. Санки не выдержали, но на базарах продавали добротные дореволюционные вещи: самовары, швейные машины Зингера, часы Мозера, пузатые купеческие чашки.

Крепче всего держалось прошлое в сознании. На одной из станций крестьянка с мешком по ошибке вошла в мягкий вагон. Проводник заорал: «Куда прешь? Вылезай! Это тебе не семнадцатый!..»

В Гомеле, в вокзальном буфете, висело изречение: «Кто не трудится, тот пусть и не ест». За столиками обедали пассажиры спального вагона. Здесь же бродили беспризорные в надежде на подачку. Один пассажир протянул девочке тарелку с остатками мяса в соусе: «Жри!» Подбежал официант (или, как тогда говорили, гражданин служающий) и, вырвав из рук девочки тарелку, вытряхнул кусок мяса, картошку на лохмотья, заменявшие девочке платье. Я возмутился; никто меня не поддержал. Девочка плакала и поспешно ела. Я видел в Гомеле спичечную фабрику; директор, бывший рабочий, раненный в боях против Деникина, больной, работал с утра до ночи: не было клея для намазки коробок; он повторял: «Стране нужны спички...» Гомельские юноши говорили о боях в Гамбурге, о стихах Маяковского, о будущем. А перед моими глазами стояли тупые, равнодушные физиономии в вокзальном буфете и затравленный ребенок...

Деловой помощник импресарио был доволен: он перевыполнил план. Леня книги обо мне не написал, говорил всем: «А зачем о нем писать? Я его знаю как облупленного...» Отец Лени погорел, хотя сборы были хорошими: по пути из Одессы в Ленинград из-за заносов

мы простояли на полустанке два дня, и мой импресарио уплатил неустойку за зал. Ничего не поделаешь - он был вечным неудачником. Что касается меня, то я был доволен: многое увидел.

После каждой лекции меня засыпали вопросами, некоторые я записал: «Почему не вышла революция в Германии», «Какие теперь моды в Париже», «Что вы хотели сказать вашим «Хуренито» - да или нет», «Кто хуже - социал-предатели или фашисты», «Объясните коротко теорию относительности», «Почему школы снова платные», «Почему вы, писатели, настраиваете девчат на всяческие объяснения», «Берут ли в Индии иностранных борцов за независимость», «Правда ли, что вы приятель Вандервельде», «О вас пишут, что вы продукт разложения, скажите в таком случае, сколько вы получаете за лекцию», «Маяковский говорит, что поэзия - продукция, а у Пушкина не так: кто, по-вашему, прав», «Откроет ли коммунизм возможность победить смерть», «Вы за футбол или признаете также регби», «Расскажите о работах Резерфорда в области трансформации атомов», «Чем тустеп отличается от уанстепа и что больше танцуют в Берлине», «Почему у нас переводят «Тарзана», а роман Марселя Пруста не существует в переводе», «Повлияет ли, по-вашему, денежная реформа на сокращение ножниц», «Знакомы ли вы с Пикассо, что он теперь делает», «Половая любовь - это буржуазный пережиток, почему этого не говорят прямо», «Недавно у нас выступал лектор, он говорил, что искусство сохраняется в переходный период, а при коммунизме исчезнет, я с этим не согласна, помогите разобраться».

Я привел эти вопросы в том порядке, вернее, беспорядке, и котором их переписал; мне кажется, что они могут помочь понять те, уже далекие, годы.

Я часто беседовал с молодыми людьми; разные попадались: умные и глупые, честные и карьеристы. Нэп помог восстановлению экономики, но вряд ли он был хорошей школой для юношей и девушек. У всех еще были в памяти годы гражданской войны: подвиги, слава, зверства, героика, грабежи. Молодежь, пришедшая в университеты с фронта, из деревень, была горячей, напористой. Студенты хорошо учились, да и вели себя хорошо, колеблясь между наивным утилитаризмом и свойственной их возрасту романтикой. Но было немало и таких, что теряли голову,- честолюбцев, фантазеров без

азов морали, слабовольных, которые, очутившись в дурной компании, шли на все. Рядом со скромной студенческой жизнью шел разгул. «Москва кабацкая», где агонизировал Есенин, дышала в лицо угаром, сбивала многих с пути.

Один юноша рассказал мне длинную, путаную, но не очень-то сложную историю: еще недавно он был честным комсомольцем, хороню учился. Товарищ втянул его в нехорошую затею; выглядело все благородно - ему поручили собирать деньги на воздушный флот, оказалось, что сборами занималась шайка мошенников. Студент возмутился, хотел пойти в ГПУ, но, получив пачку ассигнаций, соблазнился мишурой жизни. Он влюбился в девушку, которая требовала подарков, стал спекулировать; из комсомола его вычистили; он ждал ареста. У него были очень выразительные руки, они рвались кверху, грозили, умоляли.

Мне захотелось написать о нем, о таких, как он. Я начал ходить на судебные заседания; получил разрешение беседовать с заключенными в изоляторах (так тогда называли тюрьмы). Привлекала меня, конечно, не живописность среды, не уголовщина, а история взлета и падения тех крутых, скользких лет.

Тогда входило в обиход новое словечко «рвач», и я назвал моего героя, сына киевского официанта, рвачом. Я описал его детство, стремление к славе, себялюбие, подъем в первые годы революции, участие в гражданской войне, учебу, падение. У Михаила Лыкова (так звали моего героя) был брат, Артем, честный, не очень разбирающийся в сердечных делах, но добрый, старавшийся удержать Михаила от падения. Герой мой не был Растиньком; в нем жили различные, порой противоречивые чувства. Полюбив корыстную, пустую женщину, он вел себя с ней, как мальчишка. Вместе с тем он верил в свою исключительность, в свое превосходство над товарищами. Если угодно, он чем-то напоминал Жюльена Сореля, родившегося сто лет спустя, в стране социалистической революции. Осужденный, он в тюрьме кончил жизнь самоубийством.

Я писал в одном из писем: «Я заканчиваю «Рвача». Я даже привязался к моему герою, хотя он пакостник, сволочь, склонная к романтике, патетический спекулянтик...» Мне и теперь кажется, что писатель, освещая внутренний мир тех героев, которых критики называют «отрицательными», привязывается к ним: он ведь видит

хорошие начала, которые были заложены в сердце человека, опустившегося на дно. Никогда я не думал оправдывать рвачей. Эпиграфом к книге я взял слова древней молитвы, осуждающей индивидуализм: «Да будет воля твоя, чтобы этот год был росистым и дождливым, и да не проникнут в тебя молитвы путников на путях по поводу дождя, который им помеха, когда весь мир нуждается в дожде».

Я знал, что меня снова будут упрекать: зачем писать о каком-то жалком рваче, когда кругом столько благородных и вдохновенных героев? Мне думается, что обязанностью врача является поставить диагноз, и только сумасшедшему может прийти в голову, что доктор, констатируя случай эпидемического заболевания, тем самым распространяет эпидемию. В романе «Рвач» попытка показать душевный мир свихнувшегося Михаила Лыкова сопровождалась сатирическим описанием быта тех лет. Даже напостовцы признавали в теории необходимость сатиры, но каждую попытку показать ту или иную уродливую сторону нашей жизни они немедленно объявляли клеветой. («Нам нужны наши Щедрины и Гоголи» - это я услышал много позже. Сатира по-прежнему считалась в теории необходимой, а на практике чуть ли не актом диверсии; и один поэт сочинил стишок:

Я за смех, но нам нужны
Подобнее Щедрины
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали...)

Я писал в 1924 году: «Если в моих книгах так называемые «отрицательные типы» отличаются большей выразительностью, то в этом следует видеть отсутствие универсальности, ограниченность человеческой природы, а не хитрые козни. Как бы я хотел, вместо обличений моих книг, прочитать прекрасную эпопею нового, здорового, бодрого человека! Увы, благонамеренные критики не торопятся ее писать, они предпочитают осуждать меня. Я же предпочитаю отдаваться работе, к которой чувствую прирожденную склонность. Не дожидаясь часа, когда будет написана вдохновенная книга об Артеме, я хочу рассказать современникам историю его брата...»

Двадцать шестого января 1925 года и сообщал: «Попов отказался от «Рвача», следовательно, он вряд ли выйдет...» (Не помню, о каком

Попове шла речь.)

Один из наиболее видных напостовцев, называя меня «откровенным врагом революции», писал: «Пафос «Рвача» - любованье нэпаческой хищнической средой, утверждение о захвате буржуазными хищниками всего нашего хозяйственного аппарата. Вот конечное падение вчерашнего кандидата в русские Шпенглеры...» В минуту тоски Эдуард Багрицкий написал:

Чуть ветер,
Чуть север -
И мы облетаем.
Чей путь мы собою теперь устилаем?
Чьи моги по ржавчине нашей пройдут?
Потопчут ли нас трубачи молодые?
Взойдут ли над нами созвездья чужие?
Мы - ржавых дубов облетевший уют...

На Кузнецком в витрине книжного магазина я увидел «Дерево советской литературы». Ветви были сопровождаемы пояснительными этикетками: «Пролетарские писатели», «Лефовцы», «Крестьянские поэты», «Левые попутчики», «Попутчики-центр», «Правые попутчики», «Необуржуазная литература» и так далее. Под деревом валялись опавшие листья, и на одном из них значилось: «Эренбург».

Ветра потом было вдоволь, ветра и севера. Чудом я не облетел.

Недавно я разыскал в библиотеке полуистлевший номер однодневной литературной газеты «Ленин», вышедший в день похорон Владимира Ильича. Есть там и моя статья, написанная наспех, в том душевном состоянии, когда не думаешь о стиле. Я хочу привести отрывки из этой корявой статьи - они могут объяснить последующие части моей книги.

Вспоминая Париж довоенных лет, я писал:

«Что знали мы в те годы канунов? Беспокойство и бродяжничество, бомбы и стихи.

...Разве не ему принадлежат эти пронзительные и достойные слова: «Мы ошибались, мы много раз ошибались». Да, здесь могли быть и срывы и ошибки, ибо здесь была жизнь. А там, среди грустных сизых домов, в стране, где краснойбай не устает говорить о свободе, о величии личности, там не оказалось ни героев, ни строителей, ни вождей. Там не могло быть и ошибок: там не было жизни.

...За четыре года страшной войны Европа получила Версаль, а Россия выстрадала Октябрь...

...Чтобы понять творческую мощь Ленина, стоит только взглянуть туда, где Пуанкаре над развалинами и крестами каждое воскресенье бурно кричит: «Мы?.. Нет, мы никогда не ошибались!»

...Он знал. Мы не знали. Мы не знали, что национальная революция полудикой крестьянской России вырастет в эру мира. Мы не знали, что «Даешь землю!» февраля станет в Октябре «Даешь Землю!». Он это знал. Знал, сидя в Женеве. Знал, работая по ночам в маленькой комнате при свете керосиновой лампы.

И вот несколько месяцев тому назад в Сан-Паули - в Гамбурге, после подавленного восстания, я слышал такой разговор. Спорили два родных брата, оба рабочие. Братия. Враги. Один участвовал в восстании, другой его подавлял. И тот, что участвовал в восстании, был ранен. Его тихонько от «зеленых» отвезли домой. Подавлявший говорил: «Зачем было восставать? Ведь социалисты в сенате обещали выдать по полфунта маргарина... Ты слышишь?..» Тот, что участвовал в восстании, ответил: «А мы получим его». И, говоря это, он показал

на портрет, висевший в его комнате, как он висит в сотнях тысяч рабочих комнат всех городов всех стран.

...Мы часто недоумевали. У нас было наше новое искусство, наше беспокойство, наше бродяжничество по миру. И нам казалось, что все это чуждо ему. Мы не знали, что вне его работы нет нам ни роста, ни жизни. Пусть дом не достроен. Пусть в нем очень трудно и очень холодно. Но ведь стены его растут. А там, где целы все дома, где десять лет назад писатели бунтовали и томились,- в городе сизых домов? Там нам нет места. Маленькая буря в стакане воды окончилась. Остались оды в честь академика Фоша да приличный обед из трех блюд. Отчаяние великой европейской ночи - он знал и это. Он был однодумом, он думал об одном для того, чтобы другие, счастливые, могли думать о многом...»

Когда уходит большой человек, люди невольно оглядываются и на то, что мы называем историей, и на свою маленькую жизнь. Так было и со мной, когда я писал о кончине Ленина: я не помнил кануны, «Ротонду», бунт писателей, художников и в сердцах, наверно несправедливо, обозвал это все «бурей в стакане воды». Самоуничтожение диктовалось горечью потери, осознанием того решающего и воистину всеобщего, что осуществил человек, отнятый у человечества смертью.

Мои давние слова о значении Октября, противопоставление трудного пути России духовному оскудению Запада мне кажутся правильными и теперь.

«Пусть дом не достроен...» Да, в 1924 году мы не знали, каким потом, какими слезами, какой кровью будет оплачен тот дом, стены которого уже высились при Ленине. Мы не знали, что в тридцатые, в сороковые годы нам не скажут дружески, по-товарищески об ошибках. А дом построен: и душевная сила нашего народа сказалась в том, что он его строил несмотря ни на что.

В те январские дни стояли редкие и дли московской зимы морозы. Напрасно пытались уговорить детей оставаться дома. Взрослые несли на плечах малышей. Красноармейцы плакали. Ночью в Охотном ряду, на Дмитровке, на Петровке - повсюду горели костры, и у костров хмурые люди в тулупах молчали. Было много бородатых ходоков: крестьянская Россия в те времена еще носила бороду.

Я не мог оставаться дома. Видел похоронную процессию на Балчуге. Помню, как несли гроб ближайшие товарищи Ленина (имена многих исчезли из учебников истории). Был в Колонном зале, где рыдания перебивали траурный марш. Москва, та, что, согласно поговорке, не верит слезам, плакала навзрыд. Я пошел к Николаю Ивановичу, моему товарищу по нелегальной школьной организации, он жил во Втором доме Советов. Обычно веселый, он молчал, и вдруг я увидел в его глазах слезы. Плакала старая дворничиха ЦЕКУБУ. Горе народа было большим, неподдельным.

В те жестокие январские ночи я как бы издал в перспективе веков - увидел, что осуществил наш народ; и какими бы ни были мои сомнения в последующие, куда более тяжкие десятилетия, передо мной всегда стоял замысел Ленина, приподымал меня, удерживал от недоброго. Я был молодым беспартийным писателем; для одних - «попутчиком», для других - «врагом», а в действительности - обыкновенным советским интеллигентом, сложившимся в дореволюционные годы. Как бы пас ни ругали, как бы ни косились на наши рано поседевшие головы, мы знали, что путь советского народа - наш путь.

Мне несколько раз довелось в Париже разговаривать с В. И. Лениным; я знал, что он любил Пушкина, любил классическую музыку, был человеком сложным, душевно широким. Но всю свою страсть, всю силу творческого гения он вложил в одно - в борьбу за освобождение рабочих от эксплуатации, в создание нового, социалистического общества. Вот почему я писал в 1924 году: «Он думал об одном, чтобы другие, счастливые, могли думать о многом».

Слово «счастливые» может резануть ухо. Малыши, которых несли на плечах в Колонный зал, это сироты тридцатых годов, солдаты Отечественной войны, люди с проседью, читавшие отчеты о Двадцатом съезде... И все же слова о счастье правда; когда я бываю теперь на собраниях нашей молодежи, я вижу, что юноши и девушки о многом думают, многим увлекаются, многое знают.

Мне хочется еще вспомнить Владимира Ильича, сказать будничное, простое. Когда я разговаривал с ним в Париже, он вдруг прервал меня: «Комнату нашли? Гостиницы здесь очень дорогие...» И обратился к Надежде Константиновне: «Кто ему здесь поможет? Людмила? Ну, она знает...» П. И. Альтман в кабинете Владимира

Ильича лепил его голову, и раз ему пришлось быстро уйти - к Ленину пришли товарищи. Владимир Ильич позаботился смочить глину, не забыл. А. В. Луначарский мне рассказывал, что, когда он спросил Ленина, можно ли предоставить «левым» художникам украсить к Первому мая Красную площадь, Владимир Ильич ответил: «Я в этом не специалист, не хочу навязывать другим свои вкусы...»

У Сталина есть статья о политическом стиле Ленина. Она написана еще в двадцатые годы, и, наверно, все в ней правильно. Но человеческий стиль Ленина оказался неповторимым: дерзость творческого замысла и редкостная скромность, сила, решимость, не исключавшая ни мягкости, ни глубокого уважения к духовным ценностям, к разуму, к искусству, человечность, подлинная человечность.

В мае 1924 года я поехал с Любой в Италию. Там было много разноязычных туристов; среди них немцы, которые приехали с твердой маркой и с не менее твердой уверенностью, что они спаслись от землетрясения и могут наслаждаться краем, где зреют лимоны.

(Французы говорят, что кот, который однажды обжегся, боится и холодной воды. Люди легкомысленнее котов. Десять тысяч жителей новых Помпеев смотрят на Везувий как на отца-кормильца: они ведь живут любознательностью туристов. В 1944 году Везувий, на минуту проснувшись, уничтожил городок Сан-Себастьяно. Жители соседних городов, однако, никуда не уехали.)

В Венеции была международная выставка, в которой впервые участвовали советские художники. Мы сидели в кафе Флориана на площади Сан-Марко; помню художницу А. А. Экстер, Б. Н. Терновца. Кафе Флориана было тогда сто шестьдесят три года; теперь ему стукнуло двести - можно было устроить юбилей. Наверно, в нем сживали за чашкой шоколада Лонги, Каналетто, Гольдони, Гоцци. Я не помню, о чем мы говорили; может быть, о последних постановках Мейерхольда или о холстах Сарьяна, выставленных в Венеции, а может быть, о комедии масок.

Сухопарые англичанки кормили неповоротливых голубей. Чистильщики ботинок и продавцы кораллов извивались, как классические арлекины. Туристы восхищались устно и письменно, старательно подписывая пачки ярких открыток. Все это напоминало постановку в Камерном театре.

Кругом был город с сотнями таинственных зловонных каналов, с кавалькадами мяукающих кошек, с домами семнадцатого века, в которых люди, как в самых обыкновенных домах, мечтают, ревнуют, ссорятся, просматривают вечерку, болеют гриппом или аппендицитом. Обычная жизнь была обрамлена изумительными перспективами, фисташковым небом, розовой водой, мостиками, колоннами, фонтанами. Вот где человеку нужны глаза! А я глядел на чернорубашечников, которые прогуливались по площади или ели мороженое.

Мы поехали в Мурано, увидели там искуснейших стеклодувов. На фабричных стенах чернели надписи: «Да здравствует Ленин!» Легионеры в черных шапчонках злились и перекладывали из одного кармана в другой новенькие игрушки - револьверы.

Я сказал, что для людей моего поколения передышка была недолгой, да и редко нам удавалось забыть то, что в газетах называют «историческими событиями». Почему я не мог спокойно любоваться полотнами Тинторетто или водой каналов? Что-то меня тревожило, вероятно новизна: я ведь впервые видел настоящих, живых фашистов.

Юношей я восхищался фресками Кампо-Санто и сказал Любе, что нужно обязательно побывать в Пизе. Люба глядела на светлую живопись Беноццо Гоццоли, который покрыл стены кладбища сладостью земной жизни; а я глядел на чернорубашечников. Во время войны немецкая бомба уничтожила часть пизанских фресок. Недавно я снова оказался в Пизе и увидел клочья былых видений; мне стало обидно, что я когда-то не напаялся на фрески досыта; а ничего тут не поделаешь: Живешь не так, как хочется, - так, как живется.

Вряд ли в 1924 году можно было предвидеть, что фашизм, переключившись из полупатриархальной бедной Италии в хорошо организованную Германию, уничтожит пятьдесят миллионов душ и покалечит жизнь нескольких поколений. Но мне было обидно за Италию, обидно и тревожно. Кто эти люди, улюлюкающие, марширующие, поднимающие вверх руки? Наверно, неудачники, сыновья разорившихся лавочников, провинциальных нотариусов или адвокатов, честолобцы, соблазнившиеся звонкими фразами. Можно было принять их за маски дурацкого карнавала, но я уже знал, что люди живут не по Декарту...

Почему-то мы попали в маленький город средней Италии - Бибиелу; там нет достопримечательностей, и туристы туда редко заглядывают. А это чудесный городок! Вечером я зашел в полутемную трактирню, где стояли огромные круглые бутылки с красным вином. Старик рассказывал трактирщику и двум посетителям длинную историю о том, как из Америки вернулся каменщик Джулио. Он накопил немного денег, собирался жениться. А из Арrezzo приехал в машине секретарь фашио. Они пили вино за двумя столиками, и вдруг секретарь начал задевать Джулио, требовал, чтобы каменщик крикнул: «Да здравствует Муссолини!» Джулио ответил: «Пусть

кричат ослы». Тогда фашист его застрелил. Для вида убийцу арестовали, а неделю спустя выпустили. Вот и вся история... Старик пил вино и крючковатыми пальцами крошил сухой сыр. Я вышел. Холм казался звездным небом - летали мириады светляков. Нежно квакали лягушки. В темноте влюбленные обменивались клятвами и поцелуями. А я думал о судьбе неизвестного мне Джулио.

Когда мы приехали в Рим, все казалось спокойным. Мы пошли в посольство. Посол говорил, что торговые отношения с Италией налаживаются; рассказал, что и Рим приехал поэт В. И. Иванов, он бывает в посольстве. Туристы спешили в Ватикан или в Колизей. В кафе «Аранья» на Корсо политики обсуждали, во сколько обошлась Италии экспедиция на Корфу. Я ходил в музей, восхищался византийскими мозаиками и на несколько дней забыл о политике. Вдруг мы увидели на площади Монтечиторио взволнованные толпы людей; они что-то кричали, жгли газеты. То же самое происходило и на других площадях: я слышал крики: «Долой фашистов! Долой убийц!» Возмущенные люди жгли пачки фашистских газет - «Коррьере итальяно», «Пополо д'Италия», «Империо». Несколько минут спустя я узнал, что фашисты похитили молодого социалистического депутата Джакомо Маттеотти.

Реакцию людей на события трудно предвидеть; иногда уничтожение тысячи жертв проходит почти незамеченным, иногда убийство одного человека потрясает мир. Расправа с Маттеотти походила в своей простоте и наглядности на древнюю притчу. Повсюду я слышал имя жертвы.

(В книге «10 л. с.» я написал о конце Маттеотти, хотя это и не имело прямого отношения к заводам Ситроена или к борьбе за нефть. Я не мог промолчать: то, что приключилось 10 июня 1924 года в Риме, вошло и в мою жизнь.)

В Италии тогда еще существовал парламент: весной были выборы. Фашисты с помощью вина и касторки, посулов и дубинок обеспечили себе большинство; оппозиционные партии, однако, набрали около сорока процентов голосов. 30 мая молодой депутат Маттеотти выступил в парламенте с мужественной речью, рассказал о насилии, об убийствах. Фашисты его прерывали воем; один кричал: «Убирайся в Россию!»

Когда Маттеотти сошел с трибуны, левые депутаты его поздравляли; он с усмешкой ответил одному из них: «Теперь готовьте некролог...» Одиннадцать дней спустя он вышел из дому, чтобы купить сигареты, и не вернулся.

Муссолини уже не мог вынести критики, но арестовать депутата он еще не решался: он поручил своему другу Чезаре Росси устранить Маттеотти. Росси заведовал отделом печати министерства внутренних дел; это было вывеской - в действительности «отдел печати» занимался убийством политических противников. Росси вызвал редактора газеты «Коррьере итальяно» Филиппелли. Редактор, в свою очередь, вызвал некоего Думини.

На набережной Тибра, недалеко от дома, в котором жил Маттеотти, его окружили неизвестные люди, силой втокнули в машину. Автомобиль понесся за город. Похитители заткнули рот Маттеотти. Думини знал свое дело (потом он признался, что убил двенадцать антифашистов). Маттеотти страдал туберкулезом; борьба была недолгой: когда Маттеотти попытался открыть дверцу машины, Думини нырнул его ножом.

В пустынном месте возле Куартарелла фашисты наспех зарыли тело Маттеотти. Муссолини с удовлетворением узнал, что дело сделано чисто; он не ждал огласки - пропал и пропал... Оказалось, женщины видели, как человека насильно втокнули в красный автомобиль. Оппозиционные газеты еще продолжали выходить. Началось следствие. Нашли машину Филиппелли, сиденье было замарано кровью. Пришлось арестовать Думини. Привлекли к следствию даже Росси, но сразу дело замяли. А Росси вскоре рассорился с Муссолини, удрал и Париж и там начал разоблачать своего бывшего друга.

Рим кипел, казалось - сейчас разразится революция. Оппозиционные депутаты поклялись сопротивляться шайке убийц. Во всех странах люди возмущались цинизмом фашистов. И дуче струсил: он заявил, что потрясен убийством депутата, что виновники понесут суровую кару; он даже пошел на отставку генерального секретаря фашистской партии. Видимо, и он думал, что пожар разгорается...

Характер итальянцев не похож на характер немцев; но развязка оказалась той же. Депутаты произнесли негодующие речи. Римляне сожгли пачки фашистских газет и разошлись по домам. Муссолини

быстро успокоился. Я еще был в Италии, когда мне дали номер «Империо», в котором фашисты издевались над протестующими: «Пусть сумасшедшие хорохорятся. Смеется хорошо тот, кто смеется последним... Никто не мешает фашистам расстреливать преступников на всех площадях Италии». Потом я прочитал речь Муссолини, он говорил об убийстве Matteotti: «Бесполезно и глупо разыскивать виновных. У нас свой язык - язык революции...»

Да, итальянцы не похожи на немцев, итальянцам присущи любовь к свободе, вечное бунтарство, воображение, непослушливость. Но Муссолини правил Италией двадцать три года, партизаны его казнили всего за несколько дней до самоубийства Гитлера. Я читал рассуждении одного французского автора; он говорил, что народ может терпеть любые преступления диктатора, если диктатор его ведет туда, куда народ хочет идти. Не думаю, чтобы рядовой итальянец жаждал завоевать Эфиопию, усмирить испанцев, овладеть Воронежем... А разве народ, давший миру Дон-Кихота, создан для фашизма, разве народ Кеведо и Гойи предназначен для тупого, захолустного деспотизма? Но вот уже почти четверть века генерал маленького роста и маленького калибра правит Испанией. Нет, здесь ничего не объяснишь народным характером, и об итальянцах можно сказать только одно: они плохо исполняли роль «римских легионеров», это к их чести.

Вначале фашисты пытались обстоятельно доказывать, что дуче ведет Италию к величию, к социальной справедливости, к избавлению от международного капитала. Потом они стали экономнее на слова, пустили в оборот приговорку: «Дуче не ошибается»; потом стали просто кричать: «Да здравствует дуче!» В 1934 году я увидел огромный пассаж Милана, весь заклеенный афишами, на которых стояло одно слово - «дуче».

Профессор С. С. Чехотин был учеником И. П. Павлова; он попытался, основываясь на методе условных рефлексов, проанализировать некоторые явления социальной жизни, в частности воздействие пропаганды. И. П. Павлов произвел множество опытов с собаками. С. С. Чехотин изучал фашистскую литературу. Он мне говорил, что среди подопытных собак встречаются особи, не реагирующие или, точнее, слабо реагирующие на действие раздражителей. Профессор Чехотин считает, что некоторое, весьма

незначительное, количество людей способно сопротивляться методам примитивной пропаганды (эмблемы, условные приветствия, лапидарные лозунги, форменная одежда и тому подобное). Я не физиолог и не берусь судить, насколько С. С. Чехотин прав. Но слишком часто в моей жизни я видел торжество механической глупости, автоматического фанфаронства...

Я еще полюбовался пиниями Рима, мраморными нимфами, роняющими слезы, добрыми улыбками горемык в Транстевере, и мы поехали в Париж.

Я продолжал писать книги, ходил в кафе, увлекался, развлекался, иногда был весел, иногда хмурился,- жизнь продолжалась, в меру спокойная, в меру приятная, а в общем печальная жизнь двадцатых годов. Часто я вспоминал смутные тени чернорубашечников, убийство Маттеотти, первую примерку тех десятилетий, которые мне предстояло прожить.

Неожиданно я снова взял томик Паскаля и нашел в нем утешение: впервые я задумался над словами: «Человек только тростник, самое хрупкое из всего существующего, но это мыслящий тростник. Капля воды может его убить. Но даже если вся вселенная на него ополчится, он все же будет выше своих убийц, ибо он может осознать смерть, а слепые силы лишены сознания. Итак, все наше достоинство в мысли...» Казалось, многие события должны были заставить меня усомниться в правильности слов Паскаля; я ведь видел, как быстро люди разучаются думать. Но первые годы революции не прошли бесследно: я был застрахован и от слепой веры, и от слепого отчаяния.

Вряд ли и Паскаль полагал, что любой человек при любых обстоятельствах способен мыслить. Многих итальянцев Муссолини превратил в роботов; встречаясь друг с другом, они подымали руку и считали, что это их возвеличивает. Но рядом с ними другие мыслили, издевались, рассказывали злые анекдоты, читали недозволенные книги - тростник не сдавался. В одиночной камере тюрьмы Тури десять лет просидел Антонио Грамши. В заключении он писал статьи о философии Бенедетто Кроче, о произведениях Пиранделло, о Данте, о Макиавелли, о многом другом; писал письма своей русской жене Юлии, ее сестре Татьяне, письма задушевные, страстные, умные и

очень человеческие. Я часто их перечитываю и всякий раз испытываю гордость - вот он, мыслящий тростник!..

Время не торопится, торопится смерть. Грамши умер в 1937 году. Время не торопится, но рано или поздно оно ставит все на свое место. Недавно я шел по одной из флорентийских улиц. Был голубой апрельский вечер. Играли детишки. Старик прогуливал собачку. Влюбленные о чем-то шептались. Я машинально поглядел на дощечку - «Улица Маттеотти»...

Весной 1924 года на французских выборах победил «левый блок». Новое правительство возглавил радикал Эдуар Эррио, человек высокообразованный, патриот, далекий от шовинизма, доброжелательный и широкий; он обожал лионскую кухню, написал книгу об интимной жизни госпожи Рекамье и не забывал при этом о традициях якобинцев - был типичным представителем французской интеллигенции XIX века. В 1924 году англичане и американцы хотели, чтобы Франция поскорее договорилась с немцами. Эррио осуждал оккупацию Рура и тупость Пуанкаре, но, будучи французом, хотел заручиться гарантиями - речь шла о безопасности Франции: «Дайте нам отвести кинжал, постоянно па нас направленный, пока вы толкуете о мире!..» Бог ты мой. как легко политики меняют не только слова, но и принципы! В 1924 году англичане отвечали: «Сначала разоружение, а уж потом гарантии безопасности».

Бриан считался первым политическим соловьем Европы; когда он выступал, старые циники, растроганные, сморкались. Бриан говорил, разумеется, о мире, о европейской солидарности, о великодушии. Эррио попытался урезонить англичан и американцев: «Осторожно! Рейхсвер воскресает. У немецкой армии современное вооружение. Мы не можем забыть двух нашествий. Мы слышим знакомые угрозы. Я хочу мира, как и все, но можно ли отстоять мир, пренебрегая безопасностью Франции?..» Эррио сбросили, его место занял Бриан. В швейцарском курортном городе Локарно были подписаны известные соглашения. Вечером ракеты фейерверка прорезали небо. Штреземан писал бывшему кронпринцу: «...Во-вторых, я ставлю целью защиту немцев, живущих за границей, то есть тех десяти - двенадцати миллионов соотечественников, которые в настоящее время живут в чужих странах, под иностранным игом. Третья крупная задача - исправление восточных границ, возвращение Германии Данцига и Польского коридора и исправление границ в Верхней Силезии. В перспективе - присоединение немецкой Австрии...»

(Обидно, что в книге о моей жизни я должен вспоминать не только поэтов, художников, не только людей, мне милых, но и

Штреземана. Ничего не поделаешь - мы жили в эпоху, когда история бесцеремонно забиралась в нашу жизнь днем или ночью, как будто она полтавский городской.)

О фейерверке в Локарно я вспомнил пятнадцать лет спустя, когда небо над Парижем загорелось и раздался грохот первой фугаски.

Победа «левого блока» кое-что изменила, но для меня Париж оставался запретным. В Риме и попросил Любу пойти во французское консульство: мой облик всегда пугал чиновников, а Люба их скорее успокаивала. Расчеты оказались правильными: консул, не зная, что мы высланы из Франции, поставил на наши паспорта добротные визы. Этого было достаточно, чтобы приехать в Париж, но остаться там мы не могли: имелся приказ о высылке.

Друзья направили меня к секретарю масонской ложи «Великий Восток». Я оказался в том самом логове, которое сводило с ума монархиста Бостунича. Логово было обыкновенным кабинетом, а секретарь ложи - пожилым радикалом, знавшим гастрономические тайны всех ресторанчиков Парижа. Масонов во Франции было много, но, вопреки представлениям Бостунича, они не поклонялись ни дьяволу Бафамету, ни иудейскому богу Ягве, ни Карлу Марксу; ложи были своеобразными обществами взаимопомощи. Секретарь сказал, что он устраивал дела потруднее: префект полиции - масон и его друг.

Пришлось пойти к префекту. Он никак не походил на добродушного радикала и держался со мною надменно. «Что вы собираетесь делать в Париже?» Я ответил, что собираюсь писать книги. Префект усмехнулся: «Книги, сударь, бывают разные. Имейте в виду, что французская полиция не бездельничает». (Он сказал мне сущую правду. Министр де Монзи, который в 1940 году заинтересовался моим полицейским «делом», рассказывал: «Вы, наверное, написали двадцать книг, но могу вас заверить, что полицейские написали о вас куда больше...»)

Я поселился в гостинице па авеню де Мэн, с темной винтовой лестницей, вонючими коридорами и грязными номерами. Под окном был классический круглый писсуар и не менее классическая щербатая скамейка, на которой вечером целовались влюбленные.

Осенью французское правительство решило признать Советский Союз. Я снова переступил порог особняка на улице Гренель, куда впервые заглянул после Февральской революции. Перед посольством

толпились полицейские, шпики. Они явно волновались: шутка ли сказать, в аристократическом квартале Парижа среди бела дня сумасшедшие русские поднимают красный флаг и поют «Интернационал»! Л. Б. Красин спокойно улыбался. По двору шагал Маяковский; он говорил, что ему надоел Париж, а американцы тянут с визой.

Маяковский каждый день приходил в «Ротонду». Он писал, что беседовал с тенями Верлена и Сезанна: «Ротонда» жила, как рантье, на проценты. Не было тех, с кем я когда-то проводил беспокойные ночи: Аполлинер и Модильяни умерли. Пикассо переселился на правый берег Сены и охладел к Монпарнасу, Ривера уехал в Мексику. Немногочисленных старожилов окружали разноязычные туристы. Никто больше не спорил о том, как взорвать общество или как примирить справедливость с красотой.

Трудно сказать, почему я каждый день шел на Монпарнас - в «Ротонду» или в «Дом»; видно, такова была сила привычки. Иногда встречался со старыми друзьями: с Леже, Шанталь, Цадкиным, Сандраром, Липшицем, Пер Крогом, Федером, Фотинеким. Конечно, мы говорили об искусстве, о русской революции, о Пикассо, о международной выставке, о Чаплине; но все это никак не напоминало довоенную «Ротонду». Мы были далеко не стариками (самому старшему из нас - Леже - тогда исполнилось сорок четыре года), но прежний задор исчез. Мы напоминали солдат, уволенных в запас, и донашивающих вылинявшие гимнастерки.

Я писал поэтессе М. М. Шкапской: «Сижу в «Ротонде» и курю новую трубку кубистической формы... Сегодня чудесное солнце. Идет кот, и даже уклон его поднятого хвоста свидетельствует о необычности дня. Эренбург же, как подобает опустошенному субъекту, продолжает курить трубку... Я хандрю. То я недоволен, что повсюду искусство, и жажду простых разговоров или жирных улиток, от которых у меня болит живот; то, уподобляясь тургеневским «отцам» и косясь с брезгливой жалостью на новое поколение, требую упраздненного вдохновения... «Жанну Ней» все ругают, окрестили меня Вербицкой. Что мне делать? Заказать юбку? Отравиться на могиле Гейне?.. Французы пишут хорошую прозу и гадкие стихи. Но кому это нужно? Братья писатели, зачем мы стараемся?..»

Кафе Монпарнаса были переполнены: огни довоенной «Ротонды» притягивали мечтателей, авантюристов, честолюбцев. Молодые шведы, греки, поляки, бразильцы торопились в Париж - они хотели пере вернуть мир; мир, однако, крепко стоял на месте.

Кубизм неожиданно заинтересовал владельцев ателье мод и дорогих магазинов; молодые художники за гроши расписывали шали или изготавливали эксцентрические безделушки для приезжих американок. Развелось множество торговцев картинами, все они мечтали напасть на нового Модильяни. Они заключали договоры с художниками, подающими надежды, забирали все холсты, а платили мало - очевидно, считали, что голод способствует вдохновению. Картины стали биржевыми акциями, предметом спекуляции; цены искусственно поднимали или сбивали.

Аргентинский художник, сербский поэт писали своим родителям, что сюрреализм вскоре завоюет мир, что они будут знаменитыми, но пока что пусть старики понатужатся и пришлют им сотню-другую франков.

Караваны туристов превратили Монпарнас в район ночных развлечений. В «Сигаль», в «Жоке» танцевали до утра, а красавица Кики с глазами совы печально пела скабрзные песенки.

Летом 1925 года в Париже открылась Международная выставка декоративного искусства. Итальянские фашисты показали свое чванство и тупость (они именовали это неоклассицизмом). Среди французских построек, на редкость серых и бесцветных, выделялся небольшой павильон журнала «Эсири нуво», построенный Корбюзье. Гвоздем выставки был советский павильон; его построил молодой архитектор-конструктивист К. С. Мельников. Как многое из того, что делали наши конструктивисты и лефовцы, павильон никак нельзя было назвать утверждением утилитаризма: по лестнице было трудно подниматься, косо́й дождь прорывался в помещение. Здание было выражением романтики первых революционных лет. Экспонаты в большинстве принадлежали «левым» художникам: макеты постановок Мейерхольда, Таирова, конструкции Родченко, ткани Л. Поповой, плакаты Лисицкого.

В Париж понаехало много москвичей: Маяковский, Якулов. Мельников, Штеренберг, Родченко. Рабинович. Терновец. Когда я с ними беседовал, мне порой казалось, что я в Москве 1921 года.

Парижане считали советское искусство наиболее передовым; кроме выставки, они увидели «Броненосец «Потемкин», «Федру» Таирова, «Принцессу Турандот» Вахтангова. А павильон на выставке, как и многое другое, был, скорее, эпилогом. В Москве открылась выставка АХРР; начиналось контрнаступление натурализма, бытовизма, академических форм, чинности, упрощенности и той фотографической условности, которая, ссылаясь на точность деталей, пыталась выдавать себя за реальное отображение жизни.

Я писал в 1925 году: «Простаки думают, что правдивое изображение больших дел это и есть большое искусство. Им невдомек, что на светочувствительной эмульсии не отличить солнца от медной пуговицы. Есть героическая натура, но героического натурализма не может быть. Фотограф, снимая провинциальную свадьбу и Октябрьские дни, остается все тем же фотографом... Сейчас торжествует вульгарный натурализм. Он жив человеческой слабостью; ведь если ногам свойственно прыгать или по меньшей мере шагать, то есть другая часть тела, которая неизменно тянется к мягкому сиденью... Люди хотят на канате организовать уютное чаепитие...»

Я уже успел распрощаться с конструктивизмом: «Торжество индустриальной красоты означает смерть «индустриального» искусства... Копировать машину еще пошлее, чем копировать розу, ибо в последнем случае кража совершается хотя бы у анонимного автора... «Левое» искусство, создавшее подлинные шедевры, быстро раз воплотилось. Оно хотело убедить людей, что в мире остались только элеваторы, геометрические фигуры и голые идеи... Еще не успели замолкнуть боевые кличи «искусство в жизнь», как это самое искусство уже входит... в музей».

Эстетической программы у меня больше не было. Я метался. Вернувшись из Америки, Маяковский рассказывал, что машинам там хорошо, а человеку плохо. Я спросил его, не усомнился ли он в программе Лефа. Он ответил: «Нет. Но многое нужно пересмотреть. В частности, подход к технике...»

Мне хотелось понять, чем живут писатели, художники Франции. Я познакомился с Мак-Орланом, Дюамелем, Жюлем Роменом, с архитектором Корбюзье; бывал в редакции «Кларте» у Барбюса; увлекался кино, разговаривал с режиссерами Репе Клером, Гансом, Ренуаром, Федером, Эпштейном.

Грех назвать те годы бесплодными; поскольку я заговорил о кино, достаточно сказать, что в 1925 году я увидел «Золотую лихорадку» и «Пилигрима» Чаплина. Да и в шуме не было недостатка; то и дело рождались различные школы; громче всех кричали сюрреалисты. Но чего-то не хватало, может быть надежд, может быть тревоги. (Я подумал сейчас о судьбе многих людей, с которыми я встречался на Монпарнасе. Рене Кровель и Паскин кончили жизнь самоубийством, художника Федера гитлеровцы убили, Сутин погиб в годы оккупации, затравленный Деснос умер в «лагере смерти». Те годы тоже были канунами; но людям казалось, что на дворе серое будничное утро.)

Я больше не был ни затворником «Ротонды», ни фанатиком искусства. С утра до ночи я бродил по Парижу, забирался в кафе, где сидели биржевики, адвокаты, скототорговцы, приказчики, рабочие; разговаривал с людьми. Меня поражали механизация жизни, поспешность движений, световые рекламы, потоки машин. Конечно, автомобилей было во сто раз меньше, чем теперь, не было телевизоров, радиоприемники только входили в обиход, и по вечерам из раскрытых окон не вырывалась на улицы разноголосица волн. Но я чувствовал, что ритм жизни, ее настроенность меняются. Ночью на Эйфелевой башне сверкало имя «короля автомобилей» Ситроена. Электрические гномы карабкались по фасадам пепельных домов, пытались соблазнить даже луну аперитивом Дюбонне или кремом «Секрет вечной молодости».

Менялись окраины Парижа - исчезли крепостные валы, пустыри, лачуги. Строили первые дома в новом, индустриальном стиле. Я увидел конструктивизм не на картонах Родченко, а в действительности. Меня позвал к себе художник Озанфан; он жил в доме, построенном Корбюзье: свет, нагота, белизна больничной палаты или лаборатории. Я вспомнил конструкции Татлина, восторженных вхутемасовцев. То, да не то... Мы открывали Америку, конечно воображаемую. А давно открытая и вполне реальная Америка тем временем пришла в Европу - не с романтическими декларациями лефовцев, но с долларами, с черствым расчетом, с пылесосами и с механизацией человеческих чувств.

Политика мало кого интересовала: парижане не читали ни речей Бриана, ни сообщений о возрождении германской армии. Считалось, что люди, не поддающиеся шовинистической пропаганде, должны

твердо верить в мир, и это всех устраивало: люди хотели мирно наслаждаться жизнью. Раскрывая газету, они искали в ней: кто - биржевой бюллетень, кто - отчет о матче футбола, кто - сводку погоды. Конь блед и другие звери Апокалипсиса уступили место «рено» и «ситроенам». В далекое прошлое отошли и окопы на Шмендю-Дам, и солдатские бунты, и демонстрации. До поздней ночи ревел джаз, и снобы восхищались синкопами. Женщины носили очень короткие платья, говорили, что обожают спорт. Появились дансинги, матчи бокса, туристические автобусы, пылесосы, кроссворды и множество других новшеств.

Вновь налаженная жизнь требовала экзотической приправы. Продавщицы универмагов и жены нотариусов зачитывались «Атлантидой» Пьера Бенуа. Для более изысканных дам имелись книги писателя-дипломата Поля Морана. Каждый год он выпускал в свет сборники рассказов: «Закрото ночью», «Открыто ночью», «Галантная Европа»; он рассказывал, как переспал или не переспал с женщинами различных национальностей. Для парижанок, не желавших отстать от века, любовь казалась провинциальным анахронизмом, и вот любовники Поля Морана ее модернизировали, они и в кровати разговаривали как безупречные бизнесмены: «Вы теперь похожи на чек без покрытия», «Не живите на капитал ваших нервов»...

Все реже и реже можно было встретить классического буржуа, который продолжал жить на страницах «Красного перца», толстого и беззаботного, ленивого семьянина, стригущего купоны, или жуира, прогуливающегося по Бульварам. Его место занял делец, вдоволь энергичный, предпочитающий автомобильные гонки девушкам и фиалкам, склонный к авантюрам, к любой склизкой афере, по образованию инженер или экономист, хорошо знающий новые методы производства и мировые цены, борьбу трестов, подкупность министров, всю политическую кухню. Его сыновья презирали романтику старого студенчества - слезы пьяного Верлена, скептицизм Анатоля Франса, анархические фразы; они занимались гимнастикой, уважали сильных; многие из них девять лет спустя, в ночь фашистского путча, резали бритвами ноги полицейских лошадей.

Хотя американские солдаты давно уехали домой, все приходившее из Нового Света было в почете. Джаз заменил чахоточных скрипачей и лихих аккордеонистов. В дансингах ввели

«такси-герлс» - девушек, которые за положенную плату танцевали с клиентами. Снобы, еще недавно участвовавшие в потасовках на премьере дягилевского балета или на вернисаже «Салона независимых», теперь неистово вопили на матчах: «Браво, Джо!..» Писатели принялись сочинять спортивные романы: героями были боксеры, футболисты, велосипедисты.

Летом Париж наводняли иностранные туристы; в списке обязательных достопримечательностей значились Елисейские поля, Венера Милосская, Эйфелева башня, гробница Наполеона, Монмартр, «Ротонда» и публичный дом на улице Шабанэ, называвшийся «Обществом наций», - там имелись комнаты в испанском, японском, русском и других стилях; туристов сопровождала пожилая чопорная экономка и академически поясняла различные непристойные детали.

До войны французы чрезвычайно редко пересекали границу; теперь многие уезжали на каникулы в Швейцарию. Италию, Австрию, Англию. Огромным успехом у среднего читателя пользовался роман Декобра, посвященный любовным похождениям героини, которая называлась «Мадонна из слиппинга» (французское название «спальный вагон» звучало бы провинциально).

Исчезли последние приметы прошлого века: уличные карнавалы, конфетти, котелки, бархатные диваны в темных кафе; мужчины сбрили бороды, женщины начали коротко стричь волосы.

Все это скорее относится к 1925 году, чем к Парижу. Теперь, когда я вспоминаю то время, Париж мне кажется идиллическим, захолустным, похожим на холсты Утрилло. Менялась эпоха, и, может быть, Париж сопротивлялся дольше, нежели Берлин, Брюссель или Милан. Но я жил тогда в Париже и там наблюдал первые результаты американского омолаживания старой Европы.

Все поняли, что взял верх порядок, - одни с горечью, другие с восторгом. Политика делалась за кулисами и мало интересовала зрительный зал. Еще недавно большевиков изображали как людей, держащих нож в зубах. Теперь большевики сидели на улице Гренель, к ним наведывались крупные промышленники в надежде получить заказы. Седьмого ноября в наше посольство пришли различные депутаты, крупные журналисты, дельцы, светские дамы. Все они косились на Марсея Кашена, но утешились, увидав на столах икру.

В некоторых светских салонах было модно восхищаться «славянской мистикой», даже «русским экспериментом». Снобов, восхвалявших все советское, окрестили «большевизанами». Одни теннисист и балбес сказал мне: «Я слышал, что у вас уничтожены деньги. Это замечательно! Я ненавижу считать расходы...» Другой спросил Любу: «Неужели Потемкин играет еще лучше, чем Мозжухин?» Он слышал одним ухом об успехе фильма Эйзенштейна и решил, что есть актер по имени Потемкин.

Изредка трагические события врываются в иллюзорный покой города. Так было с сообщением о расстреле работниц консервных фабрик в бретонском городе Дуарнене. В Париже был большой митинг; ораторы призывали к действиям; рабочие аплодировали, свистели. Потом все стихло. Как-то незаметно начались войны в Марокко, в Сирии. Стреляли далеко, и Париж продолжал жить по-прежнему.

У нас в те годы пользовались большим успехом сочинения Пьера Ампа. Он описывал производство; его романы походили на очерки, это многих увлекало. В ранней молодости Пьер Амп был рабочим. Я увидел, однако, почтенного литератора лет пятидесяти. Он не имел никакого представления о лэфовцах, но, рассказав с восхищением о новых станках, воскликнул: «Насколько движения машины прекраснее человеческих!»

Я подружился с писателем Пьером Мак-Орланом. У него было лицо опечаленного бульдога. Он помнил войну, и это было воспоминаниями не победителя, а побежденного: «Кабак на улице Пигаль выставляет в каждом окне по кукле. Это - скрытое желание еще раз отпраздновать смерть среди страшных окрестностей войны. Если я храню в памяти столь ужасающий образ войны, то это потому, что я не могу забыть дикой агонии всех солдат, расстрелянных во имя правосудия. Ужас во мне достигает апогея - ужас быть человеком среди стольких непонятных существ. Я чувствую себя куда более слабым, чем паяны из шерсти, набитые паклей. Их покачивание напоминает мне бескостные тела расстрелянных у традиционного столба...»

Мак-Орлан много говорил о «социальной фантастике» - этими словами можно было объяснить все. Он написал роман о всаднице Эльзе, немецкой коммунистке, которая привела Красную Армию во

Францию. Читая эту книгу, я посмеивался,- вероятно, так могли бы читать марсиане «Аэлиту», но другие книги Мак-Орлана мне нравились, особенно «Госпиталь святой Магдалины» - фантастическая история человека, который начинает потеть кровью; медики потрясены небывалым казусом; все газеты пишут о диковинном пациенте. Больного начинают показывать за деньги зевакам. Количество крови увеличивается - бочки, тонны. Для эксплуатации свежей крови организуют трест; вмешивается правительство - хочет получить львиную долю доходов. А больной лежит и слушает, как звенит горячая струя его крови. Принято считать, что «черная литература» расцвела после второй мировой войны, а книга, о которой я говорю, была написана в начале двадцатых годов. Тогда мы не знали об ушастом пражском еврее Франце Кафке, мы о многом не знали и видели все в меняющемся загадочном свете.

Пьер Мак-Орлан (его фамилия куда прозаичнее Пьер Дюмарше) был поэтом; кое-что он предчувствовал, кое-что придумывал. Он жил в идиллическом домике недалеко от Марны, иногда играл на аккордеоне и почти всегда писал, писал. Он написал предисловие к первому французскому переводу «Хулио Хуренито», который вышел в 1924 году. Тогда мы были едва знакомы, и, рассказывая обо мне, он описал человека почти столь же фантастического, как всадница Эльза. По его словам, в конце 1921 года я пережил сразу множество бедствий: я разводил собак и кроликов, белый офицер хотел меня скинуть в море, меня арестовала Чека, а французское правительство выслало из Франции. «Хуренито» ему понравился, и он советовал французам познакомиться с «романтикой случайного и непредусмотренного».

Он говорил мне: «Я пишу только для того, чтобы не совершить банального преступления - не убить старуху и не поджечь ферму».

Однажды мы с ним обедали в парижском ресторане. Вдруг Мак-Орлан мне сказал: «Знаете, что будет, если человечество просуществует еще несколько тысяч лет? Кролики начнут кусаться, морковь будет выскакивать из грядок, чтобы вцепиться в икры человека...»

Мак-Орлан посвятил мне одну из своих книг-воспоминаний: «Улица Сент-Венсен». Это рассказ о смятении молодого человека и о смутных улочках старого Руана, разрушенного в годы последней

войны. Я принимал его за бунтаря, а он был хорошим писателем и добрым человеком.

Я понимал, что Октябрьская революция многое изменила. Я говорил о моей преданности новой эпохе: «Мы ее любим не менее «странной любовью», нежели наши предшественники «отчизну». Это чувство тоже требует и крови и замалчиваний...» О чем я больше всего думал? Кажется, о судьбе человека, о том, что писатели не могут довольствоваться описанием событий, они должны показать душевный мир современников.

В 1925 году в Париже играли пьесу Чапека «Рур»; появилось новое слово - «робот». Мы часто тогда говорили о «мыслящих» машинах, и мне казалось, что паскалевскому «тростнику» страшнее всех бурь внутреннее перерождение. Я боялся не того, что «мыслящие» машины будут чрезвычайно сложными, а того, что эти машины постепенно отучат человека от мысли, вытеснят клубок чувств.

«Лето 1925 года», пожалуй, самая печальная из всех моих книг, не самая горькая, не самая безысходная, а именно самая печальная. Ее содержание несложно. Рассказ ведется от первого лица. Герой романа, попав в Париж, опустил, бродил по улицам, залитым ярким светом, подбирал окурки, потом нанялся на бойни - гонял баранов. Какой-то итальянский авантюрист подбивал слабовольного, растерявшегося героя убить капиталиста Пике. Из этого ничего не вышло, но герой привязался к чужой, брошенной девочке, нянчил ее; девочка умерла. Интрига меня мало занимала, я хотел изобразить одиночество человека в большом городе, отчаяние многих людей, с которыми встречался, судьбу поколения, побывавшего у Вердена. «Мы во многое верили, верили долго и крепко, хотя бы в бога пастухов и инквизиторов, который сделал из воды вино, а из крови воду; верили в прогресс, в искусство, в любые очки, в любую пробирку, в любой камешек музея. Мы верили в социальную справедливость и в символику цветов. Мы умилялись то перед эстетикой небоскребов, то перед открытием новой сыворотки. Мы верили, что все идет к лучшему. Мы до хрипоты спорили, постановляли, читали стихи и сравнивали различные конституции. У нас были тогда стоячие воротнички и стойкие души. А потом? Потом мы лежали в грязи окопов и вместо карнавальных масок примеряли противогазы. Мы

кололи штыками, добывали пшено, дрожали от «сыпняка» или от «испанки»... Мы узнали, что война пахнет калом и газетной краской, а мир - карболкой и тюрьмой...»

В те годы было написано немало печальных книг; очевидно, многие актеры терзаются во время антрактов еще сильнее, чем на сцене...

Мне прислали из Москвы статью «На путях жизни», напечатанную в газете. Критик писал: «И. Эренбург рассказывает здесь о том, как, «не выдержав свободы и голода», он «прикрепился», поступил на службу: «В мои обязанности входило перегонять баранов со скотного двора Виллет на соседние бойни...» Способ, избранный И. Эренбургом, временного обращения к подсобному заработку заслуживает, думается, серьезного внимания... Пример И. Эренбурга заслуживает внимательного общественного рассмотрения. Сам Эренбург в своей временной службе на бойнях усматривает нечто героическое, что-то вроде мученического венца вокруг изборожденного глубокими думами писательского чела: «Аккуратно считал я зады баранов. Порой бараны упирались и трагически блеяли. Я кричал тогда «Э! Э!», причем мой голос, бывавший вдоволь нежным, когда приходилось заговаривать барышень или публично читать некоторые главы из «Жанны Ней», ухитрялся теперь пугать этих агонизирующих тварей...» Как трагически оторван писатель от живой жизни, если такая простая вещь, как приискание какой-либо временной работы, кажется ему чем-то вроде небывалой, чуть ли не мировой трагедии... Это правильный и здоровый путь!»

Кажется, единственный раз в те времена в моих писаниях нашли нечто заслуживающее похвалы, но и то похвалили незаслуженно: никогда я не работал на бойнях и не гонял баранов. Но я видел окопы на Сомме, тяжелую одурь передышки, нищету Бельвилля, итальянских чернорубашечников и многое другое.

Проходя мимо «Ротонды», я увидел на террасе знакомое лицо: это был поэт Перец Маркиш, которого я знал по Киеву. Его трудно было не заметить: красивое, вдохновенное лицо выделялось в любой среде. Б. А. Лавренев уверял, что Маркиш походил на портреты Байрона. Может быть. А может быть, просто на тот облик романтического поэта, который остался в нашем представлении от сотен холстов или рисунков, от строк поэм, от воздуха другой эпохи. Романтиком Маркиш был не только в стихах; романтически вились его волосы, романтически была поставлена голова на стройной шее (он не любил галстуков и ходил всегда с расстегнутым воротничком); да и юношеский облик, который он сохранил до смерти, был тоже романтическим.

За его столиком сидели еврейский писатель из Польши Варшавский и художник, фамилию которого я забыл. Варшавского я знал по роману «Контрабандисты», переведенному на различные языки; он был застенчивым, мало разговаривал. Художник, напротив, не замолкая говорил о выставках, о критиках, о том, как трудно прожить в Париже, - он был бессарабцем, незадолго до того приехал во Францию, работал как маляр, а в свободные часы писал пейзажи. Не то Варшавский, не то художник рассказал историю о дудочке. Это была хасидская легенда (хасиды - мистическая и бунтарская секта, восставшая в XVIII веке против раввинов и богачей-лицемеров). Легенду я запомнил и включил потом в мою книгу «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца»; книга эта малоизвестна, и я перескажу историю.

В одном из местечек Волыни был знаменитый цадик - так называли хасиды подлинных праведников. В местечке, как и повсюду, были богачи, дававшие деньги в рост, домовладельцы, купцы, были люди, мечтавшие правдой и неправдой разбогатеть; словом, неправедных было вдоволь. Настал Судный день, когда, по верованиям религиозных евреев, Бог судит людей и определяет их дальнейшую судьбу. В Судный день они не едят, не пьют, пока не покажется вечерняя звезда и раввин не отпустит их из синагоги. В тот день в

синагоге стояла тяжелая тишина. По лицу цадика люди видели, что Бог рассержен злыми делами обитателей местечка; не показывалась звезда; все ждали сурового приговора. Цадик просил Бога отпустить людям грехи, но Бог прикидывался глухим. Вдруг тишину нарушила маленькая дудочка. Среди бедноты, стоявшей позади, был портной с пятилетним сынишкой. Мальчику надоели молитвы, и он вспомнил, что у него в кармане грошовая дудочка, которую ему купил накануне отец. Все накинулись на портного: вот за такие выходки Господь покарает местечко!.. Но цадик увидел, что суровый Бог не выдержал и улыбнулся.

Вот и вся легенда. Она взволновала Маркиша, он воскликнул: «Да это об искусстве!..» Потом мы встали, пошли по домам. Маркиш довел меня до угла и неожиданно (мы говорили о чем-то другом) сказал: «Но сейчас, мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского...»

Мне кажется, что в этой фразе было объяснение многих трудных лет его жизни. Он не был создан ни для громких призывов, ни для эпических поэм, был поэтом с дудочкой, издававшей чистые, пронзительные звуки. Но воображаемого бога, способного улыбнуться, не оказалось, а век был шумным, и уши людей порой не различали музыки.

Стихотворцы всегда существовали, особенно много их развелось, когда производство стихов стало профессией. Маркиш был поэтом. Трудно, конечно, судить о стихах по переводам - я не знаю еврейского языка,- но всякий раз, беседуя с Маркишем, я поражался его природе: он воспринимал и громкие события, и детали быта как поэт. Это не только мое впечатление, об этом мне говорили люди, друг на друга непохожие, А. Н. Толстой, Тувим, Жан Ришар Блок, Заболоцкий, Незвал.

Он не боялся избитых тем; часто писал о том, о чем, кажется, писали все поэты мира. Лес осенью:

Там листья не шуршат в таинственной треноге,
А, скрючившись, легли и дремлют на ветру.
Но вот один со сна поплелся по дороге.
Как золотая мышь искать свою нору.
Слеза любимой женщины:
Она не надает с твоих ресниц,

Но остается между век дрожащей.
В ней мир выходит из своих границ,
А в глубине растет зрачок блестящий...

Он был мастером и неустанно трудился; о нем можно сказать то,
что он сказал о старом портном:

Что он мог еще сюда
Темным привезти поселкам?
Выстроченные года,
Выпяченную иголку.

Маркиш не отворачивался от жизни; он не только принимал эпоху, он ее страстно любил; писал эпические поэмы о строительстве, о войне. Будучи человеком необычайно чистым, он ревниво ограждал то, что любил, от тени сомнений; советским был с головы до ног; и хотя мы люди одного поколения (он был на четыре года моложе меня), я восхищался его цельностью. Он увидел погромы, жил в Польше во время разгула антисемитизма, но не было в нем и тени национализма, даже национализма мышки, которая знает, что над половицей потягиваются кошки. Если нужно привести пример интернационализма, то можно свободно назвать Маркиша.

Критики отмечали, что в его произведениях порой чувствуются кеча ль, горечь, тревога. Могло ли быть иначе? Одна из его первых поэм - «Куча» - посвящена погрому в Городище; недавно я прочитал перевод его неизданного романа, законченного незадолго до того, как Маркиш погиб, - это летопись страданий, борьбы, гибели варшавского гетто.

Я не хочу, однако, ограничиваться только ссылкой на эпоху; нужно сказать о структуре поэта. Я припомню очень давний диалог между двумя испанскими поэтами: Раби Сем Тобом и маркизом Сантильяна. Евреи и арабы ввели в испанскую поэзию гномические стихи - короткие философские изречения. Одним из таких гномических поэтов был Раби Сем Тоб. Король Педро Жестокий, страдавший бессонницей, поручил Раби Сем Тобу написать для него стихи. Поэт назвал книгу «Советы», и она начиналась следующим утешением:

Нет ничего на свете,
Что бы вечно росло.
Когда луна становится полной.

Она начинает убывать. Много десятилетий спустя придворный поэт, маркиз Сантильяна, написал эпиграмму:

Как хорошее вино иногда содержится в дурной бочке.

Так истина порой исходит из уст еврея. Раби Сем Тоб как бы предвидел:

Когда мир был создан.

Мир был поделен:

Одним досталось хорошее вино,

Другим жажда. Маркиш принадлежал к поэтам не хорошего вина, а сухих губ; отсюда тот едва уловимый оттенок горечи, который порой проступает в его стихах, полных радости жизни.

Мы с ним виделись редко - жили в разных мирах; но всякий раз, встречая Маркиша, я чувствовал, что передо мной чудесный человек, поэт и революционер, который никого напрасно не обидит, не предаст друзей, не отвернется от попавшего в беду.

Помню митинг в Москве, в августе 1941 года; его передавали по радио в Америку. На митинге выступали Перец Маркиш, С. М. Эйзенштейн, С. М. Михоэлс, П. Л. Капица, я. Маркиш страстно призывал американских евреев потребовать от Соединенных Штатов борьбы с фашизмом (Америка тогда еще была нейтральной).

В последний раз я видел Маркиша 23 января 1949 года в Союзе писателей на похоронах поэта Михаила Голодного. Маркиш горестно сжал мне руку; мы долго глядели друг на друга, гадая, кто вытянет жребий.

Перца Маркиша арестовали четыре дни спустя - 27 января 1949 года, день его смерти - 12 августа 1952 года.

Как все люди, встречавшие Маркиша, я думаю о нем с нежностью почти суеверной. Вспоминаю его стихи:

Две мертвые птицы на землю легли.

Удар был удачен... Что лучше земли?

Здесь, в солнечной этой блаженной стране,

Упасть так упасть! Так мерещится мне...

Шагнул я, пойдем же, ты слышал, пойдем!

Упал так упал. Не жалею ни о чем.

Лететь как лететь. Как слепителен свет!

Широки просторы, и края им нет.

Трудно привыкнуть к мысли, что поэта убили.

А в те давние дни, когда я встречал молодого, вдохновенного Маркиша на Монпарнасе, он говорил о дудочке ребенка и о громовом голосе Маяковского, примерял судьбу. Для меня он был залогом того, что нельзя разлучить эпоху и поэзию:

Я возложил тебя на рамена,

О век!

Я перепоясался тобою,

Как каменным широким кушаком.

Огромной крутизной встает дорога.

И должен я взобраться на нее.

Сквозь вой ветров, сквозь снеговые кручи

Я поднимаюсь... Многие погибнут

Среди сугробов...

Нет, он не был ни наивным мечтателем, ни слепым фанатиком, дудочки касались сухие губы взрослого, мужественного человека.

Приехав в Москву весной 1926 года, я поселился в гостинице на Балчуге; за номер брали много, а с деньгами у меня было туго. Меня приютили Катя и Тихон Иванович; жили они в Проточном переулке - между Смоленским рынком и Москвой-рекой, в старом, полуразвалившемся доме. (В начале войны в этот дом попала немецкая «зажигалка», и он сгорел.)

Не знаю почему, Проточный переулок тогда был облюбован ворами, мелкими спекулянтами, рыночными торговцами. В ночлежке «Ивановка» собиралось жулье. В домишках, розовых, абрикосовых, шоколадных, с вывесками частников, с выдранными звонками, с фикусами и поножовщиной, шла душная, звериная жизнь последних лет нэпа. Торговали все и всем, ругались, молились, хлестали водку и, мертвецки пьяные, валялись как трупы в подворотнях. Дворы были загажены В подвалах ютились беспризорные. Милиционеры и агенты угрозыска заглядывали в переулок с опаской.

Я увидел одного из черных ходов эпохи и решил его отобразить. Я знал, конечно, что писать о благородных героях приятнее, да и спокойнее, но автор не всегда волен в выборе персонажей; не он ищет героев, герои ищут его. У художников есть выражение «писать с натуры»; это никак не связано с натурализмом: импрессионисты, например, писали пейзажи только с натуры, а натуралисты, обычно выдающие себя за реалистов, преспокойно пишут портреты с фотографий. Я вдохновился Проточным переулком, с его равнодушием и надрывом, с мелким подходом к большим событиям, с жестокостью и раскаянием, с темнотой и тоской; впервые я попытался написать повесть «с натуры».

В основу фабулы легло подлинное происшествие: владелец одного из домишек - абрикосового или шоколадного,- жадный и бездушный торговец, разозлившись на беспризорных, которые стащили у него окорок, ночью завалил выход из подвала, где дети прятались от жестоких морозов.

Пейзаж меняется не только от освещения, но и от душевного состояния живописца. Я больше не мог жить одним отрицанием, я

замерзал от сатирических усмешек. В романе «Рвач» я попытался дать социальный анализ событий; там много общих описаний. В «Проточном переулке» очень мало иронии: я захотел найти в сердцах моих героев то доброе начало, которое позволит им расстаться с грязью, с пошлостью, с душевной пустотой. В те годы я не писал стихов, и повесть походила на лирическое признание.

Я не только полюбил моих невзрачных героев, я вложил в них самого себя. Остались в стороне домовладелец, который пытается уничтожить беспризорных, да его жилец, плюгавый бездельник, женившийся до революции на дочке барона и живущий на ее счет. Все остальные персонажи мечутся, ищут, страдают. Мои мысли, чувства тех лет можно найти и в обыкновенной советской девушке Тане, с ее случайными связями, с жадной большой любви, с книгами, с работой, и в неудачливом поэте Прахове, ставшем газетным халтурщиком, честолюбивом и слабовольном, готовом на пошлость, даже на подлость, но начинающем понимать тщету, да и мелкоту своих мечтаний, и в горбатом музыканте Юзике, играющем на скрипке в кинотеатре «Электра», в этом захолустном философе с его безнадежной любовью к жизни, и в старом чехе, бывшем преподавателе латыни, превратившемся в нищего, но духовно приподнявшемся, прозревшим, которого полюбили беспризорные.

Горбун Юзик спрашивает старого нищего:

«- Так почему же вас, преподавателя латыни, выбросили на улицу? Одно из двух - или вы правы, или они.

– Я был прав. Это прошедшее время. Они правы - это настоящее. А дети, играющие сейчас погремушками, будут правы: футурум... С удовлетворением глядел я на их флаги, на их процессии, на их воодушевление. Прекрасна, молодой человек, кровь, приливающая к щекам, и огонь самозабвения в глазах!..»

Кажется, ни одну мою книгу так не поносили, как роман «В Проточном переулке». Не помню всех статей, но одна сейчас передо мной, она озаглавлена «Советская Россия без коммунистов» и напечатана в ленинградской «Красной газете». «Увиденная и показанная сквозь жижицу Проточного переулка советская Россия - это не реальная наша страна, а заповедный идеал П. Н. Милюкова,- это советская Россия без коммунистов... Эренбург выполняет социальный заказ эмигрантской интеллигенции, дав зарисовку уголка

советской Москвы, без социалистического строительства, без пафоса строительства новой жизни... Эренбург уподобился тому щетинистому завсегдатаю свалок, который, ненароком забредя в розариум, увидел там не пышно растущие и благоухающие розы, а заметил колючие шипы и увлекся навозной жижей удобрения цветочных клумб».

Стендаль писал в «Красном и черном»: «Роман - зеркало на большой дороге. В нем отражаются то лазурное небо, то грязь, лужи, ухабы. И человека, у которого зеркало, вы обвиняете в безнравственности. Зеркало отражает грязь, и вы обвиняете зеркало. Обвиняйте лучше дорогу с ухабами или дорожную инспекцию...»

В 1926 году, когда я писал о Проточном переулке, К. А. Федин работал над «Трансваалем», Л. М. Леонов над «Вором». В. П. Катаев над «Растратчиками», В. В. Иванов над «Тайным тайных». Старая Литературная энциклопедия называет все эти книги «искажением советской действительности», «апологией мещанства», «клеветой».

Дело, видимо, не в политических мечтаниях П. Н. Милюкова... Писатели моего поколения в первые годы революции попытались увидеть общую картину, осознать значение происходящего; потом настало время более спокойное и, если угодно, более серое; писатели начали приглядываться к отдельным человеческим судьбам. В эпоху Эдуарда VII нищего мальчика секли за проказы принца; наши критики секли и секут писателей за ухабы большой дороги...

Проточный переулок никак не походил на розариум. А я, будучи щетинистым человеком, но, право же, не свиньей, терзался от грязи. Частенько мне бывало холодно на свете; я искал сердечности, теплоты. На берегу Москвы-реки летом цвели злосчастные цветы пустырей, затоптанные, заваленные нечистотами,- лютики, одуванчики. И эти цветы я хотел изобразить.

С прошлым не стоит спорить, но над ним стоит задуматься - проверить, почему написанные страницы столько раз оказывались бледнее, мельче тех, что в бессонные ночи мерещились автору.

Всю мою жизнь я беззаветно любил Гоголя. Эти строки я пишу в полутемном номере римской гостиницы - между двумя заседаниями оказалось несколько свободных дней, и я решил вернуться к начатой главе. Вчера я снова пошел в старое кафе «Греко», где когда-то сиживал Николай Васильевич, сел за столик под его портретом и

задумался: каким светом озарил этот угрюмый, болезненный, в жизни глубоко несчастный человек и Россию и мир!

В повести о Проточном переулке горбун Юзик читает и перечитывает одну книжку; ее первые страницы выдраны, он не знает ни заглавия, ни имени автора. Он говорит Тане: «Ах, Татьяна Алексеевна, вы только послушайте, что я вчера прочел: «Много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания». Таня смеется: «Глупые книжки вы читаете, Юзик. Кто теперь говорит «перл»? Это ювелир, а не писатель. Вы должны усвоить методологию...»

Приведенные слова принадлежат Гоголю. Душевная глубина позволила ему потрясти современников, она потрясает и нас. Сидя за его столиком, я думал, что ни у меня, ни у многих из моих современников не нашлось достаточной душевной глубины и что мы слишком часто оказывались побежденными - не критиками, конечно, а временем - именно потому, что не сумели с подлинной глубиной, с дерзостью замысла, с мужеством автора «Мертвых душ», «Шинели» осветить будничное, малопримечательное, «презренное».

Не буду говорить о других, но себя судить я вправе. Слабость моей повести не в замысле, не в том, что я обратился к неприглядным обитателям Проточного переулка, не противопоставив им строителей будущего, а в том, что изображаемый мир слишком робко, скупо, редко озарен светом искусства. Дело не в размерах отпущенного мне дарования, а в душевной поспешности, в том, что мы жили ослепленные огромными событиями, оглушенные пальбой, ревом, громчайшей музыкой и порой переставали ощущать оттенки, слышать биение сердца, отучались от тех душевных деталей, которые являются живой плотью искусства.

Все это я понял не в 1926 году, а много позднее: человек учится до самой смерти.

Лето в Москве стояло жаркое; многие из моих друзей жили на дачах или были в отъезде. Я слонялся по раскаленному городу. Один из очень душных, предгрозовых дней принес мне нечаянную радость: я познакомился с человеком, который стал моим самым близким и верным другом, с писателем, на которого я смотрел как подмастерье на мастера,- с Исааком Эммануиловичем Бабелем.

Он пришел ко мне неожиданно, и я запомнил его первые слова: «Вот вы какой...» А я его разглядывал с еще большим любопытством - вот человек, который написал «Конармию», «Одесские рассказы», «Историю моей голубятни»! Несколько раз в жизни меня представляли писателям, к книгам которых я относился с благоговением: Максиму Горькому, Томасу Манну, Бунину, Андрею Белому, Генриху Манну, Мачадо, Джойсу; они были много старше меня; их почитали все, и я глядел на них, как на далекие вершины гор. Но дважды я волновался, как заочно влюбленный, встретивший наконец предмет своей любви,- так было с Бабелем, а десять лет спустя - с Хемингуэем.

Бабель сразу повел меня в пивную. Войдя в темную, набитую людьми комнату, я обомлел. Здесь собирались мелкие спекулянты, воры-рецидивисты, извозчики, подмосковные огородники, опустившиеся представители старой интеллигенции. Кто-то кричал, что изобрели «эликсир вечной жизни», это свинство, потому что он стоит баснословно дорого, значит, всех пересидят подлецы. Сначала на крикуна не обращали внимания, потом сосед ударил его бутылкой по голове. В другом углу началась драка из-за девушки. По лицу кудрявого паренька текла кровь. Девушка орала: «Можешь не стараться, Гарри Пиль - вот кто мне нравится!..» Двух напившихся до бесчувствия выволокли за ноги. К нашему столику подсел старичок, чрезвычайно вежливый; он рассказывал Бабелю, как его зять хотел вчера прирезать жену, «а Верочка, знаете, и не сморгнула, только говорит: «Поворачивайте, пожалуйста, оглобли»,- она у меня, знаете, деликатная...» Я не выдержал: «Пойдем?» Бабель удивился: «Но ведь здесь очень интересно...»

Внешне он меньше всего походил на писателя. Он рассказал в очерке «Начало», как, приехав впервые в Петербург (ему тогда было двадцать два года), снял комнату в квартире инженера. Поглядев внимательно на нового жильца, инженер приказал запереть на ключ дверь из комнаты Бабеля в столовую, а из передней убрать пальто и калоши. Двадцать лет спустя Бабель поселился в квартире старой француженки в парижском предместье Нейи; хозяйка запирала его на ночь - боялась, что он ее зарежет. А ничего страшного в облике Исаака Эммануиловича не было; просто он многих озадачивал: бог его знает, что за человек и чем он занимается...

Майкл Голд, который познакомился с Бабелем в Париже в 1935 году, писал: «Он не похож на литератора или на бывшего кавалериста, а скорее напоминает заведующего сельской школой». Вероятно, главную роль в создании такого образа играли очки, которые в «Конармии» приняли угрожающие размеры («Шлют вас, не спросись, а тут режут за очки», «Жалеее вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку», «Аннулировал ты коня, четырехглазый»...). Он был невысокого роста, коренастый. В одном из рассказов «Конармии», говоря о галицийских евреях, он противопоставляет им одесситов, «жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино», - грузчиков, биндюжников, балагул, налетчиков вроде знаменитого Мишки Япончика прототипа Бени Крика. (Эпитет «жовиальный» - галлицизм, по-русски говорят: веселый или жизнерадостный.) Исаак Эммануилович, несмотря на очки, напоминал скорее жовиального одессита, хлебнувшего в жизни горя, чем сельского учителя. Очки не могли скрыть его необычайно выразительных глаз, то лукавых, то печальных. Большую роль играл и нос - неутомимо любопытный. Бабелю хотелось все знать: что переживал его однополчанин, кубанский казак, когда пил два дня без просыпу и в тоске сжег свою хату; почему Машенька из издательства «Земля и фабрика», наставив мужу рога, начала заниматься биомеханикой; какие стихи писал убийца французского президента белогвардеец Горгулов; как умер старик бухгалтер, которого он видел один раз в окошке издательства «Правда»; что в сумочке парижанки, сидящей в кафе за соседним столиком; продолжает ли фанфаронить Муссолини, оставаясь глаз на глаз с Чиано,- словом, мельчайшие детали жизни.

Все ему было интересно, и он не понимал, как могут быть писатели, лишенные аппетита к жизни. Он говорил мне о романах Пруста: «Большой писатель. А скучно... Может быть, ему самому было скучно все это описывать?..» Отмечая способности начинающего эмигрантского писателя Набокова-Сирина, Бабель говорил: «Писать умеет, только писать ему не о чем».

Он любил поэзию и дружил с поэтами, никак на него не похожими: с Багрицким, Есениным, Маяковским. А литературной среды не выносил: «Когда нужно пойти на собрание писателей, у меня такое чувство, что сейчас предстоит дегустация меда с касторкой...» У него были друзья различных профессий инженеры, наездники, кавалеристы, архитекторы, пчеловоды, цимбалисты. Он мог часами слушать рассказы о чужой любви, счастливой или несчастной. Он как-то располагал собеседника к исповеди; вероятно, люди чувствовали, что Бабель не просто слушает, а переживает. Некоторые его вещи - рассказы от первого лица, хотя в них чужие жизни (например, «Мой первый гонорар»), другие, напротив, под маской повествования о вымышленных героях раскрывают страницы биографии автора («Нефть»).

В коротенькой автобиографии Бабель рассказывал, что в 1916 году А. М. Горький «отправил» его «в люди». Исаак Эммануилович продолжал: «И я на семь лет - с 1917 по 1924 - ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч.»

Действительно семь лет, о которых упоминает Бабель, дали ему многое; но он был «в людях» и до 1916 года, оставался «в людях» и после того, как стал известным писателем: вне людей существовать он не мог. «История моей голубятни» была пережита мальчиком и уж много позднее рассказана зрелым мастером. В годы отрочества, ранней юности Бабель встречал героев своих одесских рассказов - налетчиков и барышников, близоруких мечтателей и романтических жуликов.

Куда бы он ни попадал, он сразу чувствовал себя дома, входил в чужую жизнь. Он пробыл недолго в Марселе; но, когда он рассказывал

о марсельской жизни, это не было впечатлениями туриста,- говорил о гангстерах, о муниципальных выборах, о забастовке в порту, о какой-то стареющей женщине, кажется прачке, которая, получив неожиданно большое наследство, отравилась газом.

Однако даже в любимой им Франции он тосковал о родине. Он писал в октябре 1927 года из Марселя: «Духовная жизнь в России благородней. Я отравлен Россией, скучаю по ней, только о России и думаю». В другом письме И. Л. Лифшицу, старому своему другу, он писал из Парижа: «Жить здесь в смысле индивидуальной свободы превосходно, но мы - из России тоскуем по ветру больших мыслей и больших страстей».

В двадцатые годы у нас в газетах часто можно было увидеть термин «ножницы»; речь шла не о портновском инструменте, а о растущем расхождении между ценой хлеба и ценой ситца или сапог. Я сейчас думаю о других «ножницах»: о расхождении между жизнью и значением искусства; с этими «ножницами» я прожил жизнь. Мы часто об этом говорили с Бабелем. Любя страстно жизнь, ежеминутно в ней участвуя, Исаак Эммануилович был с детских лет предан искусству.

Бывает так: человек пережил нечто значительное, захотел об этом рассказать, у него оказался талант, и вот рождается новый писатель. Фадеев мне говорил, что в годы гражданской войны он и не думал, что увлечется литературой; «Разгром» был для него самого негладким результатом пережитого. А Бабель и воюя знал, что должен будет претворить действительность в произведение искусства.

Рукописи неопубликованных произведений Бабеля исчезли в ведомстве Берии. Записки С. Г. Гехта напомнили мне о замечательном рассказе Исаака Эммануиловича «У Троицы». Бабель мне его прочитал весной 1938 года; это история гибели многих иллюзий, история горькая и мудрая. Пропали рукописи рассказов, пропали и главы начатого романа. Тщетно искала их вдова Исаака Эммануиловича, Антонина Николаевна. Чудом сохранился дневник Бабеля, который он вел в 1920 году, находясь в рядах Первой Конной: одна киевлянка сберегла толстую тетрадь с неразборчивыми записями. Дневник очень интересен - он не только показывает, как работал Бабель, но и помогает разобраться в психологии творчества.

Как явствует из дневника, Бабель жил жизнью своих боевых товарищей - победами и поражениями, отношением бойцов к населению и населения к бойцам, его потрясли великодушные, насилие, боевая выручка, погромы, смерти. Однако через весь дневник проходят настойчивые напоминания: «Описать Матяжа, Мишу», «Описать людей, воздух», «За этот день - главное описать красноармейцев и воздух», «Запомнить - фигура, лицо, радость Апанасенки, его любовь к лошадям, как проводит лошадей, выбирает для Бахтурова», «Обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозу полка, отчаянного рубаку», «Не забыть бы священника в Лошкове, плохо выбритый, добрый, образованный, м. б. корыстолюбивый, какое там корыстолюбие- курица, утка», «Описать воздушную атаку, отдаленный и как будто медленный стук пулемета», «Описать леса - Кривиха, разоренные чехи, сдобная баба...»

Бабель был поэтом; ни натурализм описываемых им бытовых деталей, ни крупные очки на круглом лице не могут скрыть его поэтическую настроенность. Он загорался от стихотворной строки, от холста, от цвета неба, от зрелища человеческой красоты. Его дневник не относится к тем дневникам, которые рассчитаны на опубликование,- Бабель откровенно беседовал с собой. Вот почему, говоря о поэтичности Бабеля, я начну с записей в дневнике.

«Вырубленные опушки, остатки войны, проволока, окопы. Величественные зеленые дубы, грабы, много сосны, верба - величественное и кроткое дерево, дождь в лесу, размытые дороги, осень».

«Боратин - крепкое солнечное село. Хмель, смеющаяся дочка, молчаливый богатый крестьянин, яичница на масле, молоко, белый хлеб, чревоугодие, солнце, чистота».

«Великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а м. б. Мурильо, святые упитанные иезуиты, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура св. Валента».

«Вспоминаю разломанные рамы, тысячи пчел, жужжащих и бьющихся у разрушенного улья».

«Графский, старинный польский дом. наверное, б. 100 лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, маленькие комнаты для

дворецких, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль Стейнвей, диваны вскрыты до пружин, припомнить белые легкие и дубовые двери, французские письма 1820 г.».

О своем отношении к искусству Бабель рассказал в новелле «Ди Грассо». В Одессу приезжает актер из Сицилии. Он играет условно, может быть чрезмерно, но сила искусства такова, что злые становятся добрыми; жена барышника, выходя из театра, упрекает пристыженного мужа: «Босьяк, теперь ты видишь, что такое любовь...»

Я помню появление «Конармии». Все были потрясены силой фантазии; говорили даже о фантастике. А между тем Бабель описал то, что видел. Об этом свидетельствует тетрадка, побывавшая в походе и пережившая автора.

Вот рассказ «Начальник конзапаса». «На огненном англоарабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса, - краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар». Далее Дьяков говорит крестьянину, что за коня он получит пятнадцать тысяч, а если бы конь был повеселее, то двадцать: «Ежели конь упал и подымается, то это - конь: ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь». А вот запись в дневнике 13 июля 1920 года: «Начальник конского запаса Дьяков - феерическая картина, кр[асные] штаны с серебр [яными] лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, корот[кие] седые усы, сорок пять лет... был атлетом... о лошадях». 16 июля: «Приезжает Дьяков. Разговор короткий: за такую-то лошадь можешь получить 15 т., за такую-то - 20 т. Ежели поднимется, значит, это лошадь».

Рассказ «Гедали»; в нем автор встречает старого еврея-старьевщика, который печально излагает свою философию: «Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому, что он - контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы революция. А революция - это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек... И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории». Лавка Гедали описана так: «Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю».

Запись в дневнике 3 июля 1920 года: «Маленький еврей философ. Невообразимая лавка - Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия: все говорят, что они воюют за правду, и все грабят».

В дневнике есть и Прищепа, и городок Берестечко, и найденное там французское письмо, и убийство пленных, и «пешка» в боях за Лешнюв, и речь комдива о Втором конгрессе Коминтерна, и «бешеный холуй Левка», и дом ксендза Тузинкевича, и много других персонажей, эпизодов, картин, перешедших потом в «Конармию». Но рассказы не похожи на дневник. В тетрадке Бабель описывал все, как было. Это опись событий: наступление, отступление, разоренные, перепуганные жители городов и сел, переходящих из рук в руки, расстрелы, вытопанные поля, жестокость войны. Бабель в дневнике спрашивал себя: «Почему у меня непроходящая тоска?» И отвечал: «Разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде».

А книга не такова: в ней, несмотря на ужасы войны, на свирепый климат тех лет, вера в революцию и вера в человека. Правда, некоторые говорили, что Бабель оклеветал красных кавалеристов. Горький заступился за «Конармию» и написал, что Бабель «украсил» казаков Первой Конной «лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев». Слово «украсить», вырванное мною из текста, да и сравнение с «Тарасом Бульбой» могут сбить с толку. Притом язык «Конармии» цветист, гиперболичен. (Еще в 1915 году, едва приступив к работе писателя, Бабель говорил, что ищет в литературе солнца, полных красок, восхищался украинскими рассказами Гоголя и жалел, что «Петербург победил Полтавщину. Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властностью затер Грицка...».)

Бабель, однако, не «украсил» героев «Конармии», он раскрыл их внутренний мир. Он оставил в стороне не только будни армии, но и многие поступки, доводившие его в свое время до отчаяния; он как бы осветил прожектором один час, одну минуту, когда человек раскрывается. Именно поэтому я всегда считал Исаака Эммануиловича поэтом.

«Конармия» пришлась по душе самым различным писателям: Горькому и Томасу Манну, Барбюсу и Мартен дю Гару, Маяковскому и Есенину, Андрею Белому и Фурманову, Ромену Роллану и Брехту.

В 1930 году «Новый мир» напечатал ряд писем зарубежных писателей, главным образом немецких,- ответы на анкету о советской

литературе. В большинстве писем на первом месте стояло имя Бабеля.

А Исаак Эммануилович критиковал себя со взыскательностью большого художника. Он часто говорил мне, что писал чересчур цветисто, ищет простоты, хочет освободиться от нагромождения образов. Как-то в начале тридцатых годов он признался, что Гоголь «Шинели» теперь ему ближе, чем Гоголь ранних рассказов. Он полюбил Чехова. Это были годы, когда он писал «Гюи де Мопассана», «Суд», «Ди Грассо», «Нефть».

Работал он медленно, мучительно; всегда был недоволен собой. При первом знакомстве он сказал мне: «Человек живет для удовольствия, чтобы спать с женщиной, есть в жаркий день мороженое». Я как-то пришел к нему, он сидел голый: был очень жаркий день. Он не ел мороженого, он писал. Приехав в Париж, он и там работал с утра до ночи: «Я тружусь здесь, как вдохновенный вол, света божьего не вижу (а в свете этом Париж - не Кременчуг)...» Потом он поселился в деревне, неподалеку от Москвы, снял комнату в избе, сидел и писал. Повсюду он находил для работы никому не ведомые норы. Этот на редкость «жовиальный» человек трудился, как монах-отшельник.

Когда в конце 1932 - в начале 1933 года я писал «День второй», Бабель чуть ли не каждый день приходил ко мне. Я читал ему написанные главы, он одобрял или возражал - моя книга его заинтересовала, а другом он был верным.

Он любил прятаться, не говорил, куда идет; его дни напоминали ходы крота. В 1936 году я писал об Исааке Эммануиловиче: «Его собственная судьба похожа на одну из написанных им книг: он сам не может ее распутать. Как-то он шел ко мне. Его маленькая дочка спросила: «Куда ты идешь?» Ему пришлось ответить; тогда он передумал и не пошел ко мне... Осьминог, спасаясь, выпускает чернила: его все же ловят и едят - любимое блюдо испанцев «осьминог в своих чернилах». (Я написал это в Париже в самом начале 1936 года, и мне страшно переписывать теперь эти строки: могли я себе представить, как они будут звучать несколько лет спустя?..)

По совету Горького Бабель не печатал своих произведений в течение семи лет: с 1916 по 1923. Потом одна за другой появились «Конармия», «Одесские рассказы», «История моей голубятни», пьеса «Закат». И снова Бабель почти замолк, редко публикуя маленькие

(правда, замечательные) рассказы. Одной из излюбленных тем критиков стало «молчание Бабеля». На Первом съезде советских писателей я выступил против такого рода нападок и сказал, что слониха вынашивает детей дольше, чем крольчиха; с крольчихой я сравнил себя, со слонихой - Бабеля. Писатели смеялись. А Исаак Эммануилович в своей речи, подтрунивая над собой, сказал, что он преуспевает в новом жанре молчания.

Ему, однако, было невесело. С каждым днем он становился все требовательнее к себе. «В третий раз принялся переписывать сочиненные мною рассказы и с ужасом увидел, что потребуется еще одна переделка - четвертая...» В одном письме он признавался: «Главная беда моей жизни - отвратительная работоспособность...»

Я не кривил душой, говоря о крольчихе и слонихе: я высоко ценил талант Бабеля и знал его взыскательность к себе. Я гордился его дружбой. Хотя он был на три года моложе меня, я часто обращался к нему за советом и шутя называл его «мудрым ребе».

Я всего два раза разговаривал с А. М. Горьким о литературе, и оба раза он с нежностью, с доверием говорил о работе Бабеля; мне это было приятно, как будто он похвалил меня... Я радовался, что Ромен Роллан в письме о «Дне втором» восторженно отозвался о «Конармии». Я любил Исаака Эммануиловича, любил и люблю книги Бабеля...

Еще о человеке. Бабель не только внешностью мало напоминал писателя, он и жил иначе: не было у него ни мебели из красного дерева, ни книжных шкафов, ни секретаря. Он обходился даже без письменного стола - писал на кухонном столе, а в Молоденове, где он снимал комнату в домике деревенского сапожника Ивана Карповича, - на верстаке.

Первая жена Бабеля, Евгения Борисовна, выросла в буржуазной семье, ей нелегко было привыкнуть к причудам Исаака Эммануиловича. Он, например, приводил в комнату, где они жили, бывших однополчан и объявлял: «Женя, они будут ночевать у нас»...

Он умел быть естественным с разными людьми, помогали ему в этом и такт художника и культура. Я видел, как он разговаривал с парижскими снобами, ставя их на место, с русскими крестьянами, с Генрихом Манном или с Барбюсом.

В 1935 году в Париже собрался Конгресс писателей в защиту культуры. Приехала советская делегация; среди нее не оказалось Бабеля. Французские писатели, инициаторы конгресса, обратились в наше посольство с просьбой включить автора «Конармии» и Пастернака в состав советской делегации. Бабель приехал с опозданием - кажется, на второй или на третий день. Он должен был сразу выступить. Усмехаясь, он успокоил меня: «Что-нибудь скажу». Вот как я описал в «Известиях» выступление Исаака Эммануиловича: «Бабель не читал своей речи, он говорил по-французски, весело и мастерски, в течение пятнадцати минут он веселил аудиторию несколькими ненаписанными рассказами. Люди смеялись, и в то же время они понимали, что под видом веселых историй идет речь о сущности наших людей и нашей культуры: «У этого колхозника уже есть хлеб, у него есть дом, у него есть даже орден. Но ему этого мало. Он хочет теперь, чтобы про него писали стихи...»

Много раз он говорил мне, что главное - это счастье людей. Любил животных, особенно лошадей; писал о своем боевом друге Хлебникове: «Нас потрясли одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони».

Жизнь для него оказалась не майской лужайкой... Однако до конца он сохранил верность идеалам справедливости, интернационализма, человечности. Революцию он понял и принял как залог будущего счастья. Один из лучших рассказов тридцатых годов «Карл-Янкель» - кончается словами: «Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карла-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дело до меня. «Не может быть,- шептал я себе,- чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня...»

А Бабель был одним из тех, кто оплатил своей борьбой, своими мечтами, своими книгами, а потом и своей смертью счастье будущих поколений.

В конце 1937 года я приехал из Испании, прямо из-под Теруэля, в Москву. Когда я дойду до рассказа о тех днях, читатель поймет, как мне было важно повидать сразу Бабеля. «Мудрого ребе» я нашел печальным, но его не покидали ни мужество, ни юмор, ни дар рассказчика. Он мне рассказал однажды, как был на фабрике, где изъятые книги шли на изготовление бумаги; это была очень сметная и

очень страшная история. В другой раз он рассказал мне о детдомах, куда попадают сироты живых родителей. Невыразимо грустным было наше расставание в мае 1938 года...

Бабель всегда с нежностью говорил о родной Одессе. После смерти Багрицкого, в 1936 году, Исаак Эммануилович писал: «Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города, согласились мы с ним, пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории, стариться... Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря - на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом... Желания наши не осуществились. Багрицкий умер в 38 лет, не сделав и малой части того, что мог. В государстве нашем основан ВИЭМ - Институт экспериментальной медицины. Пусть добьется он того, чтобы эти бессмысленные преступления природы не повторялись больше».

Природу мы порой в сердцах называем слепой. Бывают слепыми и люди...

Незадолго до ареста он писал своей приятельнице, которая сняла для него домик в Одессе: «Сей числящийся за мной флигелек очень поднял мой дух. Достоевский говорил когда-то: «Всякий человек должен иметь место, куда бы он мог уйти», - и от сознания, что такое место у меня появилось, я чувствую себя много увереннее на этой, как известно, вращающейся земле».

Бабеля арестовали весной 1939 года. Узнал я об этом с опозданием - был во Франции. Шли мобилизованные, дамы гуляли с противогазами, окна оклеивали бумажками. А я думал о том, что потерял человека, который помогал мне шагать не по майскому лугу, а по очень трудной дороге жизни.

Нас роднило понимание долга писателя, восприятие века: мы хотели, чтобы в новом мире нашлось место и для некоторых очень старых вещей - для любви, для красоты, для искусства.

В конце 1954 года, может быть в тот самый час, когда человек со смешным именем Карла-Янкеля и его сверстники - Иваны, Петры, Николы, Ованесы, Абдуллы - веселой ватагой выходили из университетских аудиторий, прокурор сообщил мне о посмертной реабилитации Исаака Эммануиловича. Вспоминая рассказ Бабеля, я смутно подумал: не может быть, чтобы они не были счастливее нас!..

Одна читательница говорила мне, что ей трудно было читать «Бурю»: только-только Валя декламирует «Гамлета» - и уже какая-то Гильда в немецком городке заводит шашни с итальянцем, потом Сергей у Днепра, потом Мики поет партизанскую песенку в горах Лимузина, - все путается. Возможно, эта читательница права: роман - парк, и даже густые заросли в нем обдуманы. А жизнь - лес, и в книге о прожитых годах невозможно соблюсти стройность повествования.

Я писал о Проточном переулке - и сразу перехожу к Пен марку во французском округе Финистер. (Между Москвой и Пенмарком я побывал в Ленинграде, Киеве, Днепропетровске, Ростове, Тбилиси, Батуми, Стамбуле, Афинах, Марселе, Париже, Берлине; все это я сейчас опускаю.) Ничего не поделаешь с семнадцати лет я начал бродяжничать, годы и годы ночевал в случайных номерах замызганных гостиниц, часто менял адреса, тряся в зеленых прокопченных вагонах, отдыхал на палубах, спал в самолетах, сотни километров исходил пешком, причем никогда не чувствовал себя туристом, да и не затем колесил по миру, чтобы набрать материал для очередной книги; ездил по доброй воле, ездил и потому, что посылали, с деньгами и без денег: сначала мелькали верстовые столбы, потом сугробы облаков; я быстро изнашивал ботинки, покупал не шкафы, а чемоданы - так вот сложилась моя жизнь. Наверно, это - свойство натуры: есть домоседы, есть и «вечные жида»; здесь нечем гордиться и не в чем оправдываться.

В Пенмарке я был в 1927 году и пишу о нем не потому, что мне хочется показать угрюмую красоту скал, исхлестанных океаном, или своеобразие древней бретонской скульптуры; право же, Акрополь совершенней, а океан тем и хорош, что не поддастся описанию. Но я обещал рассказать про свой путь, а жизнь складывается не только из исторических событий; порой незначительное происшествие, деталь быта, случайная встреча врезаются в память и многое определяют.

Пенмарк - небольшой городок на одном из западных мысов Европы; его жители занимаются рыбным промыслом - ловят сардину;

женщины работают на консервных фабриках, Пенмарк пропах рыбой, ею пахнут люди, одежда, кровати, подушки.

Когда я впервые увидел этот городок, меня поразило беспокойство и природы и людей. Нигде я не слышал такого яростного моря, оно стучалось в каменные ворота земли. Ветер сбивал с ног; и ни одно дерево не смягчало картины - камни, камни, а между ними белые кубики консервных фабрик. На площади стояли рыбаки в красных брезентовых костюмах. В порту торчали голые мачты, похожие на лес зимой. Женщины были одеты в длинные черные платья, высокие белые чепчики походили на митры; их можно было увидеть издали, как маленькие маяки. Ворота фабрик были заперты. Уже не первый день рыбаки бастовали. Их требования могли удивить человека, незнакомого с ловом сардины: они хотели, чтобы фабриканты брали весь улов, хотя бы по низкой цене. Сардину ловят только в летние месяцы, когда она стаями подымается в верхние слои воды, идет недалеко от берега. Рыбаки должны летом накопить деньги на зиму. Фабриканты консервов были объединены в союз и не хотели пойти на соглашение с рыбаками, говорили, что фабрики недостаточно оборудованы; на самом деле они боялись, что цены на консервы могут упасть.

Забастовку рыбаки проиграли у них не было денег про черный день: все дни были черными. Я присматривался к жизни людей, она была трудной. Крупная рыба часто рвала тонкие голубые сети. Хотя французские сардины считались лучшими в мире и составляли предмет экспорта, фабрики были действительно плохо оборудованы, труд оплачивался низко. Приезжавшие в Бретань художники любили писать женщин Пенмарка, их привлекали старинная одежда, чепцы, красота лиц; а руки у работниц были красные, разъеденные солью.

Один парусник пришел в порт с хорошим уловом. Мокрые, продрогшие люди радовались. Сардину, однако, отказались взять. Напрасно рыбаки уговаривали, настаивали, ругались. В другом порту - Одьерне - была фабрика, не входившая в объединение предпринимателей, рыбаки решили попытать счастья, хотя ветер крепчал, начинался шторм. Оставшиеся на берегу угрюмо говорили: «А что им делать? У них большие семьи...»

Есть размышления о «мыслящем тростнике», есть фантастика Вилье де Лилль Адана, есть бретонские пейзажи Гогена. Но есть и

другое голодные дети. Одна из трагедий нашей эпохи в этом противоречии между взлетом человеческого гения и древней, звериной нуждой.

Женщины, стоявшие на берегу, видели, как высокая волна опрокинула лодку. Поднялась человеческая буря: люди колотились в запертые ворота фабрики. Хозяев не было, - вероятно, они отдыхали на курорте. Перепуганные управляющие кинулись к телефонам, умоляли прислать отряд жандармов.

С маяка пошла моторная лодка, и тонувших удалось спасти. Все сразу притихло. Наутро парусники вышли в море; женщины аккуратно отрезали сардинам головы или укладывали рыбу в жестянки.

Ничего, таким образом, не произошло. Почему же мне это запомнилось? О том, что сытый голодного не понимает, я знал и раньше - не только из книг, по своему опыту. Да и жизнь рыбаков Пенмарка не могла меня удивить, я давно пригляделся к человеческой бедности. Потрясло меня другое.

Рыбаки Пенмарка ежедневно вступали в поединок с океаном. На кладбище я видел немало крестов над пустыми могилами, к ним приходили вдовы погибших в море. Борьба человека с природой всегда приподымает, и кажется, нет мифа прекраснее, чем миф о Прометее. Незадолго до моего приезда в Пенмарк молодой американский летчик Линдберг первым перелетел через Атлантический океан, и я видел в рыбацких домах его портреты, вырезанные из газет. В детстве я увлекался книжкой о «Фрамс» Нансена и потом, в течение моей жизни, пережил события, большие или меньшие, потрясавшие воображение всех: Блерио перелетел через Ла-Манш, русские моряки спасали жителей Мессины во время землетрясения, Кальмет нашел антитуберкулезную прививку, ледокол «Красин» спас полярную экспедицию Нобиле, погиб Амундсен, челюскинцы удержались на льдине, советские летчики прилетели в Америку через Северный полюс, Флеминг открыл пенициллин, англичане взобрались на верхушку Эвереста, норвежцы на плоту доплыли до Полинезии, советский спутник закружился вокруг Земли, и, наконец, мир, восхищенный, замер - впервые человек, Юрий Гагарин, заглянул в космос.

Рядом с этими событиями, потрясающими воображение, обыкновенные люди днем и ночью борются против слепой природы - рыбаки и врачи, горняки и летчики гражданского флота.

В 1929 году я увидел в Швеции слепого инженера-физика Далена. Он работал над освещением маяков и ослеп при одном из испытаний, отдал свои глаза для того, чтобы другие видели - капитаны судов, лоцманы, рыбаки. А в Пенмарке я увидел другое... Есть подвиги, и есть барыши,- вот что невыносимо! Есть люди, готовые послать на смерть не только трех бретонских рыбаков, но и весь «мыслящий тростник» только для того, чтобы не упали цены на сардины, на нефть или на уран.

Может быть, я отвлекся от повествования, но, как я сказал, ничего в Пенмарке не приключилось. Об инциденте была крохотная заметка в одной газете. Рыбаки продолжали закидывать сети. Акционеры консервных фабрик получали дивиденды.

Передышка продолжалась. 1927 год не изобиловал мировыми событиями. Сэр Генри Детердинг, который не мог простить Советскому Союзу национализацию нефтяных промыслов, добился разрыва дипломатических отношений между Великобританией и СССР. Американцы казнили Сакко и Ванцетти - в Париже шумная демонстрация протеста пыталась прорваться к американскому посольству. Андре Ситроен торжественно объявил, что его заводы выпускают тысячу автомобилей в день. В Варшаве белый эмигрант застрелил советского посла Войкова. На экранах Парижа появился первый говорящий фильм, кажется «Дон-Жуан». В Берлине состоялся митинг сторонников Гитлера; хотя Германия переживала период благоденствия, ораторы говорили о «жизненном пространстве на Востоке». В Москве рапповцы повторяли: «Необходимо сорвать маски со всех»,- к маскам они причисляли и лица многих писателей. (Впрочем, тогда все ограничивалось статьями...)

Зимой я снова поехал в Пенмарк с Моголи Надем, который мечтал сделать фильм о сардинах и о людях, бездушных дельцах; он говорил, что у него на примете левый меценат. Рыбаки рассказывали нам о фабрикантах, о штормах. Океан неистовствовал. Рыбачки, укачивая детей, пели печальные песни.

Мецената Моголи Надь не нашел и фильма не сделал. А я, вернувшись из Пени арка, писал: «Ужасен мир, где Каин - и

законодатель, и жандарм, и судья!.. В этом году исполнится десять лет со дня окончания мировой войны. Если ничего не изменится, через десять лет мы увидим новую войну, куда более ужасную». Не знаю, почему я назвал эту цифру, а ошибся я всего на полтора года...

Среди рукописей Е. П. Петрова сохранился план задуманной им книги «Мой друг Ильф». В пятой главе этого плана я нашел такие строки: «Красная Армия. Единственный человек, который прислал мне письмо, был Ильф. Вообще стиль того времени был такой: на все начихать, письма писать глупо, МХАТ - бездарный театр, читайте «Хулио Хуренито». Эренбург привез из Парижа отрывки из фильмов группы «Авангард» - замедленная съемка. «Париж уснул». Увлечение кинематографом. «Кабинет доктора Калигари», «Две сиротки», Мери Пикфорд. Фильмы с погонями. Немецкие фильмы. Первые фокстроты. При этом жили очень бедно».

Приведенные строки относятся, видимо, к 1926 году, когда я показывал в Москве отрывки из французских фильмов, которые мне дали Абель Ганс, Рене Клер, Фейдер, Эпштейн, Ренуар, Кирсанов. Я тогда еще не был знаком с Ильфом и Петровым, но, как они, увлекался кино, даже написал брошюру «Материализация фантастики»; немецкие фильмы вроде «Доктора Калигари» мне, однако, не нравились, я восхищался Чаплином, Гриффитом, Эйзенштейном, Рене Клером.

Год спустя мне пришлось ближе ознакомиться с «материализацией фантастики», вернее сказать - с фантастикой материализации. В Германии переводы моих книг выпускало издательство «Малик ферлаг». Его создал мой друг, немецкий коммунист, прекрасный поэт Виланд Герцфельде. Он всегда приходил на выручку советским писателям, которые оказывались за границей без денег. (В 1928 году Маяковский писал из Берлина: «Вся надежда на «Малик»...») И вот я получил письмо от Герцфельде: «Уфа» хочет инсценировать «Любовь Жанны Ней», фильм будет ставить один из лучших режиссеров - Георг Пабст.

Пабст был австрийцем, его никогда не увлекало экспрессионистическое нагромождение ужасов, или, как мы тогда говорили, «страсти-мордасти». Я знал его картину «Безрадостная улица» - о разоре послевоенных лет, она мне понравилась, и я

обрадовался предложению «Уфы». Вскоре Пабст попросил меня приехать в Берлин, где происходили съемки.

Успех «Броненосца «Потемкин» заставил призадуматься многих кинопродюсеров. Публика охладела к зловещим гримасам различных «докторов». Ковбои тоже успели надоест. Русская революция манила своей экзотичностью. Сесиль де Милль спешно изготовил «Волжских бурлаков», Морис Лертье - «Головокружение». Пабст решил приправить интригу моего романа живописными сценами: бой белогвардейцев с «зелеными», заседание Совета рабочих депутатов, Ревтрибунал, подпольная типография. Зная, что сценарий, состряпанный кем-то наскоро, изобилует нелепостями, немцы с присущим им педантизмом все же стремились к правдоподобности деталей, ходили в советское посольство и одновременно приглашали в качестве консультанта генерала Шкуро, выступавшего с труппой джигитов.

В павильоне кинофабрики я увидел улицы Феодосии с аркадами, русскую замызанную гостиницу, монмартрский кабаk, кабинет модного французского адвоката, кресло великого князя, бутылки с водкой, статую Богоматери, нары ночлежки и много иной бутафории. Москва находилась в пятидесяти шагах от Парижа, между ними торчал крымский холм; белогвардейский притон был отделен от советского трибунала французским вагоном.

Фильм был немым, это позволило Пабсту набрать разноязычных актеров. Жанну Ней играла хорошенькая француженка Эдит Жеан, Андрея - швед Уно Геннинг, злодея Халыбьева - немец Фриц Расп, Захаркевича - бывший актер московского Камерного Театра Соколов.

Из съемок мне запомнились три сцены. Прежде всего слезы Жанны. Актриса никак не могла натурально заплакать. Завели патефон с каким-то весьма печальным романсом. Отвернувшись, Эдит Жеан настраивалась на слезы,- может быть, вспоминала неудачную любовь, а может быть, думала о невыгодном ангажементе. Пабст в кожаной куртке напоминал командира батареи, он безжалостно браковал слезы Жанны: то недолет, то перелет. Наконец он довел актрису до слез вполне натуральных и, удовлетворенный, вынул из кармана бутерброд с ветчиной. Он представил меня кинозвезде; она улыбнулась: «Ах, это вы на писал и такую печальную историю? Я вас поздравляю». Конечно, я должен был, в свою очередь,

ее поздравить с первосортными слезами, но растерялся и неопределенно хмыкнул.

Вторая сцена связана с клопами. По замыслу Пабста, клопы должны были ползти по стене, а Халыбьев - их наступать и давить; причем клопов снимали крупным планом. Отдел заготовок «Уфы» доставил банку с чудесными клопами; однако насекомые оказались несообразительными - они то поспешно покидали поле съемки, то замирали, очевидно сжигаемые слишком ярким светом. Распу, который играл Халыбьева, никак не удавалось их раздавить. Помощник режиссера сказал мне, что клоны влетят «Уфе» в копейку - на них потратили четыре часа.

Третья сцена - кутеж белых офицеров. Пабст пригласил на съемку бывших деникинцев. Они сберегли военную форму; трудно сказать, на что они рассчитывали - на реставрацию или на киносъемки. Сверкали погоны, высились лихие папахи, на рукавах красовались черепа «батальонов смерти». Я вспомнил Крым 1920 года, и мне стало не по себе.

Восемьдесят белогвардейцев кутили в ресторане «Феодосия». Здесь были балалайки, цыганские романсы, водка, а в углу - полевой телефон. До меня доносились разговоры фигурантов: «Давненько мы с вами не видались...», «Простите, в каком полку вы служили?..»

Пабст командовал: «Переведите! Пусть веселятся! Я хочу, чтобы они напились до бесчувствия. Понятно?» Красавец полковник должен был раздеть женщину. Она неожиданно заупрямилась. Пабст кричал: «Переведите - нечего разводить истории! Трусы ей оставят. Пусть думает, что она на пляже...»

Белые получали по пятнадцать марок за день и были довольны.

(В перерыве я слышал, как один поручик рассказывал: «Говорят, что Чжан Цзо-линь вербует русских. Двести долларов подъемных и на дорогу...»)

Чтобы фигуранты лучше играли, Пабст пообещал вызвать их снова: через неделю они будут изображать красногвардейцев, одежду выдаст «Уфа». Бедняга обрадовались: это было куда реальнее, чем Китай...

Не скрою, мне было нелегко плядеть на эти съемки. Я видел, как в парижских кабаре белые офицеры, развлекавая кутил, пели, танцевали, ругались, плакали; видел в притонах Стамбула сотни русских

проституток; и вот эти офицеры, убежденные, что спасли свою воинскую честь от позора, радуются - им обещали, что через неделю они будут изображать большевиков... Нет, лучше на такое не смотреть!

Из актеров мне понравился Фриц Расп, Он выглядел доподлинным злодеем, и, когда он укусил руку девки, а потом положил на укушенное место вместо пластыря доллар, я забыл, что передо мною актер.

Вскоре Расп приехал в Париж: Пабст снимал уличные сцены. Зарядили дожди, съемки откладывались, и Расп бродил со мной по Парижу, катался на ярмарочных каруселях, танцевал до упаду с веселыми модистками, мечтал на набережных Сены. Мы быстро подружились. Он играл негодяев, но сердце у него было нежное, даже сентиментальное, я его называл Жанной.

Мы встречались и позднее - в Берлине, в Париже. Когда в Германии пришел к власти Гитлер, Распу было нелегко. Я снова увидел его после долгого перерыва в 1945 году в Берлине. Он рассказал, что жил в военные годы в восточном предместье. Там засели эсэсовцы, стреляли в советских солдат из окон. Я уже говорил, что Расп похож на классического убийцу. Когда наши части взяли квартал. Распа спасли мои книги с надписями и фотографии, где мы были сняты вместе. Советский майор жал ему руку, принес сласти его детям.

Вернусь к 1927 году. Я попробовал было возражать против сценария, но Пабст ответил, что я не понимаю специфики кино, нужно считаться с дирекцией, с прокатчиками, с публикой.

Неожиданно в фантастику сценария вмешался вполне реалистический эпизод: «Уфа» оказалась накануне банкротства, дефицит достиг пятидесяти миллионов марок. Из-за кулис появился господин Гугенберг, новый король Германии, которому принадлежали сотни газет; он ненавидел Штреземана, либерализм и голубок мира - предпочитал им кривого прусского орла.

Новая дирекция предложила Пабсту изменить сценарий. Пабст пытался возражать, но с директором «Уфы» было куда труднее сговориться, чем с белыми фигурантами.

У меня есть друг, американский кинорежиссер Майльстоун, который в начале тридцатых годов поставил фильм по роману Ремарка

«На Западе без перемен». Он рассказывал мне, что во время съемок к нему пришел кинопродюсер Леммле и сказал: «Я хочу, чтобы конец фильма был счастливым». Майльстоун ответил: «Хорошо, я сделаю счастливую развязку: Германия выигрывает войну...»

Леммле был бизнесменом и человеком без твердых убеждений. А Гугенберг стриг ежиком жесткие волосы и давал деньги на «Стальной шлем». Пабсту пришлось уступить. Мне показали фильм.

(Хемингуэй молча глядел на киноинсценировку романа «Протай, оружие!». Только когда на экране появились голуби - режиссер хотел показать, что война кончилась,- Хемингуэй встал, сказал: «Вот и птички»,- и вышел из просмотрового зала.

Я был куда наивнее и не мог молча глядеть на экран: то злобно смеялся, то ругал всех - Пабста, Гугенберга, Герцфельде, самого себя.)

Я не хочу сейчас за тишать интригу моего романа, написанного в 1923 году,- в ней много натянутых положений. Я писал роман, не только вдохновившись Диккенсом, но прямо ему подражая (конечно, тогда я этого не понимал). А эпоха была другая, нельзя писать о большевике, занимающемся подпольной работой в 1920 году, как о диккенсовском герое, которого сажали в долговую тюрьму, где он пил портер и шутил с тюремщиками. Мой роман изобиловал сентиментализмом. Героя, большевика Андрея, занятого подпольной работой, обвинили в убийстве банкира Раймонда Нея. Андрей мог ответить, что провел ночь, когда было совершено преступление, с племянницей банкира Жанной, которую полюбил. Герой этого не сделал и погиб. Жанна, бывшая прежде заурядной девушкой, многое поняла, для нее начиналась вторая жизнь - борьбы против мира лжи, денег, лицемерия, она уехала в Москву. Так было написано в книге. На экране все выглядело иначе - от деталей до сути. В романе имелся, например, противный французский сыщик Гастон с провалившимся носом. На экране у сыщика орлиный нос и благородное сердце. Дело, однако, не в Гастоне. Пабст придумал счастливую развязку. В романе влюбленные идут по парижской улице мимо старой церкви. Жанна повела Андрея в церковь - там было темно, а ей хотелось поцеловать Андрея. Это, пожалуй, одна из самых реалистических сцен романа, в котором, как я говорил, много несуразностей. На экране Жанна - верующая католичка, она ведет Андрея в церковь, чтобы помолиться

Господу Богу, большевик становится на колени, и Богоматерь спасает его от гибели. Они поженятся, и у них будут дети.

Я протестовал, писал письма в редакцию. Герцфельде напечатал мой протест в виде брошюры, но это никак не могло потревожить ни прокатчиков, ни дирекцию «Уфы». Мне отвечали: «Фильм должен быть с хорошим концом...»

В 1926 году, когда я был в Тбилиси, в народном суде рассматривалось смешное дело. Одна девушка взяла у другой несколько книг и не вернула их. Судья спросил: «Почему вы не вернули книги?» «Потому что я их кинула в реку».- «Как же вы могли выкинуть чужие книги?» Экспансивная девушка ответила: «А как мог Эренбург написать «Жанну Ней» с ужасным концом? Я прочитала и так расстроилась, что бросила в Куру все книги...» Судья присудил ее к штрафу; не знаю, чем он руководствовался: защитой собственности, уважением к книгам или признанием права писателя на трагическую развязку...

Я понял, что такое «фабрика снов», где серийно изготавливаются фильмы, усыпляющие сознание, оглуляющие миллионы людей. В течение одного 1927 года зрители могли увидеть: «Любовь на пляже», «Любовь в снегах», «Любовь Бетти Петерсон», «Любовь и кража», «Любовь и смерть», «Любовь правит жизнью», «Любовь изобретательна», «Любовь слепа», «Любовь актрисы», «Любовь индуски», «Любовь-мистерия», «Любовь подростка», «Любовь бандита», «Кровавая любовь», «Любовь на перекрестке», «Любовь и золото»; «Любовь запросто», «Любовь палача», «Любовь играет», «Любовь Распутина». Зрителям показали еще один вариант: «Любовь Жанны Ней».

Я писал: «В моей книге жизнь устроена плохо,- следовательно, ее нужно изменить. В фильме жизнь устроена хорошо,- следовательно, можно идти спать».

Я усмехаюсь, вспоминая гневные тирады неопытного автора. Все давно ушло в прошлое - и «Любовь Жанны Ней», и консорциум Гугенберга. Одно, впрочем, живо: страх перед трагическими развязками.

Говорят, что счастливые концы связаны с оптимизмом; по-моему, они связаны с хорошим пищеварением, со спокойным сном, но не с философскими воззрениями. Мы прожили жизнь, которую нельзя

назвать иначе как трагедийной. Попятно, когда люди, желающие усыпить миллионы своих граждан, требуют от писателя или кинорежиссера счастливой развязки. Труднее понять такие требования, когда они исходят от сторонников великого исторического поворота. Можно терзаться, быть печальным и сохранять оптимизм. Можно быть и развеселым циником.

В книге о моей жизни, о людях, которых я встретил, много грустных, подчас трагических развязок. Это не болезненная фантазия любителя «черной литературы», а минимальная порядочность свидетеля. Можно перекроить фильм, можно уговорить писателя переделать роман. А эпоху не перекрасишь: она была большой, но не розовой...

Мы сняли мастерскую на бульваре Сен-Марсель; это была надстройка над старым домом, разумеется сизо-пепельным. Домовладелец, желая дороже сдать мастерскую, провел в дом электричество. Съемщикам квартир предложили бесплатно установить электрическое освещение, почти все отказались: не хотели, чтобы в двери стучался контролер, проверяющий счетчик.

Конечно, еще неприятнее контролера была непрошенная гостья история, и парижане радовались, что она убралась восвояси. Правда, прочитав в газете, что Бриан и американец Келлог подписали пакт, запрещающий навеки войны, они по привычке усмехнулись - все-таки они были французами; но в душе они твердо верили, что, пока они живут, никакой войны не будет: дважды в жизни такое не приключается.

Карикатуристы занялись новым премьером Тардье; его легко было рисовать - он всегда держал в зубах длиннущий мундштук. Морис Шевалье пел свои песенки. Газеты несколько месяцев подряд описывали, как ювелир Месторино убил маклера, а потом сжег его труп. Сюрреалист Бюнюэль показал забавный фильм: на двуспальной кровати вместо любовницы нежилась солидная корова. Когда в парламенте обсуждали закон о ввозе нефти, один депутат саркастически сказал: «Прежде при любом скандале говорили: «Ищите женщину», теперь мы вправе сказать: «Ищите нефть». Другой депутат прервал его: «Не сравнивайте нефть с женщиной, женщина божество!» Третий при общем смехе добавил: «К тому же женщина не воспламеняется»...

В очень старом фильме Рене Клера «Париж уснул» применен забавный прием - кино превращается в набор моментальных фотографий, комических с трагическим подтекстом: приподнятые ноги, раскрытые рты, заломленные руки. Таким уснувшим мне вспоминается Париж конца двадцатых годов.

Для меня это были тягучие, длинные годы. С деньгами было туго, приходилось жить наобум, не зная, что будет завтра. Вдруг прислали деньги из издательства «Земля и фабрика», вдруг датская газета

«Политикен» вздумала напечатать перевод «Треста Д. Е», вдруг из Мексики пришел гонорар за «Хуренито». Однако все это мне казалось идиллией - я не голодал, как в предвоенные годы, и не ходил в лохмотьях.

Люба много работала. Друг Модильяни Зборовский устроил выставку ее гуашей; Мак-Орлан написал предисловие к каталогу,

Ирина училась, начала говорить по-французски, как парижанка, - картавила; приходя из школы в жаркий день, пила не воду, а белое вино; как-то я ее увидел на террасе кафе «Капуляд» с девчонками и мальчишками; они о чем-то горячо спорили; я пошел дальше, подумал: вот и новое поколение в новой «Ротонде»...

Я стал очень неразборчиво писать, не мог расшифровать написанное накануне. Как-то, когда пришли нечаянные деньги, я купил пишущую машинку. Жил я в комнате над мастерской я там с утра до вечера стучал: писал о трибуне народа Гракхе Бабёфе, о конвейере на заводах Ситроена, о бурной жизни гомельского портного Лазика Ройтшвансца, изъездившего поневоле свет.

Однажды я увидел Поля Валери. Это было в ресторане «У Венсена», который на вид напоминал рабочую харчевню, но славился отменной кухней. Поль Валери маленькими глоточками пил бордоское вино и нехотя одаривал собеседников печальными афоризмами. В нем была внешняя светскость, за которой скрывались горечь, замкнутость. Мне кажется, что он родился не вовремя; талант у него был не меньший, чем у Малларме, но изменилась акустика... Судьба Валери не напоминала судьбы «проклятых поэтов»: в пятьдесят лет он получил шпагу академика и сан «бессмертного»; но не было вокруг него самозабвенных и бескорыстных последователей, которые когда-то окружали Малларме.

А Поль Валери в то время, о котором я говорю, считал, что эпоха благоприятствует искусству: «Порядок неизменно тяготит человека. Беспорядок заставляет его мечтать о полиции или о смерти. Это два полюса, на которых человеку равно неуютно. Он ищет эпоху, где он чувствовал бы себя наиболее свободным и наиболее защищенным. Между порядком и беспорядком существует очаровательный час; все то хорошее, что вытекает из организации прав и обязанностей, достигнуто. Можно наслаждаться первыми послаблениями системы». Это правильно: плоды созревают в конце лета, их тщетно искать

зимой или ранней весной. Но Поль Валери ошибался в календаре - «очаровательный час» был позади - в конце XIX, в начале XX века. Золотой сентябрь во Франции успел смениться ноябрьскими туманами. Поль Валери дожил до второй мировой войны и увидел, что можно оказаться и без свободы и без порядка. А был он создан для долгого солнечного дня, для легкого треска цикад, для гармонии.

Меня представили Андре Жиду. Он меня озадачил: он походил на ибсеновского пастора, может быть на старого китайского хирурга. Незадолго перед этим я прочитал его книги о поездке в Африку, где он возмущался колониализмом. Теперь это азбучные истины, а тогда я восхитился его смелостью. Я заговорил об Африке. Он почему-то перевел разговор на отвлеченную тему, объяснял, что красота связана с этическими принципами. Рядом сидел предмет его любви - молодой спортсмен, кажется немец или голландец, с туповатым лицом, в коротких штанишках.

Во Франции выходило много развлекательных, легковесных книг. Моруа ввел новый жанр - романизированные биографии знаменитых людей. Литераторы начали изготавливать такие книги на конвейере, они сплетничали о любовных похождениях восьмидесятилетнего Гюго, рассказывали, что Вольтер спекулировал сахаром, а у Сент-Бёва была деспотическая мамаша.

Франсуа Мориак, к которому в 1913 году меня направил Франсис Жамм, писал хорошие романы о нехорошей жизни. Он католик, но в его книгах куда больше жестокой правды, чем христианского сострадания. Жена, изменив нелюбимому мужу, попыталась его отравить; он выжил и, боясь огласки, замуровал свою супругу в самодельную тюрьму, где ей предстоит сойти с ума. Многочисленная семья ждет, когда же отдаст богу душу богач адвокат, а он, старый, больной, живет наперекор всему, его вдохновляет желание лишиться своих наследников наследства. Разбирая роман Мориака, критик Эдмон Жалу писал: «Наследство и завещания - самые основные и самые традиционные черты французской жизни».

Я часто думал, что старый мир, с его мастерством, с библиотеками и музеями, как герои Мориака, живет одним: не хочет ничего оставить своим наследникам. А прочитав статью в «Литгазете» или встретившись с рапповцами, я говорил себе, что есть

люди, которые не хотят наследства, беспризорные, облеченные властью цензоров и прокуроров.

Дюамель и Дюртен, побывав в Москве, написали о своей поездке книги умные, миролюбивые, даже, как теперь говорят, «прогрессивные». Я бывал иногда у Дюртека; он говорил о нашей стране приветливо, чуть снисходительно, пытаясь оправдать все, что ему не понравилось, не только особенностями русской истории, но и загадочностью «славянской души». В Париж приехала из Ленинграда О. Д. Форш. Как-то мы обедали втроем: Ольга Дмитриевна, Дюамель, я. Дюамель дружески нам объяснял, что в итоге все образуется. Советская Россия, остепенившись, станет полуевропейским государством; следует только переводить побольше французских книг. Почему-то он вспомнил «версты» в старых русских романах и сказал, что Французская революция дала миру метрическую систему, хорошо, что теперь и русские ее приняли... Когда Дюамель ушел, мы рассмеялись. Нам нравились его книги, а рассмешила наивность: видимо, он убежден, что своим сантиметром сможет измерить наши дороги...

В редакции журнала «Монд» я встречал Барбюса. Он написал тогда книгу о Христе. На него накинута дружба: «идеализм», «мистика». А для правых он оставался неисправимым коммунистом. Он часто болел, говорил порывисто, глухо, тонкими руками аристократа что-то рисовал в воздухе.

Помню ужин, устроенный Пен-клубом в честь иностранных писателей. Председательствовал Жюль Ромен; в своей речи он постарался каждому из гостей сказать что-либо приятное. Меня он назвал «полупарижанином», а Бабелю сказал: «Вас можно поздравить с переводом вашей книги на французский язык». Он отнюдь не хотел показаться высокомерным, просто он думал, что на дворе стоит век Людовика XIV, Ришелье и Корнеля. (В 1946 году я возвращался из Америки на пароходе «Иль де Франс». На палубе можно было встретить беженцев из различных стран Европы, которые после долгих лет, проведенных в эмиграции, возвращались на родину; среди них я увидел и Жюля Ромена...)

Ужин Пен-клуба я вспоминаю с благодарностью - там я познакомился с Джойсом и с итальянским писателем Итало Свейво. Они были давними друзьями: Джойс много лет прожил в Триесте, а

Итало Свево (его настоящее имя Этторе Шмитц) был триестинцем. За столом они сидели рядом, оживленно беседовали,

Джойс был уже знаменит, его «Улисс» казался многим новой формой романа; его сравнивали с Пикассо. Меня удивила его простота - французские писатели, достигшие славы, держались иначе. Джойс, шутил, чуть ли не сразу рассказал мне, как, приехав юношей впервые в Париж, он пошел в ресторан; когда подали счет, у него не оказалось чем заплатить, он сказал официанту: «Я вам оставлю расписку, в Дублине меня знают». А тот ответил: «Да я тебя знаю, и вовсе ты не из Дублина, ты уже четвертый раз жрешь здесь за счет прусской принцессы...» Он по-детски смеялся.

Это был человек не менее своеобразный, чем его книги. Он плохо видел - страдал болезнью глаз, но говорил, что хорошо запоминает голоса. Любил выпить, страдал тем недугом, который издавна знаком русским писателям. Работал исступленно и, кажется, ничем в жизни не увлекался, кроме своей работы. Мне рассказали, что, когда началась вторая мировая война, он в ужасе воскликнул: «А как же я теперь допишу мою книгу?..» Жена относилась к его занятиям с иронией, не прочитала ни одной из его книг. Он покинул Ирландию в ранней молодости, не хотел возвращаться на родину, жил в Триесте, в Цюрихе, в Париже и умер в Цюрихе, но о чем бы ни писал, всегда ощущал себя в Дублине. Мне он представлялся честным, фанатичным в своей работе, гениальным и вместе с тем ограниченным «перемудрами» ирландским Андреем Белым, но без ощущения истории, без мессии и миссии, необычайным насмешником, которого принимали за пророка, Свифтом по отпущенному ему дару, только Свифтом в пустыне, где нет даже лилипутов.

Итало Свево, в отличие от Джойса, был мало кому известен; редкие французы оценили его роман «Цено». Он был на двадцать лет старше Джойса, и я с ним познакомился за год до его смерти. Свево часто называли дилетантом: он был промышленником, за всю свою жизнь написал всего несколько книг. Но роль его в разрушении старых форм романа бесспорна; его имя нужно поставить рядом с Джеймсом, Марселем Прустом, Джойсом, Андреем Белым. Он много говорил мне о влиянии, которое оказал на него русский роман XIX века. Джойс исходил в романах от своего душевного опыта и от музыкальной стихии, людей не знал, да и не хотел знать. Свево мне рассказывал,

что Стефан Дедал, герой романа «Улисс», должен был называться Телемахом; Джойс любил имена-символы, а Телемах по-гречески означает «далекий от борьбы». Итало Свево, наоборот, искал вдохновения в жизни, пополнял наблюдения своими собственными переживаниями, но никогда их не суживал до своего «я».

Иногда я встречал Шарля Вильдрака, доброго и неизменно огорченного то событиями, то отсутствием событий. Жан-Ришар Блок спрашивал себя и других, как ему примирить Ницше с Толстым, а русскую революцию с Ганди.

Я познакомился с молодыми писателями Арагоном, Десносом, Мальро, Шамсоном, Кассу; о некоторых из них я расскажу впоследствии. А тогда я их недостаточно знал и, главное, плохо понимал.

Сюрреалисты еще не могли расстаться с толкованием снов, с пророчествами, с культом подсознательного. Они устраивали шумные вечера, выступали с ультрареволюционными манифестами, срывали чествования - все это напоминало наших ранних футуристов.

Потом я подружился с некоторыми французскими писателями, а и те годы мне трудно было с ними разговаривать - не было общего языка. Многие из них мечтали о буре, но буря для них была отвлеченным понятием: для одних - апокалипсическим светопредставлением, для других - театральной постановкой. А меня мутило на твердой земле, так иногда бывает после сильной качки.

Андре Жиду было тогда под шестьдесят. Андре Мальро около тридцати, но оба казались мне то подростками, еще не хлебнувшими горн, то стариками, отравленными не спиртом или никотином, а книжной мудростью.

В маленькой уютной квартире Андре Шамсона мы беседовали о новых романах, о чувстве города или о влиянии кино на литературу. Все писатели, с которыми я встречался, восхищались русской революцией, восхищались, как далеким, необычайным явлением природы.

Мне вспомнился забавный эпизод. Богатый литератор, один из владельцев «Лионского кредита», Андре Жермен, любил устраивать у себя приемы. Был он педерастом, и это, кажется, единственное, чему он в жизни не изменил. В конце двадцатых годов он слыл «большевиканом». Задыхаясь, он прибежал к Любе, сюсюкал: «Я вас

умоляю, приведите ко мне ваших пролетарских поэтов, я устрою чай!.. Ах, они так прекрасны!..» В Париже тогда гостили Уткин, Жаров и Безыменский. (Пять лет спустя Андре Жермен писал: «Самая характерная черта нацистов - это идеализм. Геббельс прекрасен странной красотой, у него лицо аскета и одержимого, он вдохновлен своими идеями».) Андре Жермен, конечно, карикатура. Что касается настоящих писателей, то, восторгаясь «Конармией», они удивленно разглядывали Бабеля: этот «красный казак» превосходно говорит по-французски, умен, но в искусстве ретроград - любит, например, Мопассана! Приехал С. М. Эйзенштейн. Я был в Сорбонне на его вечере; должны были показать «Броненосец «Потемкин», но префект показ картины запретил, и Эйзенштейн на безупречном французском языке в течение двух или трех часов беседовал обо всем, зло шутил, потряс зал своей эрудицией.

В Париже выходила ежедневная газета «Комеди»; в ней было мало политических новостей; полосы отводились театру, книгам, выставкам. Однако политика сказывалась в рассуждениях о пьесах или о романах. Однажды я прочитал в этой газете раздраженную статью о моей книге «Заговор равных», вышедшей во французском переводе. Критик заканчивал статью словами: «Было бы лучше, если бы госпожа Илья Эренбург вместо того, чтобы заниматься французской революцией, дала нам рецепт для приготовления русского борща». Имя «Илья» сбилось критика с толку, он принял его за женское. Конечно, не поэтому его рассердила моя книга: не зная, кто я, он хорошо знал, кем был Бабёф. Я решил послать в газету шутивное опровержение: указал, что я не дама, а кавалер, но все же могу дать критику-гурману рецепт, который его интересует. Правда, я не знал, как готовить борщ, но меня выручила Эльза Юрьевна Триоле. Критик не растерялся, моего письма он не опубликовал, а в примечании к очередной статье сообщил читателям, что Илья Эренбург оказался мужчиной - «большевики перепутали все, вплоть до мужского и женского пола». А в гастрономической рубрике редакция опубликовала рецепт для приготовления борща с примечанием: «Любезно предоставлен нам господином Ильей Эренбургом». Я, кажется, слишком часто рассказываю, как критики меня сердили; вот я и припомнил, как порой они меня развлекали.

По вечерам мы шли на Монпарнас. «Ротонду» оккупировали американские туристы; мы сидели в «Доме» или в «Куполе». Приходили туда некоторые старые художники - Дерен, Вламинк; они были когда-то «дикими», сокрушали классическое искусство, но к концу двадцатых годов успели поуспокоиться; нам они казались большими старыми деревьями, переставшими плодоносить. Я подружился с американским скульптором Кальдером, огромным, веселым парнем; он был большим затейником, работал над жестью, над проволокой. Он сделал из проволоки портрет моего любимца, шотландского терьера Бузу. Иногда я видел Шагала; он писал теперь не витебских евреев, летающих над крышами, а голых красавиц верхом на петухах, с Эйфелевой башней или без. Норвежец Пер Крог молча курил трубку. Паскин, окруженный яркими крикливыми женщинами, пил виски и что-то рисовал на клочках бумаги.

Подсаживались к нашему столику молодые художники. Я слышал разговоры о фактуре, о том, что небо на пейзаже чересчур тяжелое, что левый угол не дописан...

Приходил в кафе «Дом» петербургский искусствовед и режиссер К. Миклашевский. Он написал книгу «Гипертрофия искусства». Я частенько вспоминал эти слова: искусство меня окружало со всех сторон, и хотя оно было, да и остается самой большой страстью моей жизни, я порой холодел - мне казалось, что я в паноптикуме и вокруг фигуры из воска.

Не знаю, в моей ли это натуре или присуще всем, но в Париже и в Москве я ко многому по-разному относился. В Москве я думал о праве человека на сложную душевную жизнь, о том, что искусство нельзя подогнать под одну колодку; а в Париже конца двадцатых годов я задыхался - уж слишком много было словесных усложнений, нарочитых трагедий, программной обособленности.

Поль Валери прав - полюсы не похожи ни на Парнас, ни на Геликон, ни на обыкновенный холмик умеренной зоны. Но мне мерещились другие полюсы, нежели Полю Валери: свобода без справедливости или справедливость без свободы, журнал парижских эстетов «Коммерс» или «На литературном посту». (Несколько лет спустя Жан Ришар Блок, выступая на Антифашистском конгрессе писателей, говорил о подлинной и иллюзорной свободе художника: подлинная свобода - в уважении обществом его своеобразия, его

индивидуальности, его творчества: иллюзорная - в тщетном стремлении жить вне общества.)

В прошлом столетии люди знали полярное сияние; русские поэты издавали «Полярную звезду». Полюсы были обследованы в XX веке. Березы, дубы, оливы, пальмы растут между Арктикой и Антарктикой, это знает каждый, и каждому должно быть понятно, что можно долететь до полюса, можно через него перелететь, но жить на нем очень трудно.

Я познакомился с поэтом Робером Десносом в 1927 году, а встречались часто мы позднее, в 1929 - 1930 годах. Никогда он не был моим другом, но он меня привлекал страстностью и в то же время мягкостью, человечностью - ничего в нем не было от профессионального литератора. Потом, он не походил на французов, с которыми я встречался, старавшихся все усложнить, или, как говорят во Франции, «расщепить волос на четыре части». Еще царил культ герметической поэзии, когда Деснос заявил о необходимости понять и быть понятым.

Деснос был одним из самых неистовых приверженцев раннего сюрреализма. Он сразу отозвался на догму «автоматизма» творчества, преклонения перед сновидениями. В шумном кафе он вдруг закрывал глаза и начинал вещать - кто-нибудь из товарищей записывал. Ему было тогда двадцать два года, и я знаю об этом из рассказов других.

А в 1929 году сюрреализм начал раскалываться, и, как ни старался Андре Бретон, которого шутя называли «папой сюрреализма», сохранить единство группы, поэты разбрелись в разные стороны. Вопреки своему названию, сюрреализм был не взлетом, а хорошей стартовой площадкой и, несмотря на шумливую наивность первых деклараций, дал таких поэтов, как Элюар и Арагон.

В 1930 году Деснос заявил: «Сюрреализм, такой, каким его подносит Бретон,- одна из главных опасностей для свободного мышления, коварная западня для атеизма, лучший подручный для возрождения католицизма и церковного духа».

Что меня подкупало и в его стихах, и в нем самом? Отвечу словами Элюара: «Из всех поэтов, которых я знал, Деснос был самым непосредственным, самым свободным, он был поэтом, неразлучным с вдохновением, он мог говорить, как редко кто из поэтов может писать. Это был самый смелый изо всех...»

Я говорил, что мы иногда встречались; несколько раз он приходил ко мне на бульвар Сен-Марсель (консьержка, считавшая и меня и всех приходивших ко мне людьми подозрительными, крикнула Десносу, чтобы он вытер ноги; он ей спокойно ответил: «Мадам, вы ж...»). Как-

то был я в его мастерской на улице Бломе, возле негритянской танцульки. Помещение было завалено неопикуемой рухлядью, которую он зачем-то приобретал на «блошином рынке» - так называется парижская толкучка. У меня осталась в памяти ужасающая сирена из воска. Десносу она очень нравилась. (Много лет спустя я прочитал его стихи: Юки - женщину, которую он любил, он называл «сиреной», а себя - «морским коньком».)

Деснос пытался зарабатывать на жизнь журналистикой был репортером в «Пари-матиналь» у Мерля, потом в других газетах. Он узнал, что такое власть денег, писал: «Разве газета печатается краской? Может быть, но пишут ее главным образом нефтью, маргарином, углем, хлопком, каучуком, если не кровью...»

Деснос много писал о любви и одну из лучших своих книг назвал «Ночь ночей без любви». Он нашел свою сирену. Я знал Юки; красивая, очень живая, она часто приходила на Монпарнас со своим мужем, старым завсегдатаем «Ротонды», японским художником Фужитой. Фужита уехал в Японию, и Юки стала женой Десноса. Он был в своей любви трогательным, с той легкой иронией, которая неотъемлема от романтизма. Когда в 1944 году гестаповцы его арестовали и отправили в пересыльный лагерь, он оттуда писал Юки: «Моя Любовь! Наша боль была бы нестерпимой, если бы мы не принимали ее как болезнь, которая должна пройти. Наша встреча после разлуки украсит нашу жизнь, по крайней мере, на тридцать лет... Я не знаю, получишь ли ты это письмо ко дню твоего рождения. Я хотел бы тебе подарить 100 000 сигарет, двенадцать чудесных платьев, квартиру на улице Сен, машину, домик в Компьенском лесу, дом на острове Беллиль и маленький букетик ландышей за четыре су...» Если подумать, где он это писал и что у него было на сердце, станут понятными мои слова о романтической иронии - это не литературный прием, а душевное целомудрие. Его последние стихи, написанные в «лагере смерти», обращены к Юки:

Я так мечтал о тебе,
Я столько шел, столько говорил,
Я так любил твою тень,
Что у меня ничего не осталось от тебя,
Я теперь тень,
Тень среди теней.

Во сто крат больше
Тень всех теней.
Только тень,
Тень будет ходить.
Тень будет приходить
В твой солнечный день...

В 1931 году Деснос, которому опротивели газеты, поступил на службу в контору, занимавшуюся подысканием квартир. В его биографии мало живописных эпизодов - стыдливость цензуровала жизнь.

Еще в то время, когда он работал в газете, его послали на Кубу - там был какой-то конгресс. Деснос влюбился в народную музыку, рассказывал, Напевал, барабанил по столу. Он захотел подражать анонимным поэтам Кубы, начал сочинять куплеты-песенки.

В 1942 году Деснос написал «Куплеты об улице Сен-Мартен» (он там родился). В то время парижане узнали, что такое звонок или стук в дверь перед рассветом...

Улица Сен-Мартен у меня была.
Улица Сен-Мартен мне теперь не мила,
Улица Сен-Мартен даже днем темна.
Не хочу от нее я плотка вина.
У меня был друг Платар Андре.
Платара Андре увели на заре.
Крышу и хлеб мы делили года.
Увели на заре, кто знает куда.
Улица Сен-Мартен, много крыш и стен.
Но Платар Андре не на Сен-Мартен...

В последний раз я встретил Десноса не то весной, не то летом 1939 года; был очень жаркий день, мы сидели на пустой террасе кафе и говорили, разумеется, о том, о чем тогда говорили все: будет война или не будет?.. Деснос был печален. А когда мы расставались, выругался: «Дерьмо! Чистое дерьмо!» Не знаю, к кому это относилось: к Гитлеру, к Даладье, к судьбе?

Когда после войны я приехал в Париж, мне рассказали, что Деснос умер в концлагере. Потом я узнал подробности. Он участвовал в Сопротивлении, не только писал политические стихи, но и собирал сведения о передвижении немецких войск. 22 февраля 1944 года его

предупредили по телефону: «Не ночуйте дома...» Деснос побоялся, что если он скроется, то возьмут Юки. Он спокойно открыл дверь.

Когда его привезли на улицу Соссэ, где помещалась Сюртэ, молодой фашист гаркнул: «Снимите очки!» Деснос понял, что это означает, сказал: «Мы с вами разного возраста. Я предпочел бы без пощечин - бейте кулаком...»

Крупный гестаповец, ужиная с некоторыми французскими писателями, журналистами, рассказывал о последних арестах: «В Компьенском лагере теперь, представьте себе, поэт! Сейчас я вам скажу... Робер Деснос. Но я не думаю, чтобы его выслали...» Тогда журналист Лебро, хорошо всем нам известный (он потом удрал в Испанию), воскликнул: «Его мало выслать! Его нужно расстрелять! Это опасный субъект, террорист, коммунист!..»

Из Компьена Десноса отправили в Освенцим. Некоторые из заключенных чудом выжили; они рассказывают, что Деснос старался приободрить других. В Освенциме, увидев, что товарищи впали в отчаяние, он сказал, что умеет гадать по руке, и всем предсказал долгую жизнь, счастье. Он что-то бормотал - писал стихи.

Советские войска быстро продвигались на запад. Гитлеровцы погнали заключенных в Бухенвальд, потом в Чехословакию, в лагерь Терезин. Отощавшие люди едва шли; эсэсовцы убивали отстававших.

Третьего мая Советская Армия освободила заключенных в лагере Терезин. Деснос лежал больной сыпняком. Он долго боролся со смертью: любил жизнь, хотел жить. Молодой чех Йозеф Штуна, работавший в госпитале, увидел в списках имя Робера Десноса. Штуна знал французскую поэзию, подумал: может быть, тот?.. Деснос подтвердил: «Да. Поэт». Последние три дня жизни Деснос мог беседовать со Штуной и с санитаркой, которая знала французский язык, вспоминал Париж, молодость, Сопротивление. Он умер восьмого июня.

Теперь я хочу рассказать об одной беседе с Десносом, которая мне запомнилась. Эта беседа для меня приобрела новый смысл после того, как я прочитал стихи, написанные Десносом в концлагере, узнал о последних месяцах его жизни.

Мы случайно встретились на бульваре Пор-Рояль. Я жил тогда на улице Котантен возле вокзала Монпарнас: но почему-то мы пошли в сторону Сен-Марсея и оказались в кофейне при мечети. Там было

темно и пусто. Это было в 1931 году, когда Деснос был счастлив: он нашел Юки, много писал, да и внешне как-то успокоился.

Не знаю почему, мы заговорили о смерти. Обычно люди избегают таких разговоров, каждый предпочитает об этом думать в одиночку.

Я признался, что о многом пережитом в зрелом возрасте умолчу - о том, что в общезнании называют «сердечными делами»; мне трудно рассказывать также о некоторых размышлениях, которые по своему характеру связаны с молчанием. Но, начиная эту главу, я подумал: неужели я буду писать только о «гримасах нэпа» или о борьбе за каучук? Конечно, все это меня волновало, но жизнь шире, да и сложнее. О смерти я думал и ребенком, когда она меня пугала, и юношей - с двойным чувством ужаса и притяжения, но неизменно с романтическими прикрасами. Потом я вдруг понял: нужно мужественно подумать, связать смерть с жизнью.

И все же я никогда не начал бы того разговора, начал его Деснос, и начал неожиданно - не с мыслью о своем конце, а с длинных рассуждений о космосе, о материи. Он как будто обрел новую веру: «Материя в нас становится мыслящей. Потом она возвращается к своему состоянию. Гибнут планеты, наверно, гибнет и жизнь на других небесных телах. Но разве от этого мысль становится ниже? Разве временность лишает жизнь смысла? Никогда!..»

Недавно я получил исследование о поэзии Десноса, изданное Бельгийской академией. Автор, Роза Бюшоль, приводит неопубликованный сонет Десноса, написанный им в концлагере:

Взгляни - у бездны на краю трава,
Послушай песнь - она тебе знакома.
Ее ты пела на пороге дома.
Взгляни на розу. Ты еще жива.
Прохожий, ты пройдешь.
Умрут слова. Глава уйдет разрозненного тома.
Ни голоса, ни жатв, ни водоема.
Не жди возврата. Ты блеснешь едва.
Падучая звезда, ты не вернешься.
Подобно всем, исчезнешь, распадешься.
Забудешь, что звала собой себя.
Материя в тебе себя познала.
И все ушло, и эхо замолчало,

Что повторяло «я люблю тебя».

Этот сонет написан в той обстановке, когда ложь или поза бесполезны. Деснос видел газовые камеры, куда уводили каждый день партию заключенных. Размышляя в стихах о близкой смерти, он повторил то, что сказал мне в дни своего счастья. До чего он любил жизнь, друзей, Юки, стихи, Париж, красные флаги на площади Бастилии, серые дома!..

Эхо замолкло. Но ничто не проходит бесследно: ни стихи, ни мужество, ни тень среди теней, ни беглый свет вспыхивающей звезды. Я мало пригоден для философии, редко думаю об общем; это, наверно, один из самых больших моих недостатков. Но иногда я пытаюсь осознать с какой-то яростью упущенного времени то, что люди называют смыслом или значением жизни: сюда входят, конечно, и ропот «мыслящего тростника», и эхо, которое Деснос слышал до последней минуты,- слова любви, жар сердца.

В семнадцать лет я старательно штудировал первый том «Капитала». Позднее, когда я писал «Стихи о канунах», а ночью работал на товарной станции Вожирар, я возненавидел капитализм; это была ненависть поэта и люмпен-пролетария. В советских газетах я читал о «монополистах», «империалистах», «акулах капитализма» таковы были клички знакомого мне и вместе с тем таинственного дьявола. Я захотел поближе разглядеть сложную машину, которая продолжала изготавливать изобилие и кризисы, оружие и сны, золото и одурь, понять, что за люди «короли» нефти, каучука или обуви, какие страсти их воодушевляют, проследить их загадочные ходы, от которых зависят судьбы миллионов людей.

Я начал работу в 1928 году, а кончил в 1932-м; четыре года я положил на то, что назвал «Хроникой наших дней». Я написал: «10 л. с», «Единый фронт», «Король обуви», «Фабрика снов», «Хлеб наш насущный», «Бароны пяти магистралей».

Мне пришлось изучать статистику производства, отчеты акционерных обществ, финансовые обзоры; беседовать с экономистами, с дельцами, с различными проходимцами, знавшими подноготную мира денег. Ничего отрадного в этом не было, и я понимал, что начатая работа не принесет мне ни славы, ни любви читателей.

В моей личной жизни происходили события, о которых я не стану рассказывать; скажу только, что часто мне хотелось писать не о бирже, а о больших человеческих чувствах, но я сердито себя обрывал. Разведчика посылают на вражескую территорию, это труд неблагодарный, порой опасный, но он связан с профессией человека. Никто мен» никуда не посылал, никто не заказывал мне книг о борьбе трестов; я сам себя осудил на это занятие.

Газеты писали о том, что знаменитая кинозвезда Пола Негра разводится с мужем - грузинским князем, о том, что принц Уэльский упал с лошади, что писатель Морис Бебель рассказал, как спортивно, без переживаний норвежские фрекен проводят ночи с галантным французом, что Прима де Ривера холодно разговаривал с испанским

королем, что в состязании на длительность танца победила чета Смите, протанцевавшая чарльстон без перерыва двадцать часов подряд.

Куда более серьезные события разворачивались за кулисами. Шла, например, война между Англией и Америкой, война без танков, без бомбежек, но со множеством жертв. Каучук, главным производителем которого была английская колония Малайя, упал катастрофически в цене. Тогда министр финансов Великобритании Уинстон Черчилль начал битву; специалисты ее называли «планом Стефенсона»: площадь, засаженная гевеями, сужалась или расширялась в зависимости от мировых цен на каучук. Напрасно Стюарт Готшкинс, вице-председатель «Американской каучуковой компании», пытался договориться с Черчиллем. Напрасно президент Соединенных Штатов Гувер восклицал: «Вмешательство государства прежде всего безнравственно!» Плантации сжимались, и каучук рос в цене. Сотни тысяч малайцев, лишившись нищенского заработка, умирали с голоду. Американцы нажимали на Гаагу - второй страной по производству каучука была Индонезия, принадлежавшая голландцам.

В Соединенных Штатах гевеи не могут расти, но эти деревья оказались в крохотной Никарагуа. На беду, маленькая республика попыталась отстоять свою независимость. Времена меняются. В 1961 году нападение на Кубу возмутило мир. Иначе было в 1929 году. Генерал Сандино напрасно взывал: «Вчера авиация обстреляла четыре деревни. Янки скинули свыше сотни бомб. Убиты семьдесят два человека, среди них восемнадцать женщин. Позор убийцам женщин! Янки хотят пролотить Никарагуа, как они пролотили Панаму, Кубу, Порто-Рико. Братья, вспомните о Боливаре, о Сан-Мартине! Отечество в опасности!..» Американцы лаконично сообщали: «Наш экспедиционный корпус вчера окружил одну из банд Сандино. Преступники уничтожены. Наши потери незначительны.»

Шла и другая война - за нефть - «Роял-Детч» с американским трестом «Стандарт-ойл», сэра Генри Детердинга с мистером Тиглем. Враги заключили перемирие для совместных действий против Советского Союза.

Швед Ивар Крейгер, талантливый авантюрист, романтический шулер, король спичек, раздавив конкурентов, бросил вызов Москве; у него был темперамент Карла XII.

Форд воевал с «Дженерал моторс», «Дженерал электрик» с «Вестингаузом». Магнаты железных дорог опрокидывали правительства Франции. Король обуви Томас Батя глядел свысока на президента Чехословакии.

Я видел, как парижские маклеры организовывали биржевую панику; в Швеции я был на заводах Крейгера; в Лондоне взглянул на сэра Генри.

Детердинг был голландцем. Он уехал на Яву искать счастье и прозябал в банке как мелкий клерк. Но счастье нашлось - его взяли на службу в контору «Роял-Детча». Пять лет спустя Детердинг стал директором, десять лет спустя - королем нефти. Он проник в Мексику, в Венесуэлу, в Канаду, в Румынию. Англичане ему пожаловали титул баронета, и он превратился в сэра Генри. Дельфтский университет присвоил ему звание доктора «гонорис кауза». Каждый год он приезжал на свою родину в день рождения королевы, и королева восхищенно улыбалась. Он содействовал переворотам в Мексике, в Венесуэле, в Албании.

Наверно, он считал себя нефтяным Наполеоном: он не раз говорил, что его миссия - поставить на колени строптивую Россию. Он скупил за гроши акции бывших владельцев нефтяных промыслов в Баку и называл советскую нефть «краденой». Он организовал налет на «Аркос» и разрыв дипломатических отношений между Англией и Советским Союзом. Ему удалось добиться удаления из Парижа советского посла Раковского. Он давал деньги сторонникам Гитлера, одобрял книги Розенберга, устроил набег на «Дероп», торговавший советской нефтью, наладил в Берлине мастерскую, где печатали фальшивые червонцы; он не брезгал ничем. Он встречался с Красиным и предлагал ему мир. Он встречался с Гитлером и предлагал ему войну. Он рекомендовал Чемберлену договориться с Риббентропом.

Это был крепкий, энергичный человек, чуть ли не до смерти он катался на коньках, курил в трубке дешевый матросский табак. Женился он на русской эмигрантке. В Париже была гимназия имени леди Лидии Детердинг, где обучались дети бывших бакинских королей нефти. Нервы у него были солидные; когда разразился мировой кризис, он не пал духом. Однажды журналист спросил его, что самое важное в жизни. Сэр Генри коротко ответил: «Нефть».

Ивар Крейгер построил империю из спичечных коробок. Он давал советы Пуанкаре, как стабилизировать франк, помогал полякам проводить «санацию». На Уолл-стрите он считался самым одаренным из бизнесменов, притом джентльменом, образцом честности, спокойствия, благородства. В Чили он закрыл спичечные фабрики и выбросил рабочих на улицу, в Германии убедил социал-демократов запретить ввоз спичек, чтобы оградить рабочих от безработицы: в годы инфляции он скупил немецкие фабрики. Греческий диктатор Пангалос ему скорее нравился, но Пангалос не захотел предоставить ему спичечную монополию, и Крейгер содействовал очередному перевороту. Он помог свергнуть правительство Боливии. Он ненавидел русских: они осмеливаются не только изготавливать у себя спички, но и вывозить их за границу. Он был вполне светским человеком, мог беседовать о Фрейде или об Уайльде.

В 1930 году вышла моя книга о короле спичек; в отличие от других моих книг того времени (документальных), «Единый фронт» - роман с ключом. Ивар Крейгер в романе назывался Свенем Ольсоном. Не знаю почему, но я решил похоронить короля спичек, он умирал, поговорив о французском премьер-министре Тардьё. Роман перевели на различные языки. Шел 1931 год; мировой кризис рос. Крейгер нервничал; он пытался объяснить публике падение акций «большевистскими интригами»; в некоторых газетах появились статейки о том, что я хочу погубить короля спичек. Это было настолько глупо, что я не мог даже возгордиться.

Правительства во Франции быстро менялись, но Тардьё еще был премьером, когда в 1932 году Ивар Крейгер застрелился. Его секретарь барон фон Драхенфельс писал в своих воспоминаниях, что накануне самоубийства на ночном столике короля спичек он видел мою книгу. Крейгера похоронили с почестями; газеты называли его «невинной жертвой мирового кризиса». Шведский парламент объявил мораторий. Вдруг выяснилось, что Крейгер подделывал итальянские облигации; благородный джентльмен оказался шулером.

Я писал также о главе американской фирмы «Кодак» Джордже Истмэне. Его карьера началась с лозунга: «Нажмите кнопку, мы сделаем остальное» - он рекламировал фотоаппараты для любителей. В 1896 году он вытянул счастливый билет, он писал Эдисону: «Нас запрашивают касательно так называемых живых фотографий». Он

начал изготавливать киноплёнку. Он неслыханно разбогател, но его ждали испытания: на его пути встала «Агфа» - разветвление концерна «ИГ». Немцы повели наступление, заручились поддержкой Форда и «Нэшионел сити бэнк», начали строить фабрики в Соединенных Штатах. Иотмэн не растерялся, принял бой. Его капиталы росли. Он обожал музыку и жертвовал миллионы на различные музыкальные институты. Рабочих он держал в черном теле.

Ему было пятнадцать лет, когда он открыл текущий счет в банке, ему было семьдесят семь, когда он решил его закрыть. К нему приехали гости, говорили о музыке и, разумеется, о кризисе. Джордж Истмэн вышел в соседнюю комнату и застрел идея. Может быть, он вспомнил афоризм своей молодости: «Нажмите кнопку, мы сделаем остальное»?

Многие из подлинных героев моих книг кончили жизнь самоубийством, как будто они были не седыми, опытными дельцами, а молодыми влюбленными иди поэтами. Капитализм пережил мировой кризис, а некоторые капиталисты оказались куда более хрупкими: что же, они были людьми. Начал Крейгер - в марте 1932-го. Месяц спустя покончил с собой король бритв в Шеффилде. Он хвастал, что бреет весь мир, а сам носил бороду и застрелился из старого охотничьего ружья. В мае того же года покончил с собой один из королей стали, Дональд Пирсон. Во время войны он подарил американскому правительству крейсер; он изучал способы борьбы с подводными лодками. Он оставил записку, где говорил, что устал жить.

В том же мае в Чикаго выбросился на мостовую король мясных консервов Свифт. Акции мясного треста за неделю упали с семнадцати долларов до девяти. Сын самоубийцы, стремясь спасти деловую репутацию треста, клялся, что отец случайно выпал из окна.

Личный самолет Бати стоял наготове. Погода была нелетной, и летчик пытался уговорить короля обуви повременить. Батя нервничал. Самолет поднялся над Злином и упал.

О Томасе Бате я должен рассказать: он отнял у меня немало времени.

Король обуви был сыном мелкого сапожника, ездил по деревням - торговал ботинками, потом уехал в Америку и там многому научился. Разразилась война. Батя стал обувать австро-венгерскую армию. Город

Злин напоминал тюрьму: на фабрике Бати работали запасные и военнопленные. Настал мир, и Батя сказал: «Мы должны осушить слезы матерей, которые хотят видеть своих детей обутыми». Он любил афоризмы и, став королем обуви, украсил стены цехов надписями: «Будем веселыми», «Надо работать, надо иметь цель», «Жизнь не роман». На конвертиках, в которых рабочим выдавали зарплату, значилось: «Научитесь делать деньги из вашего тела». Некоторые афоризмы Бати предназначались для потребителей; помню, рядом красовались два его изречения: «Моя обувь никогда не натирает мозолей» и «Не читайте русских романов они вас лишают радости жизни».

Когда я попросил разрешения Бати осмотреть королевство, он ответил: «Я не показываю моих фабрик представителю враждебной державы». (Я все же увидел его вотчину.) У Бати была мания величия; он расписался на скелете мамонта; он объявил «пятилетний план Томаса Бати». Он отказался признавать профсоюзы и организовал свою собственную полицию. Рабочим он платил мало и заполнил мир дешевой обувью. Не было, кажется, города без вывески с четырьмя буквами: «Батя». Он был католиком и ненавидел коммунистов.

Прочитав мой очерк, посвященный порядкам в Злине, Батя рассердился и подал на меня в суд. Статья была напечатана в Германии, и судить меня должны были немецкие судьи. Батя наложил арест на причитавшиеся мне деньги - за переводы книг, за фильм.

Батя любил судиться, он возбудил два процесса - гражданский и уголовный. В гражданском суде он требовал с меня полмиллиона марок (никогда в жизни я не видел таких денег). От уголовного суда Батя добивался, чтобы меня присудили к тюремному заключению за диффамацию.

Батя нанял хороших адвокатов. Пришлось и мне обратиться к адвокату. У меня нашлись защитники: рабочие Злина. Они прислали мне документы, фотографии, подтверждавшие достоверность моего очерка. Рабочие издавали нелегальный журнал «Батовак», где описывали жестокие методы короля обуви, произвол созданной им полиции. Я представил суду и комплект журнала.

Адвокат Бати явился на судебное заседание с переводом «Хулио Хуренито», цитировал роман, чтобы доказать мой цинизм, заверял суд, что я не только занимался дрессировкой кроликов, но и служил

кассиром в публичном доме мистера Куля. Адвокат ссылался также на статьи некоторых московских критиков: «Даже в коммунистической России люди возмущаются безнравственностью и беспринципностью человека, который осмелился оклеветать уважаемого Томаса Батю!..» Суд потребовал от сторон дополнительных данных. Самолет Томаса Бати разбился. В Германии к власти пришел Гитлер. Нацисты сожгли мои книги и закрыли магазины Бати. Что касается моего весьма скромного гонорара, на который был наложен арест, то эти мизерные деньги достались не наследникам Томаса Бати, а третьему рейху.

Я начал писать о трестах и различных королях в последний год тучных коров. Внезапно разразился мировой кризис, и в дальнейших книгах мне пришлось описывать годы тощих коров.

Теперь я скажу о коровах - не иносказательных, но доподлинных фюненских красных коровах, хотя конец этой истории относится к 1933 году и мне снова придется забежать вперед.

Летом 1929 года американцев взволновало небольшое газетное сообщение: в Америке излишек пшеницы превышал двести сорок тысяч бушелей. Вскоре выяснилось, что в Канаде, в Австралии, в Аргентине, в Венгрии тоже чересчур много хлеба. Цены на пшеницу катастрофически падали. Фермеры разорялись и нищенствовали.

Слова о том, что в мире было чересчур много хлеба, не следует понимать буквально. Голодали целые материки. В мире было сорок миллионов зарегистрированных безработных. Импорт пшеницы в западноевропейские страны сократился в семь раз.

В Риме собралась конференция представителей сорока шести государств, которые обсуждали, что делать с излишками пшеницы. Это было весной 1931 года. Безумие овладело всеми. В Бразилии жгли кофе. В Соединенных Штатах жгли хлопок. На конференции было предложено денатурировать пшеницу с помощью эозина: красное зерно сможет пойти на корм скоту.

Началась пропаганда: «Кормите скот пшеницей - она дешевле и питательнее кукурузы». Продолжались банковские крахи. Голодные крестьяне бросали свои поля и уходили за тридевять земель в поисках хлеба.

Коровы ели пшеницу первого сорта - манитобу или барлету. Но через несколько месяцев газеты сообщили, что в мире слишком много масла и мяса, именно поэтому люди умирают от голода.

В 1933 году я был в Дании. Я видел прежде эту страну, тихую, зеленую, зажиточную. Датчане продавали англичанам и немцам масло, мясо, бекон. На острове Лолани, в маленьком городке Найсков, я увидел необычайную машину, которая превращала коров в круглые лепешки, предназначенные для корма свиней. Машина перемалывала кости, смешивала их с мясом в массу землистого цвета. (Англия еще покупала бекон, но уже было ясно, что в мире слишком много сала и что если мировое положение не улучшится, то вскоре придется уничтожать и свиней.)

Машину мне показывал местный ветеринар, беловолосый, честный и очень печальный. Всю свою жизнь он лечил коров и не мог спокойно смотреть, как их уничтожают.

В Копенгагене я видел голодных безработных. Я знал, что такое голод, и, встречаясь с ними, отводил в сторону глаза.

У древних греков было предание о Сизифе - коринфском царе и бандите. Когда он умер, боги придумали для него страшное наказание: он должен был подымать большой камень на гору, с горы камень скатывался вниз. Сизиф грабил, убивал. Но за какие грехи сотни миллионов людей были обречены на сизифов труд? Сначала расширяли посевную площадь; потом окрашивали пшеницу эозином и давали ее коровам; потом начали уничтожать коров и кормили ими свиней...

Четыре года не прошли для меня бесследно. Не знаю, удалось ли мне что-либо показать моим читателям, но лично я многое увидел. Я и прежде ненавидел мир денег, корысти, но одной ненависти мало. Я понял, что дело не в характере людей: среди предпринимателей, финансистов, королей промышленности или финансовых магнатов были люди добрые и злые, умные и ограниченные, симпатичные и отвратительные; дело было не в их дьявольской сущности, а в бессмысленности строя. В эпоху Бальзака капиталисты были жадными, скупыми, порой свирепыми, но они строили заводы, разводили породистых коров, подымали благосостояние. Их можно было обвинить в бессердечности, но не в безумии. Прошло сто лет, и внуки героев Бальзака выглядели буйными умалишенными.

Я рад, что я это понял и продумал на пороге тридцатых годов. Человечество приближалось к эпохе больших испытаний. Вспоминая свое прошлое, я думаю о Германии Гитлера, о годах, проведенных в

Испании, о войне. Одним из самых горьких испытаний для меня был конец 1937 года, когда я приехал прямо из-под Торуэля в Москву. Об этом я расскажу в следующей части моей книги, а теперь мне хочется сказать, что если я не мог предвидеть многого, о чем в 1956 году говорили и на съезде партии, и в любой московской квартире, то тупость, нар царство, изуверство вражеского мира я хорошо изучил до Гитлера, до Герники, до сожженных деревень и коров, застреленных на полях Белоруссии...

Когда я работал над книгами, посвященными борьбе между различными трестами, Эжен Мерль знакомил меня с представителями делового мира, снабжал конфиденциальными материалами. Он издал французский перевод моего романа «Единый фронт». «Давайте назовем вашу книгу «Хорошего аппетита, господа!»,- вдохновенно предлагал он; я упирался; в итоге роман вышел под заглавием, придуманным Мерлем: «Акционерное общество «Европа».

Не следует думать, что Мерль был профессиональным издателем. Он иногда издавал книги; выпускал то большую ежедневную газету, то сатирический журнал, то финансовые бюллетени; писал статейки, делал дела.

В ранней молодости он был анархистом, водился с Бонно, который был налетчиком с убеждениями. Я помню, как года за три до мировой войны Париж взволновался: огромные силы полиции оцепили дом, из которого Бонно отстреливался. Анархистская газета «Либертер» тогда писала: «Вор, жулик, шантажист неизменно восстают против установленного распорядка, они правильно понимают свою роль в обществе...» Многие друзья молодого Мерля погибли. Он случайно выжил, остепенился и стал неотъемлемой частью политического, финансового, литературного Парижа, хотя не был ни депутатом, ни банкиром, ни писателем.

Твердых политических убеждений у Мерля не было, но до конца жизни он сохранял привязанность к анархистам и ненависть к правым. Не было у него и тех принципов морали, которые внушают французским школьникам с ранних лет. С сильными мира сего Мерль был беззастенчив, но к людям, обойденным судьбой, будь то неудачливый поэт или курьерша редакции, относился с любовью. Он чем-то напоминал старых разбойников, которые грабили на большой дороге и делились добычей с окрестными бедняками. Меня он привлекал не только живучестью, весельем, необычайной фантазией, но и добрым сердцем.

Родом он был из Марселя, где его отец, по имени Ангел, торговал апельсинами. Кажется, фамилия отца была Мерло. По-французски

«мерль» - дрозд, и французы вместо «белой вороны» говорят о «белом Дрозде». Одно время Мерль издавал сатирический журнал «Белый Дрозд». Он сам походил на птицу, притом воистину редкую: в эпоху между двумя войнами, когда люди старались покрепче устроиться на земле, когда даже жулики ссылались на философию, на религию, на высокие политические идеи, Мерль порхал, иногда подбирал зернышки, на месяц или на год богател, потом снова рыскал по Парижу в поисках человека, который угостил бы его обедом; он и брал и давал деньги с легкостью, как будто расточал улыбки или срывал цветы.

Еще до того как я с ним познакомился, Париж был потрясен короткой эпопеей «Пари-матиналь» - Мерль решил издавать легкомысленную газету нового типа. Он набрал лучших журналистов. В стеклянной клетке перед толпой зевак молодой человек, Жорж Сим, писал детективный роман; написанную страницу тотчас уносили в типографию. (Жорж Сим стал потом известным писателем Жоржем Сименоном.)

С Жоржем Сименоном меня познакомил Мерль. Сименон тогда был начинающим автором детективных романов, много лет спустя он достиг совершенства, которое позволило ему приподнять презираемый жанр до уровня высокой литературы. Я не читал его романов, но мне нравился большой веселый человек, прекрасный рассказчик, неизменный курильщик трубки. Он жил на яхте, и помню, как однажды я приехал к нему на Марну. Он смешил меня причудливыми историями, но наиболее забавным мне показался его пес ньюфаундлендер, огромный добряк, который пугал приезжавших к реке в жаркий день выкупаться: верный своему долгу и навыкам породы, пес несся к плававшим людям и вытаскивал их на берег. По вечерам Сименон порой заглядывал в бар «Куполь», где царил бармен Боб. Туда приходило много разных писателей - и Рене Кревель, и Вайян, и Деснос. Я там просиживал почти каждый вечер.

Недавно я разыскал часть книг, которые оставил в Париже, оккупированном немцами, у приятеля. Среди них был один из ранних романов Сименон а «Череп» с дарственной надписью автора: «Дружески Илье Эренбургу, чья сознательность и принципиальность помогли мне создать образ-карикатуру Радека». Я прочитал этот роман. Имя Радека Сименон взял случайно - оно приползло с газетной

полосы и никакого отношения к Карлу Радеку не имело. Карикатуру он нарисовал с меня, и, говоря нашим газетным жаргоном, шарж был дружеским. Радек сидел в баре «Куполь». Но чем он занимался? Он зверски убил двух богатых и очень старых дев, живших в предместье Парижа: мстил за нищее детство. Это принципиальный и сознательный убийца, только редкая прозорливость сыщика помогла раскрыть подлинную роль Радека. Конечно, Сименон не подозревал меня в убийствах и прибавил слово «карикатура», но я ему казался сверх сознательным, ультрапринципиальным и непримиримым. А было это в те годы, когда я бился, как щепка в море, когда советские критики называли меня «буржуазным циником», а друзья советовали наконец-то «стать на платформу».

Мы сидели в маленьком прокуренном баре и гадали на кофейной гуще, стараясь разгадать не только будущее, но своих соседей да и самих себя. Трудное это занятие, и нелегкими были те годы...

Мерль грозил политикам сенсационными разоблачениями, подписчикам он сулил ценные премии; и вдруг, когда настает время выдавать премии, газета исчезает...

При одной из первых встреч Мерль сказал мне: «Мой друг, вы чересчур скромны, во Франции мало одного таланта...» Он решил меня разрекламировать, устроил обед в отдельном кабинете роскошного ресторана и пригласил писательницу Жермену Бомон - она заведовала литературным отделом бульварной газеты «Матэн». Кроме нее, Мерль позвал Деснос а, которому покровительствовал.

Деснос поел, а главное, выпил и начал обличать «Матэн», каждый раз поворачиваясь к Бомон: «Я, конечно, имею в виду не вас...» Как подобало раннему сюрреалисту, Деснос любил слова скорее нецензурные и, характеризуя «Матэн», перечислил все части человеческого тела. Жермен Бомон не выдержала и ушла. Мерль был огорчен - ему не удалось сосватать меня с мировой славой. Он объяснял мне: «Может быть, госпожа Бомон в душе и согласна с Десносом, но она не могла допустить, чтобы поносили ее хозяев, да еще в присутствии советского писателя...»

У Мерля была неподалеку от Парижа прекрасная усадьба. Устраивая приемы, он любил пускать пыль в глаза, но сам сохранял демократические привычки своей молодости. Утром он завтракал на кухне - ел помидоры, которые густо солил,- и поездом отправлялся в

Париж. По большей части утром у него денег не было, но в поезде рождались грандиозные планы.

Он любил обедать в ресторанах с провансальской кухней, обожал айоли - майонез с чесноком, часто ходил к Нине: у нее был маленький, на вид очень скромный, но очень дорогой ресторан. Нина была и хозяйкой и кухаркой, пускала к себе только ограниченный круг знатоков. Кого только я не встречал за столом Мерля - анархистов и промышленников, Лавалья и Даладье, поэта Сен-Поль Ру, Тристана Бернара, «принца гастрономов» Курнонского, Блеза Сандрара, депутатов, биржевых маклеров, модных адвокатов, киноактеров!

Когда Лаваль отправился в Москву, Мерль мне сказал: «Это самый талантливый мошенник Франции. Я хочу, чтобы он договорился с русскими, потому что ему ничего не стоит договориться с Гитлером». Даладье тогда называли «быком из Воклюзы» - в своих речах он был смел и напорист. Мерль сокрушенно говорил: «Французы перестали разбираться даже в тех вещах, которые считались их специальностью. Ну как можно назвать Даладье быком? Ведь это типичный вол! Можете спросить любую телку...»

В 1933 году раскрылась очередная панама: «Стависский, которого в 1917 году судили за мелкую кражу и который пятнадцать лет спустя присутствовал как эксперт на дипломатических конференциях, украл шестьсот пятьдесят миллионов франков. Тардье уверял, что мошеннику покровительствовали радикалы. Мерль посмеивался: «Если они осмелятся меня тронуть, я покажу талоны чековой книжки Стависского - он делал подарки и друзьям Тардье...»

У Мерля было, разумеется, много врагов, которые хотели его погубить. Он назвал свиней, которых держал в усадьбе, именами своих врагов. Особенно его преследовал редактор фашистской газеты «Гренгуар» Карбучия, и огромный толстый боров был окрещен его именем. Однажды Мерль прислал мне окорок с письмом: «Примите в подарок ногу моего незабвенного Карбучии...»

Как-то я был у него 14 июля. Пришли крестьяне, чтобы его поздравить с национальным праздником. Он вытащил десять ящичков с шампанским и, подняв бокал, торжественно провозгласил: «Да здравствует Франция!» Крестьяне хором ответили: «Да здравствует господин Мерль!»

Он любил пафос: «Когда я умру, не нужно ни пышных похорон, ни речей, пусть только подымут траурный флаг над башней моего замка».

Когда в усадьбу приезжали гости, Мерль надевал фартук и готовил обед, причем фантазировал он и на кухне: народное блюдо луковый суп - обильно приправлял сухим портвейном. Был он чрезвычайно суеверным. Французы говорят, что нужно схватиться за дерево, чтобы не сплзнуть. Мерль жаловался: «Прежде я был спокоен - во всех кафе были деревянные столики. Теперь столы мраморные, приходится носить в кармане огрызок карандаша». Он завел павлинов, это совпало с дурной для него полосой. Он приписывал все напасти птицам - они ночью подходили к дому и роняли перья, на которых был дурной глаз. Убить или отдать павлинов он не решался: «Нельзя перечить судьбе». Однажды крестьяне пришли удрученные: деревенские собаки загрызли павлинов. Мерль воскрес и сразу отправился в Париж с новыми гениальными планами.

Я неправильно сказал, что у Мерля не было моральных принципов,- вернее сказать, его принципы не совпадали с общепринятыми. Он, например, не признавал договоров, не платил своим авторам гонораров; но Деснос мне рассказывал - стоило ему намекнуть, что у него трудное положение, как Мерль давал больше, чем полагалось по договору. До конца жизни он помогал детям своих товарищей по анархистской группе.

Когда Батя подал на меня в суд. Мерль спросил Любу, какой у нее номер обуви. «Завтра вы получите двенадцать пар туфель от синдиката французских фабрикантов». Люба на него накричала, рассказала мне, я рассердился и строго-настрого запретил Мерлю разговаривать обо мне с французскими конкурентами Бати. Мерль посмотрел на меня с жалостью и с восхищением: «Бог ты мой, до чего вы наивны!.. Но я вас за это уважаю...»

Побывав в Москве, Панаит Истрати стал поносить Советский Союз. Мерль возмутился: «Когда я начинал работать в газете, там был славный малый, репортер Гюстав. У него была подруга, красивая, очень высокая и очень темпераментная. Она ему устраивала сцены ревности, он часто приходил в редакцию с синяками. Однажды он пришел с лицом совершенно окровавленным, жалко было на него смотреть. Мы решили поговорить с дамой: «Почему вы обижаете

нашего Гюстава?» Она даже руками всплеснула: «Вы хотите знать почему? Хорошо, я вам расскажу. Это я заплатила за его вставную челюсть, и моими зубами он улыбается другим женщинам». Вы спросите, почему я вспомнил эту историю? Здесь нет никаких аллегорий. Истрати рассказал мне, что ему в Москве вставили чудесные зубы, и вот советскими зубами он улыбается Пуанкаре и Братиану...»

Мерль познакомил меня с госпожой Анно. Ее арестовали, потом выпустили, это было громкое дело. Мерль ее уважал и часто повторял: «Честнейшая женщина!..» Она мне рассказала много интересного о проделках финансовой знати. Что касается Мерля, то он неизменно говорил: «В девяноста девяти случаях из ста мошенник или вор куда порядочнее прокурора и судей».

В Испании началась гражданская война; я уехал в Мадрид. Осенью я вернулся в Париж за грузовиком с кинопередвижкой; встретив Мерля, я рассказал, что еду на Арагонский фронт и хотел купить печатную машину, но не хватило денег. Мерль меня обнял: «Я теперь только и думаю, что об Испании. Там ведь много анархистов...» На следующий день он привез машину и шрифт. В то время у него было туго с деньгами, не знаю, где он достал машину, но работала она превосходно.

При последней встрече он выглядел усталым, поблекшим; у него всегда был хриплый голос, а тут он с трудом говорил, хотя любил поговорить. Он умер от рака горла.

Почему я о нем написал? Уж не так часто мы встречались, да и вся эта история не имеет морали, просто портрет одного непохожего на других человека. Мерль в душе был поэтом. Даже хорошие поэты пишут иногда неудачные стихи; Мерль иногда давал чеки без покрытия. Но он оживлял Париж тех лет. Да и нельзя писать только о героях или об исторических событиях - в жизни нужны и белые вороны...

В 1927 - 1928 годах французы зачитывались книгами Панаита Истрати. Его произведения переводили на различные языки; особенно ими увлекались в Советском Союзе - за два-три года вышло не менее двадцати изданий книг Истрати. Ромен Роллан, восхищаясь молодым автором, называл его «балканским Горьким».

Теперь мало кто помнит книги Истрати. В моей жизни он был случайной встречей. Я слушал с охотой его цветистые истории; он мне, скорее, нравился - добрый, бесшабашный и вместе с тем лукавый, не то скрипач из ночного кабака, не то анархист, перебирающий вместо четок игрушечные бомбы. А когда он исчез из виду, я о нем не вспоминал. Все же мне хочется задуматься над его судьбой: эпоху понимаешь не только по инженерам, прокладывающим автострады, но и по контрабандистам, петляющим в ночи.

Возле Больших Бульваров на улице Шатодэн пометался восточный ресторан, содержал его тучный и сладкий сириец. Туда приходили греки и турки, румыны и египтяне, ливанцы и персы. Там подавали различные кебабы, голубцы из виноградных листьев, медовые пирожки, истекавшие салом, душистый котнар, анисовую водку с водой - арабы этот напиток зовут «львиное молоко», греческое вино с запахом смолы. Меня туда привел Панаит Истрати; он восхищался яствами, которые соблазняли его в детстве; сладости, пряности, запах баранины его пьянили, он начинал рассказывать фантастические истории.

По своей природе Истрати был не писателем, а рассказчиком; рассказывал он очень хорошо, увлекался, сам не знал, было ли на самом деле то, что он выдает за сущую правду. Так часто бывает с одаренными рассказчиками; их слушают затаив дыхание, нет даже времени задуматься над смешными или печальными историями; только потом слушатели, в зависимости от того, как они относятся к рассказчику, говорят: «Ну и врет» или «Какое богатое воображение!»

Почему Истрати стал писателем? У него было множество различных профессий: он подавал в румынском трактире вино и грузил ящики на пароходы, красил дома и пек хлеб, писал вывески и

работал слесарем, копал землю и был бродячим фотографом - в Ницце на набережной снимал туристов; много лет он странствовал, побывал в Египте, в Турции, в Греции, в Ливане, в Сирии, в Италии, во Франции; говорил на многих языках, и ни на одном из них не умел говорить правильно. Своей родиной он считал Румынию; его мать была румынской крестьянкой, отец - греком и контрабандистом. Вся его жизнь была настолько нелепой, что, кажется, ни один писатель не решился бы ее описать. Да и сам Истрати не мечтал о карьере писателя. Он любил читать, причем читал все вперемежку - Эминеску и Гюго, Горького и Ромена Роллана.

Наконец все ему опротивело - голод, фантазия, книги, пальмы Ниццы, полицейские. Он попытался перерезать себе горло бритвой. Его отвезли в госпиталь; он выжил. Из госпиталя он написал Ромену Роллану: хотел рассказать пожилому умному человеку про свое отчаяние; будучи одаренным рассказчиком и в душе ребенком, он отвлекся, начал припоминать забавные истории. Прочитав длинное письмо, Ромен Роллан восхитился талантом молодого румына, и Панаит Истрати узнал новую профессию: стал писателем.

Быстро пришли слава, деньги. Я с ним познакомился, когда он был в зените успеха. Он как бы хотел наверстать упущенное - и перечитывая восторженные рецензии, и выбирая в буфете сирийского ресторана диковинные закуски; были в нем наивность, детская хитрость, обаяние цыгана из пушкинской поэмы, восточного выдумщика, левантийского хвастуна и обыкновенного мечтателя, среди голода и побоев сохранившего тоску по любви, по звездам, по правде. Как-то он сказал мне: «Я ведь не писатель... Просто жизнь была пестрой, а скоро я выдохнусь...» Сказал он это без горечи, как бродяга, случайно оказавшийся в хорошей гостинице, который знает, что его ждут сума и пыльная дорога.

Первые книги Истрати, принесшие ему известность, романтичны, сказочны. Французы изумились, увидав Шехерезаду в пиджаке и брюках. Истрати рассказывал о своем детстве, о скитаниях, о турецких гаремах, о румынских гайдуках. Больше всего его увлекали гайдуки: они защищали обиженных, не было у них партийной дисциплины, и вдоволь шумный, но слабовольный Истрати, который всю свою жизнь был анархистом, видел в них своих учителей, старших братьев. Он как-то рассказал мне, что одно время увлекался

политикой, организовывал забастовки; вероятно, это было правдой; но еще раз напомню - чем только в жизни он не занимался!

Живи он в XIX веке, все кончилось бы хорошо; он написал бы еще десять или двенадцать книг; стал бы французским академиком или вернулся бы на родину, где над его романами проливалась бы слезы сентиментальная писательница Кармен Сильва, она же королева Румынии... Но на дворе стоял иной век.

В 1925 году Истрати поехал в Румынию, он увидел, как жандармы избивали крестьян, как расстреливали участников бессарабского восстания. Он вернулся во Францию возмущенный, выступил в «Лиге прав человека», написал несколько гневных статей. Он спрашивал себя: что делать? Гайдуков давно не было. Были коммунисты, и Панаит Истрати начал мечтать о Советском Союзе.

Рассуждать он не любил, да и не умел; он мыслил сказочными образами; для него мир делился надвое - нечестивцы и праведники, трущобы нищего Неаполя или молочные реки в кисельных берегах. Порой мне трудно было с ним разговаривать: он не мог себе представить, что в Советской России можно встретить глупых или бессердечных людей. Шехерезада по ночам рассказывала сказки, а Истрати начал обличать современных калифов.

Он поехал в Москву, шумно восхищался решительно всем, заявил, что намерен перебраться в Советский Союз. Вернувшись в Париж, он опубликовал книгу, полную резких и по большей части несправедливых нападок на страну, которую только что прославлял. Поворот был настолько крутым, что все обомлели. Одни заговорили о «коварстве» и «подкупе», другие - о «чудодейственном прозрении».

Книга, посвященная поездке в Советский Союз, никак не напоминала книги Истрати, говорили, будто ее написал кто-то другой. Не знаю, правда ли это. Может быть, сказалось вечное легкомыслие Истрати. Пилигрим рассердился: реальность не походила на созданную им восточную сказку. Его тотчас окружили журналисты, политики, фракционеры; он не успел опомниться, как стал игровой картой на зеленом сукне.

Он мне как-то рассказал, что в ранней молодости ездил «зайцем» в поездах, на пароходах, это была увлекательная игра - добраться из Пирея в Марсель без единой драхмы. Может быть, он захотел «зайцем» пересечь век? Его высадили на чужом, незнакомом вокзале.

Не было больше ни старых друзей, ни сказок. Он оправдывался, обвинял, писал истерические статьи. Вскоре он уехал в Румынию. О последних годах его я мало что знаю. Обострился туберкулез, некоторое время Истрати жил в горном монастыре, называл себя анархистом, пробовал пристать к националистам, писал о боге и обрадовался, когда о нем вспомнил Мориак. Умер он в Бухаресте в 1935 году. О нем были коротенькие некрологи во французских газетах: его успели уже забыть...

Много лет спустя на свадьбе в глухой румынской деревне я встретил героев Истрати, задорных и нежных; они пели мятежные, печальные песни. Я вспомнил мечтателя, забияку и забулдыгу, который рассказывал истории в полутемном ресторане на улице Шатодэн; и еще раз подумал о страшной ответственности писателя. Нет легких ремесел, но, пожалуй, самое трудное водить перышком по бумаге: платят за это иногда хорошо, но расплачиваться приходится жизнью...

В годы, о которых я рассказываю, я колесил по Европе, изъездил Францию, Германию, Англию, Чехословакию, Польшу, Швецию, Норвегию, Данию, побывал в Австрии, Швейцарии, Бельгии. С 1932 года я стал корреспондентом «Известий», и многие поездки были связаны, хотя бы частично, с газетной работой. А в 1928 - 1929 годы я еще не был профессиональным журналистом (иногда мои путевые очерки печатала «Вечерняя Москва»). Не был я и классическим туристом. Оказавшись в Норвегии, вместо того чтобы любоваться живописностью фьордов, я поехал на далекий островок Рест, где даже подушки пропахли треской, а потом в маленький порт Мосс, где нет никаких достопримечательностей, и там ночью беседовал о судьбе нашего века с представителем пароходной компании; в Англии я поехал в прокопченный, мрачный Манчестер и спускался в допотопные шахты Сванси; в Швеции забрался в новый заполярный город Кируну, где добывают руду.

Денег у меня было в обрез. В Польшу меня вывез импресарио, я читал доклады о литературе; в Англию пригласили Пен-клуб и издатель; в Вену я поехал на встречу какого-то культурного объединения. Повсюду я разыскивал дешевые гостиницы и полагался больше на свои ноги, чем на такси.

Пушкин писал об Онегине:

И начал странствия без цели,

Доступный чувству одному;

И путешествия ему,

Как все на свете, надоели...

«Цели» и у меня не было, но путешествия мне не надоедали. Конечно, от себя уехать нельзя, и, где бы я ни был, меня не покидали мои мысли, вероятно, именно поэтому я любил (и до сих пор люблю) путешествовать: иногда за тридевять земель, приглядываясь к чужой жизни, находишь ту разгадку, которую напрасно искал у себя за рабочим столом... Мне было тогда под сорок,- следовательно, я вышел из возраста, который обычно связывают с понятием становления; но по-прежнему я чувствовал себя школьником.

Каждый человек постепенно обрастает людьми, с которыми он связан общими интересами, ремеслом. Нельзя уйти от самого себя, но можно на некоторое время вырваться из круга привычных знакомств. Конечно, и в других странах я часто оказывался в среде писателей; познакомился с Майеровой, с Новомеским, с Антони Слонимским, с Броневским, с Андерсеном-Нексе, с Нурдалем Григом, с Иозефом Ротом.

На одном из датских островов я случайно встретил Карин Михаэлис. Она возила меня к крестьянам, показывала превосходные фермы, ее всюду знали, уважали. В ранней молодости мы читали в России ее роман «Опасный возраст». Я думал, что ее волнуют тайны женского сердца, а она говорила о другом: о неминуемой катастрофе; рассказывала, как фермеры не хотели помочь голодающим немецким детям, как теперь отворачиваются, когда она заговаривает о фашизме, об угрозе войны, как ужасны сытость, сон, равнодушие. (Восемь лет спустя в Мадриде на конгрессе писателей, среди разрывов снарядов, кто-то прочитал приветствие больной Карин Михаэлис, и я вспомнил беседу на тихой зеленой ферме.)

Однако, говоря о вылазках из привычной среды, я думаю о других встречах - со старым пастухом «бачей» в Тиссовце, с лодзинскими ткачами, со смотрителем маяка на Лофотенских островах, с внуком цадика из Гуры Кальварии, с берлинскими рабочими.

Упомяну сейчас об одной из пестрых встреч. В Кируне я познакомился с горняком-коммунистом, у которого была русская жена, Нюша. Она меня угощала кофе, показывала восторженно холодильник, электрическую плиту, стиральную машину. Со мною горняк говорил по-немецки, а с женой почти не разговаривал - знал сотню русских слов; Нюша еще не успела овладеть шведским языком. Он мне рассказал, что был в Советском Союзе с делегацией, на Кавказе заболел воспалением легких и в больнице влюбился в сиделку. Он верил, что Нюша - «душа русской революции», и огорчился, что не может спросить у нее совета, как поступить в том или ином случае. А Нюша радовалась, что попала в спокойную, богатую страну, и недоуменно говорила про товарищей мужа: «Это они с жиру бесятся...» Я не хотел ее строго судить: она узнала много горя, голодала, брата расстреляли белые, мать умерла от сыпняка. Муж ее мне очень нравился, был благородным и смелым. Нюша

горевала, что не научилась говорить по-шведски. На столе лежал толстый словарь, но молодожены редко в него заглядывали. Оба проклинали свою немоту, не догадываясь, что ей обязаны счастьем...

Это, конечно, только печальная и смешная история, из которой не нужно делать выводы; да я их и не делал. Я старательно записывал свои впечатления.

Некоторые поездки я описал и назвал книгу очерков «Виза времени». Легко себе представить, что для обладателя советского паспорта, вздумавшего в те времена путешествовать, виза была магическим понятием. Однако, выбрав такое заглавие для книги, я думал не о придирчивых консулах, а о еще более придирчивом веке: хотел проверить, какие из наших прежних представлений могут быть завизированы временем. Поездки помогли мне освободиться от множества условностей, старых и новых, увидеть жизнь такой, как она есть. Разговаривая с датскими фермерами, я старался понять путь советского писателя.

Представитель Советского Союза в Лиге наций М. М. Литвинов поразил всех лаконичной формулой: «Мир неделим». Блуждая по чужим странам, я понял, что неделим и другой мир тот, что по старой орфографии писали через «и» с точкой.

Я понял также, что народы своеобразны, неповторимы, как люди. Автор предисловия к одному из изданий «Визы времени» Ф. Раскольников предостерегал читателей: «Эренбург придерживается устарелой теории национальных характеров. Он полагает, что каждый народ имеет свою «душу», зависящую от свойств его национального характера. В этом отношении Эренбург имеет такого блистательного предшественника, как Стендаль, который в своем «Пармском монастыре» тоже безуспешно пытался разрешить проблему итальянского национального характера. Это ошибочное представление о национальной «душе» логически вытекает из общей идеалистической системы взглядов Эренбурга. Подобно Стендалю он не материалист, а идеалист. Он предпочитает не изучать, а постигать интуицией...»

(Это было написано в 1933 году. Десять лет спустя А. Н. Толстой напечатал рассказ «Русский характер», в театрах шла пьеса Симонова «Русские люди», различные поэты воспевали «русские обычаи», «русскую любовь» и, разумеется, «русскую душу». Никто их не корил,

им дружно аплодировали. Поскольку у русских оказалась «душа» - то есть некоторые черты национального характера,- очевидно, она имеется и у других народов. Много раз я читал про то, как я или как другие писатели «преодолевают былые заблуждения». А те, кто нас упрекал? О них не пишут. Между тем они тоже от многого отказывались и многое начинали понимать.)

Я никогда не думал, что «душа» народа связана с кровью,- я многим болел, но только не расизмом. Душа народа, то есть его характер, складывается веками, и на черты национального характера влияют география, особенности социального развития, повороты истории. Другие материка я увидел позднее - после второй мировой войны, но и в годы, о которых пишу, мог многое сравнить. Конечно, я видел, что шведский рабочий рассуждает иначе, чем Крейгер или банкир Валленберг, но это не помешало мне отметить, что характер шведского рабочего отличается от характера итальянского рабочего. Здесь не было никакого «идеализма», и это не противоречило ни существованию классовой борьбы, ни принципам интернационализма.

Можно ли, побывав в Англии, не заметить, что англичане любят известное отъединение, что они предпочитают неудобные холодные домики с узенькими лестницами квартире в современном многоэтажном доме, что, в отличие от французов, они не живут на улице и не ныряют с удовольствием в толпу? Любой турист, даже лишенный наблюдательности, видит, что в Париже много магазинов, торгующих красками, принадлежностями для художников, много маленьких выставок живописи, а в Вене сотни магазинов, где продают поты, и на стенах афиши концертов. Буржуа в разных странах проводят досуги по-разному. Англичанин обязательно является членом какого-либо клуба, причем и выборе клуба редко сказываются политические симпатии; в каждом клубе имеется библиотека с удобными креслами, и там джентльмены снят, одни тихо, другие похрапывая. Испанцы тоже любят клубы, но сидят они не в полутемных залах, а в витринах или па улице и смотрят па прохожих; когда проходит более или менее молодая женщина, причмокивают. Немецкий буржуа обожает научные новшества и экзотику; в одном ресторане Берлина я увидел в меню цифры - сколько калорий в каждом блюде (витамины пришли позднее), в другом посетители

лежали в гамаках, а над ними порхали тропические птицы. Это явно не понравилось бы французу, который не хочет платить за бутафорию, а любит хорошо покушать в маленьком невзрачном бистро. В английском парламенте люди спорят вежливо, а во французском я не раз присутствовал при драках. Я мог бы исписать сотни страниц, перечисляя особенности характера и быта, но я теперь не собираюсь обрисовывать различные страны, а только хочу отметить, какое впечатление оказали путешествия на мой дальнейший путь.

Я увидел, что люди живут по-разному, по различие форм жизни не заслонило от меня того общего, человеческого, что позволяет верить в единство мира. Конечно, шведы показались мне чопорными (теперь они освободились от многих условностей), нельзя было просто выпить рюмку водки - существовал сложный этикет. Выглядели шведы холодными, замкнутыми. Но вот я познакомился с Акселем Клауссоном, бывшим военным атташе в Петербурге. Он знал русский язык и, выйдя в отставку, занялся переводами, перевел и мои две книги. Он был настоящим старым шведом, любил ужинать при свечах, подносил рюмочку к сердцу, никогда не забывал припомнить, как мы хорошо провели вместе вечер, даже если этот вечер был в позапрошлом году. Мы подружились, и он оказался человеком с горячим сердцем, вернейшим другом, умел поговорить и, что еще труднее, помолчать.

Словакия сначала мне показалась страной далекого прошлого: крестьянки ходили в красивых пестрых костюмах эпохи барокко, крестьяне некоторых округов носили фартуки, кресты на кладбищах были расписаны, как веселые игрушки. Потом я увидел, что словацких писателей волнуют те же вопросы, что и меня; я нашел там много добрых друзей - Клементиса, поэта Новомеского и других.

Англичане выглядели существами с другой планеты, на все отвечали «у вас континентальный вкус» или «это не у нас, а на континенте». Вскоре я увидел, что интеллигенты печальны, увлекаются Чеховым; когда играют «Трех сестер», в зале плачут. Я понял, что могу говорить со многими англичанами по душам.

Я сказал, что повсюду меня сопровождали мои раздумья и сомнения: они родились давно, еще в годы первой мировой войны, когда я начал самостоятельно думать. Увидев огромное военное хозяйство, мгновенное отречение людей от мысли, механизацию

любви, убийства, смерти, я понял, что в опасности само понятие человека. В конце двадцатых годов еще не было ни аплодисментов по команде, ни машин, способных сочинять стихи, ни статистики Освенцима, ни водородных бомб. А я непрестанно, мучительно думал не о характерных чертах того или иного народа, а о характере времени.

Мне не хочется загромождать эту книгу цитатами из самого себя, ссылаться на старые очерки или заметки; но если я начну рассказывать о своих впечатлениях от Западной Европы в 1928 - 1929 годах, я невольно изменю или пополнию их опытом последующих десятилетий. Вот что я тогда писал о Германии:

«Один придумывает, как бы поэкономнее рассадить пассажиров в самолете, другой изготавливает зажигалку, чтобы огонь вспыхивал при небрежном движении... Я был у Максимилиана Гардена... Видимо, он не создан для изготовления усовершенствованных зажигалок. Мы говорили о русской революции, о берлинских улицах. Он сказал мне: «Я боюсь этой равномерности жизни, отсутствия непредвиденного...» В уличных уборных Берлина надпись: «Не позднее, чем через два часа после сношения с женщиной, поспеши на ближайший санитарный пункт...» Берлин - апостол американизма, и зажигалки здесь предметы особого культа. Меня пригласил к себе автор романа «Александерплац» Альфред Деблин. Его угнетает механическая цивилизация, он говорил, что был в Польше, разговаривал с крестьянами и нашел в глухих деревнях больше человечности, чем в Германии.

Я был в Дессау, где теперь помещается Баухаус - школа современного искусства. Стекланный дом; найден стиль эпохи: культ сухого разума. Жилые дома вокруг, построенные в том же стиле, страшны; они до того похожи один на другой, что дети ошибаются. Говорят, что новый стиль подходит для заводов, вокзалов, гаражей, крематориев, а стиль для жилых домов еще не найден. Вряд ли его найдут: люди теперь живут на работе, а не у себя. В доме архитектора Гроппиуса множество кнопок, рычагов, белье носится по трубам, как пневматическая почта, тарелки из кухни проползают в столовую; все продумано, вплоть до ведра. Все безукоризненно и невыразимо скучно. Думали ли мы, защищая кубизм, а потом конструктивизм, что одно десятилетие отделит философские кубы от вполне утилитарного

ведра? В доме художника Кандинского ряд уступок искусству - новгородские иконы, пейзажи таможенника Руссо, томик Лермонтова. Один из учеников мне сказал: «Кандинский путаник и полуконсерватор...»

На вокзале Штутгарта или в типографиях Лейпцига понимаешь, насколько здесь пришлась ко двору Америка. В Кельне на выставке я увидел архисовременную церковь с комфортом и кубическими витражами, Христос напоминает часть сложной машины».

Вот об Англии:

«Презрение к Америке и американизация быта: американские фильмы, американская архитектура, американские магазины.

Хемстед. Длинные улицы. Коттеджи. Все дома как один. Англичане любят индивидуализм, однако эта идиллическая казарма их не смущает.

В Лондоне непрестанно думаешь, откуда взялся этот огромный город - на острове, в стороне от жизни, среди сырости и хандры? Как властвовал и угнетал? Как поколебался, дрогнул, заполнил шкафы мирными трактатами и занимательными романами? Как он живет со старинными париками, с великодержавностью дипломатических нот, еще путает карты, блефует, но боится рассвета? Как познакомился с американскими колонизаторами, с континентальной смутой, с безработицей, с самоубийствами? Англичане - завоеватели, мореплаватели, превосходные спортсмены. Это не мешает им быть на редкость застенчивыми. Отсюда консерватизм, привязанность к шутовским церемониям.

Они стоят, сконфуженные, перед молодой и наглой Америкой.

Есть здесь нечто переходящее меру. Пикадилли и Поплар. Роскошь, выставленная напоказ, и неопишуемая нищета района Доков. Шахты в Южном Уэльсе примитивно оборудованы; часто приключаются обвалы; я видел в шахтах детей, мне объяснили, что недавно запрещена работа до четырнадцати лет, этим уже пошел пятнадцатый. До сих пор в школах применяются телесные наказания. Ад Давида Копперфильда. А Диккенса нет...»

Вот Скандинавия:

«Швеция пытается отстоять свой быт, свои привычки. Вся Европа старательно перенимает механические судороги нью-йоркского бизнесмена, шведы упираются. Вероятно, ненадолго - в Швеции всего

семь миллионов людей, остальное - лес. Деревья вырубят, а людей перевоспитают.

68 гр. с. ш. Три месяца в году ночь. Две горы, между ними город Кируна. Его еще строят, не успели даже окрестить улицы, адрес - это номер дома. Горняки живут хорошо. Среди них много коммунистов, в редакции газеты портрет Ленина. У шахтеров автомобили. А кругом тундра. Роскошная церковь: золотые статуи (стиль модерн) изображают различные добродетели. В газете: акции «Луосаваара-Кируноваара» в повышении. Один из крупных держателей акций Ивар Крейгер.

Рест - крохотный остров (Лофотенские острова). В Норвегии король, он торгует маслом. В Ресте - мэр, рыбак и социалист. Однако подлинными властителями острова - скупщики трески, им принадлежат дома, фабрики консервов. Из отбросов варят клей. У скупщиков рыбы магазины, они же местные банкиры, сдают рыбакам суда, страхуют; вся жизнь острова подвластна им.

Шоколадная фабрика «Фрейя». Работницам делают маникюр, в заводской столовой живопись Мунка. Невообразимый грохот. Владельцы «Фрейи» платят мало, отказались признать профсоюз.

Фугт говорил мне, что у Норвегии «особый путь». Я ему ответил, что на необитаемом острове легко спасти свою душу, конечно до первого американского парохода.

Датские фермеры живут куда комфортабельнее парижских буржуа. На стенах старые крестьянские тарелки: они стали предметом украшения. Один фермер сказал мне, что зимой прочитал «Войну и мир»: «Интересная книжка». Помолчав минуту, спросил: «А сколько могли заплатить вот такому Толстому?..» Другой фермер заказал фрески - история его жизни. Сначала бедный домик его отца на севере Ютландии. Первый собственный дом и, разумеется, свиньи. Дом жены - приданое, свиней все больше и больше. Наконец, роскошная двухэтажная ферма, деревья, сонм свиней.

Художник Гансен, молодые поэты, скептический журналист Киркебю, который пишет в «Политикене». Много пьют, пытаются воскресить богему, жалуются: свиней не только больше, чем людей, свиньям лучше живется. Говорят, что Копенгаген быстро американизируется, дело не в причудах кучки снобов, а в состоянии умов: стихов никто не читает, живопись, даже самая крайняя,

рассматривается, как мебель или как биржевые бумаги, все сведено к механике...»

Впрочем, хватит переписывать старые заметки. Теперь мне понятнее, что меня в те годы угнетало. Это было еще до мирового кризиса. Гитлер шумел в различных пивных, но почему-то люди верили в крепость Мюллера или Брюнинга, в магию плана Юнга, в то, что роман Ремарка «На Западе без перемен» показывает миролюбие рядовых немцев. Я видел, как отстраивали Реймс, Аррас. Про войну начали забывать. Тридцатилетние относились к рассказам о Сомме или о Вердене, как к надоевшей всем древней истории; помню, кто-то сказал: «Была еще Троянская война...» Мир казался прочным. На самом деле он был иллюзорным. Города отстроили, но не жизнь...

До 1914 года сохранялись известные понятия, нормы, идеи. Анатолий Франс, с его скепсисом, с культом красоты, с чуть холодным гуманизмом, в 1909 году входил в пейзаж Парижа. В 1929 году Поль Валери казался анахронизмом. Старые представления о добре и зле, о красоте и уродстве были разрушены, а создать новые не удалось.

Влияние Америки обычно приписывают ее экономической мощи: богатый и энергичный дядюшка наставляет непутевых, обнищавших племянников. А тот американизм, который я отмечал повсюду, был связан не только с экономикой. После первой мировой войны изменилась психика людей. Их увлекали дешевые аттракционы с Бродвея, самые глупые из американских кинокартин, детективные романы. Усложнение техники шло в ногу с упрощением внутреннего мира человека. Все последующие события были подготовлены: мало-помалу исчезало сопротивление. Приближались темные годы, когда в разных странах попиралось человеческое достоинство, когда культ силы стал естественным, надвигалась эпоха национализма и расизма, пыток и диковинных процессов, упрощенных лозунгов и усовершенствованных концлагерей, портретов диктаторов и эпидемии доносов, роста первоклассного вооружения и накопления первобытной дикости. Послевоенные годы как-то незаметно обернулись в предвоенные.

Я томился в роскошном кабинете редактора «Франкфуртер цейтунг», который хотел напечатать в своей газете мои очерки о Германии. Редактор был круглым и благодушным. Рядом с ним сидел худой, нервный человек с добрыми, но насмешливыми глазами; неожиданно он сказал мне на дурном русском языке: «Скажите ему - запрещено резать, и запросите больше - у них много денег...» Так я познакомился с австрийским писателем Йозефом Ротом; это было в 1927 году. Несколько лет спустя он стал известен широкому кругу читателей.

Вот у кого была анкета, способная привести в восторг искателей космополитов! Отец его был австрийским чиновником, запойным пьяницей, мать - русской еврейкой. Родился он в Галиции в пограничном поселке; считался немецким писателем; говорил всем, что он австриец; когда немцы проголосовали за Гинденбурга, сказал: «Все ясно!» - взял шляпу, палку и уехал в Париж. Жил он всегда в гостиницах, иногда хороших, а по большей части замызганных и вонючих. Не было у него мебели, не было и вещей; старомодный кожаный чемодан был набит книгами, рукописями и ножами - никого он не собирался резать, но обожал ножи. «Франкфуртер цейтунг» его посылала в Москву; он пробыл некоторое время в нашей стране, выделялся среди других инкоров желанием понять чужую жизнь, искренностью, участием к нашим бедам, радостью, с которой описывал наши первые успехи. Потом газета посылала его как репортера в различные страны; он писал путевые очерки, мучась над каждой строкой - ему было противно плохо писать. Ходил он быстро, всегда с палкой, но не опирался на нее, а чертил ею что-то в воздухе.

Он никогда не писал стихов, но все его книги удивительно поэтичны - не той легкой поэтичностью, которая вкрапливается некоторыми прозаиками для украшения пустырей; нет, Рот был поэтичен в вязком, подробном, вполне реалистическом описании будней. Он все подмечал, никогда не уходил в себя, но его внутренний мир был настолько богат, что он мог многим поделиться со своими героями. Показывая грубые сцены пьянства, дебоша, унылую

гарнизонную жизнь, он придавал людям человечность, не обвинял, да и не защищал их, может быть жалел. Не забуду я тонкой, чуть печальной усмешки, которую часто видел на его лице.

В 1932 году меня пленил его роман «Марш Радецкого». Тридцать лет спустя я его перечитал и подумал, что это один из лучших романов, написанных между двумя войнами. Это книга о конце Австро-Венгрии, о закате и общества и людей.

Сумерки империи Габсбургов сформировали и вдохновили многих писателей, писавших на различных языках. Когда империя рухнула, Итало Свево было пятьдесят семь лет; Францу Кафке - тридцать пять, а Роту - всего двадцать четыре года. И все же, о чем бы Рот ни писал, он неизменно возвращался не только к быту, но и к душевному климату последних лет Австро-Венгрии.

Писатели, стремившиеся найти новые формы для отображения развала общества между двумя войнами, расшатывали структуру романа; таковы «Улисс» Джойса, «Процесс» Кафки, «Цено» Итало Свево, «Фальшивомонетки» Андре Жида. Эти книги не похожи одна на другую, да и разного калибра, но все они чем-то напоминают живопись раннего кубизма, может быть желанием расчленить мир. Одновременно еще выходили прекрасные романы, написанные по старинке, романы о новой жизни, рассказанной так, как рассказывали писатели прошлого века: «Семья Тибо» дю Гара, последние романы о Форсайтах Голсуорси, «Американская трагедия» Драйзера. «Марш Радецкого» написан по-новому, но это роман, и притом крепко построенный. Если снова прибегнуть к сравнению с живописью, я припомню импрессионистов; в романе Рота много света и воздуха.

Меня поражала любовь Рота к людям. Ну что может быть пошлее и глупее любовной связи молоденького, никчемного офицера с легкомысленной женой жандармского вахмистра? А Рот сумел приподнять, осветить многое изнутри, и я вместе с его героем стою потрясенный у могилы вымышленной женщины, которой писатель сумел придать подлинность, телесность.

Рот одно только делал с сердцем: писал. «Франкфуртер цейтунг» отправила его в Париж как специального корреспондента. Он мог писать романы. Он любил Париж, и я увидел его радостным. Он пришел ко мне с молодой, очень красивой женой, я подумал: вот Рот и нашел счастье...

Вскоре газета прислала в Париж нового корреспондента, и Рот лишился работы. (Об этом новом корреспонденте следует сказать несколько слов. Его звали Зибургом, он считался левым и называл себя другом, почитателем Рота. Зибург написал книгу «Как бог во Франции» - это немецкая поговорка, относящаяся к хорошей жизни; французы говорят «как петух в тесте», а русские «как сыр в масле». В этой книге Зибург расхваливал Францию. Я еще был в оккупированном Париже, когда туда вместе с Абецем приехал Зибург - ему было поручено присматривать за французскими журналистами.)

У Рота не было денег. А здесь случилась катастрофа: его жена душевно заболела. Он долго не хотел с ней разлучаться, но болезнь обострилась, и ее увезли в клинику.

Я тогда слышал от некоторых общих знакомых: «Бедняга Рот спятил... Сидит в кафе напротив гостиницы, пьет и молчит... Стал приверженцем Габсбургов... Словом, с ним плохо...»

Трудно всерьез говорить о политических воззрениях Рота. Были критики, увидевшие в «Марше Радецкого» апофеоз лоскутной империи. А какой же это апофеоз - это ее похороны. Рот показал тупых чиновников, духовно опустившихся офицеров, внешний блеск и нищету, расстрел забастовщиков в украинском поселке, контрабандистов, ростовщиков и надо всем этим выжившего из ума старика, окруженного ложью и боящегося слова правды, которого именуют «императорским величеством» и у которого течет из носу.

Однажды Рот и со мной заговорил о Габсбургах: «Но вы все-таки должны признать, что Габсбурги лучше, чем Гитлер...» Глаза Рота грустно усмехались. Все это было не политической программой, а воспоминаниями о далекой молодости.

Он хорошо описывал печаль, старость, наивность подростков, вековые деревья, любовь к земле украинских крестьян, душевное спокойствие, бородатых евреев, смерть и жаворонков, лягушек, лучи солнца в летний день, пробивающиеся сквозь зеленые жалюзи.

Настали ужасные годы. Гитлеровцы жгли книги. Эмигранты в Париже ссорились друг с другом. Рот жил в старой гостинице Файо на улице Турнон. Гостиницу решили снести; все из нее уехали, только и верхнем этаже в маленькой комнате еще ютился Рот. Потом он перекочевал в скверную гостиницу на той же улице.

В 1937 году я приехал из Испании на несколько дней в Париж; шел по улице Турнон и увидел в кафе Рота. Он меня окликнул. Он плохо выглядел, чувствовалось, что он живет через силу, но, как всегда, был очень вежлив, галстук аккуратно завязан бабочкой. Перед ним стояла гора блюдечек; он говорил связно, только руки дрожали. Спросил меня, как в Мадриде, внимательно слушал, потом сказал: «Я теперь всем завидую. Вы ведь знаете, что вам нужно делать. А я больше ничего не знаю. Слишком много крови, трусости, предательства...» Он заказал еще рюмку. Я торопился, но он меня не отпускал. «Ваши друзья меня ругают. Я написал роман об инспекторе мер и весов. Может быть, это и плохой роман, я теперь часто думаю - до чего мы все неталантливы! Но я хочу вам сказать о другом... Мой инспектор жил плохо, растерялся, как я. В итоге он умирает. Перед смертью он бредит, ему кажется, что он не инспектор, а лавочник, к нему приходит самый главный, грозный инспектор, а у него весы неправильные - обвешивал, обмеривал, надувал. Сейчас его уведут в тюрьму... Он говорит инспектору: «Конечно, у меня гири легче, чем полагается. Но у всех так - без этого в нашем городе не проживешь». Вы знаете, что ему ответил главный инспектор? Он сказал, что правильных весов нет. Ваши друзья говорят, что я хочу оправдать Шушинга. А я думал о людях, таких, как я. Вы скажете: «Зачем вы печатаете ваши романы?..» Я должен жить, хотя это и ни к чему...» Он заказал еще рюмку. Потом мы расстались. Больше я его не видел.

Кончил жизнь самоубийством Эрнст Толлер. По улицам Праги шагали немецкие дивизии. Йозефа Рота тяжело больного увезли из его кафе в больницу. Ему было сорок пять лет, но он не мог больше жить.

Друзьям передали рукописи и старую палку.

С Паскиным меня познакомил Мак-Орлан; было это, кажется, в 1928 году. Мы обедали в маленьком ресторане на Монмартре. Я знал и любил рисунки Паскина и разглядывал его с откровенным любопытством. У него было лицо южанина, может быть итальянца; был он одет чересчур корректно для художника: темно-синий костюм, черные лакированные ботинки; хотя к тому времени котелки почти исчезли, Паскин часто ходил в старомодном котелке. За обедом он молчал. Говорил Мак-Орлан, говорил о минувшей войне, о гигантском росте городов, о том, как светится ночью площадь Пигаль, как бродят тени под черными мостами, и называл все это «новой романтикой». Паскин сначала слушал, потом начал рисовать на меню Мак-Орлана, меня, голых женщин. Подали кофе, коньяк; он выпил стаканчик, как пьют у нас водку, залпом, и вдруг оживился: «Романтика? Вздор! Несчастье. Зачем строить из дерьма художественные школы? На площади Пигаль сто борделей. Точка. Под мостами спят обыкновенные люди; дай им кровати, они будут голосовать и ходить в воскресенье в церковь. Незачем одевать людей в костюмы, моды меняются. Лучше их раздеть. Голый пупок говорит мне больше, чем все платья. «Романтика»? А по-моему, попросту свинство...» Он выпил еще стакан, и тогда я увидел другого Паскина, шумливого, беспокойного, который славился дебошами. Почему-то я вспомнил друга моей ранней молодости Модильяни.

Потом, встречаясь с Паскиным, иногда серьезным, печальным, даже робким, иногда буйным, я понял, что не ошибся при первой встрече: чем-то он напоминал Модильяни. Может быть, внезапным переходом от замкнутости, молчаливости, от сосредоточенной работы к разгулу? Может быть, страстью неизменно рисовать на клочках бумага? Может быть, тем, что оба были всегда окружены людьми и оба узнали всю меру одиночества?

Паскин попал на Монпарнас, когда драма была доиграна. Далеко от «Ротонды» шли другие драмы. Он появился внезапно и слишком поздно, как заблудившаяся звезда. Ему бы сидеть с Моди, они друг

друга поняли бы. А Паскин тогда был далеко - в Вене, в Мюнхене, в Нью-Йорке.

Он прожил жизнь как бродяга. У него в Париже были различные знакомства; то он встречался с писателями, художниками, с Дереном, Вламником, с Сальмоном. Мак-Орланом, с сюрреалистами; то нырял в другой мир, пил с бродячими циркачами, с проститутками, с жуликами. Все знали, что он знаменитый художник, что его работы висят в музеях; а он рвал свои рисунки, рисовал и рвал; и мало кто знал, откуда он взялся, где провел сорок лет своей жизни, есть ли у него родина, дом, семья.

Паскина звали Юлиус Пинкас, и родился он в Видиие - это маленький болгарский городок на Дунае. Он был сыном торговца, еврея-сефарда (как Модильяни),- предки Паскина когда-то жили в Гранаде и были выселены Фердинандом Католиком в 1492 году. Это, следовательно, очень давняя история. Но вот, когда в 1945 году я приехал в Софию и за ужином меня посадили рядом с бывшим партизаном, не знавшим русского языка, вдруг выяснилось, что мы можем объясниться по-испански: партизан был сефардом. В детстве Паскин дома говорил по-испански, а во дворе с ребятами - по-болгарски. Недавно я получил из Болгарии письмо от школьного товарища Паскина, он мне прислал фотографию дома, где учился маленький Пинкас.

Паскин уехал в Вену учиться живописи; в Мюнхене рисовал для «Симплициссимуса»; добрался до Америки, узнал нужду. Потом на него посыпались деньги; он их тратил мгновенно, раздавал случайным собутыльникам, устраивал нелепые кутежи, одаривал натурщиц. Он как бы не верил своей славе, не доверял и себе - часто сердито говорил о своих работах.

Как-то он позвал меня: «Будут друзья...» Еще не дойдя до его дома, я услышал вырывавшийся сквозь окна рев. «Друзей» оказалось слишком много; даже на лестнице стояли люди со стаканами. Гости сидели или лежали на рисунках. Звенела румба: это был воистину бал на площади.

Помню ту же мастерскую на бульваре Клиши в обычный день; диваны и пуфы, пыльные, тусклые; на них Паскин сажал натурщиц; беспорядок, пустые бутылки, засохшие цветы, книги, дамские перчатки, засохшие палитры; а на мольберте начатый холст: две голые

женщины. Краски у Паскина были всегда приглушенными; казалось, что недописанный холст уже пожух.

На чем основывалось распространенное представление о чувственности, об эротике Паскина? Может быть, поражало, что он всегда рисует или пишет женское тело, может быть, сбивал с толку образ жизни Паскина - он неожиданно появлялся, окруженный дюжиной женщин. А был он романтиком, влюблялся по старинке, безоружный, незащитный перед предметом любви; и если задуматься над его рисунками, они говорят не о сладострастии, а, скорее, об отчаянии; все эти коротконогие, пухлые девушки с обиженными глазами похожи на поломанные куклы, на странный кукольный госпиталь, который я видел в Неаполе.

Удивительно - он все время был в гуще художественных споров, школ, направлений и как будто ничего не заметил: ни «Голубого всадника», ни кубизма, ни шумливых сюрреалистов. Прочитав в журнале статью, где его называли вожаком «парижской школы» и где указывали, что «парижская школа» создана не парижанами, не французами, Паскин смеялся и предлагал критикам создать новое направление «пентоортоксенофагизм» - пятикратное прямое пожирание иностранцев.

Я сидел над книгами об экономике, а вечером шел в бар «Куполь»; часто туда приходил Паскин. Он все больше и больше мрачнел; говорили о неурядицах в его личной жизни; пил он много, но вдруг замыкался в мастерской и отчаянно работал.

Он знал, что мне нравятся его вещи, и однажды ночью сказал: «Мне нужно с вами поговорить. Мы должны вместе сделать книгу. Вы будете писать мне письма, а я буду отвечать рисунками -» не умею отвечать, как вы, едкими фразами, я не писатель. Это будет замечательная книга! Мы скажем всю правду - откровенно, без прикрас. Почему я должен делать иллюстрации к чужим книгам? Это глупо! Я сделал иллюстрации к рассказам Поля Морана, они меня не интересуют. Я иллюстрировал Библию. Зачем? Я незнаком с царицей Савской... Вы мне будете писать о чем хотите, а я вам буду отвечать. Знаете, почему мы должны с вами сделать книгу? Это будет книга о людях; теперь говорят о чем угодно, а о людях забыли. Только не откладывайте. Потом будет поздно...»

Я согласился, но все откладывал, откладывал - хотел дописать роман о Крейгере. (Было это в начале 1930 года.)

В яркое весеннее утро я развернул газету - короткая телеграмма: «Поэт Маяковский покончил жизнь самоубийством». Мы тогда еще не были приучены к потерям, и я обмер. Я не спрашивал себя почему, не гадал, просто видел перед собой огромного, живого Владимира Владимировича и не мог представить, что его больше нет.

Кажется, недели две спустя, точно не помню, я увидел в «Куполе» Паскина. Он что-то кричал, потом заметил меня, сразу притих, молча поздоровался, ни о чем не спросил. Мне рассказывали, что он много работает - готовится к большой выставке.

Прошло еще несколько недель, и вечером в «Куполь» вбежал Фотинский, едва выговорил: «Паскин... Никто не знал... На четвертый день взломали дверь...»

Паскин, как Есенин, пробовал разрезать жилу бритвой. Он тоже написал кровью, не на бумаге - на стене: «Прощай, Люси!» А потом, как Есенин, повесился. На столе лежало аккуратно написанное завещание. Паскин покончил с собой в тот самый день, когда должно было состояться открытие его выставки.

Хоронили его далеко - на кладбище Сен-Уэн; за гробом шли знаменитые художники, писатели, натурщицы, бродячие музыканты, проститутки, нищие. Потом гуськом мы проходили мимо могилы, и каждый кидал на гроб ослепительный летний цветок. И снова я не мог себе представить, что больше не будет ни печального человека в запущенной мастерской, ни серо-розоватых обиженных женщин на недописанном холсте, ни криков в «Куполе», ни котелка, ни нашей книги - только холодные залы музеев...

Осенью 1945 года я был в Бухаресте. Портье сказал, что меня хочет видеть господин Пинкас. Я вспомнил, что у Паскина был богатый брат, осевший в Румынии; братья не встречались, кажется, и не переписывались.

Господин Пинкас приехал ко мне в экипаже, запряженном двумя лошадками, и повез в ресторан «Капша». Это было переходное время; во дворце еще сидел король Михай, в ресторане «Капша» еще хранились для старых посетителей пыльные бутылки котнара, господин Пинкас еще мог выезжать в своем экипаже.

Он рассказал мне историю своей жизни: «Я думал, что мой брат - сумасшедший, он занялся искусством и потом повесился. А я был богат. Жалко, что я не могу вам показать, какие деревья, какие птицы были в моем парке. Я женился на румынской аристократке. И вот настал фашизм... Я хотел спасти мое добро и переписал все на имя моей жены - она была не только чистой арийкой, но из громкой боярской семьи. Стоило ей получить все бумаги, как она меня сразу бросила. У меня больше нет денег. Есть квартира, мебель, экипаж. Я знаю, что скоро отберут и это. Вчера меня хотели уничтожить как еврея, завтра начнут уничтожать как эксплуататора. Да, теперь я вижу, что брат был куда умнее. Я читал во французской газете, что его рисунки продают на аукционах, он карандашом делал настоящие деньги. А у меня оказалась фальшивая монета. Потом он сумел вовремя повеситься. Нет, сумасшедший - это я!»

Пинкас знал, что я был другом Паскина, он вспомнил далекое детство, расчувствовался и подарил мне два рисунка своего брата: «У меня довольно много его вещей. Торговать ими и не собираюсь. Я хочу их отдать в болгарский музей...»

Рассказ о двух братьях звучит как назидательная притча для деловых подростков. А я сейчас думаю о другом: почему среди моих знакомых, среди моих друзей - писателей, художников - столько добровольно распрощались с жизнью? Разными они были и жили в разных мирах; несхожие судьбы, нельзя сопоставить ни глубоких причин, приведших к развязке, ни непосредственного повода - у каждого была своя «капля», которая, по досужим домыслам, «переполняет чашу». И все же в чем разгадка? (Я не хочу сейчас перечислять всех - слишком это тяжело.)

Паскин в последние годы не знал нужды. К нему на поклон приходили критики, торговцы картинами, издатели. Он покончил жизнь самоубийством в сорок пять лет, мог бы жить и жить. Вероятно, на отсутствии силы сопротивления сказались прошлые невзгоды и обиды. Дело, однако, не только в этом. Когда-то Пастернак говорил, что «строчки с кровью - убивают». Вряд ли он думал при этом о фатальной расплате подлинных художников, просто чувствовал на себе, что поэзия дается нелегко. Без обостренной чувствительности не может быть художника, даже если он состоит в десяти союзах или ассоциациях. Для того чтобы привычные слова волновали, чтобы

ожил холст или камень, нужны дыхание, страсть, и художник сгорает быстрее - он живет за двоих, ведь помимо творчества есть у него своя кудлатая, запутанная жизнь, как у всех людей, право не меньше.

Существует юридическое понятие «вредное производство»; рабочим, занятым трудом, вредным для здоровья, выдают специальную одежду, молоко, сокращают рабочий день. Искусство тоже «вредное производство», но поэтов или художников никто не пытается оградить, часто забывают, что по самому характеру профессии царапина для них может оказаться смертельной.

А потом идешь в длинной веренице мимо могилы и бросаешь цветок...

Тысяча девятьсот тридцать первый год был в Париже невеселым: экономический кризис ширился; разорялись лавочники, закрывались цехи заводов. Начали шуметь разные фашистские организации - «Боевые кресты», «Патриотическая молодежь», «Французская солидарность». Во главе правительства стоял хитрый оверньак Пьер Лаваль. Министр колоний Поль Рейно разъезжал по заморским вотчинам, и в кино показывали, как он пьет чай во дворце аннамского императора. (Среди журналистов, сопровождавших Поля Рейно, была левая писательница Андре Виоллис. Она осталась в Индокитае после отбытия министра, а потом написала книгу, которая потрясла совесть французской интеллигенции,- «Индокитай SOS» с предисловием Андре Мальро.) Состоялись президентские выборы; Бриана провалили - он был чересчур видной фигурой, парламентарии предпочли мало кому известного Думера. Торжественно похоронили маршала Жоффра, и газеты вспомнили про победу на Марне. Впрочем, куда больше места газеты уделяли свежей победе: на состязании самых красивых девушек звание «мисс Европы» было присвоено француженке. Германия продолжала вооружаться. Парижане восхищались кинозвездой Марлен Дитрих. Роялисты, собравшись на площади Конкорд, приветствовали короля Альфонса XIII, которого испанцы выгнали из Испании. В связи с безработицей участились самоубийства.

Открылась международная колониальная выставка. Венсенский лес был переполнен посетителями. Построили пагоды, дворцы, бутафорские деревни. Негры должны были на виду у всех работать, есть, спать; женщины кормили грудью детишек. Зеваки толпились вокруг, как в зоопарке.

Голландский павильон поразил меня деловой откровенностью. На стенах были диаграммы: индонезийцы работали, а деньги текли в окошко сберегательной кассы, над которым значилось: «Нидерланды». Другая карта показывала, как колонизаторы держат в повиновении Индонезию: красные лампочки означали военные посты, зеленые - полицейские.

Французы хвастали Индокитаем, Тунисом, Марокко, Сенегалом.

Я написал статью, предлагая устроить бутафорский «белый город», в котором европейцы жили бы натуральной жизнью: «Парламент - депутат произносит пылкую речь; биржа - рев маклеров; «салон красоты» - даме массируют зад; бордель - посетитель на четвереньках лает; академия - «бессмертные» в опереточных мундирах приветствуют друг друга». Я говорил, что такой деревне обеспечен успех в Азии и в Африке, и кончал статью довольно здоровой мыслью о близком конце колониальных империй. Потом я узнал, что за эту статью меня собирались выслать из Франции.

А я, не подозревая о гневe властей, спокойно бродил с фотоаппаратом «лейка» по улицам Парижа: снимал дома, уличные сцены, людей. Это было подлинной страстью.

Я не люблю ни живописи, похожей на цветные фотографии, ни фотоснимков, пытающихся сойти за художественные произведения, - все это мне кажется суррогатами, шарлатанством.

Почему же я увлекся фотографией? Я говорил в начале этой книги, что в наше время стали редкими дневники, откровенные и содержательные письма. Может быть, именно поэтому читатели набрасываются на человеческие документы, на дневник Анны Франк, на тетрадки кашинской школьницы Ины Константиновой, ставшей партизанкой, на предсмертные письма французских заложников. (Я помню слова Бабеля: «Самое интересное из всего, что я читал, - это чужие письма...»)

Художник изучает свою модель, ищет не обманчивого внешнего сходства, а раскрытия в портрете сущности модели. Когда человек позирует, с его лица постепенно исчезают меняющиеся оттенки, лицо лишается того, что мы обычно называем «выражением». Не раз ночью в последних поездах метро я разглядывал лица усталых людей, в них не было ничего преходящего, выступали характерные черты.

Другое дело фотография: она ценна не глубоким раскрытием сущности, а тем, что предательски подмечает белое выражение, позу, жест. Живопись статична, а фотография говорит о минуте, о моменте - на то она и «моментальная».

Человек, которого фотографируют, однако, не похож на себя: заметив наведенный на него объектив, он тотчас меняется. Это делает

столь неправдоподобными молодоженов в витрине провинциального фотографа. В снимках, где люди стараются прибрать свое лицо, как прибирают для гостей комнату, нет ни постоянного характера модели, ни достоверности минуты.

Я люблю воспоминания Горького; в них много подсмотренного тайком; можно ли забыть, как Чехов старался шляпой поймать солнечный зайчик на скамейке? Ясно, что, если бы Антон Павлович заметил Горького, он тотчас прекратил бы игру.

Фотографии, которые меня увлекали, были человеческими документами, и не будь на свете бокового видоискателя, я не стал бы бродить с аппаратом по улицам парижских окраин.

Боковой видоискатель построен по принципу перископа. Люди не догадывались, что я их снимаю; порой они удивлялись, почему меня заинтересовала голая стена или пустая скамейка: я ведь никогда не поворачивался лицом к тем, кого снимал. Конечно, строгий моралист может меня осудить, но таково ремесло писателя - мы только и делаем, что стараемся заглянуть в щелку чужой жизни.

У меня не было амбиции фоторепортера. В книге «Мой Париж», где собраны сделанные мною фотографии, нет ни одной «актуальной». (Дату выдает только огромное воззвание на стене: «Друг народа». «Семнадцать лет после агрессии. Великое покаяние. Победителям, дважды обкраденным. В ответ на предложение Гувера мы выдвигаем наш пятилетний план». Это воззвание было подписано парфюмером Коти, издававшим фашистскую газету «Друг народа».)

Туристов возят на Елисейские поля, на площадь Оперы, на Большие Бульвары; я туда не ходил с моей «лейкой», а фотографировал рабочие районы: Бельвилль, Менильмонтан, Итали, Вожирар - тот Париж, который полюбил в ранней молодости.

Он печален, порой трагичен и всегда лиричен: старые дома, старухи на скамейках вяжут, рядом с ними целуются влюбленные, уличные писсуары, продавщицы цветов, рабочие рестораны, мамы с детьми, художники, неудачливые консьержки, бродяги, сумасшедшие, рыболовы, букинисты, каменщики, мечтатели.

Десять лет спустя я написал роман «Падение Парижа»; в нем вдоволь горечи и любви. А вот что я писал в 1931 году: «Я не думаю, что Париж несчастнее других городов. Я даже склонен думать, что он их счастливее. Сколько голодных в Берлине? Сколько бездомных в

сыром, темном Лондоне? Но Париж я люблю за его несчастье, оно стоит иного благополучия. Мой Париж заполнен серыми, склизкими домами, в них винтовые лестницы и колтун непонятных страстей. Люди здесь любят неуютно и заведомо ложно, как герои Расина, они умеют смеяться ничуть не хуже старика Вольтера, они мочатся где попало, с нескрываемым удовлетворением; у них иммунитет после четырех революций и четырехсот любвей... Я люблю Париж за то, что в нем все выдуманно... Можно стать гением - никто не поможет, никто не возмутится, никто не будет чересчур изумлен. Можно и умереть с голоду - это частное дело. Разрешается кидать окурки на пол, сидеть повсюду в шляпе, ругать президента республики и целоваться, где вздумается. Это не параграфы конституции, а нравы театральной труппы. Сколько раз здесь уже прошла человеческая комедия, и она неизменно идет с аншлагом. Все выдуманно в этом городе, все, кроме улыбки. У Парижа странная улыбка, едва заметная, улыбка невзначай. Бедняк спит на скамье, вот он проснулся, подбирает окурки, затягивается и улыбается. Ради такой улыбки стоит исходить сотни городов. Серые парижские дома умеют улыбаться столь же неожиданно. За эту улыбку я и люблю Париж, все в нем выдуманно, кроме выдумки, выдумка здесь понята и оправдана».

Парижане живут на улице, и это облегчало мою работу: я снимал влюбленных, людей, которые сплетничают, мечтают, ссорятся, пишут письма, танцуют, падают на мостовую замертво. В те годы на улицах спали безработные, и я заснял многих из них. Вот лежит один на скамейке; перед ним две вывески: «Бюро похоронных процессов» и «Свадебные кареты»...

Иллюстрированный еженедельник «Вю» напечатал страницу моих фотографий консьержек. Нужно сказать, что многие из консьержек отличаются крутым нравом. Я снял одну на пороге лома, готовую шваброй отразить атаку. Эта женщина разгневалась, требовала в редакции, чтобы ей сообщили мой адрес, хотела пустить швабру в ход. (Должен сказать, что не все консьержки таковы. После того как перевели на французский язык отрывки из первой части этой книги, я получил письмо от мужа консьержки того дома на улице Котантен, где я прожил много лет; он писал, что читает журнал общества дружбы «Франция - СССР», ласково вспоминал нас, даже моих собак.)

Альбом моих фотографий с написанным мною текстом был издан в Москве. Эль Лисицкий сделал обложку и фотомонтаж - я снимаю с помощью бокового видоискателя, причем у меня четыре руки: две держат фотоаппарат, другие две стучат на пишущей машинке. Редактором книги был Б. Ф. Малкин, тот самый, которому Маяковский писал:

Когда, убоясь футуристической рыси, в колеса вставляли палки нам,- мы взмаливались:

«Спаси нас, отче Борисе!»

И враги расточались перед бешеным Малинным.

Я неожиданно очутился среди «левых» начала двадцатых годов.

«Лейку» я вскоре забросил: не было на нее времени. Во время «странной войны» ко мне пришел инспектор Сюртэ и сказал: «У вас приспособление для сигнализации вражеским самолетам». Он направился в угол, где стоял покрытый пылью обыкновенный аппарат для увеличения фотографий, и долго его рассматривал.

Я рассказал о книге «Мой Париж», конечно, не потому, что считаю себя хорошим фотографом, да и не из-за желания поделиться с читателями сплетнями о самом себе. Когда я смотрю на сделанные мною тридцать лет назад фотографии, я думаю о моем ремесле - о литературе. Конечно, моя книга фотографий узка - это не весь Париж, это только мой Париж того времени. Парижей множество. Щелкать затвором легче, чем писать, и я мог бы снимать все, что мне попадалось на глаза, но снимал я только то, что выражало мои мысли и чувства. Я фотографировал не чужой мне город и не пытался выдать наблюдения туриста за реальную жизнь: я знал назубок улицы, скамейки, людей, которых снимал.

Д. Заславский писал: «Книга Эренбурга разоблачает Париж, но она разоблачает и самого Эренбурга... Эренбурга привлекают задворки... Боковой видоискатель оказал плохую услугу Эренбургу. Он снимает действительно только то, что «в стороне».

Некоторые французы, в свою очередь разглядывая фотографии, говорили, что я тенденциозен. Я им отвечал, что имеется множество книг, показывающих другой Париж и сделанных опытными профессионалами.

Я думаю, что все сказанное относится не только к фотографии, но и к литературе, не только к Парижу, но и к другим городам. Мне это

кажется очевидным, но вот я пишу уже полвека и слышу все то же:
«Не то снимаете, товарищ! Повернитесь-ка налево, там достойная
модель с добротной, твердо заученной улыбкой...»

Осенью 1931 года в моей жизни произошло важное событие: я увидел впервые Испанию. Поездка в эту страну была для меня не одним из многочисленных путешествий, но открытием; она помогла мне много понять и на многое решиться,

Испания давно притягивала меня к себе. Как часто бывает, я начал ее понимать через искусство. В музеях различных городов я долго простаивал перед холстами Веласкеса, Сурбарана, Эль Греко, Гойи. В годы первой мировой войны я научился читать по-испански, переводил отрывки из «Романсеро», из поэм Гонсало де Берсео, протоиерея Итского Хуана Руиса, Хорхе Манрике, Кеведо. В произведениях этих, непохожих одно на другое, меня привлекали некоторые общие черты, присущие национальному гению Испании (их можно найти и в «Дон-Кихоте», и в драмах Кальдерона, и в живописи): жестокий реализм, неизменная ирония, суровость камней Кастилии или Арагона и одновременно сухой зной человеческого тела, приподнятость без пафоса, мысль без риторики, красота в уродстве, да и уродство красоты.

Конечно, поскольку я с годами менялся, менялось и мое восприятие поэтов или художников. Когда мне было двадцать лет, я воспринимал холсты Эль Греко как откровение. Объясняется это не только близостью Греко к живописи начала нашего века, но и его неистовством, изумительным выражением человеческих страданий, взлета и бессилия - я тогда зачитывался Достоевским. Странная судьба Греко: он родился на Крите, где, скованная догмами Византии, жила страсть обобранной и приниженной Эллады. Ему было тридцать шесть лет, когда он приехал в Испанию, там он нашел себя: критянин выразил одну из существенных черт испанского характера. В сорок лет я к нему охладел; его удлиненные святые и мученики начали мне казаться изнеженными, манерными, а жестокая пестрота красок отталкивала. Осенью 1936 года, очутившись снова в Толедо во время уличных боев, я захотел проверить свои впечатления и попросил одного из дружинников провести меня в церковь, где хранится картина «Похороны графа Оргаса». Церковь оказалась запечатанной,

но дружинник меня впустил, потом запер меня и сказал, что вернется через три часа. Тогда-то я понял, почему я разлюбил Греко: слишком много было вокруг подлинной человеческой беды. Учась, мы одновременно разучиваемся, и я разучился понимать живопись Греко. Некоторые страницы Достоевского, потрясавшие меня в молодости, кажутся мне теперь аффектированными. Все это, разумеется, относится к моей биографии, а не к истории искусства или литературы, я знаю, что и Греко и Достоевский - величайшие художники; но, видимо, они лучше воспринимаются в эпохи внешнего спокойствия, когда люди ищут в искусстве исступления, чрезмерности.

Гойю, напротив, я полюбил в зрелом возрасте, и опять-таки, вероятно, этому способствовала эпоха. Когда-то он мне казался фантастом, творцом неправдоподобного, живописным Эдгаром По. Жизнь, однако, опрокидывала наивные представления о границах возможного, и я вдруг понял, что Гойя прежде всего реалист. Я убежден, что короли, королевы, графы, герцогини были именно такими, какими он их изобразил. Его видения войны меня потрясают, хотя я видел войны куда более страшные, чем наполеоновские,- ведь Гойю интересовали не мундиры, не знамена, не полководцы, а оскал, судорога, безумие. Изобразив расстрел испанских повстанцев солдатами Наполеона, он передал не только всю меру человеческого страдания, но и гнев художника. Он назвал свои кошмары «капризами», но его призраки и по сей день гуляют, убивают, едят, отрывивают, загромождают землю. Он не боялся показаться тенденциозным; но никогда он не упрощал, да и не суживал мира. Я часто вспоминаю его диптих, находящийся в музее Лилля: молодая красотка читает письмо своего поклонника, которое ей передала служанка, и вот пятьдесят лет спустя - две старухи, а над ними смерть с метлой, готовая просто, по-деловому вымести человеческий сор. Гойя часто думал о смерти, и его картины перекликаются со стихами поэта XV века Хорхе Манрике, написанными после кончины отца:

Наша жизнь - это реки,
А смерть - это мере.
Берет оно столько рек,
Туда уходят навеки
Наша радость и горе,

Все, чем жил человек...
Итак, столько пешек передвинув
На шахматном поле
И страсть утоля.
Итак, низвергнув столько властелинов,
Сражаясь по доброй воле
За короля,
Итак, изведав различные испытания,
Которых перечислить нет силы теперь,
Он заперся в своем замке Оканья,
И смерть постучала в дверь.

(Как здесь не вспомнить «старушку» Твардовского, которая вошла без пропуска в Кремль?)

Часто говорят об отъединенности Испании, о ее обособленности, а между тем испанский гений, при всем его своеобразии, неизменно подходил к тем вопросам, которые терзают людей, где бы они ни жили. Сколько писали, доказывали, что «Дон Кихот» - едкая сатира на давно забытый литературный жанр! Но вот прошли века, и на злосчастном Росннанте Рыцарь Печального Образа легче объезжает мир, чем герои, которые уже в пеленках летали на реактивных самолетах.

Роман Сервантеса известен всем, но мало кто знает о Хуане Руисе, протоиерее из Иты. Это поразительный поэт; он жил за сто лет до Франсуа Вийона и выразил всю сложность, всю раздвоенность предстоящего долгого дня. Трудно в точности определить, где он кощунствует и где исповедуется, где издевается и где плачет горькими слезами. Он все описывает откровенно, все называет своим именем, и одновременно у него неизменно второй план, четвертое измерение, поэзия; именно в этом я вижу особенность испанского реализма, да и самого характера Испании.

Я начал, может быть, с конца, но теперь мне будет легче объяснить, какую роль сыграла Испания в моей жизни.

Альфонса XIII прогнали в апреле 1931 года, а мы получили визы только осенью: консулу не нравились ни советские паспорта, ни мои книги.

Власти не знали, как с нами быть: угостить стаканчиком мансанильи или посадить в каталажку. Министры были новичками, а

полицейские могли похвастать трудовым стажем. Республиканцы все переименовывали - учреждения, улицы, гостиницы; но люди, служившие королю, оставались на своих постах. В Мадриде на вокзале нас задержали и повели в участок, долго изучали наш несложный багаж - искали бомбы, револьверы, листовки. Потом нас неизменно сопровождали полицейские; время от времени они забывали про конспирацию и вынимали из карманов бляхи, свидетельствовавшие об их служебном положении.

Заместитель министра внутренних дел меня любезно принял, поулыбался и попросил представить ему список городов, которые мы намерены посетить. Когда мы приезжали в какой-либо город, нас на вокзале ждали полицейские и представители левой интеллигенции; последние узнавали о моем приезде от полицейских, жаждавших поделиться сенсацией,- я ведь был первым советским гражданином, который приехал в Бадахос, Самору или Сан-Фернандо. Я набрал в Мадриде сотни рекомендательных писем, чтобы сразу найти в любом городе собеседников. Письма мне давали испанские писатели, издатель моих книг коммунист Росес, радикальные журналисты, депутаты, случайные знакомые.

Я приехал в захолустный городок Эстремадуры Касерес и разослал несколько рекомендательных писем. Вскоре хозяйка гостиницы сказала, что ко мне пришли. Я увидел двух элегантных бездельников, похожих на провинциальных адвокатов (почему-то больше всего писем было к адвокатам), протянул им руку; они растерялись и вытащили из карманов бляхи: «Мы полиция». Произошел смешной разговор: полицейские со страхом спросили меня, не собираюсь ли я навсегда поселиться в Касересе, и, узнав, что я через два или три дня уеду, растрогались, долго меня благодарили.

Революции почти всегда начинаются идиллически: люди поют, митингуют, обнимают друг друга. Я приехал, когда эпоха лобызаний кончилась. Каждый день гражданская гвардия стреляла в «нарушителей порядка». Вспыхивали забастовки. Когда я был в Бадахосе, там стреляли. Стреляли и в Мадриде: разгоняли демонстрацию. В Севилье я увидел губернатора, который говорил: «Пора дать отпор рабочим...» Я был на заседании кортесов; выступал Мигель Унамуно, он красиво говорил о душе народа, о справедливости. В тот самый день в Эстремадуре гвардейцы

застрелили бедняка, осмелившегося подобрать желуди с земли беглого маркиза.

В Мадриде, в Малаге чернели сожженные весной монастыри и церкви: люди мстили за гнет, за оброки и требы, за злую духоту исповедален, за разбитую жизнь, за туман, века простоявший над страной. Нигде католическая церковь не была такой всесильной и такой свирепой, В соборе Малаги женщины ползали по плитам, вымаливая прощение, а узколицый монах с черными злыми глазами твердил о близком возмездии. Католические газеты расписывали «чудеса»: Богородица появлялась почти так же часто, как гвардейцы, и неизменно осуждала республику.

Я побывал в горном районе Ляс Урдес; там жили люди, отрезанные от мира и никогда в жизни не евшие досыта. Молодые матери ходили на десятилетних девочек, тридцатилетние - на дряхлых старух. Трудно было себе представить, что в ста километрах богатые бездельники причмокивают, разглядывая красоток Саламанки. В школьной тетрадке я увидел диктовку «наш благодетель король», а на следующей странице - «наша благодетельница республика трудящихся».

Испания официально именовалась «республикой трудящихся всех классов»; это название было придумано не юмористом, а вполне серьезными депутатами кортесов. Трудящиеся различных классов трудились по-разному. Я проезжал по огромным поместьям в Эстремадуре, в Андалузии. Земля по большей части оставалась невозделанной. Аристократы жили в Мадриде, в Париже или в Биаррице. Управляющие нанимали батраков; в договоре значилось, что рабочие должны трудиться «от зари до зари». Буржуазия была ленивой, жила по старинке. Я видел допотопные фабрики. Молодые щеголи в блистательных ботинках не знали, что им делать; ходовым выражением было «убить время». Республика мало что изменила: голодные продолжали голодать, богачи глупо, по-провинциальному роскошествовали. Я разговаривал с андалузскими батраками, которые не вырабатывали в год и одной тысячи песет. «Трудящийся» герцог Орначуэлос обладал шестьюдесятью тысячами гектаров: он любил охоту и приезжал в свою вотчину на одну неделю. В Мурсии жил некто Сьерва; ему принадлежала земля, оцениваемая в двадцать пять миллионов песет. Он занимался политикой и расстреливал

забастовщиков. После революции он отбыл за границу, оставив на посту управляющего, который продолжал собирать деньги за аренду. Все были объявлены трудящимися: держатели акций, феодалы, монахи, сутенеры.

Я поехал с доктором из Саморы, добрым и справедливым человеком, в глушь, в Санабрию. Мы доехали до озера, дальше дороги не было, нужно было ехать на осле. Маленькая деревня с длинным именем Сан-Мартин де Кастаньеда поразила меня редкой даже в Испании нищетой. Среди лачуг мы увидели развалины монастыря. Когда-то крестьяне платили монахам оброк - «форо». Монахи давно перекочевали в более удобные места, а крестьяне продолжали выплачивать две тысячи пятьсот песет «трудящемуся» бездельнику, адвокату Хосе Сан Рамон де Бобилья, прадед которого перекупил у монахов право обирать крестьян. Потом мы направились в другую деревню - Риваделаго. Ее жители не платили «форо», но земли у них не было; они ютились в курных избах и ели горох. Деревня стояла на берегу озера, изобилующего форелями, озеро принадлежало богатой мадридской домовладелице, и управляющий зорко следил, чтобы голодные крестьяне не похитили рыбешки. Одна крестьянка с горечью сказала доктору: «Что же, дон Франсиско, республика сюда еще не доехала?..»

(После моей поездки в Испанию я написал книгу о том, что увидел. Еще до выхода этой книги в Москве ее издали в Мадриде под названием «Испания - республика трудящихся». Доктор из Саморы поехал с моей книгой в Риваделаго и прочитал крестьянам главу, где я рассказывал о голоде, об озере, о мадридской даме. Крестьяне на следующий день окружили дом управляющего и потребовали, чтобы он тотчас отказался от прав на рыбу. Пошли телеграммы в Мадрид, и перепуганная домовладелица уступила. Крестьяне прислали мне благодарственное письмо, приглашали в Риваделаго, обещали накормить форелями. К чему скрывать - это письмо меня обрадовало, ведь очень редко писатель видит, что его книга что-то на свете изменила. Обычно книги меняют людей, а это процесс долгий и незаметный. Здесь же я понял, что помог крестьянам Риваделаго уничтожить вековую несправедливость. Пусть мое участие в этом деле и было случайным, пусть деревня маленькая, да и победа была

недолгой (вряд ли фашисты оставили форель бунтовщикам), все равно я порой вспоминаю эту историю и радуюсь.)

Гражданская гвардия продолжала стрелять. Депутаты продолжали произносить красивые речи. Народ был безоружен. Социалисты колебались. Анархисты швыряли бомбы. В маленькой андалузской деревне я присутствовал при жарком споре учителя с мэром: учитель был за Третий Интернационал, мэр - за Второй. Вдруг в спор вмешался батрак: «Я за Первый Интернационал - за товарища Мигэля Бакунина...» В крохотной газете, которую издавали батраки Хереса, я прочитал, что испанцы должны вдохновляться принципами Кропоткина. В Барселоне я познакомился с руководителем ФАИ (Федерация анархистов Иберии) Дуррути. Мы сидели в кафе. Дуррути показал мне револьвер, ручные гранаты: «Не боитесь? Я ведь живым не сдамся...» Его суждения были вдоволь фантастическими, но он меня сразу пленил мужеством, чистотой, душевным благородством. Я не знал тогда, что пять лет спустя на Арагонском фронте он наведет на меня свой револьвер: «Сейчас я тебя застрелю» - и что в итоге мы подружимся...

Я тогда еще многого не знал; но одно было ясно: это - первый акт трагедии, за ним неизбежно должны последовать другие. Помню, в Мадриде мне показали сердитого военного: «Вот Санхурхо...» Конечно, я не мог предвидеть, что он вместе с Франко и Мола пять лет спустя зальет Испанию кровью, но в 1931 году я писал: «Командующий гражданской гвардией генерал Сахурхо работает молча. Сорок восемь тысяч гвардейцев время от времени постреливают, они готовятся к всеобщему и массовому расстрелу».

Говоря об осени 1931 года, о фарсе и о трагедии, я еще не сказал о самом главном: о народе. В этой книге я порой пытаюсь показать людей, которых я встретил на своем пути, пытаюсь это сделать с любовью, с верностью, быть не бесстрастным летописцем, а человеком, вспоминающим друзей, которых больше нет в живых. Рассказываю я о людях, читателю более или менее известных,- о писателях, художниках, общественных деятелях. (Есть, конечно, в моем сердце и другие дорогие мне образы; их знают только близкие, я не могу подкрепить мои признания ссылками на книги или па полотна.) Об Испании мне хотелось бы рассказать как о близком, дорогом мне человеке.

Годы гражданской войны я провел в Испании и тогда по-настоящему узнал ее народ: но полюбил я его сразу - в 1931-м. Пабло Неруда назвал одну из своих книг «Испания в сердце». Эти слова мне хочется повторить: Испания действительно в моем сердце, и не случайно, не на время, не гостя, освещенная бенгальским огнем исторических событий, не квартирантка, окруженная фотографами и репортерами, нет, своя, близкая и в громкие годы и в немые, запретная, скованная, теперь я вправе это сказать - в сердце до самой смерти.

Я писал в 1931 году: «У меня скрипучее перо и скверный характер. Я привык говорить о тех призраках, равно гнусных и жалких, которые правят нашим миром, о вымышленных Крейгерах и живых Ольсонах. Я хорошо знаю бедность, приниженную и завистливую, но нет у меня слов, чтобы как следует рассказать о благородной нищете Испании, о крестьянах Санабрии и о батраках Кордовы или Хереса, о рабочих Сан-Фернандо или Сагунто, о бедняках, которые на юге поют заунывные фламенко, а в Каталонии танцуют сердану, о тех, что безоружные идут против гражданской гвардии, о тех, что сидят сейчас в тюрьмах республики, о тех, что борются, и о тех, что улыбаются, о народе суровом, храбром и нежном. Испания - это не Кармен и не тореадоры, не король Альфонс и не дипломатия Лерруса, не романы Бласко Ибапьеса, не все то, что вывозится за границу вместе с аргентинскими сутенерами и малагой из Перпиньяна, нет, Испания - это двадцать миллионов рваных Дон Кихотов, это бесплодные скалы и горькая несправедливость, это песни, грустные, как шелест сухой маслины, это гул стачечников, среди которых нет ни одного «желтого», это доброта, участливость, человечность. Великая страна, она сумела сохранить отроческий пыл несмотря на все старания инквизиторов и тунеядцев, Бурбонов, шулеров, стряпчих, англичан, наемных убийц и титулованных проходимцев!»

Многое в Испании меня поразило даже при первом, беглом знакомстве с этой страной, и прежде всего чувство собственного достоинства в людях нищих, вечно голодных, зачастую неграмотных. В Севилье на скамейке сидели рядом почтенный буржуа и безработный; бедняк вытащил из сумы гороховую колбасу и дружески предложил соседу по скамье. На террасе дорогого мадридского кафе

ночью не жились бездельники. Женщина с грудным ребенком пыталась продать лотерейные билеты (один из видов нищенства). Младенец стал плакать; женщина спокойно села в кресло перед пустым столиком и начала кормить ребенка грудью. Никого ее поведение не удивило. Я невольно подумал: а ведь ее обязательно бы прогнали не только из «Кафе де ля Пэ», но даже из нашего «Метрополя»...

В нищей деревушке Санабрии я хотел заплатить крестьянке за яблоки; она наотрез отказалась взять деньги. Мой попутчик, испанец, сказал: «Можно дать малышу, но я боюсь, что он сунет монету в рот и пролотит. А дети постарше ни за что не возьмут...» Подросток, чистильщик сапог, увидев, что я стою у табачной лавки, запертой на обеденный перерыв, вытащил из кармана сигарету: кури. Крестьянин возле Мурсии, которому я попытался заплатить за апельсины, покачал головой: «Улыбка дороже песеты».

(Бескорыстность испанских крестьян всегда поражала иностранцев. Мартин Андерсен-Нексе рассказывал мне, что молодые годы он провел в Испании; денег у него не было, и неизменно крестьяне ставили перед ним тарелку супа: «Ешь»...)

Носильщик на вокзале сказал мне: «Я уже сегодня поработал, сейчас позову товарища». Я отнес обувь сапожнику, он спросил жену, есть ли у них деньги на обед, и, узнав, что есть, отослал меня к другому сапожнику. Безработные не получали никаких пособий. Я спрашивал, как они не умирают от голода, мне отвечали: «А товарищи?..» Андалузский батрак разрезал хлеб пополам и половину давал безработному соседу. Рабочие Барселоны несли часть полочки в профсоюзы - для безработных - без призывов, без громких фраз, просто, по-человечески.

Я писал, что Испания - это двадцать миллионов Дои Кихотов в лохмотьях. Я возвращаюсь к этому образу не только потому, что люблю роман Сервантеса, но и потому, что в Рыцаре Печального Образа все душевное обаяние Испании. Вот строки, написанные мной а 1931 году: «Здесь можно выдать мельницу за врага, и с мельницей пойдут сражаться,- это история человеческих заблуждений. Но здесь нельзя выдать человека за мельницу - он не станет послушно махать руками вместо крыльев. Здесь еще живут люди, настоящие живые люди».

Несколько лет спустя, когда большие, передовые, хорошо организованные народы один за другим начали готовиться к капитуляции перед фашизмом, испанский народ принял неравный бой: Дон Кихот остался верен и себе, и человеческому достоинству.

Испания помогла мне преодолеть многие сомнения. Я знал, что придется не раз заблуждаться - порой со всеми, порой в одиночку. Пусть так. Только бы не стать винтиком, роботом, бутафорской мельницей!

Я смотрю на маленькую выцветшую фотографию. Винный погреб в местечке Монтилья, недалеко от Кордовы. Толстяк хозяин, Люба, Эрнст Толлер. Был такой веселый, легкий день. Мы долго пили вино в прохладном погребе. Толлер рассказывал забавные истории. А хозяин нам говорил, что на свете нет вина лучше, чем монтилья: «Ведь не случайно в Хересе делают вино амонтильядо, но в Монтилье никому не придет в голову изготавливать ахересадо». Это звучало убедительно, можно было, кстати, припомнить рассказ Эдгара По о бочке амонтильядо, можно было попробовать еще один сорт монтильи; можно было на несколько часов забыть о том, что у нас позади и впереди. Мы не спешили уходить, Толлер говорил: «Из рая не уходят, из рая выгоняют»; и вернулись мы в Кордову поздно ночью.

(Во время войны неподалеку от Монтильи стояли войска республиканцев. Нужно было напечатать номер армейской газеты; бумаги не было, и газета вышла на тонких листах, в которые толстяк виноторговец заворачивал бутылки; среди военных сводок виднелись слова: «Монтилья - лучшее вино мира».)

Почему я начал рассказ о Толлере с Монтильи? Ведь я с ним познакомился в 1926 или 1927 году в Берлине; встречались мы в разных городах - в Париже, в Москве, в Лондоне,- вели серьезные беседы. А я вспоминаю несколько дней, проведенных вместе в Андалузии (мы встретились в Севилье и расстались в Алхесирасс),- тогда я видел Толлера счастливым. Он прожил трудную жизнь, спорил, убеждал, проклинал, верил, отчаивался и вместе с тем был мечтателем, шутником, даже сибаритом, и, говоря о поэте-партизанине, я прежде всего вспомнил короткий час перекура.

Толлер был красив, походил на итальянца, веселого и печального, неизменно неудачливого героя неореалистического фильма. Может быть, основной его чертой была необычайная мягкость, а прожил он жизнь очень жесткую. Разные бывают люди: одни вылеплены из воска, другие высечены из камня; это вопрос не убеждений, а природы, и часто человек выбирает путь, мало соответствующий материалу, из которого он сделан. Я знал людей твердой воли,

крепких нервов, решительных, по-своему смелых, облюбовавших тыл жизни; сталь ржавела. Толлер был создан для раздумий, для нежной лирики, а он с ранней молодости выбрал трудный путь действия, борьбы.

Прожил он не так уж много - сорок пять лет, но, кажется, не было дня, когда кто-нибудь не писал о его ошибках. Он не протестовал; как-то он сказал мне: «На самом деле я ошибался во сто раз больше, но половины они не знают. Притом они считают только те глупости, которые я делал в одиночку. А сколько раз ошибались все?..»

Некоторые ошибки Толлер а диктовались возрастом, да и временем; он их не только признал, но и перечеркнул поступками. Когда началась первая мировая война, ему еще не было двадцати двух лет; он был хилым, и его забраковали, но он добился, чтобы его послали на фронт - во Францию: он верил, что Германия защищает правое дело. Барбюсу, когда началась война, было сорок лет, и он верил, что правое дело защищает Франция. Толлер очень быстро понял, что поверил лжи, поддался общему психозу, и начал обличать зачинщиков войны. Его арестовали, посадили в военную тюрьму, потом в сумасшедший дом.

Он был молодым одаренным поэтом: его стихи хвалили Рильке, Томас Манн. Он мог бы писать, прославлять революцию в стихах. А он выбрал другое - стал одним из руководителей баварской революции, заместителем председателя Центрального Совета рабочих и солдатских депутатов. Критики часто говорили, да и поныне говорят, что у Толлера было недостаточно политической подготовки. Это бесспорно. Но у него был избыток совести - обременительное свойство, за которое его обладатели всегда расплачиваются.

Баварская Советская республика просуществовала всего несколько недель; в Мюнхен ворвались белые. За голову Толлера была обещана крупная награда; и его выдали. На суде он сказал: «Битва начата, и никаким штыкам, никаким военно-полевым судам капиталистических правительств не задушить революцию!» Ему было двадцать шесть лет, и пять лет он просидел в Нидершенфельдской тюрьме. Я помню, с каким волнением мы глядели в Берлине пьесу Толлера, написанную им в тюрьме: это было письмо, переданное на волю.

Германская реакция в те годы побеждала повсюду: не только в Баварии, но и в Берлине, в Саксонии, в Гамбурге; слов нет, белый генерал Эпп умел лучше вести военные операции, нежели поэт Толлер. Можно пожалеть, что у баварцев не нашлось своего Щорса или Чапаева, но нелепо винить Толлера: он знал, что бой неравный и что впереди не почести, не власть, а расправа усмирителей. Его называли «сентиментальным революционером»; но ведь в революцию он пришел не из подпольных кружков, где годами обдумывали тактику, разрабатывали планы, а из поэзии; в политике он остался до конца своей жизни самоучкой.

Когда он вышел в 1924 году из тюрьмы, у него было крупное литературное имя; его пьесы шли в театрах различных стран. Может быть, их успех объяснялся не только художественными достоинствами, но и остротой тем; может быть, зрители порой аплодировали не тексту, а биографии автора; но Толлер не был в литературе ни самозванцем, ни случайным гостем. О нем тепло отзывались непохожие друг на друга писатели - Томас Манн, Горький, Ромен Роллан, Синклер Льюис, Фейхтвангер. Он мог бы засесть за работу и стать солидным, почитаемым всеми писателем. Но в нем жила вечная неуспокоенность. Солдатом революции он не стал, да и не мог стать, но продолжал партизанить; совесть оказалась сильнее привязанности к тысячам мелочей легкой и беззаботной жизни.

Он был очень сложным человеком; не будь у него редкого обаяния, наверно, он восстановил бы против себя всех; но противники неожиданно смягчились. Один очень придирчивый критик при мне говорил: «Но ведь это - Толлер! Что с него требовать?..»

Помню путаный и хороший разговор в Кордове. Перед этим мы долго бродили по городу; местный урбанист нам объяснял, что извилистые улицы старой Кордовы были запланированы опытными архитекторами - арабами и евреями: даже в июльский полдень на одной стороне улиц обязательно тень. Наш разговор начался с этого. Толлер восхищался: «Они думали о простых пешеходах!» Потом мы заговорили об отношениях между человеком и обществом. Толлер усмехнулся: «Я написал об этом несколько слабых пьес. Может быть, я и не драматург, но меня тянет к театру - иллюзия действия... Репутацию создать легко. Ибсен это замечательно показал: «Враг народа» - честнейший человек... Но сколько честолюбцев, эгоистов,

пустышек кричат о «правах личности»! Они путают карты... Нужно бороться за такое общество, где у каждого человека право и на солнце и на тень... Благодетели все предписывают оптом - солнце так солнце, тень так тень... Я видел, как власть, даже эфемерная, деформирует человека...» Он рассказывал смешные истории о своем прошлом, о немецких писателях и вдруг помрачнел: «Боюсь, что победят нацисты. Вы знаете, что это значит? Война...» Он вспомнил книгу о ласточках, которую написал в тюрьме: «Нет, я не о моих стихах. Но вы помните письмо рабочего, каменщика? Начальник тюрьмы отдал приказ уничтожить ласточкины гнезда, и рабочий, сидевший в соседней камере, написал, что ласточки их выют с трудом, они вообще честные и трудолюбивые птицы. Конечно, письмо не переубедило начальника тюрьмы. Это крохотная картина войны: уничтожение гнезд... Страшно подумать о будущем!...»

В Испании он рассказал мне, что хочет написать пьесу: современный Дон Кихот и Санчо Панса в мире денег, спеси, тупости. Пьесы этой он не написал. Он говорил Фейхтвангеру, что работает над романом о Демосфене - человеке, который хочет отстоять культуру Эллады от варварства. Он не написал и романа. Его всегда лихорадило; он что-то начинал и бросал - слишком беспокойным было время, слишком отзывчивым сердце.

За границей Толлер постоянно защищал Советский Союз, даже когда ему что-либо у нас и не нравилось. У него были в Москве друзья, с ними он подолгу, откровенно беседовал. При последней встрече он сказал мне, что если есть у него надежда, то это - Москва.

В книге о своей юности, написанной в 1933 году - после прихода Гитлера к власти,- Толлер писал о своей любви к Германии; его признания сродни признаниям Тувима: «Разве я не люблю эту страну? Разве среди пышных ландшафтов средиземноморского побережья я не тосковал по скупым песчаным лесам с сосной, по тихим, затерянным озерам германского севера? Разве не захватывали меня в детские годы стихи Гёте и Гельдерлина?.. Немецкий язык - разве он не мой язык, язык, на котором я думаю и чувствую, не часть моего существа, не родина, вскормившая и вырастившая меня?.. Во всех странах поднимают голову слепой национализм и смешное расовое высокомерие. Неужели я дам увлечь себя психозу наших дней?.. Слова «я горжусь тем, что я - немец» или «я горжусь тем, что я

- еврей» кажутся мне такими же бессмысленными, как если бы человек сказал: «Я горжусь тем, что у меня карие глаза...»

Нет, он не поддавался безумию эпохи: остался подлинным интернационалистом. Незадолго до трагической развязки, больной, отчаявшийся, он с каким-то иступлением собирал деньги на голодавших детей Испании, вырывал фунты или доллары у людей себялюбивых, равнодушных, собрал за короткий срок свыше миллиона долларов. Даже черствые люди смягчели, когда с ними говорил Толлер,- от него исходило добро.

Незадолго до начала испанской войны, в июне 1936 года, я был в Лондоне на собрании комитета Антифашистского объединения писателей. Толлер повел меня после заседания к себе; он жил в маленьком домике на окраине города. Как всегда, он был занят множеством неотложных и кропотливых дел, как всегда, окружен людьми и одинок, еще более одинок, чем в камере тюрьмы,- в этом он мне признался сразу. Я нашел его осунувшимся, помрачневшим. Его раздражало пренебрежительное, как ему казалось, отношение англичан и французов к немецкой эмиграции. Газеты писали о Гитлере если не благожелательно, то сдержанно, и Толлер сердито отчеркивал красным карандашом статьи, потом швырял газеты на пол. Он вдруг по-детски пожаловался, что в Лондоне очень холодно зимой, нельзя согреться, помню его слова: «Теперь на дворе зима длиннее, чем в Москве, длиннее, чем в Лапландии,- на десять или двадцать лет. Люди с крепкими корнями выдержат. А другие вымерзают один за другим...»

Толлер продержался еще три года. Я видел его в последний раз в Париже. На минуту мне показалось, что он выпядит лучше; он пробовал даже шутить. Тогда-то он и собирал деньги на испанских детей. Когда мы прощались, он спросил меня: «Вы спите без снотворного?.. Ужасно ночью - все видишь острее, чем днем... Ну, ладно... Скоро, наверно, увидимся. Я решил оставить Америку - слишком далеко, там нельзя даже заикнуться о том, что происходит на свете,- удивляются, рекомендуют невропатолога... До свидания!..»

Мы больше не встретились. Весной 1939 года в Нью-Йорке был конгресс пен-клубов. На парадном обеде Толлер попытался растрогать всех, напомнил о судьбе Мюзама. Осецкого,

Тухольского. Несколько дней спустя, 22 мая, он повесился в ванной комнате гостиницы.

Я вспоминаю Толлера и тихо улыбаюсь; добрый человек, друг, поэт, не только в книгах - в жизни. Я люблю его книгу стихов, написанную в тюрьме «Книгу ласточек».

Строители готических соборов, гордитесь вы. Дробили камень бедняки. и стеклодувы, полные тоски, скрывали солнце горечью узоров, и колокола отливали медью, и к небу рвался свод, чтоб умереть,- вы посвящали ваши камни смерти.

А ласточки, роняя свист и вздох, из глины строят, прутиков, соломы и жизни посвящают те хоромы - земное счастье, теплое гнездо.

Толлер сам походил на ласточку, может быть на ту «одну», что прилетает слишком рано и не делает весны.

В 1931 году я дважды побывал в Берлине - в начале года и осенью. Ничего исключительного тогда не происходило; во главе правительства стоял умеренный католик Брюнинг; несмотря на кризис, жизнь внешне текла по-прежнему. Однако в моей памяти эти поездки остались сном нелепым и вместе с тем полным значения, который, проснувшись среди ночи, тщетно пытаешься распутать. Мне трудно связно рассказать о Берлине 1931 года; будет честнее, если я попытаюсь восстановить отдельные разрозненные картины, сами по себе не столь примечательные, но запомнившиеся; они объяснят, почему я рассказываю о тех поездках.

В купе сидит немолодой немец с выбритым затылком и стоячим воротничком; он читает пухлую газету. Я уже знаю, что он - коммивояжер, продает какие-то усовершенствованные блокноты. Я его спрашиваю, когда мы должны приехать в Берлин. Он достает из портфеля расписание: «В одиннадцать часов тридцать минут тридцать секунд». Потом он снова берет газету и тихо, бесстрастно говорит: «Это конец... Конец абсолютно всего...»

Издатель радикального журнала «Нейес тагебух» Шварцшильде угощает писателей ужином. Все как полагается: различные бокалы из хрусталя, хорошее вино, цветы, разговоры о последнем романе Фейхтвангера, о моратории Гувера, о коварных свойствах рейнских вин. Вдруг хозяин говорит, точь-в-точь как коммивояжер: «А знаете, скоро все кончится...»

Показывают фильм «На Западе без перемен» - по роману Ремарка. Нацисты возмущены: «Немецкие солдаты умирали молча, а герой фильма кричит, как поляк. Это клевета!..» Я уже видел этот фильм в Лондоне, но приятель уговаривает: «Сегодня нацисты собираются дать битву. Их встретят как надо...» Мы смотрим. Вдруг раздаются истерические крики. Зажгли свет. Никто никого не бьет; крики, Однако, продолжают. Публика уходит. Оказывается, нацисты выпустили в зале сотню мышей.

Владелец табачной фабрики говорит мне: «Я не знаю, кто победит - нацисты или ваши друзья. В общем, мне все равно - я давно

перевел деньги в Цюрих. Я теперь увлекаюсь Ганди. Мне нравится Толстой. Но это не ко времени. Немцы хотят диктатуры, величия, а что внутри - не важно. Когда вы покупаете коробку моих сигарет, вы платите больше половины за упаковку... Гугенберг дает деньги на пропаганду против капитализма. Фарс? Нет, он знает немецкий характер... В Цюрихе я открыл маленькое отделение... Там хороший воздух, спокойно. Ромен Роллан писал о Ганди в Швейцарии, я его понимаю...»

Я провел несколько вечеров с Рудольфом (фамилию его я забыл). Это сотрудник «Роте Фане», который прекрасно знает северные районы Берлина; он мне многое показал. Рудольф-сын таможенного чиновника-монархиста; был студентом, не доучился; жена его бросила. Политикой он увлекся еще в 1919 году - подростком; рассказал мне, как он повалил здорового нахала, который хотел перекричать Карла Либкнехта. Рудольф очень высокий, сухой, с большим кадыком и голубыми мягкими глазами. Говорит он газетными фразами, все время вставляет «возьмем факты», но меня трогает его голос: он верит в то, что говорит.

Рудольф мне объясняет: «Возьмем факты - семь миллионов безработных! Капитализм разваливается у всех на глазах. Все понимают, что их песенка спета. Ты знаешь, о чем они теперь мечтают? Познакомиться с сотрудником вашего торгпредства. Может быть, Москва что-нибудь купит... Вообще Москва в центре внимания. Ты видал, сколько переводов с русского? Вчера я с трудом купил билет на «Путевку в жизнь». Публика архибуржуазная, понятно - у рабочих нет денег. Эмиль Людвиг через две недели едет в Москву - решил написать книгу о Сталине. Мне поручили анкету, я разговаривал с писателями, все идут к нам - Эрнст Глезер, Пливье, Оскар Мария Граф. Возьмем факты: в прошлом году мы собрали четыре миллиона шестьсот тысяч голосов, нацисты - шесть миллионов четыреста. Но сколько из голосовавших за них в решающую минуту пойдут за нами? Три четверти. Это ведь рабочие, они голосуют за нацистов потому, что ненавидят капитализм. Хорошо, что наше руководство учло настроения масс. Мы теперь выступаем с программой национального освобождения Германии. Рабочие-нацисты начинают к нам прислушиваться. Есть, конечно, оголтелые, но я убежден, что

здоровый инстинкт победит. Нет, теперь не 1919-й! Когда ты снова приедешь в Берлин, ты увидишь другую Германию...»

Оскар Мария Граф толст, благодушен; у него наивные глаза ребенка. Он слушает споры и молчит. Мария Гресхеннер познакомила меня с новым автором «Малика»; зовут его Домеля. Он выдавал себя за принца Гогенцоллерна, попал в тюрьму и написал обо всем этом книгу. Мария рассказывает, каким успехом пользуется книга «Фальшивый принц». Автор посмеивается. Он словоохотлив - ему нравятся литература, революция и мужчины, к женщинам он равнодушен...

Курфюрстендамм сияет; здесь не скажешь, что на дворе кризис. В витринах магазинов изысканнейшие вещи. Дорогие рестораны и кафе переполнены. Писатель Вальтер Меринг, печальный шутник, повел меня в ресторан «Какаду». Столики под пальмами. Попугаи бодро роняют помет на тарелки. Снобы довольны: им кажется, что они на Таити. Заметив мое смущение, Меринг смеется: «Теперь вы видите, что немцы сошли с ума? Можете не есть, мы пообедаем в обыкновенном ресторане... Попугаи - это мелочь. Я думаю о том, как на нас посыплются бомбы... Но что можно сделать? Бьют стекла, пачкают стены, и это не босяки, это философы, каждый громила ссылается на Ницше. Попугаи тоже философы». Кругом нас говорят о делах, о театральных премьерах, о светских скандалах, о чем угодно, только не о политике. Меринг стучит ножиком о стакан - нора уходить; и попугай старческим голосом раздраженно повторяет: «Счет! Счет!»

Случайно я встретил левого журналиста, с которым познакомился четыре года назад на съемках «Жанны Ней». Тогда он зло высмеивал националистов, называл Гутенберга «глупым мамонтом». Он пошел в гору: заведует литературным отделом большой газеты; постарел, прихрамывает. Заговариваем о политике. «Все не так просто. Мы многого недооценили... Конечно, среди нацистов имеются темные элементы, но в целом это здоровое явление...» Мой приятель потом рассказывает, что у журналиста неприятности: в нацистской газете была заметка, где говорилось о его прошлом он не случайно клеветал на Людендорфа, его мать еврейка и у него больные ноги, а это верный признак еврейского происхождения. Журналист теперь занят

генеалогией: собирает документы, подтверждающие чистокровность всех его предков.

Северная часть города не похожа на Курфюрстендамм: здесь кризис виден на домах, на одежде людей, на лицах. Дуют холодные ветры с Балтики; приближается зима. Много бездомных; они спят к различных ночлежках, некоторые на улице; последнее запрещено, но есть глухие аллеи Тиргартена, пустыри, подвалы. Большая витрина закусочной возле Александерплац; выставлены различные яства - картошка с салом, колбасы, свиная нога. («Колоссально! Всего пятьдесят пять пфеннигов!») Люди подолгу стоят у витрины, смотрят. Некоторые входят и что-то быстро проплатывают.

Один безработный рассказал мне, что получает пособие - девять марок в месяц. К счастью, он одинок. Койка в ночлежке стоит пятьдесят пфеннигов; приходится большей частью ночевать на улице. «У нацистов дают бесплатно суп с мясом, товарищи говорят, что там хорошо, но мне противно...»

Берлин стал эдемом международных педерастов: здесь ничего не стоит раздобыть привлекательного юношу. По вечерам в пассаже Унтер-ден-Линден, в Тиргартене, около Александерплац бродят молодые безработные; на многих короткие штанишки; они стараются кокетливо улыбаться. Платят им одну-две марки. Я разговорился и закусочной с одним из этих парней. Он рассказал, будто в Берлине живет принц Гогенцоллерн, не фальшивый, а настоящий. Увидев юношу, который ему нравится, он его бьет хлыстом, а избив, дает десять марок. Возле дома, где живет принц, бродят юноши - ждут счастья...

Я пошел на собрание нацистов; происходило оно в пивной. Глаза ел дым дешевых сигар. Какой-то нацист, размахивая большими руками, долго кричал, что немцам надоело голодать, что хорошо живут только евреи, что союзники ограбили Германию, нужно расколотить французов и поляков. В России тоже хозяйничают евреи, - значит, придется всыпать и русским. Гитлер покажет миру, что такое немецкий социализм... Я разглядываю посетителей. Одни пьют пиво, другие сидят перед пустыми столами. Много рабочих, и от этого нестерпимо больно. Конечно, я знал и прежде, что среди нацистов немало рабочих, но одно дело прочесть об этом в газете, другое - увидеть. Разве скажешь, что этот пожилой рабочий - фашист?

Хорошее печальное лицо, видно, что ему не сладко. А тот, молодой, похож на товарища, которому Рудольф поручил раздать листовки...

Штаб нацистов - в пивной «Берлинер киндль». На соседней улице другая пивная; там собираются коммунисты. Меня туда привел Рудольф. Протертые бархатные диваны, на стенах оленьи рога; обыкновенная пивнушка...

Я шел с Рудольфом по глухой улице Нордена. Он что-то досказывал: «Возьмем факты...» Вдруг раздались выстрелы. Рудольф подбежал, крикнул: «Вебер!..» Нацисты застрелили рабочего-коммуниста. Потом не спеша пришел полицейский. Вызвали машину. Долго составляли протокол; я стоял в стороне - ждал Рудольфа. Прибежала старая женщина, громко плакала. Ночь была темной; ветер срывал кепки, последние листья деревьев.

Я вернулся в Париж мрачный: буря надвигалась. В газетной статье я писал: «Капитализм слишком долго, слишком отвратительно разлагается. Гангрена успела поразить живые части тела... Редко история знавала трагедию, равную трагедии германского пролетариата. Сжав зубы от отвращения, он отливал пушки и умирал под Верденом. Женщины рожали дегенератов, слепых, слабоумных. Когда он потребовал права на жизнь, его сумели разъединить, стиснуть... Рабочих снова приучили к нужде и безысходности. Увидав, что они больше не верят социал-демократическим полицейским, из них стали вербовать фашистских погромщиков. Осквернили не только их тело - их душу. Расплата отодвинута, но эта расплата будет жестокой - история умеет мстить».

Четверть века назад в «Книге для взрослых» я писал: «В 1931-м мне исполнилось сорок лет. Этот год показался мне обычным. Теперь я вижу, что он позволил мне жить дальше... Это было пригласительным классом новой школы, в нее я записался на пятом десятке».

Я рассказал об Испании и о поездках в Берлин, о долгих блужданиях по северным районам Парижа с фотоаппаратом. Могу добавить, что побывал в Праге, в Вене, в Швейцарии, был на заседании Лиги наций, глядел на Бриана, который то и дело опускал свои мясистые тяжелые веки, слушал спор между немецким министром Курциусом и поляком Залесским. Все говорили о разоружении, и все понимали, что дело идет к войне.

Люба сняла маленькую квартиру на улице Котантен. Квартира была на первом этаже, и два наших пса не должны были проходить мимо консьержки, а хитрец Бузу научился выпрыгивать один на улицу. Мы перед этим пошли в воскресенье на улицу Котантен и восхитились тишиной. А переехав, мы ужаснулись: ночью да и рано утром по улице непрерывной цепью двигались грузовики: везли с товарной станции Вожирар, где я в годы войны работал, бидоны с молоком. Впрочем, люди ко всему привыкают, и вскоре мы не слышали ни грохота, ни звона.

В начале года я кончил книгу о кинопромышленности «Фабрика снов». Словом, год был, как я писал, скорее обычным. Однако он действительно многое изменил в моем отношении к людям и к жизни.

Передышка, подаренная мне, как и всем людям моего поколения, подходила к концу. Еще не было бурь, но штиль уже казался неестественным. Друзья, приезжавшие из Советского Союза, рассказывали о раскулачивании, о трудностях, связанных с коллективизацией, о голоде на Украине. После поездок в Берлин я понял, что фашизм наступает и что его противники разъединены. Экономический кризис продолжал обостряться. Лишения, унижения, голод не всегда способствуют разумным решениям: фашисты вербовали в свои отряды не только обнищавших лавочников или

хорохорившихся подростков, но и отчаявшихся, сбитых с толку безработных.

Я недаром занимался королями нефти, стали или спичек: я знал, что, будучи более или менее просвещенными и брезгая общением с фашистами, они обильно снабжают различные фашистские организации деньгами. Страх перед революцией оказался сильнее не только унаследованного свободомыслия, но и простого благоразумия. В Нюрнберге судили маньяков, а виновата была вся правящая верхушка общества. Может быть, некоторые из тех, кто потакал фашистам, поддерживал их, потом и плакали над сожженными книгами, расщепленными городами, погибшими близкими. Фашизм пытались выдать за приبلудного незнакомца, случайно затесавшегося в благопристойные, цивилизованные страны. А у фашизма были щедрые дядюшки, любвеобильные тетушки, некоторые из них здравствуют и поныне.

Бой был неминуем: дипломаты знают зоны разъединения, нейтральные или буферные государства; а я понимал, что между нами и фашистами нет даже узенькой полоски «ничьей земли».

Возможно, что в прошлом бывали эпохи, когда художник мог отстаивать человеческое достоинство, не расставаясь ни на час с искусством. Наше время требовало от любого человека не вдохновенного костра, а повседневных жертв или отречений.

Бог ты мой, сколько раз в жизни я отвечал на стандартные вопросы анкет! Теперь я хочу рассказать не о поступках, не о поездках, даже не о книгах, а о себе. До сорока лет я не мог найти себя - петлял, метался.

Вероятно, я не прав, относя все к характеру эпохи. Я ведь встречал писателей, которые целиком выражали свои мысли, чаяния, страсти в книгах,- Томаса Манна, Джойса, Вячеслава Иванова, Валери. Конечно, они многим в жизни увлекались, от многого отшатывались, но орудиями действия для них были романы или стихи. Таким был и Бальзак, хотя он мечтал стать депутатом, писал политические памфлеты, разрабатывал проекты финансовых операций, чтобы освободиться от вечных долгов: все это оставалось зыбью на поверхности, загорался он, только говоря о героях своих романов. А для его современника Стендаля литература была одной из возможных форм участия в жизни, он воевал, увлекался политикой,

страстно влюблялся, жил не для того, чтобы лучше узнать страсти других, а для того, чтобы жить.

По-разному бывают скроены не только великие, но и малые писатели. После «Хулио Хуренито» я стал профессиональным литератором. Писал я очень много; сейчас подсчитал, и даже неловко признаться: с 1922 по 1931 год я написал девятнадцать книг. Поспешность диктовалась не честолюбием, а смятением; изводя бумагу, я изводил самого себя.

Никогда меня не удовлетворяло созерцание, мне хотелось не только размышлять над судьбами вымышленных персонажей, но и самому походить на них. А между тем в то десятилетие, которому посвящена третья часть моей книги, я слишком часто оказывался в роли если не наблюдателя, то болельщика.

В 1931 году я почувствовал, что я не в ладах с самим собой. Я задумался над недавним прошлым и, пока ночные грузовики грохотали, звенели, настойчиво спрашивал себя, как мне дальше жить.

Может показаться странным, что такие вопросы ставил себе не зеленый юноша, который, оборванный и голодный, блуждая по парижским улицам, писал стихи о светопреставлении, да и не тот, растерянный, но вместе с тем задорный молодой интеллигент, которого А. Н. Толстой называл «мексиканским каторжником» и который рассказывал девушкам похождения еще не написанного «Хуренито», а сорокалетний литератор, начинавший сесть. Но я уже говорил, что в нашу эпоху, когда события разворачиваются с ошеломляющей быстротой, многие люди складываются медленно. Герцену было сорок лет, когда он сел за «Былое и думы» и начал подводить итоги своей жизни: он никогда не глядел на события из зрительного зала, был актером всех трагедий, которые шли в его время.

Может быть, столь длительные поиски себя объяснялись и тем, что я жил в двух различных мирах, молодость провел в Париже, к началу революции мои вкусы, привязанности, отталкивания успели сложиться. Может быть, сказался и характер: я всегда испытывал необходимость проверить то, что многим казалось таблицей умножения.

Конечно, если говорить о пути писателя, я не изменился за один год. В предисловиях к моим книгам в двадцатые годы неизменно

указывалось, что, хотя я «опустошенный циник» и «нигилист», меня стоит издавать, потому что я хорошо изображаю «гниение капиталистического мира». В «Хуренито» я действительно искренне высмеивал клерикалов и радикалов, фанатичных коммунистов и ручных социалистов, французских жуиров и русских интеллигентов с их угрызениями совести; но мало-помалу я начал отходить от такого подхода к людям. Вероятно, в этом сказался возраст: исчезла жесткость, свойственная молодости. Мне становилось все труднее и труднее жить одним отрицанием: хотелось найти за плуемыми или дурными поступками людей нечто настоящее, человеческое. (Это редко мне удавалось, но я ведь говорю не о литературных достоинствах, а о своих намерениях.)

Однако главным для меня в 1931 году был не подход к персонажам романов. Я мало думал о том, как написать следующую книгу; я спрашивал себя, как мне дальше жить, чтобы годы были не пометками на полях жизни, а самой жизнью.

Каждый человек особенно близко принимает к сердцу те вопросы, которые относятся к его работе, и, конечно же, меня волновали судьбы литературы, искусства. Маяковского больше не было. Громче других раздавались голоса рапповцев. Выставки были заполнены огромными полотнами ахрровцев. Эпоха дерзаний и чудачеств была позади.

Революция приобщила к культуре народ, и естественно, что люди, впервые бравшие в руки роман или впервые приходившие на выставку, не очень разбирались в мастерстве; порой подделка под искусство их восхищала. Новых читателей, зрителей можно было воспитывать, можно было и льстить им, говорить, что они - высший суд. Льстецы, разумеется, нашлись.

Стихотворцы сочиняли стихи на случай. Литературная энциклопедия объясняла, что путь идет к производственному роману, который заменит все прочие жанры. Намечался тот стиль, который господствовал в течение четверти века: стиль украшательской архитектуры, тех станций метро, где тесно от статуй; неустанных славословий и сатиры, скромно обличающей нерадивого управдома или подвыпившего эстрадника. Конечно, в 1931 году все это было еще в эмбриональном состоянии. Однако уже появились первые портреты и статуи человека, который, может быть, тогда и не догадывался, что

он станет не только объектом, но и создателем «культы личности». Все это сопровождалось тщательным упрощением; та же Литературная энциклопедия писала, что «Гамлеты бесполезны массе» и что пролетариат «бросает Дон Кихота в мусорную яму истории».

В начале 1932 года я написал неудачную повесть «Москва слезам не верит». Один из ее героев, советский художник, в прошлом участник гражданской войны, прочитал в московской газете заметку о выставке живописи, подписанную инициалами О. В.: «Пейзажи Чужакова показывают, что он окончательно оторвался от масс. Это типичное искусство деклассированного отщепенца, которое нужно десяти - двадцати дегенератам буржуазной богемы». Художник размышляет (и его мысли были мыслями автора повести): «Десяти - двадцати... Допустим... А вот «АХРР» - десяти тысячам?.. Значит, прикажете халтурить?.. Кстати, тот же Рембрандт, скольким он при жизни нравился?.. А теперь экскурсантов загоняете - стой и просвещайся!.. Гражданин О. Б... Или, может быть, вы гражданка? Да я не об этом... Я ведь знаю - у вас все поделено: с бабой - как придется, а статейки пописываете - комар носу не подточит. Расход и приход - просят не смешивать. Картин вы, конечно, не пишете - отсталое это дело - и вообще порадовать никого не можете. Если вы - гражданин, сомневаюсь, можете ли вы порадовать гражданку О. Б. или Б. О. Впрочем, и не в этом суть. Послушаем чижей. Они поют как дегенераты. Оторвались, скажете, от масс? А горловые связки? Ах, О. Б., они поют потому, что поется. Им веселее, и мне, а не хочешь, не слушай. Разве я настаиваю на моих картинах? Могу опять потесниться... Если вы, О. Б., высчитали, что мои картины не нужны, пожалуйста, могу, например, стены белить. Я ведь сговорчивый. Только на живописи не настаивайте. Это особая статья. Чижи поймут, а вам невозможно... Дураки думают - дважды два, всем по бифштексу, и никаких искусств. А искусство только тогда и начнется - после бифштекса, загрызет оно - не четыре, голубчик, а пять. Или двадцать пять... Пусть какой-то О. Б. и не понимает ни черта в живописи, пусть таких О. Б. тысячи, миллионы - что же, тогда надо расстаться с кистями. Найду для себя другое дело - по времени. Проживем и без картин. А пройдет десять лет... Ну, не десять - сто - какая разница? - тогда поймут...»

Помню длинный разговор с молодой француженкой, актрисой Дениз. Мы говорили о гастролях Мейерхольда, о портрете бабушки Дениз, писательницы Северин, написанном Ренуаром, о стихах Десноса, об искусстве: ничего не поделаешь - рыбе нужна вода... И вдруг я признался: «Все это так, Дениз, но сейчас дело не в искусстве... Десять лет назад я доказывал, что искусство умирает, мы тогда верили, что старые формы изнашивались - романы, станковая живопись, рампа. Все это было вздором. Теперь начинается реакция... Но можно не писать романов... Я все давно выбрал... Да я и не выбирал - выбора нет...»

Я о многом думал по ночам: о гуманизме, о цели и средствах. Не дурные картины меня тревожили, да и вообще искусство было только частицей в загадках завтрашнего дня,- речь шла не о художественном направлении, а о судьбе человека.

В библиотеке можно не брать книгу, которая не по душе, можно взять по ошибке и вернуть, не прочитав. А жизнь не библиотека... В 1931 году я понял, что судьба солдата не судьба мечтателя и что нужно занять свое место в боевом порядке. Я не отказывался от того, что мне было дорого, ни от чего не отрекался, но знал: придется жить сжав зубы, научиться одной из самых трудных наук - молчанию. Критики, которые обо мне писали, указывали на 1933 год как на дату поворота: они знали книгу «День второй». А я знаю, почему я поехал в Кузнецк,- все было додумано в 1931 году, не перед котлованами строек, а на улице Котантен, под ночное звяканье бидонов...

Весной 1932 года в Париж приехали драматурги В. М. Киршон и А. Н. Афиногенов. Я их водил по Парижу и рассказывал о достопримечательностях города. Они, в свою очередь, меня посвящали в достопримечательности нашей литературы. Оба были окрылены успехом: в десятках театров шли «Хлеб» Киршона и «Страх» Афиногенова. Однако больше, чем своими произведениями, они гордились победами РАППа. По их словам, РАПП объединил всех «настоящих» советских писателей. Киршон повторял: «Мы столбовая дорога нашей литературы». (Я не знал тогда, что это выражение принадлежало А. А. Фадееву.) Александр Николаевич Афиногенов был очень высоким, скромным, он улыбался и поддакивал словам Киршона. Владимир Михайлович проповедовал, обличал, саркастически усмехался. Он сказал мне: «Пора вам пересмотреть свои позиции...» Я признался, что свои позиции пересмотрел. «Тогда напишите заявление - вступайте в РАПП». Я ответил, что литературные принципы рапповцев меня мало увлекают и что по столбовым дорогам люди ездят - раньше их везли лошади, теперь - моторы, а писатели по своей природе пешеходы, каждый может идти к общей цели своим путем. Афиногенов улыбнулся: «Оставь его! Может быть, он и прав...»

Мы сидели на камнях старых арен Лютеции. День был жаркий, и, несмотря на утренний час, мы забрались в тень. Я развернул газету: «Телеграмма из Москвы - распустили РАПП...» Мне это сообщение показалось несущественным, ведь сколько раз менялись вывески различных писательских организаций; да и вообще меня интересовала литература, а не литература о литературе, я тогда еще не знал, что такое «оргвыводы». Киршон вскочил: «Не может быть! Выдумки! Какая это газета?...» Я ответил: «Юманите». Мы собирались посмотреть рабочие районы; но Киршон сказал, что им нужно в посольство. Через день или два они уехали в Москву, хотя рассчитывали остаться дольше.

Я понял, что ликвидация РАППа - дело серьезное, и приободрился: может быть, и впрямь в Москве поняли, что шоссе

нужно прокладывать для автотранспорта, а писателям предоставить право идти каждому своей писательской тропинкой?..

Однако передо мною стоял вопрос: как подойти ближе к жизни, к действую, к борьбе?

В мае ко мне неожиданно пришел сотрудник «Известий» С. А. Раевский; он сказал, что главный редактор и П. Л. Лапинский, с которым я часто встречался в годы войны, предлагают мне стать постоянным парижским корреспондентом газеты, У «Известий» имелся корреспондент - Садуль, бывший в 1917 году членом французской военной миссии в России и перешедший на сторону революции. Стефан Александрович сказал, что Садуль останется на своем посту; но он - француз и недостаточно знает советских читателей. Я должен писать очерки и, если события потребуют, передавать по телеграфу информацию.

Предложение застало меня врасплох: я слишком долго жил не связанный никакой регулярной работой, привык располагать своим временем. Конечно, журналистика меня привлекала: хотелось делать нечто живое; но я боялся, что не справлюсь.

Я пошел к нашему послу В. С. Довгалевскому, с которым у меня установились дружеские отношения. Это был человек добрый, участливый; разговаривая с ним, я забывал, что он - официальное лицо, посол, а я писатель, не то «правый попутчик», не то «прогневший циник». Валериан Савельевич превосходно знал Францию; старый большевик, он был политэмигрантом, учился в Тулузе. Французы его ценили; не раз я встречал в посольстве Эррио, который приезжал поговорить с Довгалевским, иногда и посоветоваться. (Умер Довгалевский в сорок девять лет от рака. Я тогда горевал, а после не раз думал, что смерть оградила его от многих испытаний.) Валериан Савельевич уже знал о предложении «Известий» и сразу сказал: «Очень хорошо, здесь и думать не о чем...» Уговорить меня было нетрудно: я ведь мечтал ринуться в бой.

Около восьми лет я исполнял обязанности корреспондента «Известий» - в Париже, потом в Испании, снова в Париже - вплоть до германо-советского пакта; написал сотни очерков и статей, посылал информацию; порой заметки шли без подписи, порой я подписывал их псевдонимами. Я научился писать на машинке латинскими буквами для телеграфа; хрипел и терял голос, диктуя статьи по

телефону. К рассказам о газетной работе мне придется вернуться еще не раз; теперь я только хочу сказать, что вспоминаю ее с благодарностью; конечно, она отняла много времени, но позволила многое увидеть, узнать различных людей. Да и для писательского ремесла она была хорошей школой; я научился писать коротко - приходилось все время думать, как сэкономить расходы газеты: письма шли долго, почти все статьи я передавал по телефону или по телеграфу. (Сжатость, короткие фразы привлекали меня и прежде. Мне хотелось писать, как я думал, - без придаточных предложений. Критики меня ругали за «телеграфный стиль», а я считал, что такая речь отвечает не только моим чувствам, но и ритму времени.)

Почти никого не осталось в живых из моих товарищей по работе в «Известиях»... В годы войны, в седьмом отделе одной из армий, меня поразил голос женщины - старшего лейтенанта: он мне показался хорошо знакомым, а лицо было чужим. Мы разговорились. Старший лейтенант работала стенографисткой в «Известиях», когда я ежедневно передавал статьи или сообщения из осажденного Мадрида. Слышимость была плохая, стенографистка то и дело просила: «Не слышно... по буквам...» Я кричал «Борис, Ольга, Иван...» Иногда со мной хотел поговорить заведующий иностранным отделом, и стенографистка, чтобы нас не разъединили, говорила: «В Москве чудесная погода» или «Ваша дочь вам передает привет». Все это шло под аккомпанемент артиллерии. И вот я встретил знакомую незнакомку, с милым, душевным голосом, возле Брянска, когда шел артиллерийский бой...

Вернусь к 1932 году. Я начал хлопотать о том, чтобы французские власти меня признали как корреспондента «Известий». Меня вызвали в министерство иностранных дел. Я думал, что со мной хотят разговаривать сотрудники, которым поручена связь с иностранной прессой; но меня отослали в знакомый мне по визовым мытарствам «контроль иностранцев». Там работали не дипломаты, а полицейские, и разговаривали они отнюдь не вежливо. Я увидел на столе огромную папку, на которой значилось: «Илья Эренбург». Чиновник поспешил мне объяснить, что я известен ему с плохой стороны, что корреспондент большевистской газеты будет находиться под особым наблюдением и что при любой попытке нарушить правила я буду выслан из Франции.

Месяца два спустя мне довелось беседовать уже не с полицейскими, помещавшимися в здании министерства иностранных дел, а с настоящими дипломатами. Было это в Москве: меня пригласил на завтрак французский посол Дежан. Среди гостей оказался атташе польского посольства. Дежан посадил рядом с собой Любу и вел с нею вполне мирные разговоры о достоинствах различных французских сыров. А советник посольства (не помню его фамилии) начал меня расспрашивать, что я видел во время моей поездки (я перед этим ездил в Бобрики). Моим рассказом он остался явно недоволен: «Вы отвечаете официально, а мы хотели бы поговорить откровенно. Ведь все знают, что пятилетка провалилась...» Польский атташе подхватил: «Особенно строительство в Бобриках...» Я рассердился: где же дипломатическая вежливость - пригласить на завтраки вести провокационные разговоры! Я даже не мог оценить вина или сыры. Кофе мы пили в соседнем салоне. Советник посольства неожиданно раскрыл том Малой советской энциклопедии и торжествующе начал читать (по слогам, не вполне разборчиво), что там написано про меня. Вспомнив этот эпизод, я теперь раздобыл книгу, вот короткая цитата: «Вскормленный деклассированной богемой, Эренбург остроумно высмеивает западный капитализм и буржуазию, но не верит в творческие силы пролетариата. Утверждая бессилие научно-социалистической планировки жизни перед лицом стихийного биологического начала человека и пророка бессилие коммунистических планов перед лицом стихии собственности, Эренбург выступил как один из наиболее ярких представителей новобуржуазного крыла литературы». Статья была подписана одним из руководителей покойного РАППа.

Я вдруг понял, почему советник посольства рассчитывал, что я буду ему рассказывать о провале строительства, понял и засмеялся. Я не стал объяснять, что автор заметки - рапповец и что РАПП недавно распущен: для французов энциклопедический словарь - это справочник: написано, что Жоффри выиграл битву на Марне, что корова жвачное животное, что Анатолий Франс обладал превосходным стилем, а также иронией,- и все это бесспорно, по крайней мере, на жизнь одного поколения. Советник, прочитав, что я - представитель новобуржуазной литературы, решил, что представителю

старобуржуазной дипломатии легко со мной сговориться. Как же ему было понять, что энциклопедический словарь пересматривает свои оценки от одного тома до другого?..

В 1932 году я думал, что ликвидирован не только РАПП, но и некоторый стиль литературной критики. Это было наивным, особенно для автора «Хуренито», вступившего в пятый десяток. Вскоре я понял, что ошибался: один из наших критиков написал, что в моих книгах «проступают искаженные тревогой черты классового врага», и называл меня «литературным приказчиком буржуазии». В 1934 году вышел очередной том уже не Малой, а Большой Советской Энциклопедии, и там я прочитал: «Эренбург - типичный выразитель настроений той буржуазной интеллигенции, которая пошла за идеологами «сменовеховства». Как я говорил, восприятия притупляются: в первый раз я растерялся, в десятый рассердился, в сотый примелькавшиеся этикетки оставили меня равнодушным. Я понял, что беспорядочный огонь - одна из особенностей той войны, которая не вчера началась и не завтра кончится: артиллерия частенько бьет по своим. Это, конечно, нехорошо, но ничего тут не поделаешь; от снаряда человек может погибнуть, от обиды он только каменеет; своих убеждений от обиды, даже самой горькой, не переменишь и на сторону врага не перейдешь.

Я понял также, что дело не в моей путаной биографии, не в том, что я долго жил в Париже; столь же случайно, несправедливо, огульно поносили и некоторых других писателей, которые никогда не увлекались средневековьем, не были знакомы с Пикассо и проживали не на улице Котантен, а в московских переулках. Вот почему на Первом съезде советских писателей я мог с полной искренностью сказать: «Мне трудно себе представить путь писателя как ровное, гладкое, хорошее шоссе. Одно для меня бесспорно: я - рядовой советский писатель. Это - моя радость, это - моя гордость...»

В мае 1932 года Париж был потрясен неожиданным событием: некто Павел Горгулов, уроженец станицы Лабинской, среди бела дня застрелил президента Французской республики Поля Думера. Убийство было совершено накануне парламентских выборов, и правые газеты поспешили объявить, что Горгулов - большевик. Немедленно появился другой казак, по имени Лазарев, который подтвердил, что знает Горгулова, как чекиста, работавшего под кличкой «Монгол».

«Известия» поручили мне осветить судебное разбирательство. У меня еще не было карточки журналиста. Выручил меня Семен Борисович Членов, который со всеми был знаком. Председатель суда, один из крупнейших юристов Франции Дрейфус, разрешил мне присутствовать на процессе и качестве его гостя. Я прошел через служебный ход и сидел не в зале, а позади судей.

Вечером, когда я выходил из помещения суда, меня арестовали: я не мог показать документа, который оправдывал бы мое присутствие на процессе. Меня отвели в префектуру, там подвергли издевательскому допросу и заперли. Я злился: не успею послать телеграмму в газету! Действительно, освободили меня только ночью, и отчет появился в «Известиях» на день позже.

Процесс продолжался три дня; все происходившее казалось неправдоподобным и страшным сном. Я говорил, что некоторые пытались выдать Горгулова за советского агента: «Москва хотела повергнуть Францию в анархию». Имелась и другая версия: Горгулов - агент французской полиции, убийство было организовано для того, чтобы обеспечить успех правых на выборах и сорвать намечающиеся переговоры с Москвой. На самом деле все было проще и сложнее. Преступление было совершено иступленным, отчаявшимся эмигрантом, находившимся на грани безумия. Три дня я глядел на Горгулова, слушал его страстные и нелепые выкрики. Передо мною был человек, которого мог бы выдумать в часы бессонницы Достоевский.

Горгулов был высокого роста, крепок; когда он выкрикивал путаные, сбивчивые проклятия на малопонятном французском языке,

присяжные, по виду нотариусы, лавочники, рантье, испуганно ежились.

Его поступок был прежде всего необъясним. В двадцатые годы Каверда убил советского посла Войкова, Конради - Воровского. Горгулов застрелил французского президента Думера, человека правых воззрений, притом семидесятипятилетнего старика. Однако во всем этом была своя логика - ненависти и отчаяния.

На суде раскрылась биография убийцы. Он кончил в Праге медицинский факультет и работал по своей специальности в небольшом городке Моравии. Это было удачей - сколько русских эмигрантов стали чернорабочими или попросту нищенствовали. Но Горгулов был человеком, неспособным приладиться к скромному существованию в чужой стране. Повсюду ему виделись подвохи, унижения. Он считал, что чешские коллеги его затирают, начал пить, буяннить, внес в быт чинного города разгул русского кабака.

Да и медицина его не увлекала. Еще в Ростовском университете он посещал литературный кружок. Он занялся поэзией. Одна немолодая, но экзальтированная чешка, с которой он случайно познакомился, поверила в его талант и дала деньги на издание книги. Горгулов выбрал многозначительный псевдоним - Бред. Я читал его книги; кажется, способности у него были, но работать он не умел, да и бредил неинтересно, повторно; его сочинения звучали как отголоски чего-то очень знакомого.

Одновременно он не расставался с политикой; вначале он считал себя социалистом, даже объяснял одному из министров Чехословакии, как отстоять демократию. Потом его увлек фашизм; он основал «национальную крестьянскую партию»; членов в ней не было, зато имелось красивое знамя - его вышили две русские танцовщицы, работавшие в ночном кабаре.

После нескольких скандалов чехи лишили Горгулова права врачебной практики, и он перекочевал в Париж; здесь он познакомился с Яковлевым, который торговал дамскими чулками и выпускал газету «Набат». Успехи Гитлера в те годы вдохновляли многих. Яковлев, Горгулов с десятком единомышленников по воскресеньям собирались в рабочем кафе Бильянкура, подымали руки вверх и кричали: «Русь, пробудись!»

Вскоре Горгулов рассорился с Яковлевым и выпустил программу новой партии. Он придумал также религию «натуризм», предлагал быть добрыми, любить природу. Одновременно он призывал вырезать всех коммунистов и евреев. Денег у него не было; он тайком лечил знакомых казаков, заболевших гонореей, и полученные за это франки тратил на издание то книги стихов, то политической листовки.

Он спрашивал себя, что ему делать дальше. Вот перечень его планов: переехать в Харбин, совершить на ракете межпланетное путешествие, убить Довгалева, записаться в Иностранский легион, уехать в Бельгийское Конго, вступить в отряд гитлеровских штурмовиков, подыскать богатую невесту.

Французская полиция узнала, что Горгулов незаконно принимает пациентов; у него отобрали вид на жительство. Он уехал в Монако. Сначала он попробовал выиграть в рулетку. Потом решил, что необходимо освободить Россию от большевиков - другого выхода нет. Он писал писателю Куприну: «Я одинокий одичавший скиф...»

Он ненавидел французов за то, что они ведут переговоры с большевиками, а его, честного казака, верного союзника, выслали из Франции. Где-то он прочитал, что Колчака «предали французы». На стене его комнаты висел портрет Колчака. Горгулов написал на портрете две даты: день смерти русского адмирала и день предстоящей смерти французского президента.

Все последующее таково, что кажется действительно бредом. Горгулов приехал в Париж с двумя револьверами; пошел в собор, молился; потом выпил литр вина; опасаясь полиции - ведь у него нет вида на жительство,- выбрал третьеразрядную гостиницу, где сдают номера на ночь или на час, для отвода глаз взял с собой проститутку, вскоре ее отослал и всю ночь писал: проклинал коммунистов, чехов, евреев, французов. Потом вышел из гостиницы и убил Думера.

На него трудно было смотреть, он казался затравленным зверем. От него отрекались и Яковлев, и другие его единомышленники.

Помню страшную картину. Ночью, при тусклом свете запыленных люстр, судебный зал напоминал театральную постановку: парадные одеяния судей, черные тоги адвокатов, лицо подсудимого, зеленоватое, омертвевшее,- все казалось неестественным. Судья огласил приговор. Горгулов вскочил, сорвал с шеи воротничок, как

будто торопился подставить голову под нож гильотины, и крикнул: «Франция мне отказала в виде на жительство!»

Я шел по ночной, пустой улице и думал о судьбе человека. Конечно, Горгулов не мог вызвать участия: скверная жизнь, дикое, бессмысленное преступление. Но я думал о том, что когда-то он был обыкновенным русским мальчонкой, играл на горячей пыльной улице в городки. Страшно, что перед смертью он не нашел других слов, кроме «вида на жительство» - будничной, житейской жалобы эмигранта! Почему он писал о любви к букашкам и хотел вырезать миллионы людей? Почему убил Думера? Почему должен был играть чужую роль в нелепой кровавой мелодраме? За три месяца до преступления он писал своему приятелю Яковлеву: «Во мне осталось только одно чувство - жажда мести». Он жил надеждой: «Только война спасет нас!» Я вспомнил, что Яковлев торгует женскими чулками... Под мирной зыбью европейской жизни проходили страшные течения.

Процесс Горгулова был для меня психологическим введением в тяжелое десятилетие. Слово «война» становилось привычным. Люди повсюду начинали втягиваться в новое, недоброе дело. Запахло кровью.

Летом и осенью 1932 года я много колесил по Советскому Союзу; побывал на строительстве магистрали Москва - Донбасс, в Бобриках, ставших потом Сталиногорском, в Кузнецке, ставшем потом Сталинском, в Свердловске, в Новосибирске, в Томске. Время было необычайное; вторично шквал потряс нашу страну; но если первый - в годы гражданской войны - казался стихийным, был тесно связан с борьбой между различными классами, с гневом, ненавистью, тоской, то коллективизация и начало строительства тяжелой индустрии, разворотившие жизнь десятков миллионов, были определены планом, неотделимы от колонок цифр, подчинены не взрывам народных страстей, а железным законам необходимости.

Снова я увидел узловые станции, забытые людьми с пожитками; шло великое переселение. Орловские или пензенские крестьяне бросали деревни и пробивались на восток: им говорили, что там дают хлеб, воблу, даже сахар.

Комсомольцы, охваченные восторгом, отправлялись на Магнитку или в Кузнецк; они верили, что стоит построить заводы-гиганты - и на земле будет рай. В январские морозы железо жгло руки. Казалось, люди промерзли насквозь; не было ни песен, ни флагов, ни речей. Слово «энтузиазм», как многие другие, обесценено инфляцией; а к годам первой пятилетки другого слова не подберешь, именно энтузиазм вдохновлял молодежь на ежедневные и малоприметные подвиги.

Многие рабочие относились к заводам любовно; они звали домну «Домной Ивановной», мартеновскую печь - «дядей Мартыном». Я спросил одного втузовца, как он представляет себе Париж. Он ответил: «В центре, наверно, огромные заводы, а люди живут вокруг в больших домах, и сообщение хорошее - сотни трамваев...» Он пришел в Новосибирск из деревни, и ему казалось, что города растут вокруг заводов, однако он читал Гюго и спросил меня: «Где же там собор Богоматери?..»

Конечно, среди строителей были разные люди. Приезжали циники, авантюристы, летуны, они кочевали в поисках, как тогда

говорили, длинного рубля. Крестьяне недоверчиво глядели на машины; когда рычаг отказывал, они сердились, как на упрямую лошадь, часто портили машины. Если одних подгоняли высокие чувства, то другие напрягались в надежде получить килограмм сахара или отрез на брюки.

Я увидел эшелоны спецпереселенцев - это были раскулаченные, их везли в Сибирь; они походили на погорельцев. Плакали грудные дети, у матерей не было молока. Везли также подмосковных огородников, мелких спекулянтов с Сухаревки, сектантов, растратчиков.

В Ташкенте и в Рязани, в Тамбове и в Семипалатинске вербовщики набирали землекопов, мостовщиков, крестьян, убежавших после коллективизации из деревни.

Я попадал в деревни, где трудно было найти мужчину,- женщины, старики, дети. Многие избы были брошены. Женщины гудели, как растревоженный улей.

Томск был беден, запущен. Заборы разобрали на топливо; тротуаров не было. Люди побойчее уехали в Новосибирск, в Кузнецк. Лишenci прятали от прохожих лампадки перед иконами. Чай пили без сахара. В буфете продавали славянскую воду и картонные коробки для конфет.

Бурно росли некоторые города. Заштатный Новониколаевск превратился в шумный Новосибирск. Дома напоминали выставочные павильоны. В ресторане при гостинице люди ночь напролет хлестали водку. Вокруг города пришельцы строили лачуги, рыли землянки; они торопились - впереди была суровая сибирская зима. Новые поселки называли «Нахаловками». Жители острили; «В Америке небоскребы, а у нас землескребы» - это было задолго до высотных зданий.

Жизнь была трудной; все говорили о пайках, о распределителях. В Томске черный хлеб походил на глину; я вспомнил двадцатый год. На рынке продавали крохотные замызганные кусочки сахара. Профессора между лекциями становились в очереди. Магазины «Торгсина» соблазняли мукой, сахаром, ботинками; но там нужно было расплачиваться золотом - обручальными кольцами, припрятанными царскими монетами. В Кузнецке приезжавшие сразу спрашивали: «Мясо дают?» Тифозный корпус больницы был переполнен: сыпняк снова косил людей. В Томске я видел, как жена

профессора варила мыло. Все напоминало тыл войны, но тыл был фронтом: война шла повсюду.

Огромное полотно было написано двумя красками - розовой и черной; надежда жила рядом с отчаянием; энтузиазм и злоба, герои и летуны, просвещение и тьма - эпоха одним давала крылья, других убивала.

На строительстве магистрали Москва - Донбасс было собрание. Один землекоп, в бараньей шапке, с обветренным лицом, говорил: «Да мы во сто раз счастливее проклятых капиталистов! Они жрут, жрут идохнут - сами не знают, для чего живут. Такой прогадает, смотришь - повесился на крюке. А мы знаем, для чего мы живем: мы строим коммунизм. На нас весь мир смотрит...» Я пошел с ним в столовую. При входе в барак отбирали шапки; выдавали их, когда рабочие сдавали ложки. Шапки валялись грудой на земле; каждый долго разыскивал свою. Я попробовал объяснить заведующему, что это обидно, да и глупо - люди зря тратят время. Он посмотрел на меня пустыми глазами: «За ложки я отвечаю, а не вы».

В Кузнецке я встретил начальника цеха. Он рассказал, что восемь лет назад пас в деревне гусей. Его считали талантливым инженером. Он прочитал «Кара-Бугаз» Паустовского и с жаром говорил о стиле.

Я долго разыскивал в старом Кузнецке дом, где жил когда-то Достоевский, наконец нашел; женщины сердито ответили: «Нет здесь такого...» Школьники объяснили, что они знают много писателей: Пушкина, Горького, Демьяна Бедного, а Достоевского не проходили.

Крестьяне в селе возле Томска рассказывали: «Приехал один, говорит: «Кто хочет строить социализм, пожалуйста, иди добровольно в колхоз, а кто не хочет, пожалуйста, полное у него право. Только я скажу прямо: с такими у нас один разговор - душу вон, кишки на телефон». В той же деревне я познакомился с девушкой; она после работы читала «Цемент», говорила: «Очень трудно все понять, но я учусь. Я в город поеду. Теперь, если хочешь учиться, все тебе открыто. Такая я счастливая, что не скажешь!...»

По ухабам Новосибирска прыгали новенькие автомобили. В Кузнецк привезли изумительные машины. А строили завод-гигант чуть ли не руками. Были мощные экскаваторы, но я видел, как люди таскали землю на себе. Не хватало кранов, и один молодой рабочий сконструировал деревянный кран. Незадолго до моего приезда

рухнули леса, люди упали в ветошку и задохлись. Их хоронили с воинскими почестями.

В Кузнецке работали двести двадцать тысяч строителей. Начальник строительства, старый большевик С. М. Франкфурт, был одержимым, иначе не скажешь, он почти не спал, ел на ходу; нужно было то расследовать причины очередной аварии, то успокоить летунов, которые бросили работу с криком «даешь спецуру», то разместить прибывших самотеком казахов. В его комнате я увидел акварель - Париж в сумерки (Сергей Миронович до революции был политэмигрантом). О начальнике строительства в те годы много писали; после тридцать седьмого имя Франкфурта исчезло. (Недавно я узнал о его судьбе. По Окончании строительства в Кузнецке Орджоникидзе его послал на новую стройку в Орск, и там он был арестован в 1937 году вместе с пятьюдесятью восемью сотрудниками. На заседании (конечно, закрытом) Военной коллегии Сергей Миронович сказал: «Я был большевиком и умру большевиком»; эти слова запротоколировали. В 1956 году С. М. Франкфурта посмертно реабилитировали.) Главный инженер И. П. Бардин был человеком большой культуры; в молодости он работал в Америке; следил за развитием техники. Он понимал, что задача, возложенная на него, трудна, более того - невыполнима, и знал, что он ее выполнит. При одной из аварий Иван Павлович сломал ногу; быстро, однако, встал с койки и возобновил работу. Мне он показался человеком мягким и хмурым.

Города еще не было, но город разрастался. В бараках показывали фильмы. Открылись распределители, столовые для иностранных специалистов. Начали приезжать из Москвы актеры.

Мою книгу о Кузнецке я начал так: «У людей были воля и отчаяние - они выдержали. Звери отступили. Лошади тяжело дышали и падали. Десятник Скворцов привез легавого кобеля. По ночам кобель выл от голода и тоски; он вскоре сдох. Крысы пытались пристроиться, но и крысы не выдержали суровой жизни. Только насекомые не изменили человеку; густыми ордами двигались вши, бодро неслись блохи, ползли деловито клопы. Таракан, догадавшись, что ему не найти другого корма, начал кусать человека».

Иностранные специалисты, работавшие в Кузнецке, говорили, что так строить нельзя, нужно было прежде всего провести дороги,

построить дома для строителей; да и состав текучий, люди не умеют обращаться с машинами; вся затея обречена на провал. Они судили по учебникам, по своему опыту, по психологии людей, живущих в спокойных странах, и никак не могли понять чужой им страны, ее душевного климата, ее возможностей. Я снова увидел, на что способен наш народ в годы жестоких испытаний. Люди строили заводы в таких условиях, что успех казался чудом, как чудом показалась старшему поколению победа в гражданской войне, когда блокированная, голодная, босая Россия разбила интервентов.

Несмотря на трудности, казалось бы непреодолимые, цехи заводов быстро подымались. Среди котлованов пооткрывались кинотеатры; устроили школы, клубы. В 1932 году в Кузнецке еще нельзя было сделать шага, чтобы не попасть в яму, но уже пылали первые домны, и в литературном объединении юноши спорили, кто писал лучше - Маяковский или Есенин.

Рая, о котором тогда мечтали молодые, они не увидели; но десять лет спустя домны Кузнецка позволили Красной Армии спасти Родину и мир от расистских изуверов.

В жизнь входило новое поколение - юноши и девушки, родившиеся накануне первой мировой войны; для них царь, фабриканты, городские были отвлеченными понятиями. Больше домен и мартеновских печей меня интересовали эти новые люди - будущее нашей страны. Приглядываясь к ним, я увидел множество противоречий. Процесс демократизации культуры длителен и сложен. В первые двадцать пять лет расширение культуры шло за счет ее глубины; всеобщая грамотность на первых порах привела к духовной полу грамотности, к упрощению. Только в годы второй мировой войны началась новая стадия - культурного углубления.

Помню, как удивились французские писатели, узнав о тиражах переводов на языки Советского Союза Бальзака, Стендаля, Золя, Мопассана. Конечно, цифры тиражей - это не справка о богатом урожае, но это данные о расширении посевной площади. Жажда знаний в те годы не знала предела; я это особенно остро чувствовал, приехав из страны, где жили Валери, Клодель, Элюар, Сен-Жон Перс, Арагон, Сюпервьель, Деснос, много других прекрасных поэтов, которых все признавали и которых мало кто читал.

Летом 1932 года в Москве я получил письмо из небольшого уральского города; писал мне молодой учитель: «...Кстати, спросите французского писателя Дрие ля Рошелля, какой злой дух нашептывает ему разные нелепости вроде следующей: «То, что было жизнью, не представляет абсолютно никакого интереса. Сознание более невозможно, ибо нечего сознавать». (В передаче нашей «Литгазеты» его роман «Блуждающий огонек».) Сообщите ему заодно, что один из миллионов людей, населяющих страну, из которой вы приехали, и небезуспешно пробуящих перекроить старую жизнь мира по-новому, уверяет его честью, что эта старая жизнь полна «абсолютного» интереса и что, кроме его больного сознания, есть еще нетронутые залежи сознания миллионов, которым предстоит осознать еще бесконечно многое. Скажите ему также, что, по мнению его оппонента с далекого Урала, человеческое сознание только еще готовится к выполнению той великой роли, что определила ему история: роли грамотного переводчика великого языка чувств, состоящего из любви, ненависти, мужества, дерзания, готовности к жертве и т. п., на новый язык, освобождающий их от уз догмата, для новой жизни».

(Дрие ля Рошелль тогда вращался в левых кругах, и я его иногда встречал. Я перевел ему письмо уральского учителя; он развел руками: «Зачем же он принимает каждое мое слово всерьез? Это прекрасно и вместе с тем глупо...») Конечно, учитель, приславший мне письмо, был на десять голов выше рядовых юношей того времени; я привел его размышления отнюдь не как показательные для духовного развития молодых людей в годы первой пятилетки, но в письме есть прекрасные слова о нетронутых залежах сознания. Именно в те годы целина впервые была тронута.

Один молодой тунгус увидел в Кузнецке велосипед; долго его рассматривал, наконец спросил: «Где мотор?» Он хорошо знал, что люди ездят в автомобилях, летают на самолетах, а велосипедов никогда не видел. В глухих селениях Сибири люди знали о существовании беспроводного телеграфа и, увидав столбы с проводами, удивились - зачем проволока?..

В томском музее я познакомился с молоденькой девушкой, шоркой; она училась на медицинском факультете и принесла в музей деревянного человечка, которого родители ей дали как талисман

против лихорадки и злых духов. Она узнала, что в музее собирают предметы старого быта, и принесла экспонат. Она расспрашивала меня о жизни во Франции - много ли там больниц, как борются против алкоголизма, любят ли французы ходить на концерты, сколько лет Ромену Роллану. У нее были глаза доверчивые и пытливые. Наверно, родители просили старого шамана изгнать из непослушной дочери злого духа.

В одном из клубов Кузнецка был литературный вечер; читали стихи Маяковского; аплодировали. Потом один инженер начал декламировать «Для берегов отчизны дальней». Моя соседка, башкирка, послала записку: «Кто автор?» Мы разговорились, она призналась: «Я Пушкина знаю, он написал «Евгения Онегина», а вот таких стихов я никогда не читала. Может быть, я недостаточно культурная, но мне они очень нравятся, даже больше, чем Маяковский... Я не знала, что можно такое писать...»

Передвигаться тогда было трудно; на станции Тайга я застрял на несколько дней. Начальник узла меня разыскал, сказал, что ему нравится «Хулио Хуренито», и дал мне служебный вагон. Правда, с вагоном было тоже нелегко: ночью его неожиданно отцепляли на какой-нибудь станции и загоняли в тупик. Но я хочу рассказать не о вагоне, а о проводнице - молоденькой сибирячке Вале. Вагон она боялась оставить даже на час: «Стекла побьют, порежут сиденья...» Она мне рассказала необычайную историю. В Кузнецк она приехала из деревни и работала уборщицей. В ее бараке было чисто, кто-то из начальства это заметил, и Вале поручили служебный вагон. Времени было много, она начала читать. Один железнодорожник забыл в вагоне книгу «Диспетчерское руководство движением поездов». Валя мне показала эту книгу, я заглянул и ничего не понял. Валя засмеялась: «Я сначала тоже ничего не могла понять, я ее, кажется, сто раз прочитала и в конце стала разбираться. Взяла учебники математики... Теперь подготовилась, обещали отпустить на рабфак...» Не скрою, такие встречи меня потрясали. Я начал смотреть с большим доверием на будущее.

Я много говорил о трудностях жизни; всего не расскажешь. В бараках молодожены пытались завесить койку тряпьем. Случайно я был в одном бараке, когда молодой землекоп привел туда девушку

(уже начались морозы). У них не было занавески, и он прикрыл лица пиджаком.

Несмотря на суровый быт, рождались новые чувства, мысли; юноши и девушки часто при мне спорили, существует ли вечная любовь, можно ли оправдать ревность, принижает ли комсомолец грусть, нужны ли строителям стихи Лермонтова, музыка, часы одиночества.

Я говорил, что собираюсь написать книгу о молодежи, и мне приносили дневники, письма; рассказывали про работу, про сердечные невзгоды. Иногда я спрашивал и записывал ответы.

Еще до того как я написал повесть «День второй», я опубликовал в парижском литературном журнале «Ля нувелль ревью франсез» некоторые из собранных мною документов. В предисловии я говорил: «Обычно писатель не знакомит читателей с различными материалами, которые помогли ему написать книгу; но мне кажется, что эти документы представляют собой ценность независимо от моей работы. Многим они покажутся более убедительными, чем самый удачный роман...»

Теперь я раздобыл в библиотеке старую книжку французского журнала, перечитал отрывки из дневников, писем, стенограмм и подумал - жизнь изменилась, а вот многие вопросы, которые впервые ставили юноши и девушки в те годы, продолжают волновать нашу молодежь: здесь и споры о том, как избежать узкой специализации, и ужас перед двурушничеством, лицемерием, и проблема подлинной дружбы, и проклятия равнодушию.

В двадцатые годы доживала свой век старая, крестьянская Расея. На заводах, в различных учреждениях еще преобладали люди, сформировавшиеся до революции. Начало тридцатых годов стало переломом. Строительство Кузнецка я вспоминаю с ужасом и с восхищением; все там было невыносимо и прекрасно.

Я сказал, что металл Кузнецка помог нашей стране отстоять себя в годы фашистского нашествия. А другой металл - человеческий?.. Строители Кузнецка, как и все их сверстники, прожили нелегкую жизнь. Одни погибли молодыми - кто в 1937-м, кто на фронте. Другие преждевременно стали сутулиться, примолкли - уж слишком много было неожиданных поворотов, к слишком многому приходилось привыкнуть, приспособиться... Теперь тем героям «Дня второго»,

которые выжили, лет пятьдесят или шестьдесят. У этого поколения было мало времени для раздумий. Его утро было романтичным и жестоким - коллективизация, раскулачивание, леса строек. Дальнейшее все помнят. От людей, родившихся накануне первой мировой войны, потребовалось столько мужества, что его хватило бы на несколько поколений, мужества не только в работе или в бою, но в молчании, в недоумении, в тревоге. Я видел этих людей окрыленными в 1932 году. Потом крылья стали не по сезону. Крылья первой пятилетки достались по наследству детям вместе с заводами-гигантами, оплаченными очень дорогой ценой.

До поездки в Кузнецк я читал очерки, рассказы о строительстве. Увидел я не то, о чем читал. Не помню, когда именно в статьях о литературе появилось выражение «лакировать» - кажется, позднее. Толковый словарь так объясняет этот неологизм: «Приукрашать, представлять что-нибудь в лучшем виде, чем есть на самом деле». Между тем действительность не только страшнее, но и прекраснее тех благонаправных и назидательных картинок, которые изготовляли, да и продолжают изготовлять «лакировщики».

Кто не помнит романов или фильмов, в которых война изображалась как маневры - с веселыми солдатами в новеньких гимнастерках, с песнями, с лозунгами, с парадным маршем к победе? Разве под лаком не пропадала глубина красок? Разве можно было, глядя на экран, где падение Берлина показывалось как феерия, понять подвиг советского народа, стоявшего насмерть у Ленинграда, под Москвой, на узкой полоске приволжской земли?

Так было и со строительством Кузнецка или Магнитогорска. Люди строили заводы в неслыханно трудных условиях. Кажется, никто нигде так не строил, да и не будет строить. Фашизм вмешался в нашу жизнь задолго до 1941 года. На Западе шла лихорадочная подготовка к походу на Советский Союз; и первыми окопами были котлованы новостроек.

Я увидел самоотверженность одних, жадность, косность других. Строили все, но строили по-разному: кто по идее, кто по нужде, кто по принуждению. Для многих это было началом строительства не только заводов, но и человеческого сознания. Я назвал мою повесть «День второй». По библейской легенде, мир был создан в шесть дней. В первый день свет отделился от тьмы, день от ночи; во второй - твердь от хляби, суша от морей. Человек был создан только на шестой день. Мне казалось, что в создании нового общества годы первой пятилетки были днем вторым: твердь постепенно отделялась от хляби. А хляби было много (ее всегда больше, чем тверди, как на земном шаре больше морей, нежели суши). Я не хотел об этом умолчать и рядом с Колей Ржа новым, Смолиным, Ириной, с лучшими

представителями молодого поколения, показал циников, эгоистов, людей, равнодушных ко всему, что не связано с их личной судьбой.

Я отнюдь не пытался быть бесстрастным летописцем; повесть диктовалась восхищением, любовью, жаждой отстоять первые побегии нового сознания. Именно поэтому я стремился быть правдивым: действительность не нуждалась в гриме. Я знал, конечно, что многие сочтут мой рассказ за клевету, лишний раз вспомнят, что я «неисправимый скептик», будут говорить, что я захотел исказить прекрасную действительность, то есть не изготовил еще одной олеографии по установленному и одобренному образцу. Но когда я писал, я не думал ни о критиках, ни о редакторах, не гадал, издадут ли мою книгу, писал с волнением дни и ночи напролет.

Я начал повесть в ноябре, кончил в феврале; некоторые главы переписывал много раз. Я упоминал, что почти каждый день ко мне приходил И. Э. Бабель, читал страницы рукописи, иногда одобрял, иногда говорил: нужно переписать еще раз, есть пустые места, невыписанные углы... Порой, снимая после чтения очки, Исаак Эммануилович лукаво улыбался: «Ну, если напечатают, это будет чудо...»

В повести есть и некоторые итоги моих долгих раздумий. Володя Сафонов - хороший, честный юноша; он учится в Томском университете, потом уезжает в Кузнецк; он начитан, душевно тонок, любит чистой любовью Ирину. Но он не верит в рождение нового сознания; по собственным его признаниям, он отравлен мудростью старых книг и терзается от наивности, от детскости своих товарищей. Он пишет в дневнике: «Я работал на заводе. Учусь. Буду, наверно, честным спецом. Но все это навязано мне извне. Сердцем я никак не участвую в окружающей меня жизни... Для стройки я непригоден. В горном деле это, кажется, называется «пустой породой»... Вы устранили из жизни еретиков, мечтателей, философов, поэтов. Вы установили всеобщую грамотность и столь же всеобщее невежество. После этого вы собираетесь и на шпаргалке лопочете о культуре... Муравьиная куча - образец разумности и логики; но эта куча существовала и тысячу лет назад. Существуют муравьи-рабочие, муравьи-спецы, муравьи-начальники. Но еще не было на свете муравья-гения. Шекспир писал не о муравьях. Акрополь построен не

муравьями. Закон тяготения нашел не муравей. У муравьев нет ни Сенек, ни Рафаэлей, ни Пушкиных. У них есть куча, они работают...»

Володя встречает французского журналиста, долго его расспрашивает, видит, что и на Западе нет той культуры, которой он жаждет. На студенческом собрании Сафонов собирался обличать наивность и невежество своих товарищей, но вместо этого, под впечатлением разговора с французом, говорит: «Можно ли сомневаться в том, за кем будущее? Я это чувствую особенно остро, потому что лично я, скорее всего, обречен. Я хочу быть со всеми, стараюсь хорошо работать... Дело не во мне, дело в нас. Я твердо говорю это слово «мы». Мы должны победить... Культура не рента: ее нельзя хранить в шкафу. Она создается ежечасно - каждым словом, каждой мыслью, каждым поступком. Я здесь слышал - вы говорили о музыке, о поэзии. Это и есть рождение культуры, ее рост, мучительный, трудный рост...» Вернувшись домой, он записывает в дневнике: «Самое любопытное, что я говорил искренне. Во всяком случае, не от страха. Но я говорил не то, что думал. Или: то, да не то. За меня как будто говорили другие...»

Ирина в неотправленном письме с ним спорит: «...Ты умней других. Больше знаешь. Но ты ничего не делаешь, чтобы жизнь стала лучше. Ты замечаешь только плохое и насмехаешься. Ты думаешь, я сама не вижу, сколько вокруг безобразия? Наша стройка проходит в прекрасной, чистой лаборатории, но, скажу прямо, на скотном дворе. Малодушие, двурушничество, мелкие интересы! Минутами мне страшно становится за все и за всех. Вот именно поэтому я считаю, что мы должны бороться, а не только усмехаться и рассказывать шепотом плутовые анекдоты... Ты мне сказал «человек теперь не может любить», Володенька, ведь это неправда... Жизнь теперь такая тяжелая, такая напряженная, такая большая, что и любовь растет. Трудно, очень трудно теперь любить!.. Вот ты говорил «теперь не любовь, а чугун» и повторял «чугун, чугун» - тебе это почему-то смешно. А это совсем не смешно. Скажи сам, что сейчас важнее: читать твоего Франса или отливать рельсы, чтобы наконец стало в стране немного больше хлеба или ситца? Но люди сейчас не только отливают чугун. Или нет, они только отливают чугун, но в этом чугуне не только кокс и руда, в нем еще что-то другое. Вот как Сеня

«рвется в тьму мелодии», так сейчас рвутся - все выше и выше! Это и домны, и стихи, и любовь...»

Ирина предпочла обреченному Володе живого Колю Ржанова. Но не поэтому Володя кончил жизнь самоубийством. Никто ему не протягивал веревки - ни товарищи, ни старый профессор, к которому он пришел в последний день за советом, ни автор повести. Его довела до отчаяния обостренная совесть. А если кто-нибудь и осудил его, то разве что эпоха, та самая, что по ночам приходила на улицу Котантен и вела со мной нескончаемые беседы.

Я остановился на Володе, потому что многие критики пытались его выдать за врага. Издание «Дня второго» (1953 год) снабжено примечаниями Б. Емельянова, который уверяет, будто Володя был фашистом: он ведь сказал старой библиотекарше, что хотел бы сжечь все книги. Да, Володя однажды признался, что ненавидит книги, как пьяница - водку. Но вряд ли этот книжник напоминает гитлеровского штурмовика. Володя запутался в собственных противоречиях. Будь у него немного меньше совестливости и немного больше цепкости, он не повесился бы, а стал бы уважаемым всеми специалистом.

Я показал в повести не только Колю и его друзей, я показал также летунов, спекулянтов, темных людей, ломающих машины; старался сказать всю правду. Если повесть мне казалась, да и теперь кажется, оптимистической, то не потому, что в итоге величайших испытаний начинали входить в строй цехи, а потому, что сотни тысяч, миллионы строителей постепенно становились настоящими людьми. Повесть кончается словами бывшего партизана: «Поглядите на Колю Ржана нова, на других ребят. Я с ними сражался в Кузнецке, когда был прорыв на кауперах. Я вместе с ними боролся за эту дамбу... Я, как старый партизан скажу, что я могу теперь спокойно умереть, потому что есть у нас, товарищи, настоящие люди...»

В повести нет главного героя; она, как у нас говорят, «калейдоскопична» - проходит бегло множество персонажей. Я увлекался короткими фразами, быстрым монтажом, мелькающими кадрами: мне хотелось найти для нового содержания новую форму.

В июне 1934 года журнал «Литературный критик» устроил в Москве обсуждение «Дня второго». Я впервые присутствовал на собрании, где говорили о моей книге и где мне самому нужно было выступить. Часто в моих воспоминаниях я отзывался с иронией или

досадой о своих давних суждениях. А вот я прочитал стенограмму обсуждения «Дня второго» и, как это ни странно, почти со всем, что говорил двадцать семь лет назад, согласен и теперь. «Я чувствую себя сегодня, как один из строителей Беломорстроя: грешил, но искупил свои грехи, допущен в ряды сознательных граждан, которые строят социалистическое отечество... Уверенность, что нас, писателей, нужно судить, а мы должны каяться, на мой взгляд, неправильна... Я написал много скверных книг, не умел вынашивать книгу - не хватало зрелости; но никогда я не клеветал на советскую действительность... Теперь некоторые товарищи говорят, что я остановился в «Дне втором» на трудностях, потому что привык к комфорту... Товарищ Франкфурт, начальник строительства, и секретарь горкома считают, что я ничего не «сгущал», а показал трудности, которые были на самом деле... Товарищи здесь говорили, что Володя - умница, но что ему не противопоставлен честный комсомолец с равной эрудицией. Но, товарищи, у нас не шестой день, а второй... Я не знаю, удался ли мне «День второй», но эпигонствовать я не хочу... Мои книги написаны каракулями. Вероятно, мы все в некоторой степени Тредьяковские. Но Тредьяковский сыграл свою роль... Лучше сейчас сделать слабую книгу, но свою, чем взять немножко от Золя, немножко от Льва Толстого и немножко от советской действительности...»

Я и теперь не знаю, удалось ли мне, хотя бы частично, осуществить свой замысел. Может быть, «День второй» - слабая книга, но она не подражательна и написана по внутренней необходимости.

Дочитав последнюю страницу, Бабель сказал «вышло»; в его устах для меня это было большой похвалой. (Когда книгу перевели на французский язык, я получил длинное письмо от Ромена Роллана; он писал, что «День второй» помог ему лучше узнать советскую молодежь.)

Я послал рукопись Ирине и попросил отдать ее в издательство «Советская литература». Вскоре Ирина мне сообщила, что рукопись вернули: «Передайте вашему отцу, что он написал плохую и вредную вещь».

Я решился на отчаянный поступок: напечатал в Париже несколько сот нумерованных экземпляров и послал книги в Москву -

членам Политбюро, редакторам газет и журналов, писателям.

В тридцатые - сороковые годы судьба книги порой зависела от случайности, от мнения одного человека. Это было лотереей, и мне повезло - несколько месяцев спустя я получил длинную телеграмму от издательства: высылают договор, поздравляют, благодарят.

«День второй» вышел в Москве в апреле 1934 года. Радек в «Известиях» писал: «Это не «сладкий роман». Это роман, правдиво показывающий нашу действительность, не скрывающий тяжелых условий нашей жизни...» В тот же самый день появилась в «Литературной газете» статья А. Гарри: «Писатель воспекает разнузданную стихию, в данном случае являющуюся стихией, созидающей один из крупнейших в мире металлургических заводов. На фоне строительного хаоса живут, любят и страдают маленькие человечки. Кроме того, человечки эти, к сожалению, еще и мыслят. Это уже совсем плохо, потому что мыслят они чрезвычайно беспомощно. В романе И. Эренбурга люди потерялись в хаосе новостройки, они заблудились в канавах, экскаваторах и кранах. Такая странная вещь в романе приключилась не только с «отрицательными» типами, но и с «положительными». А это уже клевета. Вообще говоря, если придирается к роману И. Эренбурга, то можно без труда доказать, что это произведение является апологией австромарксистской бредни о «пятилетке, построенной на костях ударников». Радек во второй статье возражал: «Что же считает Гарри, что социалистический реализм состоит в том, чтобы художник рисовал лубки, показывал, каким легким делом является постройка социализма?» Этот спор мне кажется взятым из свежих газет...

Все это было свыше года спустя после того, как я дописал «День второй». А в тот самый день, когда я узнал из письма Ирины, что издательство отвергло мою книгу, мне принесли немецкую газету с описанием майского аутодафе: берлинские студенты, под руководством Геббельса, развели костер перед зданием университета и на нем сжигали ненавистные им книги - по списку, составленному заранее. Среди прочих книг сожгли и переводы моих романов.

Газеты были заполнены ужасающими сообщениями: еврейские погромы, расстрелы коммунистов, концлагеря. В. С. Довгалецкий, вернувшись из Женевы, рассказывал, как сорвали конференцию по разоружению; в Англию ездил Розенберг; некоторые английские

политики стоят за вооружение Германии - рассчитывают, что нацисты двинутся на Россию. Именно поэтому и подписан «Пакт четырех»...

Я был с Жаном Ришаром Блоком на антифашистском митинге в зале «Мютюалитэ». Зал нервничал, люди вскакивали, сжимали кулаки. Один немец, убежавший из концлагеря, своим рассказом довел многих до слез.

Потом мы сидели в маленьком кафе с профессором Ланжевенном. Печально улыбаясь, он говорил: «До чего все это глупо! Человечество еще не вышло из младенческого возраста - позади у него всего два миллиарда лет...» Я спросил: «А сколько впереди?» - «Десять миллиардов, если оно по глупости не кончит своего существования самоубийством...»

Жан Ришар горячился, говорил, что нужно создавать повсюду комитеты, действовать, пока не поздно. Мимо кафе проходили рабочие, пели «Это есть наш последний...».

Потом в кафе пришла Андре Виоллис, женщина смелая и непримиримая. Она рассказывала о зверствах легионеров в Индокитае, о пытках, сожженных деревнях. Я слышал и читал те же истории и десять лет спустя, и двадцать. Менялись формы усмирителей, но жестокие и бессильные колонизаторы походили один на другого. Недавно у меня были вьетнамские писатели; я назвал имя Андре Виоллис, и они с восхищением сказали: «Ее у нас знают, это была писательница, которая первая сказала Западу правду».

Началась новая глава не только истории, но и биографии каждого человека моего поколения, глава, может быть, самая трудная.

AN id=title>

1

Поздней осенью 1921 года после сытого и спокойного Брюсселя я увидел Берлин. Немцы жили, как на вокзале, никто не знал, что приключится завтра. Продавцы газет выкрикивали: «Бе Цет! Последний выпуск! Коммунистическое выступление в Саксонии! Подготовка путча в Мюнхене!» Люди молча читали газету и шли на работу. Владельцы магазинов каждый день меняли этикетки с ценами: марка падала. По Курфюрстендамму бродили табуны иностранцев: они скупали за гроши остатки былой роскоши. В бедных кварталах

разгромили несколько булочных. Казалось, все должно рухнуть, но дымили трубы заводов, банковские служащие аккуратно выписывали многозначные цифры, проститутки старательно румянились, журналисты писали о голоде в России или о благородном немецком сердце Людендорфа, школьники зубрили летопись былых побед Германии. На каждом шагу были танцульки «диле»; там методически тряслись отощавшие парочки. Грохотал джаз. Помню две модные песенки: «Вы любите ль бананы» и «Моя черная Соня» («Шварце Сониа»). В одной из танцулек хриплый тенор был: «Завтра светопреставление...» Светопреставление, однако, со дня на день откладывалось.

Келлерман выпустил роман о революции в Германии - «9 ноября». Не знаю, скажет ли что-нибудь эта дата молодым читателям. 9 ноября 1918 года кайзер поспешно отбыл в Голландию, и социал-демократы объявили республику. В министерствах, однако, сидели прежние сановники и чиновники, швейцар почтительно говорил: «Добрый день, господин тайный советник». Я остановился в пансионе на Прагерплац; рядом был широкий проспект Кайзераллее; я пошел бродить по городу и попал на огромную площадь, она называлась Гогенцоллернплац. В комнатах пансиона висели портреты усатого Вильгельма.

Я подружился с поэтом Карлом Эйнштейном. Это был веселый романтик, лысый, с огромной головой, на которой красовалась шишка. Он рассказывал, что был на Западном фронте солдатом и заболел психическим расстройством. Он напоминал мне моих давних друзей, завсегдатаев «Ротонды», и любовью к негритянской скульптуре, и кощунственными стихами, и тем сочетанием отчаяния с надеждой, которое уже казалось воздухом минувшей эпохи. Карл Эйнштейн написал пьесу о Христе. Его предали суду за богохульство. Я пошел на судебное разбирательство. Происходило это в полутемном, мрачном зале. Обычно понятие религиозного фанатизма связывают с католицизмом, с папскими буллами, с инквизицией. Однако медика Сервета сожгли не католики, а кальвинисты, которых католики считали вольнодумцами,- сожгли за то, что он не связывал функций организма с провидением. Эксперты на процессе Карла Эйнштейна цитировали труды просвещенных теологов XX века.

(В 1945 году я увидел размолотый войной Берлин. От здания, где когда-то судили Карла Эйнштейна, оставалась стена, на которой русский сапер написал, что район очищен от мин.)

В Берлине 1921 года все казалось иллюзорным. На фасадах домов по-прежнему каменели большегрудые валькирии. Лифты работали; но в квартирах было холодно и голодно. Кондуктор вежливо помогал супруге тайного советника выйти из трамвая. Маршруты трамваев были неизменными, но никто не знал маршрута истории. Катастрофа прикидывалась благополучием. Меня поразили в витринах магазинов розовые и голубые манишки, которые заменяли слишком дорогие рубашки; манишки были вывеской, доказательством если не благоденствия, то благопристойности. В кафе «Иости», куда я иногда заходил, бурду, именуемую «мокка», подавали в металлических кофейниках, и на ручке кофейника была перчаточка, чтобы посетитель не обжег пальцев. Пирожные делали из мерзлой картошки. Берлинцы, как и прежде, курили сигары, и назывались они «гаванскими» или «бразильскими», хотя были сделаны из капустных листьев, пропитанных никотином. Все было чинно, по-хорошему, почти как при кайзере.

Как-то вечером мы шли с В. Г. Лидиным, который только что приехал из Москвы. Кафе закрывались рано: «полицайштунде» был остатком военных лет. К нам подошел человек и предложил провести в ночное кафе - «нахтлокаль». Мы ехали в метро, долго шли по скудно освещенным улицам и наконец оказались в добропорядочной квартире. На стенах висели портреты домочадцев в офицерской форме и картина, изображавшая закат солнца. Нам дали шампанское - лимонад с примесью спирта. Потом пришли две дочки хозяина, голые, и начали танцевать. Одна из них разговорилась с Владимиром Германовичем; оказалось, ей нравятся романы Достоевского. Мать с надеждой поглядывала на иностранных гостей: может быть, они соблазнятся ее дочками и заплатят - разумеется, в долларах, с марками беда, за ночь они снова упадут. «Разве это жизнь? - вздыхала почтенная мамаша. - Это светопреставление...»

Незадолго до моего приезда в Берлин исступленные националисты убили одного из руководителей партии центра - Эрцбергера. Приверженцы монархического союза «Бисмарк», не стесняясь, одобряли убийство. Законники делали вид, что изучают

параграфы уложения, социал-демократы стыдливо вздыхали, а будущие эсэсовцы учились стрелять в живую цель.

Все это не мешало выдавать катастрофу за естественную, хорошо налаженную жизнь. Протезы инвалидов не стучали, а пустые рукава были заколоты булавками. Люди с лицами, обожженными огнеметами, носили большие черные очки. Проходя по улицам столицы, проигранная война не забывала о камуфляже.

Газеты сообщали, что из ста новорожденных, поступающих в воспитательные лагера, тридцать умирают в первые дни. (Те, что выжили, стали призывом 1941 года, пушечным мясом Гитлера...)

«Уфа» поспешно изготовляла кинокартины; они были посвящены всему, кроме минувшей войны. Зрители, однако, требовали аффектации страданий, иступленной жестокости, трагических развязок. Я случайно попал на съемку одного фильма. Героиню отец пытался замуровать, любовник бил ее плеткой, она кидалась вниз с седьмого этажа, а герой вешался. Режиссер рассказал мне, что в картине будет и другой, счастливый конец - для экспорта. Не раз я видел, с каким восхищением глядели бледные, тщедушные подростки на экран, где крысы загрызали человека или ядовитая змея жалила красавицу.

Я смотрел выставки «Штурма»; передо мной были не холсты, не живопись, а истерика людей, у которых вместо револьверов или бомб оказались кисти и тюбики с красками. В моих заметках остались названия нескольких холстов: «Симфония крови», «Радиохаос», «Цветная гамма конца света». Душевный разлад требовал выхода, и то, что критики называли «неоэкспрессионизмом» или «дадаизмом», было куда более связано с памятью о битве на Сомме, с восстаниями и путчами, с манишками на голом теле, чем с живописью. У вдохновителя «Штурма» Вальдена было лицо осунувшейся птицы и длинные космы. Он любил говорить о двойниках, об интуиции, о конце цивилизации. В картинной галерее, где стены метались, он чувствовал себя уютно, как в обжитом доме, угощал меня кофе и тортом со взбитыми сливками - их приносили из соседнего кафе.

Я поехал в Магдебург; фасады домов, трамваи, газетные киоски были щедро покрыты все той же истерической живописью. Во главе строительного управления города стоял талантливый архитектор Бруно Таут. Корбюзье вдохновлялся геометрией. Что ж, он жил во

Франции... А Бруно Таут жил в стране, где все путалось: голод и спекуляция, вчерашние мечты о Багдаде и завтрашний поход в Индию, «пивные путчи» и рабочие восстания. (После прихода к власти Гитлера Бруно Таут уехал в Японию и обрадовался, увидав там современную архитектуру - традиционные японские дома, светлые и голые.)

Я помнил полотна супрематистов на улицах Москвы и все же в Магдебурге растерялся. Как бы ни был непривычен, порой сух язык Татлина, Малевича. Поповой, Родченко, то был язык искусства. В немецкой живописи меня стесняла литературщина, да и полное отсутствие чувства меры: холсты вопили.

Помню обложку стихов Газенклевера: человек с отчаянным лицом кричит. В поэзии свирепствовала инфляция прорицаний; и Верфель и Унру сулили миру гибель. А на улице прохожие, равнодушные к поэзии, подозрительно молчали.

Я встречался с Леонгардом Франком. Ему исполнилось сорок лет, он был уже известным писателем, но оставался мечтательным юношей: стоит людям поглядеть друг другу в глаза, улыбнуться - и сразу исчезнет злое наваждение. Да и потом он мало менялся; ничто не могло его ожесточить. Я встречал его в годы фашизма в Париже, после войны, когда, проживая в Западной Германии, он приезжал в Берлин и дружески беседовал с писателями ГДР. Одна из его книг называется «Человек хорош»; это очень субъективная оценка - Франк узнал, что такое эсэсовцы, но он-то сам действительно был хорошим человеком.

Артур Голичер потрясал седыми кудрями. «Ты увидишь - не пройдет и года, как рабочий Берлин протянет руку Москве...»

В квартале, облюбованном иностранными мародерами и новыми богачами, которых звали «шиберами», пометалось «Романишес кафе» - приют писателей, художников, мелких спекулянтов, проституток. Там можно было увидеть итальянцев, убежавших от касторки Муссолини, венгров, спасшихся от тюрем Хорти. Там венгерский художник Моголи Надь спорил с Лисицким о конструктивизме. Там Маяковский рассказывал Пискатору о Мейерхольде. Там итальянские фантазеры мечтали о международном походе рабочих на Рим, а ловкачи покупали или продавали мелкие купюры долларов. Солидные бюргеры, направляясь в воскресенье на богослужение в

Гедехтнискирхе, пугливо поглядывали на «Романишес кафе» - им казалось, что напротив церкви разместился штаб мировой революции.

Западный Берлин и тогда был «западным»: это связано не только с ветрами истории, но и с обыкновенными ветрами: в Берлине, в Лондоне, в Париже западные районы облюбованы богатыми людьми - обычно ветры дуют с океана и заводы размещаются на восточных окраинах.

В западном Берлине надеялись на Запад и в то же время его ненавидели: мечты о защите против коммунистов смешивались с мечтами о реванше. В витринах магазинов можно было увидеть надписи: «Здесь не продают французских товаров»; это редко соответствовало действительности, и жене шибера не приходилось ломать себе голову над вопросом, где купить духи Герлена: патриотизм отступал перед жаждой наживы. Однако московскому Камерному театру, когда он приехал в Берлин на гастроли, пришлось переименовать французскую оперетку «Жирофле-Жирофля» в «Близнецов», а «Адриенну Лекуврер» - в «Морица Саксонского».

В восточном и северном Берлине можно было порой услышать «Интернационал». Там не торговали долларами и не оплакивали кайзера. Там люди жили впроголодь, работали и ждали, когда же разразится революция. Ждали терпеливо, может быть слишком терпеливо... Я видел несколько демонстраций. Шли ряды хмурых людей, подымали кулаки. Но демонстрация заканчивалась ровно в два часа - время обедать... Помню разговор с одним рабочим. Он мне доказывал, что число членов в его профсоюзе возрастает, значит, пролетариат победит. Страсть к организации - почтенная страсть; однако в Германии она мне казалась чрезмерной. (В 1940 году я увидел Берлин без автомобилей - берлинские машины носились по дорогам Европы: третий рейх завоевывал мир. Но прохожие, увидев красный свет, цепенели, никто не осмеливался перейти пустую улицу.) Мой собеседник в 1922 году жил начальной арифметикой. А на дворе была эпоха Ленина и Эйнштейна...

В пивной на Александерплац я впервые услышал имя Гитлера. Какой-то посетитель восторженно рассказывал о баварцах: вот кто молодцы! Скоро они выступят. Это свои люди, рабочие и настоящие немцы. Они всех приберут к рукам: и французов, и евреев, и шиберов,

и русских... Соседи запротестовали, но сторонник некоего Гитлера упрямо повторял: «Я говорю как немец и как рабочий...»

Марка продолжала падать; когда я приехал, газета стоила одну марку; вскоре приходилось платить за нее тридцать. Открыли новую линию метро. В «диле» парочки танцевали до изнеможения, танцевали старательно, будто выполнили тяжелую работу. Ллойд-Джордж заявил, что немцы выплатят репарации до последнего пфеннига. Смертность на почве хронического недоедания возрастала. Все говорили о Стиннесе и Шпенглере. Стиннеса знали хорошо: он был некоронованным кайзером, властителем Рура, Гефестом нового Олимпа. Мало кто читал труды Шпенглера, но все знали название одной из его книг - «Закат Западного мира» (по-русски перевели «Закат Европы»), в которой он оплакивал гибель близкой ему культуры. На Шпенглера ссылались и беззастенчивые спекулянты, и убийцы, и лихие газетчики, - если пришло время умирать, то незачем церемониться; появились даже духи «Закат Запада».

То и дело вспыхивали забастовки. В кафе «Июсти» прилично одетый посетитель упал на пол. Врач, сидевший за соседним столиком, осмотрел его и громко сказал: «Дайте ему настоящего кофе... Истощение на почве хронического недоедания...» Жить становилось все труднее, но люди продолжали аккуратно, старательно работать.

В переполненном трамвае меня обозвали «польской собакой». На стене хорошего буржуазного дома, где возле парадной двери значилось «Только для господ», я увидел надпись мелом: «Смерть евреям!» Все было колоссальным: цены, ругань, отчаяние. Поэты из журнала «Акция» писали, что после нэпа они больше не верят в Россию, немцы покажут миру, что такое настоящая революция. Один из поэтов сказал: «Нужно начать с того, чтобы в различных странах одновременно убили десять миллионов человек, это минимум...» (Герцен писал о «Собакевиче немецкой революции» Гейнцене, который мечтал: «Достаточно избить два миллиона человек на земном шаре, и дело революции пойдет как по маслу».) Один из сотрудников «Роте Фане» мне говорил: «Ваш «Хуренито» - безобразная книга! Не понимаю, как могли ее издать в Москве. Когда мы придем к власти, у нас такого не будет...»

У власти стоял канцлер Вирт. Он пытался спасти Германскую республику и в Рапалло подписал соглашение с Советской Россией. Англичане и французы возмутились. Что касается немцев, то они продолжали ждать: одни ожидали революции, другие - фашистского путча.

Канцлера Вирта я встретил в 1952 году в Вене, на Конгрессе сторонников мира. Ему тогда было семьдесят пять лет. Как-то после затянувшегося заседания мы разговорились. Вирт сказал: «Когда писатель заканчивает роман, он должен испытывать удовлетворение - хотя бы несколько страниц удались. Другое дело - вечер жизни политического деятеля; здесь важны не отдельные удачи, а концовка. Я могу сказать, что моя жизнь перечеркнута. Сначала пришел Гитлер. Я знал, что будет война. Мне пришлось уехать за границу. Когда война кончилась, пришел Аденауэр. Мы с ним были в одной партии, он старше меня на три года. Я ему говорил, что он повторяет ошибки своих предшественников. Он умный человек, но этого понять он не может... Я не хочу дожить до третьей войны. А что я могу сделать? Разве что выступать на ваших конгрессах. Но это, простите меня, ребячество». Он закрыл свои тусклые, утомленные глаза...

В летний день на улице Груневальда фашист из организации «Консул» застрелил министра иностранных дел Ратенау. Когда полиция набрела на след убийц, они покончили жизнь самоубийством. Фашистов похоронили с воинскими почестями.

Владельцы магазинов не успевали менять цены; они придумали выход: цены якобы оставались неизменными, но их нужно было умножить на «плюссельцаль» - на коэффициент. Вчера он был четыреста, сегодня шестьсот: На экранах краинных кино продолжал безумствовать все тот же доктор Калигари. За один день в Берлине было зарегистрировано девять самоубийств. Начал выходить журнал «Дружба», посвященный теории и практике гомосексуализма.

Германия тех лет нашла своего портретиста - Георга Гросса. Он изображал шиберов, у которых пальцы напоминали короткие сосиски. Он изображал героев минувшей и будущей войны, человеконенавистников, обвешанных железными крестами. Критики его причисляли к экспрессионистам; а его рисунки - сочетание жестокого реализма с тем предвидением, которое люди почему-то называют фантазией. Да, он осмелился показать тайных советников

голыми за письменными столами, расфуфыренных толстых дамочек, которые потрошат трупы, убийц, старательна моющих в тазике окровавленные руки. Для 1922 года это казалось фантастикой, в 1942 году это стало буднями. Рисунки Гросса в их жестокости поэтичны, они сродни деревянным Ледам Гильдесгейма, типографским гномам готической азбуки, кабачкам под ратушами, запаху горя и солода, который стоит на узких средневековых улицах.

У Гросса были светлые глаза младенца, застенчивая улыбка. Он был мягким и добрым человеком, ненавидел жестокость, мечтал о человеческом счастье; может быть, именно это помогло ему беспощадно изобразить те хорошо унавоженные парники, в которых укоренялись будущие оберштурмфюреры, любительницы военных трофеев, печники Освенцима.

Весь мир тогда глядел на Берлин. Одни боялись, другие надеялись: в этом городе решалась судьба Европы предстоящих десятилетий. Все мне здесь было чужим - и дома, и нравы, и аккуратный разврат, и вера в цифры, в винтики, в диаграммы. И все же я тогда писал: «... Мои любовные слова о Берлине я снабдил столь непривлекательными описаниями, что ты, вероятно, обрадуешься, что ты не в Берлине... Я прошу тебя, поверь мне за глаза и полюби Берлин - город отвратительных памятников и встревоженных глаз». Два года я прожил в этом городе в тревоге и в надежде: мне казалось, что я на фронте и что короткий час, когда замолкают орудия, затянулся. Но часто я спрашивал себя: чего я жду? Мне хотелось верить, и не верилось...

Маяковский, приехав впервые в Берлин осенью 1922 года, объяснялся в любви:

Сегодня хожу по твоей земле, Германия, и мои любовь к тебе расцветает все романнее и романнее.

«Романнее» звучит для нас странно; видимо, оно произведено от «романа» не в литературном, а в разговорном значении этого слова. Иногда поэт видит то, чего не видят критики, и тогда поэта обвиняют в ошибках. Иногда поэт ошибается вместе с другими, и критики, как добрые экзаменаторы, одобрительно кивают головами. Говоря о Германии, Маяковский повторил то, что думали в 1922 году миллионы людей. Правда, позади были разгром Советской республики в Баварии, убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург; но впереди маячили

огни Гамбургского восстания. Для современников ничего еще не было решено, и осенью 1922 года я вместе с другими ждал революцию.

Напрасно немцам приписывали умеренность, любовь к золотой середине: не только искусство экспрессионистов, но и слишком многие страницы немецкой истории помечены чрезмерностью.

Маяковский писал, что «сквозь Вильгельмов пролет Бранденбургских ворот» пройдут берлинские рабочие, выигравшие битву. История решила иначе: одиннадцать лет спустя сквозь эти ворота прошли бесновавшиеся гитлеровцы, а в мае 1945 года советские солдаты...

Не знаю, сколько русских было в те годы в Берлине; наверно, очень много - на каждом шагу можно было услышать русскую речь. Открылись десятки русских ресторанов - с балалайками, с зурной, с цыганами, с блинами, с шашлыками и, разумеется, с обязательным надрывом. Имелся театр миниатюр. Выходило три ежедневных газеты, пять еженедельных. За один год возникло семнадцать русских издательств; выпускали Фонвизина и Пильняка, поваренные книги, труды отцов церкви, технические справочники, мемуары, пасквили.

Где-то в Сербии врангелевские генералы еще подписывали военные приказы. Газета «Двуглавый орел» публиковала рескрипты «его императорского величества». Суворин-сын в «Новом времени» составлял списки будущего правительства; иностранные дела предполагалось поручить Маркову-второму, внутренние - Бурцеву. Какие-то проходимцы вербовали изголодавшихся людей в фантастические «отряды смерти». Однако вчерашние поручики и корнеты мечтали уже не о штурме российских городов, а о французской или немецкой визе. Атаман Краснов, отложив батожок, единым духом написал длинейший роман «От двуглавого орла к красному знамени».

Некоторым головорезам трудно было сразу стать шоферами такси или рабочими; они пытались продлить прошлое. Большевики были далеко, приходилось сводить счеты с товарищами по эмиграции. На лекции Милюкова монархисты застрелили кадета Набокова. Черносотенцы обрушились на Керенского, уверяя, будто он сын известной революционерки Геси Гельфман. «Черный гусар» Посажной писал:

Языком, что без оков,
Глупости болтает.
Забывает Милюков,
Что терпенье тает.
Загораются огни,
Мщения пожары.
Он погибнет от меня,

Черные гусары!

Помню, как нас веселила книга некоего Бостунича «Масонство и русская революция», в которой говорилось, что эсер Чернов на самом деле Либерман, а октябрист Гучков - масон и еврей по имени Вакье; Россию погубили вечные ручки Ватермана и шампанское Купферберга, помеченные дьявольскими пентаграммами.

Известный в дореволюционные годы журналист Василевский - Не-Буква писал, что «большевики растлили Сологуба», ссылаясь на роман «Заклинательница змей», написанный до революции. Бурцев называл Есенина «советским Распутиным», К. Чуковского за статью «Ахматова и Маяковский» объявили «советским прихвостнем»; а тот самый Кайранский, что сочинил про меня юдофобские стишки, острил: «Музыкальный инструмент Маяковского - канализационная труба». Не уступали журналистам и писатели с именем. Зинаида Гиппиус травила Андрея Белого, беллетрист Е. Чириков, который многим был обязан Горькому, написал пасквиль «Смердяков русской революции». Бунин чернил всех. Белые газеты, что ни день, объявляли о близком конце большевиков.

Все это было бурей в стакане воды, истерикой низ верже иных помпадуров, работой десятка иностранных разведок или бредом отдельных фанатиков. Среди эмигрантов было много людей, не понимавших, почему они очутились в эмиграции. Одни убежали в припадке страха, другие от голода, третьи потому, что уезжали их соседи. Кто-то остался, кто-то уехал; один брат ходил на субботники в Костроме, другой мыл тарелки в берлинском ресторане «Медведь», взгляды у них были одинаковые, да и характеры сходные. Судьбу миллионов людей решила простая случайность.

Казалось бы, все стало на свое место, твердь отделилась от хляби; а на самом деле еще царила неразбериха переходного времени. Издатель Ладыжников выпускал книги Горького и Мережковского. Другой издатель, З. И. Гржебин, на своих изданиях ставил: «Москва - Петербург - Берлин», а печатал он произведения самых различных авторов - Брюсова и Пильняка, Горького и Виктора Чернова.

Издательство, выпустившее «Хулио Хуренито», называлось поэтично - «Геликон». Горы, где обитали некогда музы, не оказалось; была маленькая контора на Якобштрассе, и там сидел молодой человек поэтического облика - А. Г. Вишняк. Он сразу подкупил меня

своей любовью к искусству. Абрам Григорьевич издавал стихи Пастернака и Цветаевой, книги Андрея Белого, Шкловского, Ремизова. Эмигрантские критики его называли «полубольшевиком». А мы его прозвали «Мурзуком». Он внес в берлинский быт нравы московской зеленой богемы. Марина Цветаева посвятила ему цикл стихотворений в книге «Ремесло», писала о глазах Абрама Григорьевича:

Орлы и гады в них, и лунный год.

Весь грустноглазый твой, чужой народ...

Я подружился с ним и с его женой Верой Лазаревной. Потом Вишняки перебрались в Париж. Когда гитлеровцы оккупировали этот город, мы часто обедали у старых друзей. Расстался я с ними в тревоге, а потом узнал, что эти хорошие, добрые люди погибли в Освенциме.

В Берлине существовало место, наминавшее Ноев ковчег, где мирно встречались чистые и нечистые; оно называлось Домом искусств. В заурядном немецком кафе по пятницам собирались русские писатели. Читали рассказы Толстой, Ремизов, Лидин, Пильняк, Соколов-Микитов. Выступал Маяковский. Читали стихи Есенин, Марина Цветаева, Андрей Белый, Пастернак, Ходасевич. Как-то я увидел приехавшего из Эстонии Игоря Северянина; он по-прежнему восхищался собой и прочитал все те же «поэзы». На докладе художника Пуни разразилась гроза; яростно спорили друг с другом Архипенко, Альтман, Шкловский, Маяковский, Штеренберг, Габо, Лисицкий, я. Вечер, посвященный тридцатилетию литературной деятельности А. М. Горького, прошел, напротив, спокойно. Имажинисты устроили свой вечер, буянили, как в московском «Стойле Пегаса». Пришел как-то Е. Чириков, сел рядом с Маяковским, спокойно слушал.

Теперь мне самому все это кажется неправдоподобным. Года два или три спустя поэт Ходасевич (я уже не говорю о Чирикове) никогда не пришел бы в помещение, где находился Маяковский. Видимо, не все кости еще были брошены. Горького некоторые называли «полуэмигрантом». Ходасевич, ставший потом сотрудником монархического «Возрождения», редактировал с Горьким литературный журнал и говорил, что собирается вернуться в Советскую Россию. А. Н. Толстой, окруженный сменовеховцами, то

восхвалял большевиков как «собирателей земли русской», то сердито ругался. Туман еще клубился.

Успеху Дома искусств немало содействовал его первый председатель, поэт-символист Николай Максимович Минский. Ему тогда было шестьдесят семь лет; он был низеньким, круглым, улыбался и мурлыкал, как ласковый кот. Теперь его имя всеми забыто, а когда я был юношей, о нем много говорили; с ним спорил Вячеслав Иванов, про него писал Блок; барышни зачитывались его стихами, попавшими в «Чтец-декламатор»: «Сны мимолетные, сны беззаботные снятся лишь раз...»

В 1905 году Минский, как многие поэты-символисты, пережил увлечение революцией. У него имелось разрешение на издание газеты, и по иронии судьбы проповедник культа «абсолютной личности» стал официальным редактором первой легальной большевистской газеты «Новая жизнь». В редакционную работу он не вмешивался, но напечатал в газете стихи:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Наша сила, наша воля, наша власть.

В бой последний, как на праздник, собирайтесь.

Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть. Поэтом он был посредственным, но роль его в развитии эстетической культуры в конце прошлого века бесспорна.

Газету «Новая жизнь» царские власти вскоре закрыли, а Николая Максимовича предали суду. Он уехал за границу и прожил там до смерти (умер он в возрасте восьмидесяти трех лет).

Может быть, именно потому, что он не видел ни революции, ни гражданской войны, он благодушно беседовал и с советскими писателями, и с самыми непримиримыми эмигрантами. По-моему, он не совсем ясно понимал, что именно их разделяет, и часто попадал впросак: доказывал Л. Шестову, что и у коллектива свои права, требовал от Маяковского признания свободы слова, ссылаясь при этом на традиции Короленко, а обращаясь к А. Н. Толстому, неизменно восхвалял футуризм, имажинизм и другие новшества. Но говорил он все это доброжелательно, и никто на него не обижался. Улыбался он всем, а особенно нежно - женщинам.

Мне он неизменно доказывал: «Мало победы работников физического труда, необходимо объединить работников умственного

труда. Нужно воспитывать детей - от них зависит будущее. Очаги воспитания - такова задача молодых». Он был очень оторван от жизни, особенно русской. Я едва удерживался, чтобы не рассмеяться, когда он называл проектируемые им детские приюты «альмами»; по-латыни «альма» - «кормилица», но по-русски звучит странно, и как раз у моих знакомых была овчарка, которую звали Альмой. А Николай Максимович мурлыкал и улыбался. При встрече Нового года в Доме искусств он прочитал стихотворный тост:

Встретим, радуясь, как дети.

Год тысяча девятьсот двадцать третий...

Конец распрям вздорным,

Андрей Белый подружится с Сашей Черным...

Шкловский примирится с содержанием Шекспира.

Пастернаку достанется Лермонтова лира.

А председателю Минскому в награду за старанья

Достанутся бурные рукоплесканья...

Был в Берлине еще один клочок «ничьей земли», где встречались советские писатели с эмигрантскими,- страницы журнала «Новая русская книга». Издавал его профессор Александр Семенович Яценко, юрист и любитель литературы; из России он уехал с советским паспортом и, подобно Минскому, старался объединить всех. Кто только не сотрудничал в его журнале! Я прославлял работы Татлина и возражал эмигрантским хулителям советской поэзии. Александр Семенович вздыхал: «Резко, чересчур резко»,- но статьи мои печатал. А рядом ставил заклинания бывшего толстовца, монархиста И. Наживина: «Старая Русь быстро стала царством Хама... Но молодежь погибала, генералы пьянствовали, крали, беззаконничали, а тылы спекулировали на крови и похабничали... В эмиграции я стал энергично продолжать национальную и монархическую работу, но с каждым днем во мне грозно нарастали сомнения... И все оподлели, и все обессилели. Будущее наше мучительно и мрачно...» А в следующем номере выступал Маяковский: «Стал писать в «Известиях». Организую издательство МАФ. Собираю футуристов коммуны...»

Кругом был Берлин, с его длинными, унылыми улицами, с дурным искусством и с прекрасными машинами, с надеждой на

революцию и с выстрелами первых фашистов. Поэт Ходасевич описывал берлинскую ночь глазами русского:

Как изваянья - слипшиеся пары.
И тяжкий вздох. И тяжкий дух сигары...
Жди: резкий ветер дунет в окарино
По скважинам громоздкого Берлина,-
И грубый день взойдет из-за домов
Над мачехой российских городов.

Понять «мачеху российских городов» было нелегко. В ее школах сидели чинные мальчики, которым предстояло двадцать лет спустя исполосовать мать городов русских. Впрочем, Ходасевич, как и большинство русских писателей, отворачивался от жизни Германии.

Сидел у себя дома, сгорбившись, А. М. Ремизов и причудливой вязью писал «Россию в письменах». Андрей Белый говорил, что пишет о Блоке. А. Н. Толстой вместе с художником Пуни работал над книгой о русском искусстве. Марина Цветаева в Берлине написала одну из своих лучших книг - «Ремесло».

Я много работал; за два года написал «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Трест Д. Е.», «Тринадцать трубок», «Шесть повестей о легких концах», «Любовь Жанны Ней». После «Хулио Хуренито» мне казалось, что я вышел на дорогу, нашел свои темы, свой язык; на самом деле я блуждал, и почти каждая новая книга перечеркивала предшествующую. Об этом я расскажу дальше. Теперь скажу о другом: вместе с художником-конструктивистом Эль Лисицким я издавал журнал «Вещь».

Лисицкий твердо верил в конструктивизм. В жизни он был мягким, чрезвычайно добрым, порой наивным; хворал; влюблялся, как влюблялись в прошлом веке,- слепо, самоотверженно. А в искусстве он казался непреклонным математиком, вдохновлялся точностью, бредил трезвостью. Был он необычайным выдумщиком, умел оформить стенд на выставке так, что бедность экспонатов казалась избытком; умел по-новому построить книгу. В его рисунках видны и чувство цвета, и мастерство композиции.

«Вещь» выпускало издательство «Скифы». Легко догадаться, насколько революционные славянофилы и неисправимые народники были далеки от идей конструктивизма, которые мы проповедовали.

После первого номера они не выдержали и печатно от нас «отмежевались».

Что касается меня самого, то я в каждой книге «отмежевывался» от самого себя. Именно тогда В. Б. Шкловский назвал меня «Павлом Савловичем». В его устах это не могло звучать зло. В жизни он делал то, что делали почти все его сверстники, то есть не раз менял свои воззрения и оценки, делал это без горечи, даже с некоторым задором; только глаза у него были печальными - с такими он, видимо, родился. В книге «Цоо», написанной в Берлине, он писал: «Из-за холода отрекся апостол Петр от Христа. Ночь была свежая, и он подходил к костру, а у костра было общественное мнение, слуги спрашивали Петра о Христе, а Петр отрекался... Хороню, что Христос не был распят в России: климат у нас континентальный, морозы с бураном...» Шкловский никогда ни от чего не отрекался для того, чтобы подойти поближе к костру; но мне кажется, что этому пылкому человеку холодно на свете. Холодно ему было и в Берлине. Там он написал, на мой взгляд, лучшую свою книгу «Сентиментальное путешествие». Ее построение - внезапные переходы от одного сюжета к другому («в огороде бузина, а в Киеве дядька»), ассоциации по смежности, мелькание кадров и подчеркнута личная интонация,- все это диктовалось содержанием: Шкловский описывал страшные годы России и свое внутреннее смятение. Потом он продолжал писать о предметах куда более спокойных, даже академических, так, как писал прежде о теплушках восемнадцатого года. В нем очень много блеска; отдельные его фразы вошли в фольклор нашей эпохи; это фейерверк, который на минуту озаряет все вокруг; читать при фейерверке трудно.

В Берлине печальные глаза Шкловского были печальны вдвойне; он никак не мог приспособиться к жизни за границей; писал он тогда «Цоо».

Эта книга имела непредвиденное продолжение в жизни: она способствовала рождению писательницы, которую некоторые молодые читатели считают француженкой. Эльза Юрьевна Триоле жила тогда в Берлине, и мы с ней часто встречались. Она - москвичка, сестра Лили Юрьевны Брик. В начале революции она вышла замуж за француза Андре Триоле. Андрея Петровича, которого мы вслед за Эльзой называли просто Петровичем, и уехала с ним на Таити. (Петрович был своеобразным человеком, основной его страстью были

лошади. Как-то в Париже он сказал мне, что на каникулы едет в Данию: там чудесные пастбища, и его лошади смогут хорошо отдохнуть.) Андре Триоле после возвращения с Таити остался в Париже, а Эльза Юрьевна уехала в Берлин. Была она очень молода, привлекательна - розовая, как некоторые холсты Ренуара, и печальная. В. Б. Шкловский включил в свою книгу «Цоо» четыре или пять писем Эльзы. Когда книга вышла. Горький сказал Виктору Борисовичу, что ему понравились женские письма. Два года спустя московское издательство «Круг» издало первую книгу Эльзы Триоле «На Таити». Эльза Юрьевна потом жила в Париже, почти каждый вечер я видел ее на Монпарнасе. Там в 1928 году она познакомилась с Арагоном и вскоре начала писать по-французски.

Шкловский в «Цоо» упрекал свою героиню за то, что она слишком любит «общевропейскую культуру» и, следовательно, может жить вне России. Чувства Виктора Борисовича понятны: случайно очутившись в Берлине, он тосковал и рвался домой.

Борис Андреевич Пильняк, приехав в Берлин, с любопытством разглядывал чужую жизнь. Был он человеком талантливым и путаным. Он хорошо знал то, о чем писал, поразил читателей и русских и зарубежных не только жестокими деталями описываемого быта, но и непривычной формой повествования. На книгах Пильняка двадцатых годов, как и на книгах многих его сверстников, лежит печать эпохи - сочетание грубости и вычурности, голода и культа искусства, увлечения Лесковым и услышанной на базаре перебранкой. Он погиб одним из первых в начале 1937 года, и трудно сказать, как пошел бы дальше его писательский путь. В Берлине в 1922 году он говорил, что революция «мужицкая», «национальная», ругал Петра, который «оторвал Россию от России». Простота его была с хитрецей: он обожал юродство (это слово, кажется, не существует ни в одном из европейских языков) - древнюю русскую форму самозащиты.

Есенин прожил в Берлине несколько месяцев, томился и, конечно же, буянил. Его неизменно сопровождал имажинист Кусиков, который играл на гитаре и декламировал:

Про меня говорят, что я сволочь,
Что я хитрый и злой черкес.

Они пили и пели. Напрасно Айседора Дункан пыталась унять Есенина; одна сцена следовала за другой. Пильняк, выпив, пытался

построить на русском разоре философию, а Есенин в отчаянии бил посуду.

Начала выходить газета «Накануне». Мне привелось раза два или три разговаривать с ее идеологами. Сменовеховцы откровенно признавались, что коммунизм им не по душе, но хорошо, что большевики создали армию, выгнали интервентов, дали отпор Польше. «Мы за твердую власть,- говорили они,- а остальное образуется». Я писал поэтессе М. М. Шкапской: «Накануновцы» не хотят простить мне отказа писать у них, но, что делать, я для них слишком левый...» Журналист Василевский - Не-Буква напечатал в «Накануне» хлесткую статью обо мне, вспоминая, как в «Хуренито» мулатка хлестала героя романа Эренбурга ломтями ростбифа по щекам, говорил, что меня следует бить по лицу окороком с хорошей костью.

Алексей Николаевич Толстой сидел мрачный, попыхивая трубкой, молчал и вдруг, успокоенный, улыбался. Как-то он сказал мне: «В эмиграции не будет никакой литературы, увидишь. Эмиграция может убить любого писателя в два-три года...» Он уже знал, что скоро вернется домой.

«Скифы» были за Разина, за Пугачева, цитировали то «Двенадцать», то стихи Есенина о «железном госте». Сменовеховцы говорили, что большевики - наследники Ивана Грозного и Петра. Все они клялись Россией, и все твердили о «корнях», о «традициях», о «национальном духе». А рядовые эмигранты, выпив в ресторане «Тройка» несколько стопок и услышав «Выплывают расписные...», плакали и ругались, как плакали и ругались в последней русской теплушке, улепетывая за границу.

Толстой был прав: для большинства русских писателей эмиграция была смертью. В чем тут дело? Действительно ли любая эмиграция убивает писателя? Не думаю. Вольтер прожил в эмиграции сорок два года, Гейне - двадцать пять лет, Герцен - двадцать три года, Гюго - девятнадцать лет, Мицкевич - двадцать шесть; в эмиграции написаны и «Кандид», и «Германия. Зимняя сказка», и «Былое и думы», и «Отверженные», и «Пан Тадеуш». Дело не в разлуке с родиной, как бы тяжела она ни была, в эмиграции могут оказаться разные писатели - и разведчики и обозники. Дантон сказал, что нельзя унести родину на подошвах своих ботинок; это верно; но можно

унести родину в сознании, в сердце. Можно уехать за тридевять земель не с мелкой злобой, а с большими идеями. Тем и отличается судьба Герцена от судьбы Бунина.

«Скифы», «евразийцы», «сменовеховцы» сходились на одном: гнилому, умирающему Западу противопоставляли Россию. Эти обличения Европы были своеобразным отголоском давних суждений славянофилов.

(Четверть века спустя после тех лет, о которых я пишу, неожиданно воскресли некоторые мысли, да и словечки. Бесспорно, низкопоклонство - непривлекательное зрелище, оно унижает и того, кто кланяется, и того, кому кланяются. Еще сатирики XVIII века высмеивали русских дворян, старавшихся «французить». Мне противен советский мешанин, который, увидев пошлый американский фильм, говорит своей супруге (у такого не жена, а обязательно супруга): «Далеко нам до них!» Я готов, однако, низко поклониться не только Шекспиру или Сервантесу, но и Пикассо, Чаплину, Хемингуэю, не думаю, что это может меня принизить. Непрерывные разговоры о своем превосходстве связаны с пресмыкательством перед чужестранным - это различные проявления того же комплекса неполноценности; и мне не менее противен другой мешанин, готовый искренне или лицемерно оплевать все хорошее, если это хорошее - чужое.)

В «Записках писателя» Е. Г. Лундберга есть запись, относящаяся к началу 1922 года: «Группа русских писателей собралась пить чай и ликеры в нарядном кафе над рестораном Вилли. Начались тосты. Кто пил за литературу, кто за мудрость, кто за свободу. «Против насилия!» - поднял бокал, закусывая от внутренней боли губы, экспатриированный философ. Все стихли. Ясно было, против кого направлен тост. Помолчали, обнялись, выпили. Только И. Эренбург и я остались в стороне. О чем думал Эренбург, я не знаю. А я - о рабстве полунищего среднего человека на этом милом сердцам культурных людей кладбище Европы». Я не помню, конечно, о чем я думал в кафе Вилли; смутно припоминаю самую встречу. Но я хорошо знаю, о чем я думал в те годы.

«Скифы» родились от известного стихотворения Блока. Как ни сильна блоковская магия слова, некоторые строфы этого стихотворения мне были и остались чуждыми:

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!
Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Нет, я не хотел принять «азиатской рожи»! Слова эти звучат исторически несправедливо, и, конечно же, в Индии не меньше философов и поэтов, чем в Англии. Е. Г. Лундбергу Европа тогда казалась милым сердцу кладбищем. А я Европу не отпевал. Мой роман «Трест Д. Е.», написанный в те годы, - история гибели Европы в результате деятельности американского треста. Это сатира; я мог бы ее написать и сейчас с подзаголовком - «Эпизоды третьей мировой войны». Европа для меня была не кладбищем, а полем битвы, порой милым, порой немилым: такой я ее видел юношей в Париже, такой нашел в тревожном Берлине 1922 года. (Такой вижу ее и теперь. Можно, разумеется, по-разному относиться к Европе - «открывать окно», законопачивать двери, можно и вспомнить, что вся наша культура - от Киевской Руси до Ленина - неразрывно связана с культурой Европы.)

О чем еще я думал в то время? О том, как примирить «интеграл» с человечностью, справедливость с искусством. Я знал, что можно гордиться подвигом народа, который первым решился пойти по неисследованному пути, но этот путь мне казался куда более широким, чем традиции одной страны или душа одной нации.

Не помню, кто именно пил чай и ликеры в кафе Вилли. Может быть, один из находившихся там потом направился в «Тройку» и за рюмкой водки бубнил о миссии России. Чехов записал монолог: «Патриот: «А вы знаете, что наши русские макароны лучше, чем итальянские! Я вам докажу! Однажды в Ницце мне подали севрюги - так я чуть не зарыдал...»

Со временем тостов в кафе Вилли прошло сорок лет. Старая эмиграция исчезла: люди состарились, умерли; их дети стали исправными французами, немцами, англичанами. Сын кадета Набокова, убитого некогда ультра монархистом, теперь один из самых

читаемых писателей Америки; он писал сначала по-русски, потом по-французски, теперь пишет по-английски.

Газеты не раз отмечали недостатки наших рыбных промыслов. Но та севрюга, о которой писал Чехов, осталась...

В 1922 году в бюргерский скромный пансион на Траутенауштрассе, где я жил, пришел неизвестный мне человек, застенчиво и гордо сказал: «Я - Тувим». Я тогда не знал его стихов, но сразу почувствовал смятение: передо мной был поэт. Все знают, что стихотворцев на свете много, а поэтов мало, и встречи с ними потрясают. Пушкин говорил, что вне часов вдохновения душа поэта «вкушает хладный сон». Не этот ли мнимый холод обжигает окружающих? «Хладный сон» Тувима был страстен, горек, неистов.

Он расспрашивал меня про русских поэтов, про Москву. Он жил двумя страстями: любовью к людям и трудной близостью к искусству. Мы сразу нашли общий язык.

Почти всю жизнь мы прожили в разных мирах и встречались редко, случайно (прежде говорили - «как корабли в море», я скажу - как пассажиры на шумном аэровокзале, где громкоговорители ревут: «Производится посадка...»). А вот мало кого я любил так нежно, суеверно, безотчетно, как Юлиана Тувима...

При первой встрече меня поразила его красота. Ему тогда было двадцать восемь лет. Впрочем, красивым он оставался до конца своей жизни. Большое родимое пятно на щеке придавало строго обрисованному лицу трагический характер, а улыбался он печально, почти виновато; порывистые движения сочетались с глубокой застенчивостью.

Поэтам не положено долго засиживаться на земле, и молодые литераторы называли Тувима «стариком», а он не дожил до шестидесяти.

Линии жизни извилисты не только на ладони. Некоторые газетчики укоряли Тувима: он тогда-то того-то не понял, отвернулся, отступился, забежал вперед, отошел в сторону. В годы второй мировой войны Тувим писал: «Политика не является моей профессией. Она - функция моей совести и темперамента». Конечно, его путь не был прямой столбовой дорогой, но где и когда поэты маршировали по бетонированным шоссе?.. Тувим страдал болезнью пространства - агорафобией: ему трудно было перейти большую площадь. А

пришлось ему переходить через пустыри и пустыни, перешагнуть из одной эпохи в другую.

Маяковский писал о нем: «беспокоящийся, волнующийся» и, отмечая противоречия, приписывал их условиям жизни в Польше 1927 года: «Ему, очевидно, нравилось бы писать вещи того же порядка, что «Облако в штанах», но в Польше и с официальной поэзией и то не просуществуешь,- какие тут «облака». А ведь Маяковский написал «Облако в штанах» в царской России, и Тувим перевел эту поэму в реакционной Польше. Если он не написал «Облако в штанах», то только потому, что поэты не похожи один на другого.

В 1939 году советский знаток польской литературы уверял, что для Тувима характерны «безыдейность, бегство от жизни». За несколько месяцев до смерти Тувима я слышал радиопередачу «Конгресса за свободу и культуру» (организация, поддерживаемая американцами); комментатор говорил, что Тувим предал Польшу, изменил поэзии, потерял совесть.

Путь человека нельзя понять, увидев один его шаг; дорога жизни видна с горы, а не из подворотни. Годы меняют и облик государства, и мысли людей, но нечто самое существенное поэт пронесет через все свое творчество. Маяковский правильно назвал Тувима «беспокоящимся, волнующимся»; таким он остался до самой смерти: и когда ходил в кафе «Малая Земьянская» со своими друзьями «скамандритами» - Слонимским, Ивашкевичем, Лехонем (группа поэтов, хотевших обновить польскую поэзию, окрестила себя «Скамандр»), и когда порвал со многими из давних друзей, решив вернуться в новую Польшу, и когда в ранней молодости проклинал классические каноны, дерзил, куролесил, и когда незадолго до смерти восклицал: «Я полон таких шаблонов, как вера, надежда, любовь к благородным людям, ненависть к подлецам...»

В ноябре 1950 года в Варшаве проходил Второй Конгресс сторонников мира. Один очень сведущий и в то время очень влиятельный человек, показав мне на Тувима, который скромно сидел в глубине зала, сказал: «Видите, что значит перековка? Поэт беглых настроений теперь участвует в борьбе за мир...» Я в ответ усмехнулся: вспомнил давнее стихотворение Тувима, за которое его ругали на всех перекрестках,- он писал о нефти, о крови и призывал солдат бросить винтовки. Это было за четверть века до Первого

Конгресса сторонников мира. Но у некоторых людей, которые ездят в машинах, а из конного транспорта запомнили только образ обязательной подковы, длинные руки и короткая память.

Марина Цветаева писала, что «каждый поэт - в гетто». Эти строки нравились Тувиму, он их не раз мне повторял. А когда ему еще не было тридцати лет, он написал о тех, кто сажает поэтов в гетто, и о тех, кто в гетто не сдаётся:

Нет, вам не добиться ни службой, ни лестью

Моего свободного званья Поэта.

Господь не нацепит вон те созвездья

На ваши мундиры и эполеты.

Польша не всегда была ласкова к Тувиму, но он всегда любил Польшу. Природа польского патриотизма связана с трагической историей трех разделов; я никогда об этом не забывал, слушая признания Тувима. (Они, правда, были приправлены той долей иронии, которая диктуется стыдливостью.) Он страстно любил родную Лодзь, город, менее всего созданный для любования. В 1928 году я был в Варшаве, потом в Лодзи - читал отрывки из моих книг. Тувим заклинал меня не забыть посмотреть в Лодзи и Петроковскую улицу, и базар, и гостиницу «Савой», и фабрики, и нищие Балуты. Я остановился в лодзииским «Савое», видел фабрики, Балуты, большую тюрьму, видел литераторов, рабочих, жандармов, гимназистов, фабриканта Познанского, подпольщиков. Я записал тогда: «Короткое имя «Лодзь». Короткие фразы: «пять ящиков», «три вагона», «порцию гуся», «врача», «полицию», «похоронное бюро». Мысли еще короче. «Доллар - восемь злотых», «Сдохну!», «Выбьюсь!», «К черту!», «Арестовать!». Хороший город, откровенный город! Во всей Европе вы не найдете ни такой злобы, ни такой воли к жизни, ни такой тоски». Когда я встретился с Тувимом, я ему сказал: «Чудесный город!» Он улыбнулся,- наверно, он видел Лодзь другой: я был там неделю, а он там вырос; да и тем сильна любовь, что она многое преображает. Только недавно я прочитал стихи Тувима:

Пусть те восхваляют Сорренто, Крым,

Кто на красоты падок.

А я из Лодзи. И черный дым

Мне был отраден и сладок.

Вероятно, Тувим был куда сложнее, чем он казался не только начетчикам из различных монастырей, но и друзьям. Впрочем, об этом я еще скажу. Продолжаю о его любви к Польше.

В 1940 году Тувим добрался до Парижа. Странная то была зима или, как говорили французы, «странная война»! По ночам город был затемнен; но в ресторанах, в кафе за щитами окон было светло и шумно - военные развлекались. На фронте солдаты скучали, а в Париже полицейские работали без устали: никто в точности не знал, с кем Франция воюет - с немцами или с коммунистами. Стекла окон были покрыты узорами из тонких полосок бумаги - парижане страховали стекла от предполагаемых бомбежек; но все было тихо, невыносимо тихо, и вряд ли кто-нибудь догадывался, что через несколько месяцев разлетится вдребезги не окно предусмотрительной консьержки, а вся Франция. В ту зиму я болел и мало кого видел - многие друзья не хотели со мной встречаться: кто побаивался, а кто сердился - дружба дружбой, политика политикой. Тувим, однако, меня разыскал. Он думал об одном - о Польше, и Париж в ту зиму был ему чужим. Наша дружба выдержала трудное испытание; мы обнялись и поняли друг друга.

Мы расстались на шесть лет. Незачем говорить, какие это были годы. Осенью 1941 года, когда сводки Совинформбюро каждый день сообщали: «Наши войска оставили...», а по московским переулкам нестройно маршировали пожилые ополченцы, когда на Западе нас отпевали, я получил телеграмму из Нью-Йорка - Тувим говорил о дружбе, о любви, о вере. (Ничего у меня не сохранилось, кроме нескольких записных книжек, и я не помню текста телеграммы.) Тувим потом писал: «В период самых больших «триумфов» Гитлера на Восточном фронте я послал телеграмму Эренбургу - телеграмму, исполненную веры в грядущую победу Красной Армии».

Весной 1946 года я сидел в нью-йоркской квартире Тувима, среди сундуков и чемоданов: через неделю он должен был уехать во Францию, а оттуда в Варшаву. Он был необычайно весел, приподнят. Многие поляки, жившие тогда в Нью-Йорке, пробовали его отговорить: возвращение в Варшаву они называли «предательством». Конечно, Тувиму было нелегко рвать с иными из своих друзей, но жил он одним - близкой встречей с Польней, радовался, волновался, как подросток, который идет на первое свидание.

Осенью 1947 года я был в Польше. Тувим днем, вечером, ночью водил меня по развалинам Варшавы. «Нет, ты посмотри - какая красота!..» Город был страшен. Прекрасны развалины древних городов: время - гениальный зодчий, оно умеет и запустению придать гармонию; а города, только что разрушенные войной, терзают и глаз и сердце груды щебня, развороченные дома с клочьями обоев, с повисшей в небе винтовой лестницей, люди, которые ютятся в подвалах, в землянках, в щелях. Но Тувим видел красоту и в сожженной, истерзанной Варшаве: на то он был поляком, и на то он был поэтом.

Мне хочется сказать о любви Тувима к русскому народу и к русской поэзии. Казалось, прошлое могло бы заслонить многое: он ведь хорошо помнил царские порядки и городских на улицах Лодзи. В течение двадцати лет правящие круги Польши разогревали неприязнь: все русское поносилось. Тувима это не коснулось. Много лет он отдал переводам русских поэтов. Когда он читал мне свой перевод «Медного всадника», я слышал сложный пушкинский ритм. При одной из последних встреч он сказал мне: «Русский язык как будто нарочно создан для поэзии...»

Еще в двадцатые годы он мечтал поехать в Советский Союз. Он приехал в Москву весной 1948 года. В день его приезда мы пошли в ресторан. Он рассказывал, что именно хочет увидеть, а хотел он увидеть все. В тот же вечер он заболел; его отвезли в Боткинскую больницу. Врачи заподозрили, что у него рак. Больного Тувима отправили в сопровождении врача в Брест, куда был вызван польский доктор. Советский врач на латыни сообщил коллеге диагноз. Тувим знал латинский язык лучше молодых медиков. Он ждал быстрой развязки. Однако польские врачи установили, что у Тувима язва желудка, его оперировали, и он как будто воскрес. Пять лет спустя он умер от инфаркта. Так он и не увидел Москвы, кроме больничной палаты да номера в «Национале», о котором говорил, что он удивительно напоминает ему номера лодзинского «Савоя».

Есть у меня близкие друзья иностранцы; беседуя с ними, я вдруг чувствую - вот граница... Уж слишком по-разному мы жили и живем. Никогда с Тувимом я ничего подобного не испытывал, между нами не было не только «железного занавеса», но и легонькой занавески.

Гейне писал: «Когда я умру, они вырежут язык у моего трупа». Книги поэта, который прославил Германию, обогатил немецкую лирику, сто лет спустя горели на кострах в его родном Дюссельдорфе: расисты не могли простить автору «Зимней сказки», что он еврей. Когда я был в Польше в 1928 году, антисемиты травили Тувима; он показал мне газету, где говорилось, что его поэзия «отдает чесноком».

Есть у Тувима стихотворение о нищем еврейском мальчике, который пост грустную песню под окнами, надеясь, что какой-нибудь пан швырнет ему медяк. Тувиму хочется бросить мальчику свое сердце, уйти с ним, вместе петь песни печали под чужими окнами.

Только нет приюта в мире человеческом
Странникам-евреям с песней сумасшедшей.

В 1944 году Тувим написал обращение, озаглавленное «Мы - польские евреи». Я приведу несколько выдержек: «И сразу я слышу вопрос: «Откуда это «мы»? Вопрос в известной степени обоснованный. Мае задавали его евреи, которым я всегда говорил, что я - поляк. Теперь мне будут задавать его поляки, для подавляющего большинства которых я был и остаюсь евреем. Вот ответ и тем и другим. Я - поляк, потому что мне нравится быть поляком. Это мое личное дело, и я не обязан давать кому-либо в этом отчет. Я не делю поляков на породистых и непородистых, я предоставляю это расистам иностранным и отечественным. Я делю поляков, как евреев, как людей любой национальности, на умных и глупых, на честных и бесчестных, на интересных и скучных, на обидчиков и па обиженных, на достойных и недостойных. Я делю также поляков на фашистов и антифашистов... Я мог бы добавить, что в политическом плане я делю поляков на антисемитов и антифашистов, ибо антисемитизм - международный язык фашистов... Я - поляк, потому что в Польше я родился, вырос, учился, потому что в Польше узнал счастье и горе, потому что из изгнания я хочу во что бы то ни стало вернуться в Польшу, даже если мне будет в другом месте уготована райская жизнь... Я - поляк, потому что по-польски я исповедовался в тревогах первой любви, по-польски лепетал о счастье и бурях, которые она приносит. Я поляк еще потому, что береза и ветла мне ближе, чем пальма или кипарис, а Мицкевич и Шопен дороже, нежели Шекспир и Бетховен, дороже по причинам, которых я опять-таки не могу объяснить никакими доводами разума... Я слышу голоса: «Хорошо.

Но если вы поляк, почему вы пишете «мы - евреи»? Отвечу: «Из-за крови».- «Стало быть, расизм?» - «Нет, отнюдь не расизм. Наоборот. Бывает двойная кровь: та, что течет в жилах, и та, что течет из жил. Первая - это сок тела, ее исследование дело физиолога. Тот, кто приписывает этой крови какие-либо свойства, помимо физиологических, тот, как мы это видим, превращает города в развалины, убивает миллионы людей и в конце концов, как мы это увидим, обрекает на гибель свой собственный народ. Другая кровь - это та, которую главарь международного фашизма выкачивает из человечества, чтобы доказать превосходство своей крови над моей, над кровью замученных миллионов людей... Кровь евреев (не «еврейская кровь») течет глубокими, широкими ручьями; почерневшие потоки сливаются в бурную, вспененную реку, и в этом новом Иордане я принимаю святое крещение - кровавое, горячее, мученическое братство с евреями... Мы, Шлоймы, Срули, Мойшки, пархатые, чесночные, мы, со множеством обидных прозвищ, мы показали себя достойными Ахиллов, Ричардов Львиное Сердце и прочих героев. Мы в катакомбах и бункерах Варшавы, в зловонных трубах канализации дивили наших соседей - крыс. Мы, с ружьями на баррикадах, мы, под самолетами, которые бомбили наши убогие дома, мы были солдатами свободы и чести. «Арончик, что же ты не на фронте?» Он был на фронте, милостивые паны, и он погиб за Польшу...»

Эти слова, написанные кровью, «той, что течет из жил», переписывали тысячи людей. Я прочитал их в 1944 году и долго не мог ни с кем говорить: слова Тувима были той клятвой и тем проклятием, которые жили у многих в сердце. Он сумел их выразить.

Прошли годы. Гитлер отравился. Лидеры польских антисемитов эмигрировали в Англию, в Америку. Но в сердце Тувима не зажила рана. Помню последнюю встречу с ним; было это в злое время в 1952 году... Много мы вспомнили, о многом происходящем говорили. Юлек (да позволено мне будет здесь назвать его именно так) вдруг встал, подошел, обнял меня и тотчас, желая скрыть волнение, сказал: «А теперь пойдём в «Золушку», там готовят кофе по-итальянски...»

Я упомянул о Гейне: было у Тувима с ним нечто общее помимо того, что интересует знатоков человеческих пород,- ирония, порождаемая обостренной чувствительностью. Тувим мог порой

показаться высокомерным; многие его стихи обижали людей, уважающих иерархию; он отпускал едкие словечки. «Ты знаешь, у ежа, наверно, нежнейшее сердце»,- как-то сказал он. Будучи растроганным, он обычно пытался шутить. В 1950 году на Конгрессе мира к Тувиму подошла молоденькая девушка и стала восторженно рассказывать, как она любит его книгу «Седьмая осень». Тувим застеснялся и неожиданно, повернувшись ко мне, сказал: «А ты помнишь, как шпик оказался моим поклонником?..» Это было в 1928 году; в Варшаве за мной присматривали два шпики; один был рослый, с лицом и повадками боксера, другой - тщедушный, чернявый и очень близорукий: на улице он часто терял меня из виду. Я к ним привык, просил иногда купить газету или пакет табаку, словом - приручил. Однажды я шел по улице с Тувимом, мы говорили о поэзии; вдруг я увидел, что чернявый, вместо того чтобы трусить позади, идет рядом с Тувимом. Я рассердился и напомнил шпику о правилах приличия, но он ответил: «Это я не по службе... Как же мне не слушать, когда говорит Тувим?..» Мы рассмеялись от неожиданности.

Есть у Тувима много злых стихов о мещанах. Я вспоминаю кафе «Малая Земьянская» зимой 1928 года. Приходили туда не только поэты-«скамандриты», не только блистательный адъютант Пилсудского, Длугошовский-Венява, обожавший мир искусства,- там варшавяне, желавшие прослыть изысканными, за час до обеда пили кофе и поглотали пирожные с кремом. Тувим над ними издевался:

В час дня благоговейно
Балбес вошел в кофейню,
Сел важный, энергичный.
Почти что заграничный,
Из кожи лез бедняга,
Изображая гордо
Боксера иль варяга,
А может быть, и лорда...
Никем замечен не был
И, улыбаясь криво.
Решился быть испанцем
Де Мендос-и-Олива,
Дельцом из Пампелоны,
Певцом из Аликанте,

Испанцем-монархистом,
Испанцем-эмигрантом.
Но было все напрасно.
Хоть был он из Толедо,
И посему пошел он
До Ватер-и-Клозедо.
И там, изливши горе
Старухе бестолковой,
Вернулся в дом семнадцать
На Малой Кошиковой.

Порой многим казалось, что Тувим готов в сердцах повторить пушкинские слова: «Подите прочь - какое дело поэту мирному до вас!» На самом деле Тувим любил тех, кого называл «простыми людьми», когда эти слова еще не стали газетным штампом. Не случайно одно из лучших стихотворений, «Парикмахеры», он посвятил Чарли Чаплину - трогательному насмешнику, который в наш грозный век попытался защитить смешного маленького человека:

Вдоль стен пустой парикмахерской парикмахеры дремлют часами.

Ждут, глядят - нет клиентов, томятся, без дела шатаются,
Сами бреются, сами стригутся - все сами и сами,
Перемолвятся словом, задремлют, всхрапнут и опять
просыпаются...

Назревает гроза, посинело вокруг, петухи распевают,
Парикмахерам страшно, забегали - слышите гром!
Парикмахеры плачут, поют, парикмахеры ошалевают.
То стоят истуканами, то мечутся чуть не бегом.

Вряд ли в 1926 году политики Польши, сидя в парикмахерских или даже в зале сейма, слышали первые раскаты грома. Их услышал поэт.

В 1928 году я писал о Тувиме: «Спорить с ним нельзя. Он думает ассоциациями, аргументирует ассонансами...» Да, Тувим был прежде всего лириком; это не помешало ему понять эпоху лучше, чем ее поняли иные трезвенники сознания, которые думают схемами и аргументируют цитатами. Тувим в стихах выражал себя; может быть, поэтому его стихи воспринимались людьми как выражение их мыслей и чувствований, как нечто общее. Один поляк мне рассказывал, что,

будучи в годы войны партизаном, он повторял, как заклинание, стихи Тувима:

Я, может, лишь день там прожил,
А может, прожил век...
Я помню только утро
И белый-белый снег.

В молодости Тувим страстно любил Артюра Рембо, озорника и провидца, мятежника и подростка с лицом отчаявшегося ангела. При последней нашей встрече он вдруг сказал: «А лучше Блока, кажется, никто не сказал о самом трудном...» Поэтов он любил бескорыстно, переводил с равным увлечением «Облако в штанах» и «Слово о полку Игореве», не пытаясь ни у кого заимствовать. А Блок ему был все-таки сродни... Я очень люблю стихотворение Тувима «За круглым столом» с эпиграфом, взятым из песни Шуберта «О высокое искусство, сколько раз в часы печали...»:

А может, снова, дорогая,
В Томашув на день закатиться.
Там та же вьюга золотая
И тишь сентябрьская длится...
В том белом доме, в том покое,
Где мебель сдвинута чужая.
Наш давний спор незавершенный
Должны мы кончить, дорогая.

Может быть, это и есть «самое трудное» - поэзия здесь обнажена, она кажется сделанной из ничего, как в «Ночных часах» Блока, как в песенках Верлена.

Говоря, что Тувима порой не понимали даже его друзья, я думал именно об этом: в необычайной сложности, которая становится простотой, о человеке, много знавшем, мудром и в то же время ребячливом, об авторе смешных фарсов и трудной лирики. Он писал стихи для детей, и в одном стихотворении рассказал о чуде Янеке, который все делает наоборот. Дети, слушая стихи, смеялись, а Тувим виновато улыбался: он сам походил на высмеянного им Янека.

Когда в последний раз я был у него дома, он шутил с восьмилетней Евой. Почему-то нам было грустно обоим; но не думал я, что больше его не увижу.

Он любил деревья. Помню его стихи: в лесу он пытался опознать то дерево, из которого ему сколотят гроб; по светлой печали это стихотворение сродни «Брожу ли я вдоль улиц шумных...».

В парках Варшавы, за городом, в саду поэта Ивашкевича, глядя на деревья, я думал о дереве Юлиана Тувима. Он был на три года моложе меня, и вот уже много лет прошло с его смерти. Я привык к потерям и все же не могу примириться: больно.

Но как хорошо, что я его встретил!

В кафе «Прагер-диле» иногда приходили русские писатели. Разговоры между ними были шумливыми и путанными; и кельнеры никак не могли привыкнуть к загадочным завсегдатаям. Однажды Андрей Белый поспорил с Шестовым; говорили они о распаде личности, и говорили на том языке, который понятен только профессиональным философам. Потом настал роковой «полицейский час», в кафе погасили свет, а философский спор не был закончен.

Как забыть последующую сцену? В створках вращающейся двери кричали Андрей Белый и Шестов. Каждый, сам того не замечая, толкал вперед дверь, и они никак не могли выйти на улицу. Шестов, в шляпе, с бородой, с большой палкой, походил на Вечного жида. А Белый неистовствовал, метались руки, вздымался пух на голове. Старый кельнер, выдавший виды, сказал мне: «Этот русский, наверно, знаменитый человек...»

В 1902 году Андрею Белому, или, вернее сказать, Борису Николаевичу Бугаеву, студенту московского физико-математического факультета, было двадцать два года. Он писал тогда слабые символистические стихи и предстал перед В. Я. Брюсовым, который считался мэтром новой поэзии. Вот что записал Валерий Яковлевич в дневнике: «Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии. Это едва ли не интереснейший человек в России. Зрелость и дряхлость ума при странной молодости». А. А. Блок был связан с Андреем Белым многолетней дружбой; все было в их взаимоотношениях - и близость, и тяжелые разрывы, и примирения. Казалось, Блок мог привыкнуть к Белому; но нет, к Борису Николаевичу привыкнуть было невозможно. В 1920 году после встречи с Белым Блок записал: «Он такой же, как всегда: гениальный, странный».

Гений? Чудак? Пророк? Шут?.. Андрей Белый потряс всех с ним встречавшихся. В январе 1934 года, узнав о смерти Бориса Николаевича, Мандельштам написал цикл стихотворений. Он видел величие Белого:

Ему кавказские кричали горы

И нежных Альп стесненная толпа,
На звуковых громад крутые всхоры
Его ступала зрячая стопа.
И все же, выражая смятение других, писал:
Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер?
Не Гоголь, так себе писатель, гоголек.
Тот самый, что тогда невнятицу устроил,
Который шустрился, довольно уж легок.
О чем-то позабыл, чего-то не усвоил.
Затеял кавардак, перекрутил снежок...

В 1919 году я так описал Андрея Белого: «Огромные, разверстые глаза - бушующие костры на бледном, изможденном лице. Непомерно высокий лоб с островком стоящих дыбом волос. Читает он стихи, как вещает Сивилла, и, читая, машет руками: подчеркивает ритм - не стихов, а своих тайных помыслов. Это почти что смешно, и порой Белый кажется великолепным клоуном. Но когда он рядом - тревога и томление, ощущение какого-то стихийного неблагополучия овладевает всеми... Белый выше и значительнее своих книг. Он - блуждающий дух, не нашедший плоти, поток вне берегов... Почему даже пламенное слово «гений», когда говорят о Белом, звучит как титул? Белый мог бы стать пророком - его безумие юродивого озарено божественной мудростью. Но «шестикрылый серафим», слетев к нему, не закончил работы: он разверз очи поэта, дал ему услышать нездешние ритмы, подарил «жало мудрости змеи», но не коснулся его сердца...»

Когда я писал эти строки, я знал Андрея Белого только по книгам да по беглым московским встречам. В Берлине и в приморском местечке Свинемюнде я часто встречался с Борисом Николаевичем и понял, что, говоря о серафиме и сердце, ошибался: принимал за душевный холод несчастье, поломанные крылья, разбитую личную жизнь и чрезмерный блеск словаря.

Теперь, думая о судьбе этого воистину необычайного человека, я не могу найти разгадки. Вероятно, пути художников великих (да и не только великих) неисповедимы. Рафаэль умер молодым, но успел сказать все, что в нем было. А Леонардо да Винчи прожил долгую жизнь, открывал, изобретал, причем его научные труды были изданы тогда, когда все его открытия и изобретения имели только

историческую ценность, писал красками, им изготавливаемыми, которые быстро жухли, тускнели, осыпались, и миллионы людей знают не живописный гений Леонардо, а придуманную легенду о «таинственной улыбке» Джиоконды... Есть писатели, которые меньше написанных ими книг: вспоминаешь человека и дивишься, как он мог такое написать?.. Есть другие. Я и теперь, как сорок лет назад, думаю, что Андрей Белый был крупнее всего им написанного.

Я не хочу сказать, что его произведения незначительны или малоинтересны. Некоторые стихи из книги «Пепел» мне кажутся совершенными; роман «Петербург» - огромное событие в истории русской прозы; мемуары Андрея Белого захватывают. Но эти книги не переиздаются, их не переводят, не знают ни у нас, ни за границей.

Большая Советская Энциклопедия нашла доброе слово для отца Белого, математика Н. В. Бугаева, а Борису Николаевичу не повезло - он назван в манере 1950 года «клеветником». (Снова я думаю о преимуществе точных наук: к работе математика этикетки «клеветник» не приклеишь...)

Современному читателю трудно одолеть книгу Андрея Белого: мешают придуманные им словообразования, произвольная перестановка слов, нарочито подчеркнутый ритм прозы. Даже в замечательных мемуарах, написанных незадолго до смерти, Андрей Белый то и дело старался «перекрутить снежок»: «Балтрушайтис, угрюмый, как скалы, которого Юргисом звали, дружил с Поляковым... И не раздеваясь садился, слагал на палке свои две руки; и запахивался, как утес облаками, дымком папироски; с гримасой с ужаснейшей пепел стрясал, ставя локоть углом и моргая из-под поперечной морщины на собственный нос в красных явственных жилках...» Это кажется написанным на древнем языке, нужно расшифровывать, как «Слово о полку Игореве». Не всякий из молодых советских прозаиков знаком с книгами Андрея Белого. Однако без него (как и без Ремизова) трудно себе представить историю русской прозы. Вклад Андрея Белого чувствуется в произведениях некоторых современных авторов, которые, может быть, никогда не читали «Петербурга» и «Котика Летаева».

Пути развития литературы еще более загадочны, чем пути отдельных писателей. Эфирные масла, извлекаемые из корневищ ириса или из цветов иланг-иланга, никогда не применяются в чистом

виде, но ими пользуются все парфюмеры мира. Эссенция неизменно разбавляется водой. Мало кто способен прочитать от доски до доски собрание сочинений Велимира Хлебникова. А этот большой поэт продолжает оказывать влияние на современную поэзию - скрытыми, обходными путями: влияют те, на кого повлиял Хлебников. То же самое можно сказать и о прозе Андрея Белого.

Его путь был запутанным и малопонятным, как его синтаксис. В 1932 году неподалеку от Кузнецка, в поселке, где жили шорцы, я видел последнего шамана. Он понимал, что его дни сочтены, и начинал шаманить неохотно, может быть с голоду или по привычке; но несколько минут спустя впадал в экстаз и вдохновенно выкрикивал никому не понятные слова. Вспоминая некоторые выступления Андрея Белого, я думаю об этом шамане. Мне кажется, что Борис Николаевич и говорил и писал часто в состоянии иступления, если угодно, шаманил - торопился, всегда что-то видел и предвидел, но не мог подобрать для увиденного понятных слов.

Он вдохновился Штейнером, антропософией, строил храм в Дорнахе, строил не как Волошин, нет, всерьез, иступленно. В Берлине в 1922 году было множество танцулек; растерянные полуголодные немки и немцы часами танцевали входивший в моду фокстрот. Что приснилось Андрею Белому, когда он услышал впервые джаз? Почему он начал неистово танцевать, пугая глазами пророка молоденьких приказчиц? Он рано поседел; лицо было темным от загара, а глаза все сильнее и сильнее отделялись от лица, жили своей жизнью.

Все в нем было несчастьем: и сердечные драмы, и дружба с Блоком, и постоянные разуверения, и литературное одиночество. Еще в 1907 году он написал эпитафию себе:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил.
А жизни прожить не сумел.

Умер он в возрасте пятидесяти четырех лет не от солнечных стрел, а от усталости: хотел идти в ногу с веком, но то обгонял его. то оставался позади - «жизни прожить не сумел». Все, кажется, он испробовал - и мистику, и химию, и Канта, и Соловьева, и Маркса; был после Дорнаха руководителем литературной студии

Пролеткульта, писал для советских газет очерки о росте социалистической экономики, написал заумную «Глоссолалию», не раз хоронил себя и снова «затевал кавардак».

Непримиримые эмигранты его ненавидели: он им казался перебежчиком - ведь он проводил вечера в беседах с Шестовым, с Бердяевым, дружил с Мережковским и вдруг в Берлине в 1922 году заявил, что подлинная культура в Советской России, а убежавшие от революции мертвы и смердят.

«Скифы» считали его своим, трудно сказать почему, вероятно потому, что он восхищался гражданским мужеством Блока. Ничего «скифского» в Андрее Белом не было, он боялся «панмонголизма», о котором писал Соловьев и которым вдохновился Блок. Автоматизм западноевропейской буржуазной жизни Андрей Белый обличал не как скиф, мечтающий о древних кочевьях, а как гуманист эпохи Возрождения.

Помню два его признания. Разговаривая с Маяковским в Берлине (я писал, как высоко ценил Белый поэму «Человек»), Борис Николаевич сказал: «Все в вас принимаю - и футуризм, и революционность, одно меня отделяет - ваша любовь к машине как к таковой. Опасность утилитаризма не в том, что молодые люди увлекутся утилитарной стороной науки - это я только приветствую. Опасность в другом - в апологии Америки. Америки Уитмена больше нет, побеги травы высохли. Есть Америка, ополчившаяся на человека...» В другой раз Белый поспорил с крупным писателем, близким к сменовеховцам. Борис Николаевич кричал: «Вам не по душе революция, вы верите в нэп, вы восхищаетесь порядком, твердой рукой. А я за Октябрь! Понимаете? Если мне что-нибудь там не по душе, это именно то, что вам правится...»

Я писал в этой книге, что Андрей Белый в 1919 году предсказал атомную бомбу. Беседуя со мной, он часто говорил о том, что математики, инженеры, химики отрекаются от своего долга служить человечеству, работают над усовершенствованием гибели, катастрофы, смерти. (Он писал об этом в своем дневнике 1915 - 1916 годов «На перевале»).

Гений? Бесспорно. Бессильный гений. Незадолго до смерти он сам попытался разобраться в этом противоречии. «Тридцать лет припевы сопровождали меня: «Изменил убеждениям. Литературу

забросил... В себе сжег художника, став, как Гоголь, больным!.. Легкомысленнейшее существо, лирик!.. Мертвенный рационалист!.. Мистик!.. Материалистом стал!..» Я подавал много поводов так полагать о себе: перемудрами (от преждевременного усложнения тем), техницизмами контрапунктики в оркестрировании мировоззрения, увиденного мною многоголосной симфонией; так композитор, лишенный своих инструментов, не может напеть собственным жалким, простуженным горлом - и валторны, и флейты, и скрипки, и литавры в их перекликании». Вероятно, это самое правильное объяснение: сложнейшая партитура и слабый человеческий голос.

Отсюда и одиночество. На берегу моря, крепкий, казалось бы бодрый, он говорил мне: «Всего труднее найти связь с людьми, с народом». Подарив мне «Петербург», надписал: «...с чувством постоянной связи». Я говорю не о случайном совпадении слов, а о навязчивой идее. Он так хотел живой связи с людьми! А судьба его обошла. Личное горе выглядело холодом, «золотом в лазури». В стихотворении, посвященном Андрею Белому, Мандельштам писал:

Меж тобой и страной

Ледяная рождается связь.

Эти строки были написаны на следующий день после кончины Бориса Николаевича.

Я писал, что на развитие нашей прозы повлияли Андрей Белый и А. М. Ремизов, хотя их книги теперь почти всеми забыты. Эти писатели не походили друг на друга. Андрей Белый витал в небесах, не мог прожить и дня без философских обобщений, много ездил по свету, восторгался, горячился, спорил. Алексей Михайлович Ремизов был домоседом, жил на земле, даже под землей, ходил на колдуна и на крота, вдохновлялся корнями слов, не мудрил, как Белый, а чудил.

В 1921 - 1922 годах в литературу вошли молодые советские прозаики - Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Зощенко, многие другие; почти все они пережили увлечение Андреем Белым или Ремизовым. Я как-то заглянул в мои книги того времени («Неправдоподобные истории», «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Шесть повестей о легких концах») и удивился: запутанные или оборванные фразы, переставленные или придуманные словечки; а когда я так писал, подобный язык мне казался естественным. Так были написаны и «Голый год» Пильняка, и многие произведения молодых «Серрапионов». Если это можно назвать болезнью, то, говоря по газетному, она была болезнью роста.

Влияние Белого и Ремизова на молодых писателей было настолько очевидным, что А. М. Горький писал К. А. Федину: «Но - не поймите, что я рекомендую Вам Белого или Ремизова в учителя - отнюдь! Да, у них - изумительно богатый лексикон, и, конечно, это достойно внимания, как достоин его и третий обладатель сокровищами чистого русского языка - Н. С. Лесков. Но - ищите себя. Это тоже интересно, важно и, может быть, очень значительно».

Я рассказал об Андрее Белом. Теперь мне хочется вспомнить А. М. Ремизова, с которым я познакомился в 1922 году в Берлине. В мещанской немецкой квартире, в комнате, заставленной чужими вещами, сидел маленький сгорбленный человек с большим любопытным носом и с живыми, лукавыми глазами. Его жена, Серафима Павловна, хлопотливо потчевала гостей чаем. На письменном столе я увидел рукописи, написанные, вернее, нарисованные мастером каллиграфии. А на веревочках покачивались

различные черти, вырезанные из бумаги: домашние и злые, хитрые и простодушные, как новорожденные козлята. Алексей Михайлович тихо посмеивался: в тот день, кроме привычных игрушек, у него была новенькая - Пильняк, который рассказывал фантастические истории о жизни в Коломне.

В Берлине Ремизов был таким же, как в Москве или в Петрограде, писал такие же сказки, играл в те же игры, разводил тех же чертяк - я говорю это, читая теперь записи людей, встречавшихся с ним до его отъезда за границу. Вот что писал В. Г. Лидин в 1921 году: «Не перевелись еще человечки такие, русские, земляные, мышинные, живет и здравствует, и дай бог лета долгие человечку российскому, в ночи перышком скрипящему да скрипящему - в голодуху и холод - царю обезьяньему Алексею Михайлычу Ремизову». В 1944 году в книге «Горький среди нас» К. А. Федин вспоминал первые годы революции: «Сутулый, схожий чем-то с Коньком-горбунком, чуть-чуть вприсядочку бежит по Невскому человек, колюче выплядывающий из-за очков, в пальтеце и в шапочке... Он прячет большой, многоумный затылок в поднятый воротник, а подбородок и губы выпячивает, и крючковатый немалый нос его чувствительно движет кончиком, вероятно принюхиваясь к тому, что излетает из выпяченных уст». (Лидин написал приведенные мной строки в годы повального подражания Ремизову, Федин - двадцать лет спустя, но и он, рассказывая об Алексее Михайловиче, невольно заговорил на давно забытом ремизовском языке...)

Среди прочих игр Ремизов играл в некий таинственный орден, созданный им,- «Обезьянья великая и вольная палата» или «Обезвелволпал». Он производил в кавалеры, в князья, в епископы друзей-писателей: Е. И. Замятина, П. Е. Щеголева, «Серапионов». Я числился «кавалером с жужелиным хоботком».

В 1946 году, приехав в Париж, я пошел к Алексею Михайловичу. Я не видел его перед тем лет двадцать. Незачем напоминать, какие это были годы. Много несчастий перенес и Алексей Михайлович. В годы немецкой оккупации он голодал, бедствовал, мерз. В 1943 году умерла Серафима Павловна. Я увидел согнутого в три погибели старика. Жил он один, забытый, заброшенный, жил в вечной нужде. Но тот же лукавый огонек посвечивал в его глазах, те же черти кружились но комнате и так же он писал - древней вязью, записывал сны, писал

письма покойной жене, работал над книгами, которые никто не хотел печатать. Недавно Н. Кодрянская прислала мне книгу, посвященную последним годам жизни Алексея Михайловича. Я гляжу на его фотографии. Он терял зрение, с трудом писал, называл себя «слепым писателем», но, удивительно, глаза сохраняли прежнюю выразительность, и работал он до последнего дня; писал все о том же и все так же - «Мышкину дудочку», «Павлинье перо», «Повесть о двух зверях». Умер он в 1957 году, в возрасте восьмидесяти лет. Незадолго до смерти писал в дневнике: «Напор затей, а осуществить не могу - глаза!.. Сегодня весь день мысленно писал, а записать не мог». Он и дурачился до смерти - на книгах, изданных в последние годы, значится: «Цензуровано в верховном совете Обезвельволпала».

Кажется, можно позавидовать такой устойчивости, верности себе, душевной силе. А завидовать нечему: Ремизов узнал всю меру человеческого несчастья. Его часто упрекали за то, что в его книгах нагромождение неправдоподобностей, а его судьба куда нелепее всего, что он мог придумать.

Писатель всегда старается обосновать поступки своих героев; даже если они идут вразрез с общепринятой логикой. Поэты логически оправдывают свои алогизмы. Мы понимаем, почему Раскольников убивает старуху, почему Жюльен Сорель стреляет в госпожу Реналь. А жизнь не писатель, жизнь может без всяких объяснений все перепутать или, как говорил Алексей Михайлович, перекувырнуть. Ремизов был наирусейшим из всех русских писателей, а прожил за границей тридцать шесть лет и говорил: «Не знаю, почему так вышло...»

В ранней молодости, будучи студентом, Ремизов увлекся политикой, стал социал-демократом, угодил в тюрьму, шесть лет провел в ссылке вместе с Луначарским, Савинковым и будущим пушкинистом П. Е. Шеголевым. В ссылке он встретил свою будущую жену - Серафиму Павловну, наивную эсерку. Ремизов в разговорах всегда подчеркивал, что от революционной работы он отошел, потому что счел себя плохим организатором и еще потому, что увлекся писательством. О том, как он пришел к революционной работе, он писал в дневнике незадолго до своей смерти: «Как в России делалась революция. Переустройство жизни - уклада жизни. Мое чувство начинается - нищие на паперти и фабричные каморки», Он продолжал

три месяца спустя: «История мне представляется кровожадной, война и расправа, надо кого-то мучить и замучить. Человек хочет сытно есть, спокойно спать и свободно думать. А впроголодь не всякому удается. Не насытившись и не выспишься. Забота глушит и убивает мысль. Революция начинается с хлеба».

В одной из последних книг, говоря о Тургеневе, Ремизов возвращается к той же проблеме: «В революцию все бросились на «Бесов» Достоевского, искали о революции... И никто не подумал о неумиренной пламенной Марианне «Нови», которая, я знаю, никогда не успокоится, и о ее сестре, открытой к мечте о человеческой свободе на земле, о Елене «Накануне», а кстати поискать «бесов» совсем не там - жизнь человека трудная и в мечте человека облегчить эту жизнь, какие там «бесы»! - нет, не там, и уж если говорить о бесах, вот мир, изображенный Тургеневым, Толстым, Писемским и Лесковым,- вот полчища бесов, а имя которым праздность и самовольная праздность».

В книгах «Пруд», «Крестовые сестры» Ремизов показал подлинных бесов дореволюционной России. Ромен Роллан в предисловии к французскому переводу «Крестовых сестер» писал, что эта книга показывает неправду старого общества, объясняет и оправдывает бурю.

Бунин знал, почему он жил и умер в изгнании, а Ремизов о белой эмиграции всегда говорил недружелюбно - «они», повторял: «Что они ни говорят, а живая жизнь в России». Н. Кодрянская приводит такие слова Алексея Михайловича: «Из 1947 года мне памятливы три крепких отзыва: «ретроград», «подлец», «советская сволочь». Когда я был у него летом 1946 года, он говорил «паспорт у меня советский» - хотел хоть этим утешить себя и печально улыбался.

За границей он мыкался, его выселяли, высылали. В Берлине за него вступился Томас Манн. В Париже его обвинили в том, что он развел в доме мышей. Всегда он был в долгах, не знал, чем заплатить за маленькую квартиру.

К. А. Федин писал: «Ремизов мог быть и в действительности был своеобразнейшим «правым фронтом» литературы». Слово «правый» относится, конечно, не к политике, но к эстетике: Ремизов у Федина противопоставлен левовцам. А мне кажется, что страсть к старым народным оборотам, к корням слов, отличающая Ремизова, была присуща и Хлебникову, без которого нельзя себе представить Лефа.

Ремизов говорил, что из современников ему ближе других Андрей Белый, Хлебников, Маяковский, Пастернак. Не очень-то «правые» вкусы были у Алексея Михайловича. В живописи он любил Пикассо, Матисса. Архаизмы диктовались не консервативными наклонностями, а стремлением найти новый язык.

Ремизов часто с любовью вспоминал М. М. Пришвина. В предсмертном письме он радовался, что в Москве торжественно почтили память Михаила Михайловича. В своей автобиографии Пришвин, желая объяснить природу искусства, писал: «Писатель Ремизов в свое время тоже имел революционную прививку и дружил с Каляевым. Ремизов не был легкомысленным дезертиром в искусство. Каляев продолжал к нему относиться с тем же самым уважением, когда он стал писать свои утонченнейшие, изящные словеса. Однажды, близко к своему концу, Каляев случайно встретился на вокзале с Ремизовым, улыбнулся приветливо и так наивно-простоудушно спросил на ходу: «Неужели все о своих букашках пишешь?»»

Конечно, Ремарка читают больше, чем Гофмана, и Апухтин был куда популярнее Тютчева. Но статистика не решает дела: есть крылья разного калибра для разных полетов.

Ремизов был поэтом и сказочником. На одной из книг, которую он мне подарил, он написал: «Здесь все для елки». Елки одно время были у нас не в почете; потом их восстановили в правах. Алексей Михайлович в книгах был таким же, как в жизни: играл, выдумывал, иногда веселил своими нелепостями, иногда печалил. Елку любят не только дети, и редко встретишь человека, которому хотя бы раз в жизни не понадобилась до зарезу сказка. В этом оправдание «букашек» - долгих трудов большого писателя Алексея Михайловича Ремизова.

Произведя меня в кавалеры «Обезвельволпала», А. М. Ремизов определил «с хоботком жужелицы» не случайно: жужелица, защищаясь, выделяет едкую жидкость. Критики называли меня скептиком, злым циником.

В начале этой книги я сказал, что хочу написать исповедь; вероятно, я обещал больше, чем могу выполнить. В католических церквях исповедальни снабжены занавесками, чтобы священник не видел, кто ему поверяет тайны. Говорят, что биография писателя - в его книгах; это верно; однако, придавая вымышленным героям свои черты, автор маскируется, замечает следы - есть у него помимо книг личная жизнь, любовь, радости, потери. Пока я писал о моем детстве, о ранней молодости, я не раз отодвигал занавеску исповедальни. Дойдя до зрелых лет, я о многом умалчиваю, и чем дальше, тем чаще придется опускать те события моей жизни, о которых мне трудно было бы рассказать даже близкому другу.

И все же эта книга - исповедь. Я сказал, что меня часто называли скептиком. В Ленинграде в 1925 году вышла книга Н. Терещенко «Современный нигилист - И. Эренбург». (Тургенев, пустивший в ход словечко «нигилист», писал: «Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было употреблено мною это слово; но как точное и уместное выражение проявившегося - исторического - факта; оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного осуждения,- почти в клеймо позора».) Я хочу сейчас разобраться в правильности этикетки, которую часто на меня вешали.

С детских лет я жил сомнениями в абсолютности тех истин, которые слышал от родителей, преподавателей, взрослых. Так было и потом; слепая вера мне казалась иногда прекрасной, иногда отвратительной, но неизменно чужой. Порой в молодости я пробовал пересиливать себя, а дойдя до возраста, который Данте называл «серединой жизненного пути», понял, что можно изменить суждения, но не натуру. Уже в старости я написал о моем отношении к слепой вере, которой противопоставлял критическое мышление и верность идее, людям, да и себе.

Не был я учеником примерным
И не стал с годами безупречным.
Из апостолов Фома Неверный
Кажется мне самым человеческим.
Услыхав, он не поверил просто -
Мало ли рассказывают басен?
И, наверно, не один апостол
Говорил, что он весьма опасен.
Может, был Фома тяжелодумом,
Но, подумав, он за дело брался,
Говорил он только то, что думал,
И от слов своих не отступался.
Жизнь он мерил собственной меркой,
Были у него спои скрижали.
Уж не потому ль, что он «неверный»,
Он молчал, когда его пытали?

Я упоминал не раз в этой книге о характере моих сомнений. Будь я социологом или физиком, астрономом или профессиональным политиком, наверно, мне легче было бы перейти поле жизни. Я не хочу этим сказать, что путь политических деятелей или ученых устлан розами; но, переживая временные неудачи или поражения, они видят, что побеждает разум. А я стал писателем, то есть человеком, который по характеру своей работы должен интересоваться не только устройством общества, но и внутренним миром индивидуума, не только судьбами человечества, но и судьбой отдельных людей.

Мы теперь частенько говорим о потускнении литературы, искусства, о том, что «физики» опередили «лириков». В 1892 году А. П. Чехов писал: «Разве Короленко, Надсон и все нынешние драматурги не лимонад? Разве картины Репина или Шишкина кружили Вам голову? Мило, талантливо. Вы восхищаетесь и в то же время никак не можете забыть, что Вам хочется курить. Наука и техника переживают теперь великое время, для нашего же брата это время рыхлое, кислое, скучное, сами мы кислы и скучны, умеем рожать только гуттаперчевых мальчиков, и не видит этого только Стасов, которому природа дала редкую способность пьянеть даже от помоев». Порой, заглядывая в прошлое, успокаиваешься: когда Антон Павлович писал процитированное мною письмо, он не знал, что его

путь идет в гору, что в тифлисской газете напечатан первый рассказ Максима Горького, что двенадцатилетний мальчик Саша Блок станет великим поэтом и что русская поэзия находится накануне подъема. Приливы всегда чередовались с отливами. Иногда прилив затягивался. Французские импрессионисты выступили в семидесятые годы прошлого века. Многие из них еще были в расцвете сил, когда на смену им пришли Сезанн, Гоген, Ван Гог, Тулуз-Лотрек; в начале нашего века впервые выставили свои работы Боннар, Матисс, Марке, Пикассо, Брак, Леже, и только четверть века спустя начался отлив. Современная американская литература создана писателями, родившимися вокруг 1900 года,- Хемингуэем, Фолкнером, Стейнбеком, Колдуэллом; их называли «потерянным поколением», но не они, а последующее поколение потеряло дорогу, завязло в трясине. Между смертью Некрасова и первым сборником стихов Александра Блока прошло почти тридцать лет.

Я видел появление крупных писателей, художников и не могу пожаловаться, что жил в эпоху спада искусства. Нет, тяжело было другое: я жил в эпоху необычайного взлета и столь же необычайного падения человека, в эпоху разлада между быстрым прогрессом естествознания, развитием техники, победами справедливых социалистических идей и душевным запустением миллионов человеческих существ. Слишком часто мне приходилось видеть необыкновенно сложные машины и необычайно примитивных людей - с предрассудками, с грубостью чувств пещерного века.

Я рассказал, какой была Москва моего детства - темной, с «Московским листком», со снобами, не сводившими глаз с Парижа, с неграмотными рабочими, с заграничными товарами. На Западе о России тогда говорили редко: страна кнута, с храбрыми казаками, с пшеницей и пушниной, край бомб и виселиц. Стоит заглянуть теперь в любую газету любого континента, чтобы увидеть, сколько пишут про нас; на Москву смотрят все - одни с надеждой, другие с опаской; зеленый, сонный город моего детства стал подлинной столицей. Родился новый Китай. Добилась независимости Индия; поднялась буря: и одна за другой страны Азии и Африки скидывают господство «белых». Да, все переменялось. Мог ли я мальчиком себе представить, что буду перелетать за несколько часов океан, что появятся радио и

телевидение, что человек отправится в космос? Чудеса, семимильные шаги!

Но разве в те же годы отрочества я мог себе представить, что впереди Освенцим и Хиросима? Мы воспитывались на книгах прошлого столетия, и я знал два полюса: прогресс и варварство, просвещение и невежество. А XX век многое перепутал. Я вспоминаю дневник немецкого офицера, который мне принесли на фронте в 1943 году. Автор был студентом, цитировал Гегеля и Ницше, Гёте и Стефана Георге, увлекался перспективами современной физики, и вот он записал: «Сегодня в Кельцах мы ликвидировали четырех еврейских детенышей, они прятались под полом, и мы потом смеялись, что умеем вымаривать крыс...» Недавно мы видели, как терзали Патрису Лумумбу. Репортеры фотографировали пытки, и аппараты у них были превосходные.

Дикость, если она связана с невежеством, объяснима; труднее ее понять в людях образованных, порой одаренных. Будущие эсэсовцы учились в школах той Германии, которую я знал; с детских лет им говорили, что Кант написал «Критику чистого разума» и что Гёте, умирая, воскликнул: «Больше света!» Все это не помешало им десять лет спустя швырять русских младенцев в колодцы. «Изуверские идеи маньяка» - скажут мне. Конечно. Но меня потрясло не появление на арене истории Гитлера, а то, как быстро изменился облик немецкого общества: люди с высшим образованием превратились в людоедов; тормоза цивилизации оказались хрупкими и при первом испытании отказали.

Но что говорить о фашистах! Я видел, в другом лагере некоторые люди, казалось бы приобщенные к благородным идеям, совершали низкие поступки, во имя личного благополучия или своего спасения предавали товарищей, друзей; жена отрекалась от мужа; расторопный сын чернил попавшего в беду отца.

Не знаю, оттого ли, что шла борьба за построение нового общества, борьба подчас кровавая, в которой противники не брезгали ничем, оттого ли, что приходилось за несколько лет наверстывать упущенное веками, но многие люди развивались односторонне. Автор книги «Современный нигилист», о которой и упомянул, ставил мне в вину «культ любви», называя его мещанством: «В частных случаях по отношению к слабым или малоразвитым людям половая любовь еще

может сыграть роль двигателя вперед, но при условии, если любовь поставлена на свое место...» Я помнил Петрарку, Лермонтова, Гейне, и мне казалось, что мой обвинитель - «слабый или малоразвитый человек» и что, хотя он считает себя коммунистом, его понимание любви, «поставленной на свое место», - апология мещанства.

Вправду ли я скептик, циник, нигилист? Я оглядываюсь на свое прошлое. Я хотел сам многое понять, проверить и не раз ошибался. Но я твердо знал, что, как бы меня ни огорчали, ни возмущали те или иные вещи, я никогда не отступлюсь от народа, который первый решился покончить с ненавистным мне миром корысти, лицемерия, расового или национального чванства. Думаю, скептик просидел бы с горькой усмешкой всю свою жизнь где-нибудь в нейтральном закутке, а циник писал бы именно то, что устраивает самых придирчивых критиков.

Сартр говорил мне как-то, что детерминизм ошибка, что у нас всегда есть свобода выбора. Думая теперь о его пути, я лишний раз вижу, насколько мы связаны в своем выборе историческими обстоятельствами, средой, чувством ответственности за других, той общественной атмосферой, которая неестественно повышает голос человека или, наоборот, глушит его, меняет все пропорции.

Бывают эпохи, когда, облюбовав место «над схваткой», можно сохранить любовь к людям, человечность; бывают и другие, когда духовно независимые киники становятся циниками, а бочка Диогена превращается в ту самую хату, которая всегда с краю. Уж что-что, а эпохи человек не выбирает.

В чем же были нравы критики? Да в том, что по своему складу я вижу не только хорошее, но и дурное. Правы и в том, что я склонен к иронии; чем больше я взволнован, растроган, тем резче выступают иглы, шипы; это явление довольно распространенное; в свое время был даже литературный термин - «романтическая ирония».

В моих ранних книгах преобладала сатира; на авансцену часто вырывались рвачи, злые мещане, лицемеры. Потом я увидел, что сплошь да рядом доброе и дурное сосуществуют в одном человеке. Я написал «День второй». Однако этикетка оставалась. А. Н. Афиногенов, с которым я познакомился в тридцатые годы, писал в своем дневнике: «У Эренбурга взгляд на все происходящее скептический...» Это написано дружеской рукой, но в замечании

сказалась инерция установившегося реноме. Да зачем говорить о том, что было четверть века назад? В 1953 году я написал «Оттепель»; само название книги, казалось бы, показывало доверие автора к эпохе и людям; но критиков возмутило, что я показал директора завода, человека бесчувственного и нехорошего.

Есть писатели, которые как бы видят вокруг только хорошее, доброе. Это не связано с личной добротой автора. Мне кажется, что в жизни Чехов был мягче, снисходительнее, добрее Толстого. Но Чехов справедливо писал: «Каждую ночь просыпаюсь и читаю «Войну и мир». Читаешь с таким любопытством и с таким наивным удивлением, как будто раньше не читал. Замечательно хорошо. Только не люблю тех мест, где Наполеон. Как Наполеон, так сейчас и натяжка и всякие фокусы, чтобы доказать, что он плутое, чем был на самом деле. Все, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов,- все это хорошо, умно, естественно и трогательно...» Толстой сделал из Николая Ростова обаятельным человеком, а Наполеона описать не сумел. Что касается Чехова, то он очень хорошо показывал людей, обижающих других, да и обиженные в его рассказах отнюдь не ангелы.

Что нужнее людям - раскрытие пороков, душевных изъянов, язв общества или утверждение благородства, красоты, гармонии? Вопрос, по-моему, праздный: людям нужно все. В одно время жили Державин и Фонвизин; остались «Глагол времен! металла звон!», остался и «Недоросль». Никогда не существовало, не существует, да и вряд ли будет существовать общество, лишенное пороков; долг писателя, если только он чувствует к этому призвание, говорить о них, не страшась, что с чьей-то легкой руки его причислят к скептикам или циникам.

Я люблю Белинского и за его гражданскую страсть, и за страсть к искусству, за глубокую честность. Часто я вспоминал его слова: «... когда же мы находим в романе удачными только типы негодяев и неудачными типы порядочных людей, это явный знак, что или автор взялся не за свое дело, вышел из своих средств, из пределов своего таланта и, следовательно, погрешил против основных законов искусства, то есть выдумывал, писал и натягивал риторически там, где надо было творить; или что он без всякой нужды, вопреки внутреннему смыслу своего произведения, только по внешнему

требованию морали ввел в свой роман эти лица и. следовательно, опять погрешил против основных законов искусства».

Порой я грешил против законов искусства; порой попросту ошибался в оценках событий и людей. В одном я только неповинен: в равнодушии.

Мои рассуждения могут показаться литературной полемикой. Я ведь говорил об исповеди, а то и дело цитирую Белинского, Толстого, Тургенева, Чехова. Но я должен был сказать о глазах и о сердце, о верности времени, которая оплачивается и бессонными ночами, и неудачными книгами. Без этой главы мне было бы трудно продолжать мое повествование.

Я говорил, что мое поколение может сосчитать на пальцах относительно спокойные годы; к ним следует отнести то время, о котором я начинаю рассказывать.

Осенью 1923 года всем казалось, что Германия накануне гражданской войны. Стреляли в Гамбурге, в Берлине, в Дрездене, в Эрфурте. Говорили о коммунистических «пролетарских сотнях», о «черном рейхсвере» фашистов. Канцлер Штреземан взывал к патриотизму. Генерал Сект проверял, достаточно ли у артиллеристов снарядов. Иностранцы корреспонденты не отходили от телефона. Гроза представлялась неминуемой. Прокатились слабые раскаты грома. Ничего, однако, не произошло. Рабочие были обескуражены, измучены. Все мешалось в голове мещанина; он никому больше не верил; ненавидел Стиннеса и французов; побаиваясь блюстителей порядка, он в то же время мечтал о добротном и длительном порядке. Социал-демократы хвастали образцовой организацией. Профсоюзы аккуратно собирали членские взносы. А решимости не хватило... Канцлер приказал распустить рабочие правительства Саксонии и Тюрингии. Я видел листовку с призывом к восстанию; люди читали и молча шли на работу.

Мюнхен считался главной квартирой фашистов. Известный всем генерал Людендорф и еще мало кому известный Гитлер попытались захватить власть. Черновая репетиция трагедии вошла в историю под названием, скорее подходящим для фарса, - «пивной путч». Берлинцы равнодушно пробегали телеграммы из Мюнхена: еще один путч, капитан Рем, какой-то Гитлер... Приближалась пора «плана Дауэса», хитроумной дипломатии Штреземана, внезапного достатка после десяти лет беспросветной нужды. Газеты перешли на сенсационные убийства или на похождения кинозвезд.

Заводы не успевали выполнять заказы. Пустовавшие магазины начали заполняться покупателями. Герои художника Гросса в ресторанах Курфюрстendamма пили французское шампанское «за новую эру».

О переходе военной экономики на мирную имеется обширная литература. Не менее трудно обыкновенному человеку перейти от жизни, перенасыщенной историческими событиями, к будням. Два года я прожил в Берлине с постоянным ощущением надвигающейся бури и вдруг увидел, что ветер на дворе улегся. Признаться, я растерялся: не был подготовлен к мирной жизни.

Дом искусств давно закрылся. Лопнули эфемерные издательства. Русские писатели поразъезжались кто куда: Горький - в Сорренто, Толстой и Андрей Белый - в Советскую Россию, Цветаева - в Прагу, Ремизов и Ходасевич - в Париж.

Уехали из Берлина и чужеземные спекулянты: марка становилась на ноги. Газеты писали о том, что новый американский президент добьется ухода французов из Рура; начинается восстановление Германии. Некоторые немцы чистосердечно наслаждались покоем; другие говорили, что надо готовиться к реваншу, оккупированные не расставались с мечтой снова стать оккупантами. Однако стрелка барометра шла вверх; люди думали не о будущей войне, а о предстоящих каникулах.

Я много писал, и, пожалуй, в те месяцы (как и не раз потом) меня выручало ремесло. Не знаю, «святое» ли оно или попросту очень трудное; говорю сейчас не о замыслах, не о фантазии, а только о ноте. Вот я отмечал: написал столько-то книг (следовал перечень заглавий); а за этим скрывался прежде всего труд, разорванные страницы, по десяти раз переделанная строка, бессонные ночи - словом, все то, что известно любому писателю. Бывали дни, когда я настолько сердился на самого себя, что готов был отказаться от писательства; но потом снова сидел над листом бумаги - втянулся в это дело, поздно было гадать, есть ли у меня способности или нет.

Я закончил и отослал в Петроград сентиментальный роман «Любовь Жанны Ней» - отдал дань романтике революционных лет, Диккенсу, увлечению фабульной стороной романов и своему (уже не литературному) желанию писать не только о тресте, занимающемся уничтожением Европы, но и о любви.

Шагая по длинным улицам Берлина, удивительно похожим одна на другую, я иногда сочинял стихи, которые потом не печатал. Вот одно из стихотворений, написанных в то время:

Так умирать, чтоб бил озноб огни.

Чтоб дымом пахли щеки, чтоб курьерский
– «Ну ты, угомонись, уймись, нишкни»,-
Прошамкал мамкой ветровому сердцу,
Чтоб - без тебя, чтоб вместо рук сжимать
Ремень окна, чтоб не было «останься»,
Чтоб, умирая, о тебе гадать
По сыпи звезд, по лихорадке станций,
Так умирать, понять, что гам и чай,
Буфетчик, вечный розан на котлете,
Что это смерть, что на твое «прощай!»
Уж мне никак не суждено ответить.

Форма как будто была заемной - пастернаковской, но содержание моим: я продолжал работать, бушевать и, разумеется, иронизировать, а на сердце скребли кошки.

(Мориак в одном из старых романов говорит: «Даже страдания - это роскошь». Да, слишком часто выпадали на нашу долю годы, когда люди не могли себе позволить роскошь быть печальными, страдать от душевной обиды, от неразделенной любви или от одиночества.)

Навстречу шли чинные бюргеры, франтихи, чиновники, школьники. Таксы, привязанные возле дверей колбасных, ждали хозяек и тоскливо позевывали.

Я расставался с Берлином без сожаления. А вот с некоторыми иллюзиями, жившими в сердце «нигилиста», расстаться было куда труднее...

Мы высмеивали романтизм, а на самом деле были романтиками. Мы жаловались, что события разворачиваются слишком быстро, что мы не можем задуматься, сосредоточиться, осознать происходящее; но стоило истории затормозить ход, как мы помрачнели не могли приспособиться к другому ритму. Я писал сатирические романы, слыл пессимистом, а в глубине сердца надеялся, что не пройдет и десяти лет, как изменится облик всей Европы. В моих мыслях я уже похоронил старый мир, и вдруг он ожил, даже прибавил в весе, заулыбался.

Наступала эпоха, которую наши историки именуют «временной стабилизацией капитализма». Возможно, что, читая эту часть моей книги, читатели подумают: первые части были куда интереснее,

чувствуется спад... Что ж, антракт не спектакль, а 1924 год не 1914-й и не 1919-й.

В годы передышки писатели поняли, что они могут писать; именно тогда были написаны прекрасные романы Хемингуэя, «Конармия» Бабеля, «Про это» Маяковского, «Семья Тибо» Мартен дю Гара, поэмы Цветаевой, «Волшебная гора» Томаса Манна, «Парижский крестьянин» Арагона, «Разгром» Фадеева и много других замечательных произведений. А рассказать о годах, когда не было ни мобилизации, ни боев, ни концлагерей, когда люди умирали в своей постели, да так рассказать, чтобы это было интересно, очень трудно. Флобер мечтал написать роман без фабулы, но не написал его: очевидно, даже для спокойного повествования требуются какие-то события. Впрочем, читателей можно успокоить: передышка была недолгой.

Кажется, в сентябре 1923 года из Праги приехал в Берлин друг Маяковского и Э. Ю. Триоле рыжий Ромка лингвист Роман Осипович Якобсон, работавший в советском представительстве. В стихотворении, ставшем хрестоматийным, Маяковский вспоминал, как дипкурьер Нетте, «глаз кося в печати сургуча, напролет болтал о Ромке Якобсоне и смешно потел, стихи уча». Роман был розовым, голубоглазым, один глаз косил: много пил, но сохранял ясную голову, только после десятой рюмки застегивал пиджак не на ту пуговицу. Меня он поразил тем, что все знал - и построение стиха Хлебникова, и старую чешскую литературу, и Рембо, и козни Керзона или Макдональда. Иногда он фантазировал, но, если кто-либо пытался уличить его в неточности, улыбаясь отвечал: «Это было с моей стороны рабочей гипотезой».

Роман Якобсон начал меня уговаривать съездить в Прагу, соблазнял и домами барокко, и молодыми поэтами, и даже моравскими колбасами (он любил поесть и начинал полнеть, хотя был еще очень молод).

В конце года я приехал в Прагу. Молодые поэты меня встретили дружески, расспрашивали о Маяковском, Мейерхольде, Пастернаке, Татлине - я был первым советским писателем, которого они видели. (Об этом написал Незвал в изданной посмертно книге воспоминаний.)

Франтишек Кубка, рассказывая о своих встречах с советскими писателями и художниками, пишет, что часто видел меня в Праге и не помнит, к какой встрече относится та или иная беседа. Я тоже не могу вспомнить, когда я впервые встретился со многими из моих пражских друзей - в 1923 году или позднее, но я хорошо помню один из первых пражских вечеров, когда Роман Якобсон привел меня в кафе «Народна каварня», облюбованное участниками «Деветсила» так окрестили себя чешские сторонники левого искусства. На диване у длинного стола сидели поэты Витезслав Незвал, Ярослав Сейферт, прозаик Владислав Ванчура и теоретик «Деветсила» критик Карел Тейге. Были еще молодые художники, но не помню, кто именно. Незвал пил сливовицу и восторженно вскрикивал. Потом Ванчура ушел домой, а

мы начали переходить из одной «винарни» в другую и на рассвете оказались в пустой холодной закуской, где по местным обычаям полагалось есть суп из требухи.

В присутствии Незвала трудно было кого-либо заметить: он заполнял не только комнату, но, кажется, всю Прагу. Он вдохновенно кричал, читал стихи, вскочив на стол, обнимал каждого из нас и все время помахивал короткими, широкими руками, похожими на лапы. Он вообще походил на морского льва. Его облик был настолько своеобразен, что художник Адольф Гоффмейстер рисовал его, как дети рисуют дерево или домик несколькими линиями, рисовал не глядя, в одну минуту, и все портреты отличались удивительным сходством. Как-то ночью на тихой улице Малой Страны Незвал громко декламировал стихи. Полицейский попросил его не будить людей. Незвал продолжал кричать. Удостоверения личности у него не оказалось, но, порывшись в кармане, он вытащил измятый клочок газеты с карикатурой Гоффмейстера и снисходительно показал полицейскому: «Незвал. Поэт».

Сила поэзии Незвала прежде всего в непосредственности, наивности. Обычно говорят «наивен, как ребенок». Я говорил, что Франсуа Вийон, считавшийся бесхитрым слагателем баллад и рондо, на самом деле был искуснейшим мастером. Незвал обладал высокой поэтической культурой, любил чешских романтиков. Новалиса, Бодлера, Рембо, Гийома Аполлинера, Маяковского, Пастернака, Элюара, Бретона, Тувима. Он не обошел ни одной из поэтических форм - от сонетов до стиха, связанного только внутренним ритмом, от классики до сюрреализма - и, любя сопротивление материала, неизменно выходил победителем. Наивен он был не как ребенок, а как соловей, как анемон, как летний дождь. Ежечасно он открывал мир; он подходил к природе, к человеческим чувствам, даже к предметам обихода, как будто до него не существовало тысячелетий цивилизации. Он был нов не потому, что хотел быть новатором, а потому, что видел и ощущал все по-новому:

Выставлены розовые холсты

Под открытым небом средь равнины.

Крыши там из обожженной глины -

Это вид Милана с высоты.

Зорька вдрызг рассыпалась на мелкие кусочки.

Солнышко, солнышко, лопай пирожочки!

Поэзия была для него стихией, водой для рыбы; отлученный от нее хотя бы на день, он задыхался. Он любил поэтов, чувствовал с ними родство, общность - от давней дружбы с Бретоном и Элюаром до поздних встреч с Назымом Хикметом; восторгался, открывая других поэтов. Как-то он попросил меня прочитать ему вслух стихи Леонида Мартынова, восхищался, обнимал ластами воздух. У него было очень доброе лицо, и это лицо не обманывало. В последние годы своей жизни он писал книгу воспоминаний; он говорил мне, что писать ее нелегко: знал, что многое на свете изменилось, но не хотел изменить друзьям своей молодости; никого не предал, писал мужественно и нежно. Мне кажется, что он сумел это сделать именно потому, что был поэтом. (Я вспоминаю простые и мудрые слова Пастернака о том, что плохой человек не может быть хорошим поэтом.)

Незвал часто в стихах писал о стихах:

Будьте строги и прекрасны! В добрый час!

Звездопады слез, и клятвы женских глаз.

И любовь в горах, где сотни звезд

Прямо в руки падают из гнезд!

До свиданья! До свиданья! Так и быть!

Снова буду я будильник заводить.

Сколько здесь людей живет вокруг,

Вот она, поэзия, мой друг!

Когда и познакомился с Незвалом, ему было двадцать три года. Годы шли. Критики, как им и подобает, корили Незвала: он отходит от революции, становится формалистом, хуже того - он влюбился в сюрреализм, он отходит от поэзии, он весь в политике, он чересчур сложен, он чересчур прост, он не одолел мастерства, он исписался. А Незвал оставался все тем же. Никогда я не встречал человека, который так упорно сопротивлялся бы обстригиванию, стрижке под гребенку, корректуре годов.

Юношей он написал, что отдает себя революции. Он считал, что справедливость и красота - сестры. Часто этого не хотели понять ни поэты, ни догматики. А Незвал стоял на своем. Может удивить его наивность: в 1934 году он обратился в ЦК Коммунистической партии Чехословакии, пытаясь доказать, что сюрреализм, которым он тогда

увлекался, вполне совместим с историческим материализмом. Но и много позднее, в конце своей жизни, он не высмеял прошлого, не отрекся от бывших друзей, даже если дороги разошлись. В 1929 году, когда многие крупные чешские писатели вышли из коммунистической партии, Незвал не последовал их примеру. Двадцать лет спустя он не захотел отступить от того, что считал искусством.

Революция для него была не абстрагированным политическим понятием, но сутью жизни. Он и в искусстве страстно любил все то, что порывало с канонами прошлого. Я знал его друзей - и смелого театрального режиссера Эмиля Буриана, который вдохновлялся в те годы Мейерхольдом, и художников - Шиму, Филлу, молодого Славичека, Штырского, Тоайен. Когда в конце сороковых годов их причислили к «формалистам», Незвал не мог с этим примириться. Как-то он сказал мне: «Почему у одного нет головы, у другого нет сердца, а у третьего и голова и сердце, но нет глаз он не видит живописи, и все же обязательно судит художников». Эпоха не раз ему говорила: «Выбирай - или-или...» Он не соглашался: был слишком широк для любых рамок. Его стихи, как разлившиеся реки, не признавали берегов, а его доброта всех обескураживала.

В конце сороковых годов он работал в отделе кино; но и в службе он нашел поэзию: фильмы Трнки. Мы с ним смотрели вместе «Соловья» по сказке Андерсена. Механическая игрушка не могла заменить живой птицы. И Незвал радовался: «С живописью теперь плохо. И вот Трнка... Гони искусство в дверь, все равно оно ворвется в окно...»

Он любил деревья Моравии и новую архитектуру Праги, любил пейзажи импрессиониста Славичека, написал о нем книгу, любил фильмы Чаплина, мансарды Парижа, душевные беседы. Когда он написал «Песнь мира», самые суровые критики умилились. А ведь Незвал всегда писал о мире...

Очень давно, в двадцатых годах, когда мы бродили по Праге, я ему сказал, что многое мне открыли глубокие дворы старого города, где дети играют, старушки судачат, где есть полутемные трактиры, в которых Швейк рассказывал свои замысловатые истории. Незвал вспомнил о нашей беседе в 1951 году и написал, что я знаю Прагу не только по Градчанам или по Вацлавскому наместью, что я люблю ее дворы. Он ведь знал каждый двор, каждый тупичок Праги. Мы с ним

встречались и в Париже и в Москве, но, думая о нем, я его неизменно вижу на набережной Влтавы, или на узкой, надышанной улочке возле Старого Места. Он посвятил любимому городу много чудесных стихов, одна из его книг называется «Прага с пальцами дождя».

Он увидел женщину, утонувшую во Влтаве, потом вспомнил маску, которую видел в Париже, и написал поэму «Неизвестная с Сены». Его поразила посмертная улыбка утопленницы.

Незнакомка мертвая! Мы пасынки судьбы.

Разве смерть откроет нам звездные сады?..

Через всю жизнь Незвала прошла зыбкая и вместе с тем плотная, реальная мечта. Где-то я прочитал, что он был последним романтиком; нет, не подходит к нему слово «последний» - он всегда и во всем начинал.

Я вспоминаю сейчас его старое стихотворение из книги «Женщина во множественном числе». Поэт идет по незнакомому городу мимо огромного дома, там, наверно, музей с чучелами птиц; улицы пусты, на углу он видит женщину, она одета слишком тепло для летнего дня, шляпа закрывает половину лица, женщине кажется, что она знакома с Незвалом, и Незвалу кажется, что он ее знает, а город чужой, хотя и знакомый, город нелюбимый, и вот они доходят до дома, поднимаются на третий этаж, она садится, не снимая шляпы, и Незвал ей говорит: «Вас нет. Вы здесь. Всю жизнь я писал для вас». Но женщины снова нет. Он снова идет по улицам, ищет. Кажется, она... «Я чувствую, что она близко, как мы чувствуем близость смерти...»

Это не книга о поэзии, а история моей жизни, именно поэтому я должен был рассказать о стихах Незвала - они вошли в мои дни.

Недавно с Гоффмейстером мы вспомнили прошлое; очень мало осталось в живых наших общих друзей, завсегдатаев пражских кафе «Метро», «Славия» и других. Ванчуру, мягкого, но непримиримо, немцы расстреляли. Из поэтов первым в 1949 году умер Галас. Трагически оборвались жизни Вибла и Тенге. Еще в тридцатые годы застрелился архитектор Фейерштейн, который делал декорации для пьес Незвала. Умер художник Филла.

О смерти Незвал думал давно. В стихотворении, написанном в 1935 году, он говорил, что у людей, которые пытаются отгородиться от смерти, «лицо лиловое, а ногти впиваются в ладонь». Смерть была ему противопоказана.

Лучше ссутулиться в жизни,
Чем распрямиться в смерть.
Лучше вся тяжесть жизни,
Чем облегченная смерть.

Всю свою жизнь он составлял гороскопы. О смерти он думал всерьез. В 1955 году в стихах, написанных на юге Франции, он повторял:

Море, растет вода.
Море, не в счет года,
Что тебе горе?
Растет трава, идет вода.
Человек хочет жить,
Человек умирает.
Что тебе до него? Ты - море...

Мне он казался морем: столько в нем было постоянной и бурной жизни. Вскоре после окончания войны Незвал повел Галаса и меня в винный погребок - он обнаружил бутылки старого вина, припрятанные от немцев. Позади были годы, каждый с десятилетие. Галас был печален. А Незвал радовался и бушевал: я невольно подумал - вот кому годы не в счет...

Как-то, приехав в Прагу, я нашел Незвала примолкшим. Друзья сказали, что у него плохо с сердцем, врачи запретили ему пить вино, курить. А дня два или три спустя я снова увидел буйного Незвала, он размахивал лапами, восхищался женщинами, пил вино, читал стихи и, конечно, по-прежнему составлял гороскопы. Однажды он мне сказал, что гороскоп предсказывает ему недоброе: он предпочитал умереть не по данным электрокардиограммы, а по волшебной карте созвездий.

В последний раз мы встретились весной 1958 года в аэропорту Праги. Я сидел в буфете и ждал самолета.

Вдруг я увидел Незвала - он только что прилетел из Италии. Он сказал мне, как всегда восхищенный: «Италия дивно!» Потом обнял меня и тихо добавил: «А мне плохо», - показал рукой на сердце.

Вскоре после этого он умер.

В одном из его лучших произведений, в поэме «Эдисон», написанной в 1931 году, есть строки о страсти, о смерти, о бессмертии:

Только клад не пропал бы безвестно.
Смерть сражается с нами нечестно.
Нас насильно уложат в кровать,
Чтоб лекарства моря выпивать.
Ты, спешивший в грядущее время,
Будешь предан столетьями всеми...
И могу ли я быть хладнокровен.
Что ни шаг, то собранье диковин.
Предо мною речной перевоз.
Плесень мельничных мокрых колес...
Вы, потомки, простите меня.
Нас крутила времен шестерня.
Лихорадка войны нас трепала,
Нам разлука платками махала...
Может статься, на души в бреду
Надевал я искусства узду.
Может, сам, уходя от надлома.
Вас спасал я от желтого дома?
Люди, люди, не может пропасть.
Что сказали страданья и страсть!

Не думаю, чтобы будущий историк понял пережитую нами эпоху только по газетам, по протоколам заседаний, по архивам академий или трибуналов; ему придется прибегнуть к поэзии, и одной из первых книг, к которой он потянется, будут стихи неумного Незвала.

Увидев снова Москву, я изумился: я ведь уехал за границу в последние недели военного коммунизма. Все теперь выглядело иначе. Карточки исчезли, люди больше не прикреплялись. Штаты различных учреждений сильно сократились, и никто не составлял грандиозных проектов. Пролеткультовские поэты перестали писать на космические темы. Поэт М. Герасимов сказал мне: «Правильно, но тошно...»

Машинистка ТЕО, рыжая девушка, которую мы почему-то называли Клеопатрой, давно позабыла «Октябрь в театре» и клетот Всеволода Эмильевича. Она стояла на Петровке, возле Пассажа, и торговала бюстгальтерами.

Старые рабочие, инженеры с трудом восстанавливали производство. Появились товары. Крестьяне начали привозить живность на рынки. Москвичи отъелись, повеселели. Я и радовался и огорчался. Газеты писали о «гримасах нэпа». С точки зрения политика или производственника, новая линия была правильной; теперь мы знаем: она дала именно то, что должна была дать. Но у сердца свои резоны: нэп часто мне казался одной зловещей гримасой.

Помню, как, приехав в Москву, я застыл перед гастрономическим магазином. Чего только там не было! Убедительнее всего была вывеска: «Эстомак» (желудок). Брюхо было не только реабилитировано, но возвеличено. В кафе на углу Петровки и Столешникова меня рассмешила надпись: «Нас посещают дети кушать сливки». Детей я не обнаружил, но посетителей было много, и казалось, они тучнели на глазах.

Пооткрывалось множество ресторанов: вот «Прага», там «Эрмитаж», дальше «Лиссабон», «Бар». Официанты были во фраках (я так и не понял, сшили ли фраки заново, или они сохранились в сундуках с дореволюционных Бремен). На каждом углу шумели пивные - с фокстротом, с русским хором, с цыганами, с балалайками, просто с мордобоем. Пили пиво и портвейн, чтобы поскорее охмелеть; закусывали горохом или воблой, кричали, пускали в ход кулаки.

Возле ресторанов стояли лихачи, поджидая загулявших, и, как в далекие времена моего детства, приговаривали: «Ваше сиятельство,

подвезу...»

Здесь же можно было увидеть нищенок, беспризорных; они жалобно тянули: «Копеечку». Копеек не было: были миллионы («лимоны») и новенькие червонцы. В казино проигрывали за ночь несколько миллионов: барыши маклеров, спекулянтов или обыкновенных воров.

На Сухаревке я услышал различные песенки, они, может быть, лучше многих описаний расскажут читателю о «гримасах нэпа». Была песенка философическая:

Цыпленок жареный, цыпленок пареный,

Цыпленки тоже хотят жить...

Я не советский, я не кадетский,

Я только птичий комиссар.

Я не обмеривал, и не расстреливал,

Я только зернышки клевал...

Была песня торговки бубликами:

Отец мой пьяница.

Он к рюмке тянется,

Он врет и чванится,

А брат мой вор,

Сестра гулящая.

Совсем пропащая,

А мать курящая -

Какой позор!

Была бандитская, кажется завезенная из Одессы:

Товарищ, товарищ, болят мои раны...

Товарищ, товарищ, за что мы боролись.

За что прилипали мы кровь -

Буржуи пируют, буржуи ликуют...

Встретил я цыганку, которая до революции пела в ресторане. В 1920 году она каждый день приходила к Мейерхольду, требовала, чтобы он ей устроил паек. Всеволод Эмильевич ее направил в МУЗО. Улыбаясь, она рассказывала: «Четыре года кочевала. А теперь осела - пою в «Лиссабоне».

Знакомая актриса позвала меня к себе. Не знаю, как ей удалось сохранить отдельную квартиру в особняке возле Кропоткинской. Было много гостей, танцевали фокстрот, торжественно, как будто

выполняли обряд. В полночь пришел молодой человек в узеньком ярко-рыжем пиджаке, начал снисходительно объяснять: в Москве не умеют отличить фокстрот от уанстепа - он ездил недавно в командировку и видел, как танцуют в Лейпциге. Все внимательно слушали. Завели патефон - те же куплеты, что в дансингах Парижа и Берлина: «Вы любите ль бананы», «Ищу мою Титину». Актриса мне рассказала, что юноша, ездивший в Лейпциг, учился с нею в театральной студии, а теперь работает во Внешторге. «Его, наверно, скоро посадят, уж очень он хапает...»

Буржуа с детства знали достаток; трата денег для них была привычным занятием. Старая буржуазия рассеялась по миру; многим за границей пришлось плохо; переход от богатства и праздности к нужде, к черной работе доводил людей до отчаяния, до самоубийства, до преступлений. Социальное происхождение нэпманов было пестрым. Бывший помощник присяжного поверенного, прослуживший два года в Наркомюсте, вдруг начал торговать местами в спальнях вагонов. Я знал поэта, который в 1921 году читал полуфутуристические стихи в «Домино»; теперь он перепродавал французскую парфюмерию и эстонский коньяк. Судили бывшего рабочего завода Гужона, участника гражданской войны, - он похитил вагон мануфактуры и попался случайно: напился в ресторане, разбил зеркало; на нем нашли восемь миллионов. Конечно, он не походил на наследственного буржуа, как не походил на пролетария какой-нибудь поручик, в прошлом сын богатой домовладелицы, которого нужда загнала на парижский завод. Миллионы бросались в голову нэпманам, они сумасбродствовали, скандалили, быстро гибли. Редко кто откладывал на черный день: люди не верили ни в долголетие нэпа, ни в ассигнации. Грань между дозволенной наживой и наказуемой спекуляцией была тонкой. Время от времени сотрудники ГПУ арестовывали десяток или сотню наиболее предприимчивых делег; это называлось «снять накинь нэпа». Повар знает, когда ему снять накипь с ухи, но вряд ли все нэпманы понимали, кто они - рыбешка или накинь. Неуверенность в завтрашнем дне придавала развлечениям повой буржуазии особый характер. Та Москва, которую Есенин называл «кабацкой», буянила с надрывом; это напоминало помесь золотой лихорадки в Калифорнии прошлого века и уцененной достоевщины.

Рядом была другая Москва. Бывший «Метрополь» оставался Вторым домом Советов; в нем жили ответственные работники; в столовой они ели скромные биточки. Они продолжали работать по четырнадцать часов в сутки. Инженеры и врачи, учителя и агрономы если не с прежним романтизмом, то с прежней настойчивостью восстанавливали страну, разоренную гражданской войной, блокадой, годами засухи. На лекции в Политехническом по-прежнему было трудно пробиться; книги в магазинах не залеживались - штурм знаний продолжался.

В 1924 году я писал: «Не знаю, что выйдет из этой молодежи - строители коммунизма или американизированные специалисты; но я люблю это новое племя, героическое и озорное, способное трезво учиться и бодро голодать, голодать не как в студенческих пьесах Леонида Андреева, а всерьез, переходить от пулеметов к самоучителям и обратно, племя, гогочущее в цирке и грозное в скорби, бесслезное, заскорузлое, чуждое влюбленности и искусства, преданное точным наукам, спорту, кинематографу. Его романтизм не в творчестве потусторонних мифов, а в дерзкой попытке изготавлять мифы взаправду, серийно - на заводах; такой романтизм оправдан Октябрем и скреплен кровью семи революционных лет». (Конечно, в формулировках сказалось былое увлечение конструктивизмом; но мне кажется, что я верно подметил некоторые черты, присущие молодежи тех лет.) Я добавлял: «Хорошо, что они умеют критически подойти к фактам. Когда кто-нибудь начинает поддакивать любому докладчику, над ним смеются, называют «такальщиком» - от односложного «так, так»...»

Рабфаковцы, о которых я писал, были людьми, родившимися в первые годы нашего века. Я был старше их всего на десять-двенадцать лет; но смена поколений была резкой. Моими сверстниками были Маяковский, Пастернак, Цветаева, Федин, Мандельштам, Паустовский, Бабель, Тынянов. Мы прожили молодость в дореволюционные годы; многое помнили; иногда это нам мешало, иногда помогало. А студенты 1924 года увидели революцию глазами подростков, они формировались в годы гражданской войны и нэпа. Это - поколение Фадеева и Светлова, Каверина и Заболоцкого, Евгения Петрова и Луговского. Оно рано начало редеть. Теперь те, что выжили, выходят на пенсию; у них есть время, чтобы изучить тот

предмет, который Гюго называл «искусство быть дедушкой»; и я заметил, что молодые скорее находят общий язык с ними, нежели со своими отцами.

Снег белой сострадательной пеленой покрывает все. Когда приходит первая оттепель, земля обнажается. В годы нэпа нас потрясала, порой доводила до отчаяния живучесть мещанства; ведь мы тогда были наивными и не знали, что перестроить человека куда труднее, чем систему управления государством.

Маяковский в 1921 году, в медовый месяц нэпа, возмущался:

Опутали революцию обывательщины нити.

Страшнее Врангеля обывательский быт.

Скорее головы канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит!

Он писал о чиновниках, которые «засели во все учреждения. Намозолив от пятилетнего сидения зады, крепкие, как умывальники». Перечитывая эти стихи, я невольно улыбаюсь: кабинеты и спальни («гарнитуры») те же. а зады стали крепче...

Комнаты у меня в Москве не было, меня приютили в ЦЕКУБУ на Кропоткинской. Туда приходили старые ученые, беседовали или молча вздыхали - им трудно было понять, что к чему.

Вздыхали в те годы и многие поэты; и так как они это делали не в столовой ЦЕКУБУ, а на страницах журналов, их за вздохи ругали: улыбка считалась аттестатом политической стойкости. Выходил журнал «На посту»; название казалось романтическим, в действительности пост был скорее милицейским, чем боевым. Напостовцы ругали всех - А. Толстого и Маяковского, Всеволода Иванова и Есенина, Ахматову и Вересаева. Поэты, однако, продолжали вздыхать. Асеев написал печальную поэму о любви - «Лирическое отступление», и напостовцы, обрадованные, цитировали вырванные из нее строки:

Как я стану твоим поэтом, коммунизма племя, если крашено рыжим цветом, а не красным время?

Я пошел к Маяковскому. У Бриков было, как всегда, много гостей; пили чай, ели холодные котлеты. Маяковский, мрачный, здесь же дорисовывал какой-то плакат. Несколько дней спустя я его встретил в клубе; он доказывал, что нужно помочь государству бороться с частной торговлей; писал рекламы:

Все, что требует желудок, тело или ум,
Все человеку предоставляет

Или:

Разрешаются все мировые вопросы,- лучшее в жизни - «Посольские» папиросы.

Ночью он вдруг начал читать прекрасные отрывки из поэмы «Про это»; в стихах он пытался убедить себя, что добровольно никогда не расстанется с жизнью...

Наступило время для прозы: можно было продумать пережитое. Фадеев писал «Разгром», Бабель - «Конармию», Тынянов - «Кюхлю», Зощенко - «Рассказы Синебрюхова», Федин - «Города и годы», Леонов - «Барсуков».

Мне хотелось поехать по стране; денег у меня не было, и я соблазнился предложением одного из многочисленных в то время организаторов литературных вечеров. Он предложил мне поехать в Петроград, Харьков, Киев, Одессу и прочесть лекции о жизни Западной Европы. Импресарио хотел идти в ногу со временем,- следовательно, хорошо заработать; он был человеком немолодым и неизменным неудачником. Задумал он все безупречно: лекции устраивались Обществом Красного Креста, которое должно было получить часть доходов; в различные города выехали разведчики; один был сыном импресарио, Леней, молоденьким студентом, застенчивым нахалом, который решил, не теряя времени, написать книгу обо мне и все время ошарашивал меня вопросами: «Расскажите, как вы впервые влюбились», «Кого вы ставите выше - Вольтера или Анатоля Франса», «Какой, по-вашему, Эрос - крылатый или бескрылый»; другой организатор был человеком вполне деловым, он ел со вкусом гуся, на станциях находил скучающих девиц и заманивал их в купе спального вагона, торговался с учреждениями, сдававшими залы, и говорил мне: «Я должен сегодня заработать двадцать червонцев, и вы увидите, что я их заработаю...»

Нужно было найти название для лекций. Маяковский приучил публику к афишам, которым позавидовал бы любой американец: «Поэзия - обрабатывающая промышленность», «Анализ бесконечно малых», «Дирижер трех Америк», «Белые сосиски Лизистраты», «А

все-таки Эренбург вертится», «Курящийся Вересаев», «Бал в честь юной королевы», «Брюсов и бандаж». Импресарио молил: «Что-нибудь непонятное...» Я выбрал первое, что мне пришло в голову, - «Пьяный оператор».

В Харькове импресарио снял цирк «Миссури». Никаких микрофонов в то время не было. Я, надрываясь, кричал что-то о фильмах Чаплина, а публика редела: «Не слышно». Я хотел уйти; меня удержал импресарио: «Потребуют деньги за билеты. У меня большая семья... Постарайтесь!.. Жена вам уже взбивает гоголь-моголь...»

Я увидел впервые Одессу; я знал ее по забавным анекдотам, и «Одесса-мама» меня удивила: она оказалась печальной. В порту было пусто. Кое-где чернели развалины. Исчезло, видимо, бывшее легкомыслие; жизнь не налаживалась. На одной из площадей я увидел голову бородатого удельного князя, под ней значилось: «Карл Маркс». Молоденькая билетерша в театре, где я читал лекцию, потрясла студента Леню - неожиданно ему сказала: «Что вы мне все строите плазки?.. Это уже пройденный этап. Пригласите меня поужинать в «Лондонскую», и тогда мы поговорим, потому что я теперь на хозрасчете...»

«Лондонская гостиница» была живописным местом. В некоторых номерах по-прежнему жили ответственные работники; жены готовили на примусах обед, нянчили детей; вечером шли разговоры о последней передовице «Правды», о повестке дня Тринадцатого съезда. В других номерах останавливались спекулянты, журналисты, актеры эстрады, «красные купцы»; там пили, иногда дебоширили. На базаре я услышал песенку «Ужасно шумно в доме Шнеерсона...». А у Шнеерсона было очень тихо; тихо было на улицах, носивших новые имена: Интернациональная, Пролетарская, Лассаля, Коммуны. В кафе Печеского спекулянты, заказывая стакан чаю, старались перепродать друг другу трухлявые зеленые или оранжевые доллары. Маклеры на час нервно позевывали - время от времени происходила облава и всех забирали.

В местной газете секретарь редакции показал мне стихи молодого одессита; он писал о море, о птицах, о клетках для птиц; стихи мне понравились, я спросил, как зовут поэта; секретарь ответил: «Эдуард Багрицкий».

Я разбил стекло ручных часов и пошел к часовщику. Он долго подгонял стеклышко; я молча ждал, а он говорил не замолкая: «Сегодня в газете напустились на Керзона. Но я вам скажу, что Керзон их не боится. Это я их боюсь. Во-первых, я боюсь фининспектора, во-вторых, я боюсь ГПУ, в-третьих, я боюсь вас - откуда я знаю, что вы за человек и зачем вы хотите, чтобы я вам все выкладывал...»

Нищенки говорили: «Подайте, товарищ», «Ради господ бога, гражданин миленький», «Копеечку, барин»... Путались слова, путались и эпохи.

В Киеве я ехал по Крещатику, вдруг санки распались, лошадь с извозчиком уехали, а я с сиденьем саней очутился в сугробе. Санки не выдержали, но на базарах продавали добротные дореволюционные вещи: самовары, швейные машины Зингера, часы Мозера, пузатые купеческие чашки.

Крепче всего держалось прошлое в сознании. На одной из станций крестьянка с мешком по ошибке вошла в мягкий вагон. Проводник заорал: «Куда прешь? Вылезай! Это тебе не семнадцатый!..»

В Гомеле, в вокзальном буфете, висело изречение: «Кто не трудится, тот пусть и не ест». За столиками обедали пассажиры спального вагона. Здесь же бродили беспризорные в надежде на подачку. Один пассажир протянул девочке тарелку с остатками мяса в соусе: «Жри!» Подбежал официант (или, как тогда говорили, гражданин служающий) и, вырвав из рук девочки тарелку, вытряхнул кусок мяса, картошку на лохмотья, заменявшие девочке платье. Я возмутился; никто меня не поддержал. Девочка плакала и поспешно ела. Я видел в Гомеле спичечную фабрику; директор, бывший рабочий, раненный в боях против Деникина, больной, работал с утра до ночи: не было клея для намазки коробок; он повторял: «Стране нужны спички...» Гомельские юноши говорили о боях в Гамбурге, о стихах Маяковского, о будущем. А перед моими глазами стояли тупые, равнодушные физиономии в вокзальном буфете и затравленный ребенок...

Деловой помощник импресарио был доволен: он перевыполнил план. Леня книги обо мне не написал, говорил всем: «А зачем о нем писать? Я его знаю как облупленного...» Отец Лени погорел, хотя сборы были хорошими: по пути из Одессы в Ленинград из-за заносов

мы простояли на полустанке два дня, и мой импресарио уплатил неустойку за зал. Ничего не поделаешь - он был вечным неудачником. Что касается меня, то я был доволен: многое увидел.

После каждой лекции меня засыпали вопросами, некоторые я записал: «Почему не вышла революция в Германии», «Какие теперь моды в Париже», «Что вы хотели сказать вашим «Хуренито» - да или нет», «Кто хуже - социал-предатели или фашисты», «Объясните коротко теорию относительности», «Почему школы снова платные», «Почему вы, писатели, настраиваете девчат на всяческие объяснения», «Берут ли в Индии иностранных борцов за независимость», «Правда ли, что вы приятель Вандервельде», «О вас пишут, что вы продукт разложения, скажите в таком случае, сколько вы получаете за лекцию», «Маяковский говорит, что поэзия - продукция, а у Пушкина не так: кто, по-вашему, прав», «Откроет ли коммунизм возможность победить смерть», «Вы за футбол или признаете также регби», «Расскажите о работах Резерфорда в области трансформации атомов», «Чем тустеп отличается от уанстепа и что больше танцуют в Берлине», «Почему у нас переводят «Тарзана», а роман Марселя Пруста не существует в переводе», «Повлияет ли, по-вашему, денежная реформа на сокращение ножниц», «Знакомы ли вы с Пикассо, что он теперь делает», «Половая любовь - это буржуазный пережиток, почему этого не говорят прямо», «Недавно у нас выступал лектор, он говорил, что искусство сохраняется в переходный период, а при коммунизме исчезнет, я с этим не согласна, помогите разобраться».

Я привел эти вопросы в том порядке, вернее, беспорядке, и котором их переписал; мне кажется, что они могут помочь понять те, уже далекие, годы.

Я часто беседовал с молодыми людьми; разные попадались: умные и глупые, честные и карьеристы. Нэп помог восстановлению экономики, но вряд ли он был хорошей школой для юношей и девушек. У всех еще были в памяти годы гражданской войны: подвиги, слава, зверства, героика, грабежи. Молодежь, пришедшая в университеты с фронта, из деревень, была горячей, напористой. Студенты хорошо учились, да и вели себя хорошо, колеблясь между наивным утилитаризмом и свойственной их возрасту романтикой. Но было немало и таких, что теряли голову,- честолюбцев, фантазеров без

азов морали, слабовольных, которые, очутившись в дурной компании, шли на все. Рядом со скромной студенческой жизнью шел разгул. «Москва кабацкая», где агонизировал Есенин, дышала в лицо угаром, сбивала многих с пути.

Один юноша рассказал мне длинную, путаную, но не очень-то сложную историю: еще недавно он был честным комсомольцем, хороню учился. Товарищ втянул его в нехорошую затею; выглядело все благородно - ему поручили собирать деньги на воздушный флот, оказалось, что сборами занималась шайка мошенников. Студент возмутился, хотел пойти в ГПУ, но, получив пачку ассигнаций, соблазнился мишурой жизни. Он влюбился в девушку, которая требовала подарков, стал спекулировать; из комсомола его вычистили; он ждал ареста. У него были очень выразительные руки, они рвались кверху, грозили, умоляли.

Мне захотелось написать о нем, о таких, как он. Я начал ходить на судебные заседания; получил разрешение беседовать с заключенными в изоляторах (так тогда называли тюрьмы). Привлекала меня, конечно, не живописность среды, не уголовщина, а история взлета и падения тех крутых, скользких лет.

Тогда входило в обиход новое словечко «рвач», и я назвал моего героя, сына киевского официанта, рвачом. Я описал его детство, стремление к славе, себялюбие, подъем в первые годы революции, участие в гражданской войне, учебу, падение. У Михаила Лыкова (так звали моего героя) был брат, Артем, честный, не очень разбирающийся в сердечных делах, но добрый, старавшийся удержать Михаила от падения. Герой мой не был Растиньком; в нем жили различные, порой противоречивые чувства. Полюбив корыстную, пустую женщину, он вел себя с ней, как мальчишка. Вместе с тем он верил в свою исключительность, в свое превосходство над товарищами. Если угодно, он чем-то напоминал Жюльена Сореля, родившегося сто лет спустя, в стране социалистической революции. Осужденный, он в тюрьме кончил жизнь самоубийством.

Я писал в одном из писем: «Я заканчиваю «Рвача». Я даже привязался к моему герою, хотя он пакостник, сволочь, склонная к романтике, патетический спекулянтик...» Мне и теперь кажется, что писатель, освещая внутренний мир тех героев, которых критики называют «отрицательными», привязывается к ним: он ведь видит

хорошие начала, которые были заложены в сердце человека, опустившегося на дно. Никогда я не думал оправдывать рвачей. Эпиграфом к книге я взял слова древней молитвы, осуждающей индивидуализм: «Да будет воля твоя, чтобы этот год был росистым и дождливым, и да не проникнут в тебя молитвы путников на путях по поводу дождя, который им помеха, когда весь мир нуждается в дожде».

Я знал, что меня снова будут упрекать: зачем писать о каком-то жалком рваче, когда кругом столько благородных и вдохновенных героев? Мне думается, что обязанностью врача является поставить диагноз, и только сумасшедшему может прийти в голову, что доктор, констатируя случай эпидемического заболевания, тем самым распространяет эпидемию. В романе «Рвач» попытка показать душевный мир свихнувшегося Михаила Лыкова сопровождалась сатирическим описанием быта тех лет. Даже напостовцы признавали в теории необходимость сатиры, но каждую попытку показать ту или иную уродливую сторону нашей жизни они немедленно объявляли клеветой. («Нам нужны наши Щедрины и Гоголи» - это я услышал много позже. Сатира по-прежнему считалась в теории необходимой, а на практике чуть ли не актом диверсии; и один поэт сочинил стишок:

Я за смех, но нам нужны
Подобнее Щедрины
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали...)

Я писал в 1924 году: «Если в моих книгах так называемые «отрицательные типы» отличаются большей выразительностью, то в этом следует видеть отсутствие универсальности, ограниченность человеческой природы, а не хитрые козни. Как бы я хотел, вместо обличений моих книг, прочитать прекрасную эпопею нового, здорового, бодрого человека! Увы, благонамеренные критики не торопятся ее писать, они предпочитают осуждать меня. Я же предпочитаю отдаваться работе, к которой чувствую прирожденную склонность. Не дожидаясь часа, когда будет написана вдохновенная книга об Артеме, я хочу рассказать современникам историю его брата...»

Двадцать шестого января 1925 года и сообщал: «Попов отказался от «Рвача», следовательно, он вряд ли выйдет...» (Не помню, о каком

Попове шла речь.)

Один из наиболее видных напостовцев, называя меня «откровенным врагом революции», писал: «Пафос «Рвача» - любованье нэпаческой хищнической средой, утверждение о захвате буржуазными хищниками всего нашего хозяйственного аппарата. Вот конечное падение вчерашнего кандидата в русские Шпенглеры...» В минуту тоски Эдуард Багрицкий написал:

Чуть ветер,
Чуть север -
И мы облетаем.
Чей путь мы собою теперь устилаем?
Чьи моги по ржавчине нашей пройдут?
Потопчут ли нас трубачи молодые?
Взойдут ли над нами созвездья чужие?
Мы - ржавых дубов облетевший уют...

На Кузнецком в витрине книжного магазина я увидел «Дерево советской литературы». Ветви были сопровождаемы пояснительными этикетками: «Пролетарские писатели», «Лефовцы», «Крестьянские поэты», «Левые попутчики», «Попутчики-центр», «Правые попутчики», «Необуржуазная литература» и так далее. Под деревом валялись опавшие листья, и на одном из них значилось: «Эренбург».

Ветра потом было вдоволь, ветра и севера. Чудом я не облетел.

Недавно я разыскал в библиотеке полуистлевший номер однодневной литературной газеты «Ленин», вышедший в день похорон Владимира Ильича. Есть там и моя статья, написанная наспех, в том душевном состоянии, когда не думаешь о стиле. Я хочу привести отрывки из этой корявой статьи - они могут объяснить последующие части моей книги.

Вспоминая Париж довоенных лет, я писал:

«Что знали мы в те годы канунов? Беспокойство и бродяжничество, бомбы и стихи.

...Разве не ему принадлежат эти пронзительные и достойные слова: «Мы ошибались, мы много раз ошибались». Да, здесь могли быть и срывы и ошибки, ибо здесь была жизнь. А там, среди грустных сизых домов, в стране, где краснобай не устает говорить о свободе, о величии личности, там не оказалось ни героев, ни строителей, ни вождей. Там не могло быть и ошибок: там не было жизни.

...За четыре года страшной войны Европа получила Версаль, а Россия выстрадала Октябрь...

...Чтобы понять творческую мощь Ленина, стоит только взглянуть туда, где Пуанкаре над развалинами и крестами каждое воскресенье бурно кричит: «Мы?.. Нет, мы никогда не ошибались!»

...Он знал. Мы не знали. Мы не знали, что национальная революция полудикой крестьянской России вырастет в эру мира. Мы не знали, что «Даешь землю!» февраля станет в Октябре «Даешь Землю!». Он это знал. Знал, сидя в Женеве. Знал, работая по ночам в маленькой комнате при свете керосиновой лампы.

И вот несколько месяцев тому назад в Сан-Паули - в Гамбурге, после подавленного восстания, я слышал такой разговор. Спорили два родных брата, оба рабочие. Братия. Враги. Один участвовал в восстании, другой его подавлял. И тот, что участвовал в восстании, был ранен. Его тихонько от «зеленых» отвезли домой. Подавлявший говорил: «Зачем было восставать? Ведь социалисты в сенате обещали выдать по полфунта маргарина... Ты слышишь?..» Тот, что участвовал в восстании, ответил: «А мы получим его». И, говоря это, он показал

на портрет, висевший в его комнате, как он висит в сотнях тысяч рабочих комнат всех городов всех стран.

...Мы часто недоумевали. У нас было наше новое искусство, наше беспокойство, наше бродяжничество по миру. И нам казалось, что все это чуждо ему. Мы не знали, что вне его работы нет нам ни роста, ни жизни. Пусть дом не достроен. Пусть в нем очень трудно и очень холодно. Но ведь стены его растут. А там, где целы все дома, где десять лет назад писатели бунтовали и томились,- в городе сизых домов? Там нам нет места. Маленькая буря в стакане воды окончилась. Остались оды в честь академика Фоша да приличный обед из трех блюд. Отчаяние великой европейской ночи - он знал и это. Он был однодумом, он думал об одном для того, чтобы другие, счастливые, могли думать о многом...»

Когда уходит большой человек, люди невольно оглядываются и на то, что мы называем историей, и на свою маленькую жизнь. Так было и со мной, когда я писал о кончине Ленина: я не помнил кануны, «Ротонду», бунт писателей, художников и в сердцах, наверно несправедливо, обозвал это все «бурей в стакане воды». Самоуничтожение диктовалось горечью потери, осознанием того решающего и воистину всеобщего, что осуществил человек, отнятый у человечества смертью.

Мои давние слова о значении Октября, противопоставление трудного пути России духовному оскудению Запада мне кажутся правильными и теперь.

«Пусть дом не достроен...» Да, в 1924 году мы не знали, каким потом, какими слезами, какой кровью будет оплачен тот дом, стены которого уже высились при Ленине. Мы не знали, что в тридцатые, в сороковые годы нам не скажут дружески, по-товарищески об ошибках. А дом построен: и душевная сила нашего народа сказалась в том, что он его строил несмотря ни на что.

В те январские дни стояли редкие и дли московской зимы морозы. Напрасно пытались уговорить детей оставаться дома. Взрослые несли на плечах малышей. Красноармейцы плакали. Ночью в Охотном ряду, на Дмитровке, на Петровке - повсюду горели костры, и у костров хмурые люди в тулупах молчали. Было много бородатых ходоков: крестьянская Россия в те времена еще носила бороду.

Я не мог оставаться дома. Видел похоронную процессию на Балчуге. Помню, как несли гроб ближайшие товарищи Ленина (имена многих исчезли из учебников истории). Был в Колонном зале, где рыдания перебивали траурный марш. Москва, та, что, согласно поговорке, не верит слезам, плакала навзрыд. Я пошел к Николаю Ивановичу, моему товарищу по нелегальной школьной организации, он жил во Втором доме Советов. Обычно веселый, он молчал, и вдруг я увидел в его глазах слезы. Плакала старая дворничиха ЦЕКУБУ. Горе народа было большим, неподдельным.

В те жестокие январские ночи я как бы издал в перспективе веков - увидел, что осуществил наш народ; и какими бы ни были мои сомнения в последующие, куда более тяжкие десятилетия, передо мной всегда стоял замысел Ленина, приподымал меня, удерживал от недоброго. Я был молодым беспартийным писателем; для одних - «попутчиком», для других - «врагом», а в действительности - обыкновенным советским интеллигентом, сложившимся в дореволюционные годы. Как бы пас ни ругали, как бы ни косились на наши рано поседевшие головы, мы знали, что путь советского народа - наш путь.

Мне несколько раз довелось в Париже разговаривать с В. И. Лениным; я знал, что он любил Пушкина, любил классическую музыку, был человеком сложным, душевно широким. Но всю свою страсть, всю силу творческого гения он вложил в одно - в борьбу за освобождение рабочих от эксплуатации, в создание нового, социалистического общества. Вот почему я писал в 1924 году: «Он думал об одном, чтобы другие, счастливые, могли думать о многом».

Слово «счастливые» может резануть ухо. Малыши, которых несли на плечах в Колонный зал, это сироты тридцатых годов, солдаты Отечественной войны, люди с проседью, читавшие отчеты о Двадцатом съезде... И все же слова о счастье правда; когда я бываю теперь на собраниях нашей молодежи, я вижу, что юноши и девушки о многом думают, многим увлекаются, многое знают.

Мне хочется еще вспомнить Владимира Ильича, сказать будничное, простое. Когда я разговаривал с ним в Париже, он вдруг прервал меня: «Комнату нашли? Гостиницы здесь очень дорогие...» И обратился к Надежде Константиновне: «Кто ему здесь поможет? Людмила? Ну, она знает...» П. И. Альтман в кабинете Владимира

Ильича лепил его голову, и раз ему пришлось быстро уйти - к Ленину пришли товарищи. Владимир Ильич позаботился смочить глину, не забыл. А. В. Луначарский мне рассказывал, что, когда он спросил Ленина, можно ли предоставить «левым» художникам украсить к Первому мая Красную площадь, Владимир Ильич ответил: «Я в этом не специалист, не хочу навязывать другим свои вкусы...»

У Сталина есть статья о политическом стиле Ленина. Она написана еще в двадцатые годы, и, наверно, все в ней правильно. Но человеческий стиль Ленина оказался неповторимым: дерзость творческого замысла и редкостная скромность, сила, решимость, не исключавшая ни мягкости, ни глубокого уважения к духовным ценностям, к разуму, к искусству, человечность, подлинная человечность.

В мае 1924 года я поехал с Любой в Италию. Там было много разноязычных туристов; среди них немцы, которые приехали с твердой маркой и с не менее твердой уверенностью, что они спаслись от землетрясения и могут наслаждаться краем, где зреют лимоны.

(Французы говорят, что кот, который однажды обжегся, боится и холодной воды. Люди легкомысленнее котов. Десять тысяч жителей новых Помпеев смотрят на Везувий как на отца-кормильца: они ведь живут любознательностью туристов. В 1944 году Везувий, на минуту проснувшись, уничтожил городок Сан-Себастьяно. Жители соседних городов, однако, никуда не уехали.)

В Венеции была международная выставка, в которой впервые участвовали советские художники. Мы сидели в кафе Флориана на площади Сан-Марко; помню художницу А. А. Экстер, Б. Н. Терновца. Кафе Флориана было тогда сто шестьдесят три года; теперь ему стукнуло двести - можно было устроить юбилей. Наверно, в нем сживали за чашкой шоколада Лонги, Каналетто, Гольдони, Гоцци. Я не помню, о чем мы говорили; может быть, о последних постановках Мейерхольда или о холстах Сарьяна, выставленных в Венеции, а может быть, о комедии масок.

Сухопарые англичанки кормили неповоротливых голубей. Чистильщики ботинок и продавцы кораллов извивались, как классические арлекины. Туристы восхищались устно и письменно, старательно подписывая пачки ярких открыток. Все это напоминало постановку в Камерном театре.

Кругом был город с сотнями таинственных зловонных каналов, с кавалькадами мяукающих кошек, с домами семнадцатого века, в которых люди, как в самых обыкновенных домах, мечтают, ревнуют, ссорятся, просматривают вечерку, болеют гриппом или аппендицитом. Обычная жизнь была обрамлена изумительными перспективами, фисташковым небом, розовой водой, мостиками, колоннами, фонтанами. Вот где человеку нужны глаза! А я глядел на чернорубашечников, которые прогуливались по площади или ели мороженое.

Мы поехали в Мурано, увидели там искуснейших стеклодувов. На фабричных стенах чернели надписи: «Да здравствует Ленин!» Легионеры в черных шапчонках злились и перекладывали из одного кармана в другой новенькие игрушки - револьверы.

Я сказал, что для людей моего поколения передышка была недолгой, да и редко нам удавалось забыть то, что в газетах называют «историческими событиями». Почему я не мог спокойно любоваться полотнами Тинторетто или водой каналов? Что-то меня тревожило, вероятно новизна: я ведь впервые видел настоящих, живых фашистов.

Юношей я восхищался фресками Кампо-Санто и сказал Любе, что нужно обязательно побывать в Пизе. Люба глядела на светлую живопись Беноццо Гоцциоли, который покрыл стены кладбища сладостью земной жизни; а я глядел на чернорубашечников. Во время войны немецкая бомба уничтожила часть пизанских фресок. Недавно я снова оказался в Пизе и увидел клочья былых видений; мне стало обидно, что я когда-то не напаялся на фрески досыта; а ничего тут не поделаешь: Живешь не так, как хочется, - так, как живется.

Вряд ли в 1924 году можно было предвидеть, что фашизм, переключившись из полупатриархальной бедной Италии в хорошо организованную Германию, уничтожит пятьдесят миллионов душ и покалечит жизнь нескольких поколений. Но мне было обидно за Италию, обидно и тревожно. Кто эти люди, улюлюкающие, марширующие, поднимающие вверх руки? Наверно, неудачники, сыновья разорившихся лавочников, провинциальных нотариусов или адвокатов, честолобцы, соблазненные звонкими фразами. Можно было принять их за маски дурацкого карнавала, но я уже знал, что люди живут не по Декарту...

Почему-то мы попали в маленький город средней Италии - Бибиелу; там нет достопримечательностей, и туристы туда редко заглядывают. А это чудесный городок! Вечером я зашел в полутемную трактирню, где стояли огромные круглые бутылки с красным вином. Старик рассказывал трактирщику и двум посетителям длинную историю о том, как из Америки вернулся каменщик Джулио. Он накопил немного денег, собирался жениться. А из Ареццо приехал в машине секретарь фашио. Они пили вино за двумя столиками, и вдруг секретарь начал задевать Джулио, требовал, чтобы каменщик крикнул: «Да здравствует Муссолини!» Джулио ответил: «Пусть

кричат ослы». Тогда фашист его застрелил. Для вида убийцу арестовали, а неделю спустя выпустили. Вот и вся история... Старикпил вино и крючковатыми пальцами крошил сухой сыр. Я вышел. Холм казался звездным небом - летали мириады светляков. Нежно квакали лягушки. В темноте влюбленные обменивались клятвами и поцелуями. А я думал о судьбе неизвестного мне Джулио.

Когда мы приехали в Рим, все казалось спокойным. Мы пошли в посольство. Посол говорил, что торговые отношения с Италией налаживаются; рассказал, что и Рим приехал поэт В. И. Иванов, он бывает в посольстве. Туристы спешили в Ватикан или в Колизей. В кафе «Аранья» на Корсо политики обсуждали, во сколько обошлась Италии экспедиция на Корфу. Я ходил в музей, восхищался византийскими мозаиками и на несколько дней забыл о политике. Вдруг мы увидели на площади Монтечиторио взволнованные толпы людей; они что-то кричали, жгли газеты. То же самое происходило и на других площадях: я слышал крики: «Долой фашистов! Долой убийц!» Возмущенные люди жгли пачки фашистских газет - «Коррьере итальяно», «Пополо д'Италия», «Империо». Несколько минут спустя я узнал, что фашисты похитили молодого социалистического депутата Джакомо Маттеотти.

Реакцию людей на события трудно предвидеть; иногда уничтожение тысячи жертв проходит почти незамеченным, иногда убийство одного человека потрясает мир. Расправа с Маттеотти походила в своей простоте и наглядности на древнюю притчу. Повсюду я слышал имя жертвы.

(В книге «10 л. с.» я написал о конце Маттеотти, хотя это и не имело прямого отношения к заводам Ситроена или к борьбе за нефть. Я не мог промолчать: то, что приключилось 10 июня 1924 года в Риме, вошло и в мою жизнь.)

В Италии тогда еще существовал парламент: весной были выборы. Фашисты с помощью вина и касторки, посулов и дубинок обеспечили себе большинство; оппозиционные партии, однако, набрали около сорока процентов голосов. 30 мая молодой депутат Маттеотти выступил в парламенте с мужественной речью, рассказал о насилии, об убийствах. Фашисты его прерывали воем; один кричал: «Убирайся в Россию!»

Когда Маттеотти сошел с трибуны, левые депутаты его поздравляли; он с усмешкой ответил одному из них: «Теперь готовьте некролог...» Одиннадцать дней спустя он вышел из дому, чтобы купить сигареты, и не вернулся.

Муссолини уже не мог вынести критики, но арестовать депутата он еще не решался: он поручил своему другу Чезаре Росси устранить Маттеотти. Росси заведовал отделом печати министерства внутренних дел; это было вывеской - в действительности «отдел печати» занимался убийством политических противников. Росси вызвал редактора газеты «Коррьере итальяно» Филиппелли. Редактор, в свою очередь, вызвал некоего Думини.

На набережной Тибра, недалеко от дома, в котором жил Маттеотти, его окружили неизвестные люди, силой втокнули в машину. Автомобиль понесся за город. Похитители заткнули рот Маттеотти. Думини знал свое дело (потом он признался, что убил двенадцать антифашистов). Маттеотти страдал туберкулезом; борьба была недолгой: когда Маттеотти попытался открыть дверцу машины, Думини нырнул его ножом.

В пустынном месте возле Куартарелла фашисты наспех зарыли тело Маттеотти. Муссолини с удовлетворением узнал, что дело сделано чисто; он не ждал огласки - пропал и пропал... Оказалось, женщины видели, как человека насильно втокнули в красный автомобиль. Оппозиционные газеты еще продолжали выходить. Началось следствие. Нашли машину Филиппелли, сиденье было замарано кровью. Пришлось арестовать Думини. Привлекли к следствию даже Росси, но сразу дело замяли. А Росси вскоре рассорился с Муссолини, удрал и Париж и там начал разоблачать своего бывшего друга.

Рим кипел, казалось - сейчас разразится революция. Оппозиционные депутаты поклялись сопротивляться шайке убийц. Во всех странах люди возмущались цинизмом фашистов. И дуче струсил: он заявил, что потрясен убийством депутата, что виновники понесут суровую кару; он даже пошел на отставку генерального секретаря фашистской партии. Видимо, и он думал, что пожар разгорается...

Характер итальянцев не похож на характер немцев; но развязка оказалась той же. Депутаты произнесли негодующие речи. Римляне сожгли пачки фашистских газет и разошлись по домам. Муссолини

быстро успокоился. Я еще был в Италии, когда мне дали номер «Империо», в котором фашисты издевались над протестующими: «Пусть сумасшедшие хорохорятся. Смеется хорошо тот, кто смеется последним... Никто не мешает фашистам расстреливать преступников на всех площадях Италии». Потом я прочитал речь Муссолини, он говорил об убийстве Маттеотти: «Бесполезно и глупо разыскивать виновных. У нас свой язык - язык революции...»

Да, итальянцы не похожи на немцев, итальянцам присущи любовь к свободе, вечное бунтарство, воображение, непослушливость. Но Муссолини правил Италией двадцать три года, партизаны его казнили всего за несколько дней до самоубийства Гитлера. Я читал рассуждении одного французского автора; он говорил, что народ может терпеть любые преступления диктатора, если диктатор его ведет туда, куда народ хочет идти. Не думаю, чтобы рядовой итальянец жаждал завоевать Эфиопию, усмирить испанцев, овладеть Воронежем... А разве народ, давший миру Дон-Кихота, создан для фашизма, разве народ Кеведо и Гойи предназначен для тупого, захолустного деспотизма? Но вот уже почти четверть века генерал маленького роста и маленького калибра правит Испанией. Нет, здесь ничего не объяснишь народным характером, и об итальянцах можно сказать только одно: они плохо исполняли роль «римских легионеров», это к их чести.

Вначале фашисты пытались обстоятельно доказывать, что дуче ведет Италию к величию, к социальной справедливости, к избавлению от международного капитала. Потом они стали экономнее на слова, пустили в оборот приговорку: «Дуче не ошибается»; потом стали просто кричать: «Да здравствует дуче!» В 1934 году я увидел огромный пассаж Милана, весь заклеенный афишами, на которых стояло одно слово - «дуче».

Профессор С. С. Чехотин был учеником И. П. Павлова; он попытался, основываясь на методе условных рефлексов, проанализировать некоторые явления социальной жизни, в частности воздействие пропаганды. И. П. Павлов произвел множество опытов с собаками. С. С. Чехотин изучал фашистскую литературу. Он мне говорил, что среди подопытных собак встречаются особи, не реагирующие или, точнее, слабо реагирующие на действие раздражителей. Профессор Чехотин считает, что некоторое, весьма

незначительное, количество людей способно сопротивляться методам примитивной пропаганды (эмблемы, условные приветствия, лапидарные лозунги, форменная одежда и тому подобное). Я не физиолог и не берусь судить, насколько С. С. Чехотин прав. Но слишком часто в моей жизни я видел торжество механической глупости, автоматического фанфаронства...

Я еще полюбовался пиниями Рима, мраморными нимфами, роняющими слезы, добрыми улыбками горемык в Транстевере, и мы поехали в Париж.

Я продолжал писать книги, ходил в кафе, увлекался, развлекался, иногда был весел, иногда хмурился,- жизнь продолжалась, в меру спокойная, в меру приятная, а в общем печальная жизнь двадцатых годов. Часто я вспоминал смутные тени чернорубашечников, убийство Маттеотти, первую примерку тех десятилетий, которые мне предстояло прожить.

Неожиданно я снова взял томик Паскаля и нашел в нем утешение: впервые я задумался над словами: «Человек только тростник, самое хрупкое из всего существующего, но это мыслящий тростник. Капля воды может его убить. Но даже если вся вселенная на него ополчится, он все же будет выше своих убийц, ибо он может осознать смерть, а слепые силы лишены сознания. Итак, все наше достоинство в мысли...» Казалось, многие события должны были заставить меня усомниться в правильности слов Паскаля; я ведь видел, как быстро люди разучаются думать. Но первые годы революции не прошли бесследно: я был застрахован и от слепой веры, и от слепого отчаяния.

Вряд ли и Паскаль полагал, что любой человек при любых обстоятельствах способен мыслить. Многих итальянцев Муссолини превратил в роботов; встречаясь друг с другом, они подымали руку и считали, что это их возвеличивает. Но рядом с ними другие мыслили, издевались, рассказывали злые анекдоты, читали недозволенные книги - тростник не сдавался. В одиночной камере тюрьмы Тури десять лет просидел Антонио Грамши. В заключении он писал статьи о философии Бенедетто Кроче, о произведениях Пиранделло, о Данте, о Макиавелли, о многом другом; писал письма своей русской жене Юлии, ее сестре Татьяне, письма задушевные, страстные, умные и

очень человечные. Я часто их перечитываю и всякий раз испытываю гордость - вот он, мыслящий тростник!..

Время не торопится, торопится смерть. Грамши умер в 1937 году. Время не торопится, но рано или поздно оно ставит все на свое место. Недавно я шел по одной из флорентийских улиц. Был голубой апрельский вечер. Играли детишки. Старик прогуливал собачку. Влюбленные о чем-то шептались. Я машинально поглядел на дощечку - «Улица Маттеотти»...

Весной 1924 года на французских выборах победил «левый блок». Новое правительство возглавил радикал Эдуар Эррио, человек высокообразованный, патриот, далекий от шовинизма, доброжелательный и широкий; он обожал лионскую кухню, написал книгу об интимной жизни госпожи Рекамье и не забывал при этом о традициях якобинцев - был типичным представителем французской интеллигенции XIX века. В 1924 году англичане и американцы хотели, чтобы Франция поскорее договорилась с немцами. Эррио осуждал оккупацию Рура и тупость Пуанкаре, но, будучи французом, хотел заручиться гарантиями - речь шла о безопасности Франции: «Дайте нам отвести кинжал, постоянно па нас направленный, пока вы толкуете о мире!..» Бог ты мой. как легко политики меняют не только слова, но и принципы! В 1924 году англичане отвечали: «Сначала разоружение, а уж потом гарантии безопасности».

Бриан считался первым политическим соловьем Европы; когда он выступал, старые циники, растроганные, сморкались. Бриан говорил, разумеется, о мире, о европейской солидарности, о великодушии. Эррио попытался урезонить англичан и американцев: «Осторожно! Рейхсвер воскресает. У немецкой армии современное вооружение. Мы не можем забыть двух нашествий. Мы слышим знакомые угрозы. Я хочу мира, как и все, но можно ли отстоять мир, пренебрегая безопасностью Франции?..» Эррио сбросили, его место занял Бриан. В швейцарском курортном городе Локарно были подписаны известные соглашения. Вечером ракеты фейерверка прорезали небо. Штреземан писал бывшему кронпринцу: «...Во-вторых, я ставлю целью защиту немцев, живущих за границей, то есть тех десяти - двенадцати миллионов соотечественников, которые в настоящее время живут в чужих странах, под иностранным игом. Третья крупная задача - исправление восточных границ, возвращение Германии Данцига и Польского коридора и исправление границ в Верхней Силезии. В перспективе - присоединение немецкой Австрии...»

(Обидно, что в книге о моей жизни я должен вспоминать не только поэтов, художников, не только людей, мне милых, но и

Штреземана. Ничего не поделаешь - мы жили в эпоху, когда история бесцеремонно забиралась в нашу жизнь днем или ночью, как будто она полтавский городской.)

О фейерверке в Локарно я вспомнил пятнадцать лет спустя, когда небо над Парижем загорелось и раздался грохот первой фугаски.

Победа «левого блока» кое-что изменила, но для меня Париж оставался запретным. В Риме и попросил Любу пойти во французское консульство: мой облик всегда пугал чиновников, а Люба их скорее успокаивала. Расчеты оказались правильными: консул, не зная, что мы высланы из Франции, поставил на наши паспорта добротные визы. Этого было достаточно, чтобы приехать в Париж, но остаться там мы не могли: имелся приказ о высылке.

Друзья направили меня к секретарю масонской ложи «Великий Восток». Я оказался в том самом логове, которое сводило с ума монархиста Бостунича. Логово было обыкновенным кабинетом, а секретарь ложи - пожилым радикалом, знавшим гастрономические тайны всех ресторанчиков Парижа. Масонов во Франции было много, но, вопреки представлениям Бостунича, они не поклонялись ни дьяволу Бафамету, ни иудейскому богу Ягве, ни Карлу Марксу; ложи были своеобразными обществами взаимопомощи. Секретарь сказал, что он устраивал дела потруднее: префект полиции - масон и его друг.

Пришлось пойти к префекту. Он никак не походил на добродушного радикала и держался со мною надменно. «Что вы собираетесь делать в Париже?» Я ответил, что собираюсь писать книги. Префект усмехнулся: «Книги, сударь, бывают разные. Имейте в виду, что французская полиция не бездельничает». (Он сказал мне сущую правду. Министр де Монзи, который в 1940 году заинтересовался моим полицейским «делом», рассказывал: «Вы, наверное, написали двадцать книг, но могу вас заверить, что полицейские написали о вас куда больше...»)

Я поселился в гостинице па авеню де Мэн, с темной винтовой лестницей, вонючими коридорами и грязными номерами. Под окном был классический круглый писсуар и не менее классическая щербатая скамейка, на которой вечером целовались влюбленные.

Осенью французское правительство решило признать Советский Союз. Я снова переступил порог особняка на улице Гренель, куда впервые заглянул после Февральской революции. Перед посольством

толпились полицейские, шпики. Они явно волновались: шутка ли сказать, в аристократическом квартале Парижа среди бела дня сумасшедшие русские поднимают красный флаг и поют «Интернационал»! Л. Б. Красин спокойно улыбался. По двору шагал Маяковский; он говорил, что ему надоел Париж, а американцы тянут с визой.

Маяковский каждый день приходил в «Ротонду». Он писал, что беседовал с тенями Верлена и Сезанна: «Ротонда» жила, как рантье, на проценты. Не было тех, с кем я когда-то проводил беспокойные ночи: Аполлинер и Модильяни умерли. Пикассо переселился на правый берег Сены и охладел к Монпарнасу, Ривера уехал в Мексику. Немногочисленных старожилов окружали разноязычные туристы. Никто больше не спорил о том, как взорвать общество или как примирить справедливость с красотой.

Трудно сказать, почему я каждый день шел на Монпарнас - в «Ротонду» или в «Дом»; видно, такова была сила привычки. Иногда встречался со старыми друзьями: с Леже, Шанталь, Цадкиным, Сандраром, Липшицем, Пер Крогом, Федером, Фотинеким. Конечно, мы говорили об искусстве, о русской революции, о Пикассо, о международной выставке, о Чаплине; но все это никак не напоминало довоенную «Ротонду». Мы были далеко не стариками (самому старшему из нас - Леже - тогда исполнилось сорок четыре года), но прежний задор исчез. Мы напоминали солдат, уволенных в запас, и донашивающих вылинявшие гимнастерки.

Я писал поэтессе М. М. Шкапской: «Сижу в «Ротонде» и курю новую трубку кубистической формы... Сегодня чудесное солнце. Идет кот, и даже уклон его поднятого хвоста свидетельствует о необычности дня. Эренбург же, как подобает опустошенному субъекту, продолжает курить трубку... Я хандрю. То я недоволен, что повсюду искусство, и жажду простых разговоров или жирных улиток, от которых у меня болит живот; то, уподобляясь тургеневским «отцам» и косясь с брезгливой жалостью на новое поколение, требую упраздненного вдохновения... «Жанну Ней» все ругают, окрестили меня Вербицкой. Что мне делать? Заказать юбку? Отравиться на могиле Гейне?.. Французы пишут хорошую прозу и гадкие стихи. Но кому это нужно? Братья писатели, зачем мы стараемся?..»

Кафе Монпарнаса были переполнены: огни довоенной «Ротонды» притягивали мечтателей, авантюристов, честолюбцев. Молодые шведы, греки, поляки, бразильцы торопились в Париж - они хотели пере вернуть мир; мир, однако, крепко стоял на месте.

Кубизм неожиданно заинтересовал владельцев ателье мод и дорогих магазинов; молодые художники за гроши расписывали шали или изготавливали эксцентрические безделушки для приезжих американок. Развелось множество торговцев картинами, все они мечтали напасть на нового Модильяни. Они заключали договоры с художниками, подающими надежды, забирали все холсты, а платили мало - очевидно, считали, что голод способствует вдохновению. Картины стали биржевыми акциями, предметом спекуляции; цены искусственно поднимали или сбивали.

Аргентинский художник, сербский поэт писали своим родителям, что сюрреализм вскоре завоюет мир, что они будут знаменитыми, но пока что пусть старики понатужатся и пришлют им сотню-другую франков.

Караваны туристов превратили Монпарнас в район ночных развлечений. В «Сигаль», в «Жоке» танцевали до утра, а красавица Кики с глазами совы печально пела скабрзные песенки.

Летом 1925 года в Париже открылась Международная выставка декоративного искусства. Итальянские фашисты показали свое чванство и тупость (они именовали это неоклассицизмом). Среди французских построек, на редкость серых и бесцветных, выделялся небольшой павильон журнала «Эсири нуво», построенный Корбюзье. Гвоздем выставки был советский павильон; его построил молодой архитектор-конструктивист К. С. Мельников. Как многое из того, что делали наши конструктивисты и лефовцы, павильон никак нельзя было назвать утверждением утилитаризма: по лестнице было трудно подниматься, косой дождь прорывался в помещение. Здание было выражением романтики первых революционных лет. Экспонаты в большинстве принадлежали «левым» художникам: макеты постановок Мейерхольда, Таирова, конструкции Родченко, ткани Л. Поповой, плакаты Лисицкого.

В Париж понаехало много москвичей: Маяковский, Якулов. Мельников, Штеренберг, Родченко. Рабинович. Терновец. Когда я с ними беседовал, мне порой казалось, что я в Москве 1921 года.

Парижане считали советское искусство наиболее передовым; кроме выставки, они увидели «Броненосец «Потемкин», «Федру» Таирова, «Принцессу Турандот» Вахтангова. А павильон на выставке, как и многое другое, был, скорее, эпилогом. В Москве открылась выставка АХРР; начиналось контрнаступление натурализма, бытовизма, академических форм, чинности, упрощенности и той фотографической условности, которая, ссылаясь на точность деталей, пыталась выдавать себя за реальное отображение жизни.

Я писал в 1925 году: «Простачки думают, что правдивое изображение больших дел это и есть большое искусство. Им невдомек, что на светочувствительной эмульсии не отличить солнца от медной пуговицы. Есть героическая натура, но героического натурализма не может быть. Фотограф, снимая провинциальную свадьбу и Октябрьские дни, остается все тем же фотографом... Сейчас торжествует вульгарный натурализм. Он жив человеческой слабостью; ведь если ногам свойственно прыгать или по меньшей мере шагать, то есть другая часть тела, которая неизменно тянется к мягкому сиденью... Люди хотят на канате организовать уютное чаепитие...»

Я уже успел распрощаться с конструктивизмом: «Торжество индустриальной красоты означает смерть «индустриального» искусства... Копировать машину еще пошлее, чем копировать розу, ибо в последнем случае кража совершается хотя бы у анонимного автора... «Левое» искусство, создавшее подлинные шедевры, быстро раз воплотилось. Оно хотело убедить людей, что в мире остались только элеваторы, геометрические фигуры и голые идеи... Еще не успели замолкнуть боевые кличи «искусство в жизнь», как это самое искусство уже входит... в музеи».

Эстетической программы у меня больше не было. Я метался. Вернувшись из Америки, Маяковский рассказывал, что машинам там хорошо, а человеку плохо. Я спросил его, не усомнился ли он в программе Лефа. Он ответил: «Нет. Но многое нужно пересмотреть. В частности, подход к технике...»

Мне хотелось понять, чем живут писатели, художники Франции. Я познакомился с Мак-Орланом, Дюамелем, Жюлем Роменом, с архитектором Корбюзье; бывал в редакции «Кларте» у Барбюса; увлекался кино, разговаривал с режиссерами Репе Клером, Гансом, Ренуаром, Федером, Эпштейном.

Грех назвать те годы бесплодными; поскольку я заговорил о кино, достаточно сказать, что в 1925 году я увидел «Золотую лихорадку» и «Пилигрима» Чаплина. Да и в шуме не было недостатка; то и дело рождались различные школы; громче всех кричали сюрреалисты. Но чего-то не хватало, может быть надежд, может быть тревоги. (Я подумал сейчас о судьбе многих людей, с которыми я встречался на Монпарнасе. Рене Кровель и Паскин кончили жизнь самоубийством, художника Федера гитлеровцы убили, Сутин погиб в годы оккупации, затравленный Деснос умер в «лагере смерти». Те годы тоже были канунами; но людям казалось, что на дворе серое будничное утро.)

Я больше не был ни затворником «Ротонды», ни фанатиком искусства. С утра до ночи я бродил по Парижу, забирался в кафе, где сидели биржевики, адвокаты, скототорговцы, приказчики, рабочие; разговаривал с людьми. Меня поражали механизация жизни, поспешность движений, световые рекламы, потоки машин. Конечно, автомобилей было во сто раз меньше, чем теперь, не было телевизоров, радиоприемники только входили в обиход, и по вечерам из раскрытых окон не вырывалась на улицы разноголосица волн. Но я чувствовал, что ритм жизни, ее настроенность меняются. Ночью на Эйфелевой башне сверкало имя «короля автомобилей» Ситроена. Электрические гномы карабкались по фасадам пепельных домов, пытались соблазнить даже луну аперитивом Дюбонне или кремом «Секрет вечной молодости».

Менялись окраины Парижа - исчезли крепостные валы, пустыри, лачуги. Строили первые дома в новом, индустриальном стиле. Я увидел конструктивизм не на картонах Родченко, а в действительности. Меня позвал к себе художник Озанфан; он жил в доме, построенном Корбюзье: свет, нагота, белизна больничной палаты или лаборатории. Я вспомнил конструкции Татлина, восторженных вхутемасовцев. То, да не то... Мы открывали Америку, конечно воображаемую. А давно открытая и вполне реальная Америка тем временем пришла в Европу - не с романтическими декларациями лефовцев, но с долларами, с черствым расчетом, с пылесосами и с механизацией человеческих чувств.

Политика мало кого интересовала: парижане не читали ни речей Бриана, ни сообщений о возрождении германской армии. Считалось, что люди, не поддающиеся шовинистической пропаганде, должны

твердо верить в мир, и это всех устраивало: люди хотели мирно наслаждаться жизнью. Раскрывая газету, они искали в ней: кто - биржевой бюллетень, кто - отчет о матче футбола, кто - сводку погоды. Конь блед и другие звери Апокалипсиса уступили место «рено» и «ситроенам». В далекое прошлое отошли и окопы на Шмендю-Дам, и солдатские бунты, и демонстрации. До поздней ночи ревел джаз, и снобы восхищались синкопами. Женщины носили очень короткие платья, говорили, что обожают спорт. Появились дансинги, матчи бокса, туристические автобусы, пылесосы, кроссворды и множество других новшеств.

Вновь налаженная жизнь требовала экзотической приправы. Продавщицы универмагов и жены нотариусов зачитывались «Атлантидой» Пьера Бенуа. Для более изысканных дам имелись книги писателя-дипломата Поля Морана. Каждый год он выпускал в свет сборники рассказов: «Закрото ночью», «Открыто ночью», «Галантная Европа»; он рассказывал, как переспал или не переспал с женщинами различных национальностей. Для парижанок, не желавших отстать от века, любовь казалась провинциальным анахронизмом, и вот любовники Поля Морана ее модернизировали, они и в кровати разговаривали как безупречные бизнесмены: «Вы теперь похожи на чек без покрытия», «Не живите на капитал ваших нервов»...

Все реже и реже можно было встретить классического буржуа, который продолжал жить на страницах «Красного перца», толстого и беззаботного, ленивого семьянина, стригущего купоны, или жуира, прогуливающегося по Бульварам. Его место занял делец, вдоволь энергичный, предпочитающий автомобильные гонки девушкам и фиалкам, склонный к авантюрам, к любой склизкой афере, по образованию инженер или экономист, хорошо знающий новые методы производства и мировые цены, борьбу трестов, подкупность министров, всю политическую кухню. Его сыновья презирали романтику старого студенчества - слезы пьяного Верлена, скептицизм Анатоля Франса, анархические фразы; они занимались гимнастикой, уважали сильных; многие из них девять лет спустя, в ночь фашистского путча, резали бритвами ноги полицейских лошадей.

Хотя американские солдаты давно уехали домой, все приходившее из Нового Света было в почете. Джаз заменил чахоточных скрипачей и лихих аккордеонистов. В дансингах ввели

«такси-герлс» - девушек, которые за положенную плату танцевали с клиентами. Снобы, еще недавно участвовавшие в потасовках на премьере дягилевского балета или на вернисаже «Салона независимых», теперь неистово вопили на матчах: «Браво, Джо!..» Писатели принялись сочинять спортивные романы: героями были боксеры, футболисты, велосипедисты.

Летом Париж наводняли иностранные туристы; в списке обязательных достопримечательностей значились Елисейские поля, Венера Милосская, Эйфелева башня, гробница Наполеона, Монмартр, «Ротонда» и публичный дом на улице Шабанэ, называвшийся «Обществом наций», - там имелись комнаты в испанском, японском, русском и других стилях; туристов сопровождала пожилая чопорная экономка и академически поясняла различные непристойные детали.

До войны французы чрезвычайно редко пересекали границу; теперь многие уезжали на каникулы в Швейцарию. Италию, Австрию, Англию. Огромным успехом у среднего читателя пользовался роман Декобра, посвященный любовным похождениям героини, которая называлась «Мадонна из слиппинга» (французское название «спальный вагон» звучало бы провинциально).

Исчезли последние приметы прошлого века: уличные карнавалы, конфетти, котелки, бархатные диваны в темных кафе; мужчины сбрили бороды, женщины начали коротко стричь волосы.

Все это скорее относится к 1925 году, чем к Парижу. Теперь, когда я вспоминаю то время, Париж мне кажется идиллическим, захолустным, похожим на холсты Утрилло. Менялась эпоха, и, может быть, Париж сопротивлялся дольше, нежели Берлин, Брюссель или Милан. Но я жил тогда в Париже и там наблюдал первые результаты американского омолаживания старой Европы.

Все поняли, что взял верх порядок, - одни с горечью, другие с восторгом. Политика делалась за кулисами и мало интересовала зрительный зал. Еще недавно большевиков изображали как людей, держащих нож в зубах. Теперь большевики сидели на улице Гренель, к ним навевались крупные промышленники в надежде получить заказы. Седьмого ноября в наше посольство пришли различные депутаты, крупные журналисты, дельцы, светские дамы. Все они косились на Марсея Кашена, но утешились, увидав на столах икру.

В некоторых светских салонах было модно восхищаться «славянской мистикой», даже «русским экспериментом». Снобов, восхвалявших все советское, окрестили «большевизанами». Одни теннисист и балбес сказал мне: «Я слышал, что у вас уничтожены деньги. Это замечательно! Я ненавижу считать расходы...» Другой спросил Любу: «Неужели Потемкин играет еще лучше, чем Мозжухин?» Он слышал одним ухом об успехе фильма Эйзенштейна и решил, что есть актер по имени Потемкин.

Изредка трагические события врываются в иллюзорный покой города. Так было с сообщением о расстреле работниц консервных фабрик в бретонском городе Дуарнене. В Париже был большой митинг; ораторы призывали к действиям; рабочие аплодировали, свистели. Потом все стихло. Как-то незаметно начались войны в Марокко, в Сирии. Стреляли далеко, и Париж продолжал жить по-прежнему.

У нас в те годы пользовались большим успехом сочинения Пьера Ампа. Он описывал производство; его романы походили на очерки, это многих увлекало. В ранней молодости Пьер Амп был рабочим. Я увидел, однако, почтенного литератора лет пятидесяти. Он не имел никакого представления о лэфовцах, но, рассказав с восхищением о новых станках, воскликнул: «Насколько движения машины прекраснее человеческих!»

Я подружился с писателем Пьером Мак-Орланом. У него было лицо опечаленного бульдога. Он помнил войну, и это было воспоминаниями не победителя, а побежденного: «Кабак на улице Пигаль выставляет в каждом окне по кукле. Это - скрытое желание еще раз отпраздновать смерть среди страшных окрестностей войны. Если я храню в памяти столь ужасающий образ войны, то это потому, что я не могу забыть дикой агонии всех солдат, расстрелянных во имя правосудия. Ужас во мне достигает апогея - ужас быть человеком среди стольких непонятных существ. Я чувствую себя куда более слабым, чем паяны из шерсти, набитые паклей. Их покачивание напоминает мне бескостные тела расстрелянных у традиционного столба...»

Мак-Орлан много говорил о «социальной фантастике» - этими словами можно было объяснить все. Он написал роман о всаднице Эльзе, немецкой коммунистке, которая привела Красную Армию во

Францию. Читая эту книгу, я посмеивался,- вероятно, так могли бы читать марсиане «Аэлиту», но другие книги Мак-Орлана мне нравились, особенно «Госпиталь святой Магдалины» - фантастическая история человека, который начинает потеть кровью; медики потрясены небывалым казусом; все газеты пишут о диковинном пациенте. Больного начинают показывать за деньги зевакам. Количество крови увеличивается - бочки, тонны. Для эксплуатации свежей крови организуют трест; вмешивается правительство - хочет получить львиную долю доходов. А больной лежит и слушает, как звенит горячая струя его крови. Принято считать, что «черная литература» расцвела после второй мировой войны, а книга, о которой я говорю, была написана в начале двадцатых годов. Тогда мы не знали об ушастом пражском еврее Франце Кафке, мы о многом не знали и видели все в меняющемся загадочном свете.

Пьер Мак-Орлан (его фамилия куда прозаичнее Пьер Дюмарше) был поэтом; кое-что он предчувствовал, кое-что придумывал. Он жил в идиллическом домике недалеко от Марны, иногда играл на аккордеоне и почти всегда писал, писал. Он написал предисловие к первому французскому переводу «Хулио Хуренито», который вышел в 1924 году. Тогда мы были едва знакомы, и, рассказывая обо мне, он описал человека почти столь же фантастического, как всадница Эльза. По его словам, в конце 1921 года я пережил сразу множество бедствий: я разводил собак и кроликов, белый офицер хотел меня скинуть в море, меня арестовала Чека, а французское правительство выслало из Франции. «Хуренито» ему понравился, и он советовал французам познакомиться с «романтикой случайного и непредусмотренного».

Он говорил мне: «Я пишу только для того, чтобы не совершить банального преступления - не убить старуху и не поджечь ферму».

Однажды мы с ним обедали в парижском ресторане. Вдруг Мак-Орлан мне сказал: «Знаете, что будет, если человечество просуществует еще несколько тысяч лет? Кролики начнут кусаться, морковь будет выскакивать из грядок, чтобы вцепиться в икры человека...»

Мак-Орлан посвятил мне одну из своих книг-воспоминаний: «Улица Сент-Венсен». Это рассказ о смятении молодого человека и о смутных улочках старого Руана, разрушенного в годы последней

войны. Я принимал его за бунтаря, а он был хорошим писателем и добрым человеком.

Я понимал, что Октябрьская революция многое изменила. Я говорил о моей преданности новой эпохе: «Мы ее любим не менее «странной любовью», нежели наши предшественники «отчизну». Это чувство тоже требует и крови и замалчиваний...» О чем я больше всего думал? Кажется, о судьбе человека, о том, что писатели не могут довольствоваться описанием событий, они должны показать душевный мир современников.

В 1925 году в Париже играли пьесу Чапека «Рур»; появилось новое слово - «робот». Мы часто тогда говорили о «мыслящих» машинах, и мне казалось, что паскалевскому «тростнику» страшнее всех бурь внутреннее перерождение. Я боялся не того, что «мыслящие» машины будут чрезвычайно сложными, а того, что эти машины постепенно отучат человека от мысли, вытеснят клубок чувств.

«Лето 1925 года», пожалуй, самая печальная из всех моих книг, не самая горькая, не самая безысходная, а именно самая печальная. Ее содержание несложно. Рассказ ведется от первого лица. Герой романа, попав в Париж, опустил, бродил по улицам, залитым ярким светом, подбирал окурки, потом нанялся на бойни - гонял баранов. Какой-то итальянский авантюрист подбивал слабовольного, растерявшегося героя убить капиталиста Пике. Из этого ничего не вышло, но герой привязался к чужой, брошенной девочке, нянчил ее; девочка умерла. Интрига меня мало занимала, я хотел изобразить одиночество человека в большом городе, отчаяние многих людей, с которыми встречался, судьбу поколения, побывавшего у Вердена. «Мы во многое верили, верили долго и крепко, хотя бы в бога пастухов и инквизиторов, который сделал из воды вино, а из крови воду; верили в прогресс, в искусство, в любые очки, в любую пробирку, в любой камешек музея. Мы верили в социальную справедливость и в символику цветов. Мы умилялись то перед эстетикой небоскребов, то перед открытием новой сыворотки. Мы верили, что все идет к лучшему. Мы до хрипоты спорили, постановляли, читали стихи и сравнивали различные конституции. У нас были тогда стоячие воротнички и стойкие души. А потом? Потом мы лежали в грязи окопов и вместо карнавальных масок примеряли противогазы. Мы

кололи штыками, добывали пшено, дрожали от «сыпняка» или от «испанки»... Мы узнали, что война пахнет калом и газетной краской, а мир - карболкой и тюрьмой...»

В те годы было написано немало печальных книг; очевидно, многие актеры терзаются во время антрактов еще сильнее, чем на сцене...

Мне прислали из Москвы статью «На путях жизни», напечатанную в газете. Критик писал: «И. Эренбург рассказывает здесь о том, как, «не выдержав свободы и голода», он «прикрепился», поступил на службу: «В мои обязанности входило перегонять баранов со скотного двора Виллет на соседние бойни...» Способ, избранный И. Эренбургом, временного обращения к подсобному заработку заслуживает, думается, серьезного внимания... Пример И. Эренбурга заслуживает внимательного общественного рассмотрения. Сам Эренбург в своей временной службе на бойнях усматривает нечто героическое, что-то вроде мученического венца вокруг изборожденного глубокими думами писательского чела: «Аккуратно считал я зады баранов. Порой бараны упирались и трагически блеяли. Я кричал тогда «Э! Э!», причем мой голос, бывавший вдоволь нежным, когда приходилось заговаривать барышень или публично читать некоторые главы из «Жанны Ней», ухитрялся теперь пугать этих агонизирующих тварей...» Как трагически оторван писатель от живой жизни, если такая простая вещь, как приискание какой-либо временной работы, кажется ему чем-то вроде небывалой, чуть ли не мировой трагедии... Это правильный и здоровый путь!»

Кажется, единственный раз в те времена в моих писаниях нашли нечто заслуживающее похвалы, но и то похвалили незаслуженно: никогда я не работал на бойнях и не гонял баранов. Но я видел окопы на Сомме, тяжелую одурь передышки, нищету Бельвилля, итальянских чернорубашечников и многое другое.

Проходя мимо «Ротонды», я увидел на террасе знакомое лицо: это был поэт Перец Маркиш, которого я знал по Киеву. Его трудно было не заметить: красивое, вдохновенное лицо выделялось в любой среде. Б. А. Лавренев уверял, что Маркиш походил на портреты Байрона. Может быть. А может быть, просто на тот облик романтического поэта, который остался в нашем представлении от сотен холстов или рисунков, от строк поэм, от воздуха другой эпохи. Романтиком Маркиш был не только в стихах; романтически вились его волосы, романтически была поставлена голова на стройной шее (он не любил галстуков и ходил всегда с расстегнутым воротничком); да и юношеский облик, который он сохранил до смерти, был тоже романтическим.

За его столиком сидели еврейский писатель из Польши Варшавский и художник, фамилию которого я забыл. Варшавского я знал по роману «Контрабандисты», переведенному на различные языки; он был застенчивым, мало разговаривал. Художник, напротив, не замолкая говорил о выставках, о критиках, о том, как трудно прожить в Париже, - он был бессарабцем, незадолго до того приехал во Францию, работал как маляр, а в свободные часы писал пейзажи. Не то Варшавский, не то художник рассказал историю о дудочке. Это была хасидская легенда (хасиды - мистическая и бунтарская секта, восставшая в XVIII веке против раввинов и богачей-лицемеров). Легенду я запомнил и включил потом в мою книгу «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца»; книга эта малоизвестна, и я перескажу историю.

В одном из местечек Волыни был знаменитый цадик - так называли хасиды подлинных праведников. В местечке, как и повсюду, были богачи, дававшие деньги в рост, домовладельцы, купцы, были люди, мечтавшие правдой и неправдой разбогатеть; словом, неправедных было вдоволь. Настал Судный день, когда, по верованиям религиозных евреев, Бог судит людей и определяет их дальнейшую судьбу. В Судный день они не едят, не пьют, пока не покажется вечерняя звезда и раввин не отпустит их из синагоги. В тот день в

синагоге стояла тяжелая тишина. По лицу цадика люди видели, что Бог рассержен злыми делами обитателей местечка; не показывалась звезда; все ждали сурового приговора. Цадик просил Бога отпустить людям грехи, но Бог прикидывался глухим. Вдруг тишину нарушила маленькая дудочка. Среди бедноты, стоявшей позади, был портной с пятилетним сынишкой. Мальчику надоели молитвы, и он вспомнил, что у него в кармане грошовая дудочка, которую ему купил накануне отец. Все накинулись на портного: вот за такие выходки Господь покарает местечко!.. Но цадик увидел, что суровый Бог не выдержал и улыбнулся.

Вот и вся легенда. Она взволновала Маркиша, он воскликнул: «Да это об искусстве!..» Потом мы встали, пошли по домам. Маркиш довел меня до угла и неожиданно (мы говорили о чем-то другом) сказал: «Но сейчас, мало дудочки, сейчас нужна труба Маяковского...»

Мне кажется, что в этой фразе было объяснение многих трудных лет его жизни. Он не был создан ни для громких призывов, ни для эпических поэм, был поэтом с дудочкой, издававшей чистые, пронзительные звуки. Но воображаемого бога, способного улыбнуться, не оказалось, а век был шумным, и уши людей порой не различали музыки.

Стихотворцы всегда существовали, особенно много их развелось, когда производство стихов стало профессией. Маркиш был поэтом. Трудно, конечно, судить о стихах по переводам - я не знаю еврейского языка,- но всякий раз, беседуя с Маркишем, я поражался его природе: он воспринимал и громкие события, и детали быта как поэт. Это не только мое впечатление, об этом мне говорили люди, друг на друга непохожие, А. Н. Толстой, Тувим, Жан Ришар Блок, Заболоцкий, Незвал.

Он не боялся избитых тем; часто писал о том, о чем, кажется, писали все поэты мира. Лес осенью:

Там листья не шуршат в таинственной треноге,
А, скрючившись, легли и дремлют на ветру.
Но вот один со сна поплелся по дороге.
Как золотая мышь искать свою нору.
Слеза любимой женщины:
Она не надает с твоих ресниц,

Но остается между век дрожащей.
В ней мир выходит из своих границ,
А в глубине растет зрачок блестящий...

Он был мастером и неустанно трудился; о нем можно сказать то,
что он сказал о старом портном:

Что он мог еще сюда
Темным привезти поселкам?
Выстроченные года,
Выпяченную иголку.

Маркиш не отворачивался от жизни; он не только принимал эпоху, он ее страстно любил; писал эпические поэмы о строительстве, о войне. Будучи человеком необычайно чистым, он ревниво ограждал то, что любил, от тени сомнений; советским был с головы до ног; и хотя мы люди одного поколения (он был на четыре года моложе меня), я восхищался его цельностью. Он увидел погромы, жил в Польше во время разгула антисемитизма, но не было в нем и тени национализма, даже национализма мышки, которая знает, что над половицей потягиваются кошки. Если нужно привести пример интернационализма, то можно свободно назвать Маркиша.

Критики отмечали, что в его произведениях порой чувствуются кеча ль, горечь, тревога. Могло ли быть иначе? Одна из его первых поэм - «Куча» - посвящена погрому в Городище; недавно я прочитал перевод его неизданного романа, законченного незадолго до того, как Маркиш погиб, - это летопись страданий, борьбы, гибели варшавского гетто.

Я не хочу, однако, ограничиваться только ссылкой на эпоху; нужно сказать о структуре поэта. Я припомню очень давний диалог между двумя испанскими поэтами: Раби Сем Тобом и маркизом Сантильяна. Евреи и арабы ввели в испанскую поэзию гномические стихи - короткие философские изречения. Одним из таких гномических поэтов был Раби Сем Тоб. Король Педро Жестокий, страдавший бессонницей, поручил Раби Сем Тобу написать для него стихи. Поэт назвал книгу «Советы», и она начиналась следующим утешением:

Нет ничего на свете,
Что бы вечно росло.
Когда луна становится полной.

Она начинает убывать. Много десятилетий спустя придворный поэт, маркиз Сантильяна, написал эпиграмму:

Как хорошее вино иногда содержится в дурной бочке.

Так истина порой исходит из уст еврея. Раби Сем Тоб как бы предвидел:

Когда мир был создан.

Мир был поделен:

Одним досталось хорошее вино,

Другим жажда. Маркиш принадлежал к поэтам не хорошего вина, а сухих губ; отсюда тот едва уловимый оттенок горечи, который порой проступает в его стихах, полных радости жизни.

Мы с ним виделись редко - жили в разных мирах; но всякий раз, встречая Маркиша, я чувствовал, что передо мной чудесный человек, поэт и революционер, который никого напрасно не обидит, не предаст друзей, не отвернется от попавшего в беду.

Помню митинг в Москве, в августе 1941 года; его передавали по радио в Америку. На митинге выступали Перец Маркиш, С. М. Эйзенштейн, С. М. Михоэлс, П. Л. Капица, я. Маркиш страстно призывал американских евреев потребовать от Соединенных Штатов борьбы с фашизмом (Америка тогда еще была нейтральной).

В последний раз я видел Маркиша 23 января 1949 года в Союзе писателей на похоронах поэта Михаила Голодного. Маркиш горестно сжал мне руку; мы долго глядели друг на друга, гадая, кто вытянет жребий.

Перца Маркиша арестовали четыре дни спустя - 27 января 1949 года, день его смерти - 12 августа 1952 года.

Как все люди, встречавшие Маркиша, я думаю о нем с нежностью почти суеверной. Вспоминаю его стихи:

Две мертвые птицы на землю легли.

Удар был удачен... Что лучше земли?

Здесь, в солнечной этой блаженной стране,

Упасть так упасть! Так мерещится мне...

Шагнул я, пойдем же, ты слышал, пойдем!

Упал так упал. Не жалея ни о чем.

Лететь как лететь. Как слепителен свет!

Широки просторы, и края им нет.

Трудно привыкнуть к мысли, что поэта убили.

А в те давние дни, когда я встречал молодого, вдохновенного Маркиша на Монпарнасе, он говорил о дудочке ребенка и о громовом голосе Маяковского, примерял судьбу. Для меня он был залогом того, что нельзя разлучить эпоху и поэзию:

Я возложил тебя на рамена,

О век!

Я перепоясался тобою,

Как каменным широким кушаком.

Огромной крутизной встает дорога.

И должен я взобраться на нее.

Сквозь вой ветров, сквозь снеговые кручи

Я поднимаюсь... Многие погибнут

Среди сугробов...

Нет, он не был ни наивным мечтателем, ни слепым фанатиком, дудочки касались сухие губы взрослого, мужественного человека.

Приехав в Москву весной 1926 года, я поселился в гостинице на Балчуге; за номер брали много, а с деньгами у меня было туго. Меня приютили Катя и Тихон Иванович; жили они в Проточном переулке - между Смоленским рынком и Москвой-рекой, в старом, полуразвалившемся доме. (В начале войны в этот дом попала немецкая «зажигалка», и он сгорел.)

Не знаю почему, Проточный переулок тогда был облюбован ворами, мелкими спекулянтами, рыночными торговцами. В ночлежке «Ивановка» собиралось жулье. В домишках, розовых, абрикосовых, шоколадных, с вывесками частников, с выдранными звонками, с фикусами и поножовщиной, шла душная, звериная жизнь последних лет нэпа. Торговали все и всем, ругались, молились, хлестали водку и, мертвецки пьяные, валялись как трупы в подворотнях. Дворы были загажены В подвалах ютились беспризорные. Милиционеры и агенты угрозыска заглядывали в переулок с опаской.

Я увидел одного из черных ходов эпохи и решил его отобразить. Я знал, конечно, что писать о благородных героях приятнее, да и спокойнее, но автор не всегда волен в выборе персонажей; не он ищет героев, герои ищут его. У художников есть выражение «писать с натуры»; это никак не связано с натурализмом: импрессионисты, например, писали пейзажи только с натуры, а натуралисты, обычно выдающие себя за реалистов, преспокойно пишут портреты с фотографий. Я вдохновился Проточным переулком, с его равнодушием и надрывом, с мелким подходом к большим событиям, с жестокостью и раскаянием, с темнотой и тоской; впервые я попытался написать повесть «с натуры».

В основу фабулы легло подлинное происшествие: владелец одного из домишек - абрикосового или шоколадного,- жадный и бездушный торговец, разозлившись на беспризорных, которые стащили у него окорок, ночью завалил выход из подвала, где дети прятались от жестоких морозов.

Пейзаж меняется не только от освещения, но и от душевного состояния живописца. Я больше не мог жить одним отрицанием, я

замерзал от сатирических усмешек. В романе «Рвач» я попытался дать социальный анализ событий; там много общих описаний. В «Проточном переулке» очень мало иронии: я захотел найти в сердцах моих героев то доброе начало, которое позволит им расстаться с грязью, с пошлостью, с душевной пустотой. В те годы я не писал стихов, и повесть походила на лирическое признание.

Я не только полюбил моих невзрачных героев, я вложил в них самого себя. Остались в стороне домовладелец, который пытается уничтожить беспризорных, да его жилец, плюгавый бездельник, женившийся до революции на дочке барона и живущий на ее счет. Все остальные персонажи мечутся, ищут, страдают. Мои мысли, чувства тех лет можно найти и в обыкновенной советской девушке Тане, с ее случайными связями, с жадной большой любви, с книгами, с работой, и в неудачливом поэте Прахове, ставшем газетным халтурщиком, честолюбивом и слабовольном, готовом на пошлость, даже на подлость, но начинающем понимать тщету, да и мелкоту своих мечтаний, и в горбатом музыканте Юзике, играющем на скрипке в кинотеатре «Электра», в этом захолустном философе с его безнадежной любовью к жизни, и в старом чехе, бывшем преподавателе латыни, превратившемся в нищего, но духовно приподнявшемся, прозревшим, которого полюбили беспризорные.

Горбун Юзик спрашивает старого нищего:

«- Так почему же вас, преподавателя латыни, выбросили на улицу? Одно из двух - или вы правы, или они.

– Я был прав. Это прошедшее время. Они правы - это настоящее. А дети, играющие сейчас погремушками, будут правы: футурум... С удовлетворением глядел я на их флаги, на их процессии, на их воодушевление. Прекрасна, молодой человек, кровь, приливающая к щекам, и огонь самозабвения в глазах!..»

Кажется, ни одну мою книгу так не поносили, как роман «В Проточном переулке». Не помню всех статей, но одна сейчас передо мной, она озаглавлена «Советская Россия без коммунистов» и напечатана в ленинградской «Красной газете». «Увиденная и показанная сквозь жижицу Проточного переулка советская Россия - это не реальная наша страна, а заповедный идеал П. Н. Милюкова,- это советская Россия без коммунистов... Эренбург выполняет социальный заказ эмигрантской интеллигенции, дав зарисовку уголка

советской Москвы, без социалистического строительства, без пафоса строительства новой жизни... Эренбург уподобился тому щетинистому завсегдатаю свалок, который, ненароком забредя в розариум, увидел там не пышно растущие и благоухающие розы, а заметил колючие шипы и увлекся навозной жижей удобрения цветочных клумб».

Стендаль писал в «Красном и черном»: «Роман - зеркало на большой дороге. В нем отражаются то лазурное небо, то грязь, лужи, ухабы. И человека, у которого зеркало, вы обвиняете в безнравственности. Зеркало отражает грязь, и вы обвиняете зеркало. Обвиняйте лучше дорогу с ухабами или дорожную инспекцию...»

В 1926 году, когда я писал о Проточном переулке, К. А. Федин работал над «Трансваалем», Л. М. Леонов над «Вором». В. П. Катаев над «Растратчиками», В. В. Иванов над «Тайным тайных». Старая Литературная энциклопедия называет все эти книги «искажением советской действительности», «апологией мещанства», «клеветой».

Дело, видимо, не в политических мечтаниях П. Н. Милюкова... Писатели моего поколения в первые годы революции попытались увидеть общую картину, осознать значение происходящего; потом настало время более спокойное и, если угодно, более серое; писатели начали приглядываться к отдельным человеческим судьбам. В эпоху Эдуарда VII нищего мальчика секли за проказы принца; наши критики секли и секут писателей за ухабы большой дороги...

Проточный переулок никак не походил на розариум. А я, будучи щетинистым человеком, но, право же, не свиньей, терзался от грязи. Частенько мне бывало холодно на свете; я искал сердечности, теплоты. На берегу Москвы-реки летом цвели злосчастные цветы пустырей, затоптанные, заваленные нечистотами,- лютики, одуванчики. И эти цветы я хотел изобразить.

С прошлым не стоит спорить, но над ним стоит задуматься - проверить, почему написанные страницы столько раз оказывались бледнее, мельче тех, что в бессонные ночи мерещились автору.

Всю мою жизнь я беззаветно любил Гоголя. Эти строки я пишу в полутемном номере римской гостиницы - между двумя заседаниями оказалось несколько свободных дней, и я решил вернуться к начатой главе. Вчера я снова пошел в старое кафе «Греко», где когда-то сиживал Николай Васильевич, сел за столик под его портретом и

задумался: каким светом озарил этот угрюмый, болезненный, в жизни глубоко несчастный человек и Россию и мир!

В повести о Проточном переулке горбун Юзик читает и перечитывает одну книжку; ее первые страницы выдраны, он не знает ни заглавия, ни имени автора. Он говорит Тане: «Ах, Татьяна Алексеевна, вы только послушайте, что я вчера прочел: «Много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания». Таня смеется: «Глупые книжки вы читаете, Юзик. Кто теперь говорит «перл»? Это ювелир, а не писатель. Вы должны усвоить методологию...»

Приведенные слова принадлежат Гоголю. Душевная глубина позволила ему потрясти современников, она потрясает и нас. Сидя за его столиком, я думал, что ни у меня, ни у многих из моих современников не нашлось достаточной душевной глубины и что мы слишком часто оказывались побежденными - не критиками, конечно, а временем - именно потому, что не сумели с подлинной глубиной, с дерзостью замысла, с мужеством автора «Мертвых душ», «Шинели» осветить будничное, малопримечательное, «презренное».

Не буду говорить о других, но себя судить я вправе. Слабость моей повести не в замысле, не в том, что я обратился к неприглядным обитателям Проточного переулка, не противопоставив им строителей будущего, а в том, что изображаемый мир слишком робко, скупо, редко озарен светом искусства. Дело не в размерах отпущенного мне дарования, а в душевной поспешности, в том, что мы жили ослепленные огромными событиями, оглушенные пальбой, ревом, громчайшей музыкой и порой переставали ощущать оттенки, слышать биение сердца, отучались от тех душевных деталей, которые являются живой плотью искусства.

Все это я понял не в 1926 году, а много позднее: человек учится до самой смерти.

Лето в Москве стояло жаркое; многие из моих друзей жили на дачах или были в отъезде. Я слонялся по раскаленному городу. Один из очень душных, предгрозовых дней принес мне нечаянную радость: я познакомился с человеком, который стал моим самым близким и верным другом, с писателем, на которого я смотрел как подмастерье на мастера,- с Исааком Эммануиловичем Бабелем.

Он пришел ко мне неожиданно, и я запомнил его первые слова: «Вот вы какой...» А я его разглядывал с еще большим любопытством - вот человек, который написал «Конармию», «Одесские рассказы», «Историю моей голубятни»! Несколько раз в жизни меня представляли писателям, к книгам которых я относился с благоговением: Максиму Горькому, Томасу Манну, Бунину, Андрею Белому, Генриху Манну, Мачадо, Джойсу; они были много старше меня; их почитали все, и я глядел на них, как на далекие вершины гор. Но дважды я волновался, как заочно влюбленный, встретивший наконец предмет своей любви,- так было с Бабелем, а десять лет спустя - с Хемингуэем.

Бабель сразу повел меня в пивную. Войдя в темную, набитую людьми комнату, я обомлел. Здесь собирались мелкие спекулянты, воры-рецидивисты, извозчики, подмосковные огородники, опустившиеся представители старой интеллигенции. Кто-то кричал, что изобрели «эликсир вечной жизни», это свинство, потому что он стоит баснословно дорого, значит, всех пересидят подлецы. Сначала на крикуна не обращали внимания, потом сосед ударил его бутылкой по голове. В другом углу началась драка из-за девушки. По лицу кудрявого паренька текла кровь. Девушка орала: «Можешь не стараться, Гарри Пиль - вот кто мне нравится!..» Двух напившихся до бесчувствия выволокли за ноги. К нашему столику подсел старичок, чрезвычайно вежливый; он рассказывал Бабелю, как его зять хотел вчера прирезать жену, «а Верочка, знаете, и не сморгнула, только говорит: «Поворачивайте, пожалуйста, оглобли»,- она у меня, знаете, деликатная...» Я не выдержал: «Пойдем?» Бабель удивился: «Но ведь здесь очень интересно...»

Внешне он меньше всего походил на писателя. Он рассказал в очерке «Начало», как, приехав впервые в Петербург (ему тогда было двадцать два года), снял комнату в квартире инженера. Поглядев внимательно на нового жильца, инженер приказал запереть на ключ дверь из комнаты Бабеля в столовую, а из передней убрать пальто и калоши. Двадцать лет спустя Бабель поселился в квартире старой француженки в парижском предместье Нейи; хозяйка запирала его на ночь - боялась, что он ее зарежет. А ничего страшного в облике Исаака Эммануиловича не было; просто он многих озадачивал: бог его знает, что за человек и чем он занимается...

Майкл Голд, который познакомился с Бабелем в Париже в 1935 году, писал: «Он не похож на литератора или на бывшего кавалериста, а скорее напоминает заведующего сельской школой». Вероятно, главную роль в создании такого образа играли очки, которые в «Конармии» приняли угрожающие размеры («Шлют вас, не спросись, а тут режут за очки», «Жалеее вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку», «Аннулировал ты коня, четырехглазый»...). Он был невысокого роста, коренастый. В одном из рассказов «Конармии», говоря о галицийских евреях, он противопоставляет им одесситов, «жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино», - грузчиков, биндюжников, балагул, налетчиков вроде знаменитого Мишки Япончика прототипа Бени Крика. (Эпитет «жовиальный» - галлицизм, по-русски говорят: веселый или жизнерадостный.) Исаак Эммануилович, несмотря на очки, напоминал скорее жовиального одессита, хлебнувшего в жизни горя, чем сельского учителя. Очки не могли скрыть его необычайно выразительных глаз, то лукавых, то печальных. Большую роль играл и нос - неутомимо любопытный. Бабелю хотелось все знать: что переживал его однополчанин, кубанский казак, когда пил два дня без просыпу и в тоске сжег свою хату; почему Машенька из издательства «Земля и фабрика», наставив мужу рога, начала заниматься биомеханикой; какие стихи писал убийца французского президента белогвардеец Горгулов; как умер старик бухгалтер, которого он видел один раз в окошке издательства «Правда»; что в сумочке парижанки, сидящей в кафе за соседним столиком; продолжает ли фанфаронить Муссолини, оставаясь глаз на глаз с Чиано,- словом, мельчайшие детали жизни.

Все ему было интересно, и он не понимал, как могут быть писатели, лишенные аппетита к жизни. Он говорил мне о романах Пруста: «Большой писатель. А скучно... Может быть, ему самому было скучно все это описывать?..» Отмечая способности начинающего эмигрантского писателя Набокова-Сирина, Бабель говорил: «Писать умеет, только писать ему не о чем».

Он любил поэзию и дружил с поэтами, никак на него не похожими: с Багрицким, Есениным, Маяковским. А литературной среды не выносил: «Когда нужно пойти на собрание писателей, у меня такое чувство, что сейчас предстоит дегустация меда с касторкой...» У него были друзья различных профессий инженеры, наездники, кавалеристы, архитекторы, пчеловоды, цимбалисты. Он мог часами слушать рассказы о чужой любви, счастливой или несчастной. Он как-то располагал собеседника к исповеди; вероятно, люди чувствовали, что Бабель не просто слушает, а переживает. Некоторые его вещи - рассказы от первого лица, хотя в них чужие жизни (например, «Мой первый гонорар»), другие, напротив, под маской повествования о вымышленных героях раскрывают страницы биографии автора («Нефть»).

В коротенькой автобиографии Бабель рассказывал, что в 1916 году А. М. Горький «отправил» его «в люди». Исаак Эммануилович продолжал: «И я на семь лет - с 1917 по 1924 - ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч.»

Действительно семь лет, о которых упоминает Бабель, дали ему многое; но он был «в людях» и до 1916 года, оставался «в людях» и после того, как стал известным писателем: вне людей существовать он не мог. «История моей голубятни» была пережита мальчиком и уж много позднее рассказана зрелым мастером. В годы отрочества, ранней юности Бабель встречал героев своих одесских рассказов - налетчиков и барышников, близоруких мечтателей и романтических жуликов.

Куда бы он ни попадал, он сразу чувствовал себя дома, входил в чужую жизнь. Он пробыл недолго в Марселе; но, когда он рассказывал

о марсельской жизни, это не было впечатлениями туриста,- говорил о гангстерах, о муниципальных выборах, о забастовке в порту, о какой-то стареющей женщине, кажется прачке, которая, получив неожиданно большое наследство, отравилась газом.

Однако даже в любимой им Франции он тосковал о родине. Он писал в октябре 1927 года из Марселя: «Духовная жизнь в России благородней. Я отравлен Россией, скучаю по ней, только о России и думаю». В другом письме И. Л. Лифшицу, старому своему другу, он писал из Парижа: «Жить здесь в смысле индивидуальной свободы превосходно, но мы - из России тоскуем по ветру больших мыслей и больших страстей».

В двадцатые годы у нас в газетах часто можно было увидеть термин «ножницы»; речь шла не о портновском инструменте, а о растущем расхождении между ценой хлеба и ценой ситца или сапог. Я сейчас думаю о других «ножницах»: о расхождении между жизнью и значением искусства; с этими «ножницами» я прожил жизнь. Мы часто об этом говорили с Бабелем. Любя страстно жизнь, ежеминутно в ней участвуя, Исаак Эммануилович был с детских лет предан искусству.

Бывает так: человек пережил нечто значительное, захотел об этом рассказать, у него оказался талант, и вот рождается новый писатель. Фадеев мне говорил, что в годы гражданской войны он и не думал, что увлечется литературой; «Разгром» был для него самого негладким результатом пережитого. А Бабель и воюя знал, что должен будет претворить действительность в произведение искусства.

Рукописи неопубликованных произведений Бабеля исчезли в ведомстве Берии. Записки С. Г. Гехта напомнили мне о замечательном рассказе Исаака Эммануиловича «У Троицы». Бабель мне его прочитал весной 1938 года; это история гибели многих иллюзий, история горькая и мудрая. Пропали рукописи рассказов, прокали и главы начатого романа. Тщетно искала их вдова Исаака Эммануиловича, Антонина Николаевна. Чудом сохранился дневник Бабеля, который он вел в 1920 году, находясь в рядах Первой Конной: одна киевлянка сберегла толстую тетрадь с неразборчивыми записями. Дневник очень интересен - он не только показывает, как работал Бабель, но и помогает разобраться в психологии творчества.

Как явствует из дневника, Бабель жил жизнью своих боевых товарищей - победами и поражениями, отношением бойцов к населению и населения к бойцам, его потрясли великодушные, насилие, боевая выручка, погромы, смерти. Однако через весь дневник проходят настойчивые напоминания: «Описать Матяжа, Мишу», «Описать людей, воздух», «За этот день - главное описать красноармейцев и воздух», «Запомнить - фигура, лицо, радость Апанасенки, его любовь к лошадям, как проводит лошадей, выбирает для Бахтурова», «Обязательно описать прихрамывающего Губанова, грозу полка, отчаянного рубаку», «Не забыть бы священника в Лошкове, плохо выбритый, добрый, образованный, м. б. корыстолюбивый, какое там корыстолюбие- курица, утка», «Описать воздушную атаку, отдаленный и как будто медленный стук пулемета», «Описать леса - Кривиха, разоренные чехи, сдобная баба...»

Бабель был поэтом; ни натурализм описываемых им бытовых деталей, ни крупные очки на круглом лице не могут скрыть его поэтическую настроенность. Он загорался от стихотворной строки, от холста, от цвета неба, от зрелища человеческой красоты. Его дневник не относится к тем дневникам, которые рассчитаны на опубликование,- Бабель откровенно беседовал с собой. Вот почему, говоря о поэтичности Бабеля, я начну с записей в дневнике.

«Вырубленные опушки, остатки войны, проволока, окопы. Величественные зеленые дубы, грабы, много сосны, верба - величественное и кроткое дерево, дождь в лесу, размытые дороги, осень».

«Боратин - крепкое солнечное село. Хмель, смеющаяся дочка, молчаливый богатый крестьянин, яичница на масле, молоко, белый хлеб, чревоугодие, солнце, чистота».

«Великолепная итальянская живопись, розовые патеры, качающие младенца Христа, великолепный темный Христос, Рембрандт, Мадонна под Мурильо, а м. б. Мурильо, святые упитанные иезуиты, бородатый еврейчик, лавочка, сломанная рака, фигура св. Валента».

«Вспоминаю разломанные рамы, тысячи пчел, жужжащих и бьющихся у разрушенного улья».

«Графский, старинный польский дом. наверное, б. 100 лет, рога, старинная светлая плафонная живопись, маленькие комнаты для

дворецких, плиты, переходы, экскременты на полу, еврейские мальчишки, рояль Стейнвей, диваны вскрыты до пружин, припомнить белые легкие и дубовые двери, французские письма 1820 г.».

О своем отношении к искусству Бабель рассказал в новелле «Ди Грассо». В Одессу приезжает актер из Сицилии. Он играет условно, может быть чрезмерно, но сила искусства такова, что злые становятся добрыми; жена барышника, выходя из театра, упрекает пристыженного мужа: «Босьяк, теперь ты видишь, что такое любовь...»

Я помню появление «Конармии». Все были потрясены силой фантазии; говорили даже о фантастике. А между тем Бабель описал то, что видел. Об этом свидетельствует тетрадка, побывавшая в походе и пережившая автора.

Вот рассказ «Начальник конзапаса». «На огненном англоарабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса, - краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар». Далее Дьяков говорит крестьянину, что за коня он получит пятнадцать тысяч, а если бы конь был повеселее, то двадцать: «Ежели конь упал и подымается, то это - конь: ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь». А вот запись в дневнике 13 июля 1920 года: «Начальник конского запаса Дьяков - феерическая картина, кр[асные] штаны с серебр [яными] лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, корот[кие] седые усы, сорок пять лет... был атлетом... о лошадях». 16 июля: «Приезжает Дьяков. Разговор короткий: за такую-то лошадь можешь получить 15 т., за такую-то - 20 т. Ежели поднимется, значит, это лошадь».

Рассказ «Гедали»; в нем автор встречает старого еврея-старьевщика, который печально излагает свою философию: «Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому, что он - контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы революция. А революция - это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек... И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории». Лавка Гедали описана так: «Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю».

Запись в дневнике 3 июля 1920 года: «Маленький еврей философ. Невообразимая лавка - Диккенс, метлы и золотые туфли. Его философия: все говорят, что они воюют за правду, и все грабят».

В дневнике есть и Прищепа, и городок Берестечко, и найденное там французское письмо, и убийство пленных, и «пешка» в боях за Лешнюв, и речь комдива о Втором конгрессе Коминтерна, и «бешеный холуй Левка», и дом ксендза Тузинкевича, и много других персонажей, эпизодов, картин, перешедших потом в «Конармию». Но рассказы не похожи на дневник. В тетрадке Бабель описывал все, как было. Это опись событий: наступление, отступление, разоренные, перепуганные жители городов и сел, переходящих из рук в руки, расстрелы, вытопанные поля, жестокость войны. Бабель в дневнике спрашивал себя: «Почему у меня непроходящая тоска?» И отвечал: «Разлетается жизнь, я на большой непрекращающейся панихиде».

А книга не такова: в ней, несмотря на ужасы войны, на свирепый климат тех лет, вера в революцию и вера в человека. Правда, некоторые говорили, что Бабель оклеветал красных кавалеристов. Горький заступился за «Конармию» и написал, что Бабель «украсил» казаков Первой Конной «лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев». Слово «украсить», вырванное мною из текста, да и сравнение с «Тарасом Бульбой» могут сбить с толку. Притом язык «Конармии» цветист, гиперболичен. (Еще в 1915 году, едва приступив к работе писателя, Бабель говорил, что ищет в литературе солнца, полных красок, восхищался украинскими рассказами Гоголя и жалел, что «Петербург победил Полтавщину. Акакий Акакиевич скромненько, но с ужасающей властностью затер Грицка...».)

Бабель, однако, не «украсил» героев «Конармии», он раскрыл их внутренний мир. Он оставил в стороне не только будни армии, но и многие поступки, доводившие его в свое время до отчаяния; он как бы осветил прожектором один час, одну минуту, когда человек раскрывается. Именно поэтому я всегда считал Исаака Эммануиловича поэтом.

«Конармия» пришлась по душе самым различным писателям: Горькому и Томасу Манну, Барбюсу и Мартен дю Гару, Маяковскому и Есенину, Андрею Белому и Фурманову, Ромену Роллану и Брехту.

В 1930 году «Новый мир» напечатал ряд писем зарубежных писателей, главным образом немецких,- ответы на анкету о советской

литературе. В большинстве писем на первом месте стояло имя Бабеля.

А Исаак Эммануилович критиковал себя со взыскательностью большого художника. Он часто говорил мне, что писал чересчур цветисто, ищет простоты, хочет освободиться от нагромождения образов. Как-то в начале тридцатых годов он признался, что Гоголь «Шинели» теперь ему ближе, чем Гоголь ранних рассказов. Он полюбил Чехова. Это были годы, когда он писал «Гюи де Мопассана», «Суд», «Ди Грассо», «Нефть».

Работал он медленно, мучительно; всегда был недоволен собой. При первом знакомстве он сказал мне: «Человек живет для удовольствия, чтобы спать с женщиной, есть в жаркий день мороженое». Я как-то пришел к нему, он сидел голый: был очень жаркий день. Он не ел мороженого, он писал. Приехав в Париж, он и там работал с утра до ночи: «Я тружусь здесь, как вдохновенный вол, света божьего не вижу (а в свете этом Париж - не Кременчуг)...» Потом он поселился в деревне, неподалеку от Москвы, снял комнату в избе, сидел и писал. Повсюду он находил для работы никому не ведомые норы. Этот на редкость «жовиальный» человек трудился, как монах-отшельник.

Когда в конце 1932 - в начале 1933 года я писал «День второй», Бабель чуть ли не каждый день приходил ко мне. Я читал ему написанные главы, он одобрял или возражал - моя книга его заинтересовала, а другом он был верным.

Он любил прятаться, не говорил, куда идет; его дни напоминали ходы крота. В 1936 году я писал об Исааке Эммануиловиче: «Его собственная судьба похожа на одну из написанных им книг: он сам не может ее распутать. Как-то он шел ко мне. Его маленькая дочка спросила: «Куда ты идешь?» Ему пришлось ответить; тогда он передумал и не пошел ко мне... Осьминог, спасаясь, выпускает чернила: его все же ловят и едят - любимое блюдо испанцев «осьминог в своих чернилах». (Я написал это в Париже в самом начале 1936 года, и мне страшно переписывать теперь эти строки: могли я себе представить, как они будут звучать несколько лет спустя?..)

По совету Горького Бабель не печатал своих произведений в течение семи лет: с 1916 по 1923. Потом одна за другой появились «Конармия», «Одесские рассказы», «История моей голубятни», пьеса «Закат». И снова Бабель почти замолк, редко публикуя маленькие

(правда, замечательные) рассказы. Одной из излюбленных тем критиков стало «молчание Бабеля». На Первом съезде советских писателей я выступил против такого рода нападок и сказал, что слониха вынашивает детей дольше, чем крольчиха; с крольчихой я сравнил себя, со слонихой - Бабеля. Писатели смеялись. А Исаак Эммануилович в своей речи, подтрунивая над собой, сказал, что он преуспевает в новом жанре молчания.

Ему, однако, было невесело. С каждым днем он становился все требовательнее к себе. «В третий раз принялся переписывать сочиненные мною рассказы и с ужасом увидел, что потребуется еще одна переделка - четвертая...» В одном письме он признавался: «Главная беда моей жизни - отвратительная работоспособность...»

Я не кривил душой, говоря о крольчихе и слонихе: я высоко ценил талант Бабеля и знал его взыскательность к себе. Я гордился его дружбой. Хотя он был на три года моложе меня, я часто обращался к нему за советом и шутя называл его «мудрым ребе».

Я всего два раза разговаривал с А. М. Горьким о литературе, и оба раза он с нежностью, с доверием говорил о работе Бабеля; мне это было приятно, как будто он похвалил меня... Я радовался, что Ромен Роллан в письме о «Дне втором» восторженно отозвался о «Конармии». Я любил Исаака Эммануиловича, любил и люблю книги Бабеля...

Еще о человеке. Бабель не только внешностью мало напоминал писателя, он и жил иначе: не было у него ни мебели из красного дерева, ни книжных шкафов, ни секретаря. Он обходился даже без письменного стола - писал на кухонном столе, а в Молоденове, где он снимал комнату в домике деревенского сапожника Ивана Карповича, - на верстаке.

Первая жена Бабеля, Евгения Борисовна, выросла в буржуазной семье, ей нелегко было привыкнуть к причудам Исаака Эммануиловича. Он, например, приводил в комнату, где они жили, бывших однополчан и объявлял: «Женя, они будут ночевать у нас»...

Он умел быть естественным с разными людьми, помогали ему в этом и такт художника и культура. Я видел, как он разговаривал с парижскими снобами, ставя их на место, с русскими крестьянами, с Генрихом Манном или с Барбюсом.

В 1935 году в Париже собрался Конгресс писателей в защиту культуры. Приехала советская делегация; среди нее не оказалось Бабеля. Французские писатели, инициаторы конгресса, обратились в наше посольство с просьбой включить автора «Конармии» и Пастернака в состав советской делегации. Бабель приехал с опозданием - кажется, на второй или на третий день. Он должен был сразу выступить. Усмехаясь, он успокоил меня: «Что-нибудь скажу». Вот как я описал в «Известиях» выступление Исаака Эммануиловича: «Бабель не читал своей речи, он говорил по-французски, весело и мастерски, в течение пятнадцати минут он веселил аудиторию несколькими ненаписанными рассказами. Люди смеялись, и в то же время они понимали, что под видом веселых историй идет речь о сущности наших людей и нашей культуры: «У этого колхозника уже есть хлеб, у него есть дом, у него есть даже орден. Но ему этого мало. Он хочет теперь, чтобы про него писали стихи...»

Много раз он говорил мне, что главное - это счастье людей. Любил животных, особенно лошадей; писал о своем боевом друге Хлебникове: «Нас потрясли одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони».

Жизнь для него оказалась не майской лужайкой... Однако до конца он сохранил верность идеалам справедливости, интернационализма, человечности. Революцию он понял и принял как залог будущего счастья. Один из лучших рассказов тридцатых годов «Карл-Янкель» - кончается словами: «Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карла-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дело до меня. «Не может быть,- шептал я себе,- чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня...»

А Бабель был одним из тех, кто оплатил своей борьбой, своими мечтами, своими книгами, а потом и своей смертью счастье будущих поколений.

В конце 1937 года я приехал из Испании, прямо из-под Теруэля, в Москву. Когда я дойду до рассказа о тех днях, читатель поймет, как мне было важно повидать сразу Бабеля. «Мудрого ребе» я нашел печальным, но его не покидали ни мужество, ни юмор, ни дар рассказчика. Он мне рассказал однажды, как был на фабрике, где изъятые книги шли на изготовление бумаги; это была очень сметная и

очень страшная история. В другой раз он рассказал мне о детдомах, куда попадают сироты живых родителей. Невыразимо грустным было наше расставание в мае 1938 года...

Бабель всегда с нежностью говорил о родной Одессе. После смерти Багрицкого, в 1936 году, Исаак Эммануилович писал: «Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города, согласились мы с ним, пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории, стариться... Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря - на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом... Желания наши не осуществились. Багрицкий умер в 38 лет, не сделав и малой части того, что мог. В государстве нашем основан ВИЭМ - Институт экспериментальной медицины. Пусть добьется он того, чтобы эти бессмысленные преступления природы не повторялись больше».

Природу мы порой в сердцах называем слепой. Бывают слепыми и люди...

Незадолго до ареста он писал своей приятельнице, которая сняла для него домик в Одессе: «Сей числящийся за мной флигелек очень поднял мой дух. Достоевский говорил когда-то: «Всякий человек должен иметь место, куда бы он мог уйти», - и от сознания, что такое место у меня появилось, я чувствую себя много увереннее на этой, как известно, вращающейся земле».

Бабеля арестовали весной 1939 года. Узнал я об этом с опозданием - был во Франции. Шли мобилизованные, дамы гуляли с противогазами, окна оклеивали бумажками. А я думал о том, что потерял человека, который помогал мне шагать не по майскому лугу, а по очень трудной дороге жизни.

Нас роднило понимание долга писателя, восприятие века: мы хотели, чтобы в новом мире нашлось место и для некоторых очень старых вещей - для любви, для красоты, для искусства.

В конце 1954 года, может быть в тот самый час, когда человек со смешным именем Карла-Янкеля и его сверстники - Иваны, Петры, Николы, Ованесы, Абдуллы - веселой ватагой выходили из университетских аудиторий, прокурор сообщил мне о посмертной реабилитации Исаака Эммануиловича. Вспоминая рассказ Бабеля, я смутно подумал: не может быть, чтобы они не были счастливее нас!..

Одна читательница говорила мне, что ей трудно было читать «Бурю»: только-только Валя декламирует «Гамлета» - и уже какая-то Гильда в немецком городке заводит шашни с итальянцем, потом Сергей у Днепра, потом Мики поет партизанскую песенку в горах Лимузина, - все путается. Возможно, эта читательница права: роман - парк, и даже густые заросли в нем обдуманы. А жизнь - лес, и в книге о прожитых годах невозможно соблюсти стройность повествования.

Я писал о Проточном переулке - и сразу перехожу к Пен марку во французском округе Финистер. (Между Москвой и Пенмарком я побывал в Ленинграде, Киеве, Днепропетровске, Ростове, Тбилиси, Батуми, Стамбуле, Афинах, Марселе, Париже, Берлине; все это я сейчас опускаю.) Ничего не поделаешь с семнадцати лет я начал бродяжничать, годы и годы ночевал в случайных номерах замызганных гостиниц, часто менял адреса, тряся в зеленых прокопченных вагонах, отдыхал на палубах, спал в самолетах, сотни километров исходил пешком, причем никогда не чувствовал себя туристом, да и не затем колесил по миру, чтобы набрать материал для очередной книги; ездил по доброй воле, ездил и потому, что посылали, с деньгами и без денег: сначала мелькали верстовые столбы, потом сугробы облаков; я быстро изнашивал ботинки, покупал не шкафы, а чемоданы - так вот сложилась моя жизнь. Наверно, это - свойство натуры: есть домоседы, есть и «вечные жида»; здесь нечем гордиться и не в чем оправдываться.

В Пенмарке я был в 1927 году и пишу о нем не потому, что мне хочется показать угрюмую красоту скал, исхлестанных океаном, или своеобразие древней бретонской скульптуры; право же, Акрополь совершенней, а океан тем и хорош, что не поддастся описанию. Но я обещал рассказать про свой путь, а жизнь складывается не только из исторических событий; порой незначительное происшествие, деталь быта, случайная встреча врезаются в память и многое определяют.

Пенмарк - небольшой городок на одном из западных мысов Европы; его жители занимаются рыбным промыслом - ловят сардину;

женщины работают на консервных фабриках, Пенмарк пропах рыбой, ею пахнут люди, одежда, кровати, подушки.

Когда я впервые увидел этот городок, меня поразило беспокойство и природы и людей. Нигде я не слышал такого яростного моря, оно стучалось в каменные ворота земли. Ветер сбивал с ног; и ни одно дерево не смягчало картины - камни, камни, а между ними белые кубики консервных фабрик. На площади стояли рыбаки в красных брезентовых костюмах. В порту торчали голые мачты, похожие на лес зимой. Женщины были одеты в длинные черные платья, высокие белые чепчики походили на митры; их можно было увидеть издали, как маленькие маяки. Ворота фабрик были заперты. Уже не первый день рыбаки бастовали. Их требования могли удивить человека, незнакомого с ловом сардины: они хотели, чтобы фабриканты брали весь улов, хотя бы по низкой цене. Сардину ловят только в летние месяцы, когда она стаями подымается в верхние слои воды, идет недалеко от берега. Рыбаки должны летом накопить деньги на зиму. Фабриканты консервов были объединены в союз и не хотели пойти на соглашение с рыбаками, говорили, что фабрики недостаточно оборудованы; на самом деле они боялись, что цены на консервы могут упасть.

Забастовку рыбаки проиграли у них не было денег про черный день: все дни были черными. Я присматривался к жизни людей, она была трудной. Крупная рыба часто рвала тонкие голубые сети. Хотя французские сардины считались лучшими в мире и составляли предмет экспорта, фабрики были действительно плохо оборудованы, труд оплачивался низко. Приезжавшие в Бретань художники любили писать женщин Пенмарка, их привлекали старинная одежда, чепцы, красота лиц; а руки у работниц были красные, разъеденные солью.

Один парусник пришел в порт с хорошим уловом. Мокрые, продрогшие люди радовались. Сардину, однако, отказались взять. Напрасно рыбаки уговаривали, настаивали, ругались. В другом порту - Одьерне - была фабрика, не входившая в объединение предпринимателей, рыбаки решили попытать счастья, хотя ветер крепчал, начинался шторм. Оставшиеся на берегу угрюмо говорили: «А что им делать? У них большие семьи...»

Есть размышления о «мыслящем тростнике», есть фантастика Вилье де Лилль Адана, есть бретонские пейзажи Гогена. Но есть и

другое голодные дети. Одна из трагедий нашей эпохи в этом противоречии между взлетом человеческого гения и древней, звериной нуждой.

Женщины, стоявшие на берегу, видели, как высокая волна опрокинула лодку. Поднялась человеческая буря: люди колотились в запертые ворота фабрики. Хозяев не было, - вероятно, они отдыхали на курорте. Перепуганные управляющие кинулись к телефонам, умоляли прислать отряд жандармов.

С маяка пошла моторная лодка, и тонувших удалось спасти. Все сразу притихло. Наутро парусники вышли в море; женщины аккуратно отрезали сардинам головы или укладывали рыбу в жестянки.

Ничего, таким образом, не произошло. Почему же мне это запомнилось? О том, что сытый голодного не понимает, я знал и раньше - не только из книг, по своему опыту. Да и жизнь рыбаков Пенмарка не могла меня удивить, я давно пригляделся к человеческой бедности. Потрясло меня другое.

Рыбаки Пенмарка ежедневно вступали в поединок с океаном. На кладбище я видел немало крестов над пустыми могилами, к ним приходили вдовы погибших в море. Борьба человека с природой всегда приподымает, и кажется, нет мифа прекраснее, чем миф о Прометее. Незадолго до моего приезда в Пенмарк молодой американский летчик Линдберг первым перелетел через Атлантический океан, и я видел в рыбацких домах его портреты, вырезанные из газет. В детстве я увлекался книжкой о «Фрамс» Нансена и потом, в течение моей жизни, пережил события, большие или меньшие, потрясавшие воображение всех: Блерио перелетел через Ла-Манш, русские моряки спасали жителей Мессины во время землетрясения, Кальмет нашел антитуберкулезную прививку, ледокол «Красин» спас полярную экспедицию Нобиле, погиб Амундсен, челюскинцы удержались на льдине, советские летчики прилетели в Америку через Северный полюс, Флеминг открыл пенициллин, англичане взобрались на верхушку Эвереста, норвежцы на плоту доплыли до Полинезии, советский спутник закружился вокруг Земли, и, наконец, мир, восхищенный, замер - впервые человек, Юрий Гагарин, заглянул в космос.

Рядом с этими событиями, потрясающими воображение, обыкновенные люди днем и ночью борются против слепой природы - рыбаки и врачи, горняки и летчики гражданского флота.

В 1929 году я увидел в Швеции слепого инженера-физика Далена. Он работал над освещением маяков и ослеп при одном из испытаний, отдал свои глаза для того, чтобы другие видели - капитаны судов, лоцманы, рыбаки. А в Пенмарке я увидел другое... Есть подвиги, и есть барыши,- вот что невыносимо! Есть люди, готовые послать на смерть не только трех бретонских рыбаков, но и весь «мыслящий тростник» только для того, чтобы не упали цены на сардины, на нефть или на уран.

Может быть, я отвлекся от повествования, но, как я сказал, ничего в Пенмарке не приключилось. Об инциденте была крохотная заметка в одной газете. Рыбаки продолжали закидывать сети. Акционеры консервных фабрик получали дивиденды.

Передышка продолжалась. 1927 год не изобиловал мировыми событиями. Сэр Генри Детердинг, который не мог простить Советскому Союзу национализацию нефтяных промыслов, добился разрыва дипломатических отношений между Великобританией и СССР. Американцы казнили Сакко и Ванцетти - в Париже шумная демонстрация протеста пыталась прорваться к американскому посольству. Андре Ситроен торжественно объявил, что его заводы выпускают тысячу автомобилей в день. В Варшаве белый эмигрант застрелил советского посла Войкова. На экранах Парижа появился первый говорящий фильм, кажется «Дон-Жуан». В Берлине состоялся митинг сторонников Гитлера; хотя Германия переживала период благоденствия, ораторы говорили о «жизненном пространстве на Востоке». В Москве рапповцы повторяли: «Необходимо сорвать маски со всех»,- к маскам они причисляли и лица многих писателей. (Впрочем, тогда все ограничивалось статьями...)

Зимой я снова поехал в Пенмарк с Моголи Надем, который мечтал сделать фильм о сардинах и о людях, бездушных дельцах; он говорил, что у него на примете левый меценат. Рыбаки рассказывали нам о фабрикантах, о штормах. Океан неистовствовал. Рыбачки, укачивая детей, пели печальные песни.

Мецената Моголи Надь не нашел и фильма не сделал. А я, вернувшись из Пени арка, писал: «Ужасен мир, где Каин - и

законодатель, и жандарм, и судья!.. В этом году исполнится десять лет со дня окончания мировой войны. Если ничего не изменится, через десять лет мы увидим новую войну, куда более ужасную». Не знаю, почему я назвал эту цифру, а ошибся я всего на полтора года...

Среди рукописей Е. П. Петрова сохранился план задуманной им книги «Мой друг Ильф». В пятой главе этого плана я нашел такие строки: «Красная Армия. Единственный человек, который прислал мне письмо, был Ильф. Вообще стиль того времени был такой: на все начихать, письма писать глупо, МХАТ - бездарный театр, читайте «Хулио Хуренито». Эренбург привез из Парижа отрывки из фильмов группы «Авангард» - замедленная съемка. «Париж уснул». Увлечение кинематографом. «Кабинет доктора Калигари», «Две сиротки», Мери Пикфорд. Фильмы с погонями. Немецкие фильмы. Первые фокстроты. При этом жили очень бедно».

Приведенные строки относятся, видимо, к 1926 году, когда я показывал в Москве отрывки из французских фильмов, которые мне дали Абель Ганс, Рене Клер, Фейдер, Эпштейн, Ренуар, Кирсанов. Я тогда еще не был знаком с Ильфом и Петровым, но, как они, увлекался кино, даже написал брошюру «Материализация фантастики»; немецкие фильмы вроде «Доктора Калигари» мне, однако, не нравились, я восхищался Чаплином, Гриффитом, Эйзенштейном, Рене Клером.

Год спустя мне пришлось ближе ознакомиться с «материализацией фантастики», вернее сказать - с фантастикой материализации. В Германии переводы моих книг выпускало издательство «Малик ферлаг». Его создал мой друг, немецкий коммунист, прекрасный поэт Виланд Герцфельде. Он всегда приходил на выручку советским писателям, которые оказывались за границей без денег. (В 1928 году Маяковский писал из Берлина: «Вся надежда на «Малик»...») И вот я получил письмо от Герцфельде: «Уфа» хочет инсценировать «Любовь Жанны Ней», фильм будет ставить один из лучших режиссеров - Георг Пабст.

Пабст был австрийцем, его никогда не увлекало экспрессионистическое нагромождение ужасов, или, как мы тогда говорили, «страсти-мордасти». Я знал его картину «Безрадостная улица» - о разоре послевоенных лет, она мне понравилась, и я

обрадовался предложению «Уфы». Вскоре Пабст попросил меня приехать в Берлин, где происходили съемки.

Успех «Броненосца «Потемкин» заставил призадуматься многих кинопродюсеров. Публика охладела к зловещим гримасам различных «докторов». Ковбои тоже успели надоест. Русская революция манила своей экзотичностью. Сесиль де Милль спешно изготовил «Волжских бурлаков», Морис Лертье - «Головокружение». Пабст решил приправить интригу моего романа живописными сценами: бой белогвардейцев с «зелеными», заседание Совета рабочих депутатов, Ревтрибунал, подпольная типография. Зная, что сценарий, состряпанный кем-то наскоро, изобилует нелепостями, немцы с присущим им педантизмом все же стремились к правдоподобности деталей, ходили в советское посольство и одновременно приглашали в качестве консультанта генерала Шкуро, выступавшего с труппой джигитов.

В павильоне кинофабрики я увидел улицы Феодосии с аркадами, русскую замызанную гостиницу, монмартрский кабаk, кабинет модного французского адвоката, кресло великого князя, бутылки с водкой, статую Богоматери, нары ночлежки и много иной бутафории. Москва находилась в пятидесяти шагах от Парижа, между ними торчал крымский холм; белогвардейский притон был отделен от советского трибунала французским вагоном.

Фильм был немым, это позволило Пабсту набрать разноязычных актеров. Жанну Ней играла хорошенькая француженка Эдит Жеан, Андрея - швед Уно Геннинг, злодея Халыбьева - немец Фриц Расп, Захаркевича - бывший актер московского Камерного Театра Соколов.

Из съемок мне запомнились три сцены. Прежде всего слезы Жанны. Актриса никак не могла натурально заплакать. Завели патефон с каким-то весьма печальным романсом. Отвернувшись, Эдит Жеан настраивалась на слезы,- может быть, вспоминала неудачную любовь, а может быть, думала о невыгодном ангажементе. Пабст в кожаной куртке напоминал командира батареи, он безжалостно браковал слезы Жанны: то недолет, то перелет. Наконец он довел актрису до слез вполне натуральных и, удовлетворенный, вынул из кармана бутерброд с ветчиной. Он представил меня кинозвезде; она улыбнулась: «Ах, это вы на писал и такую печальную историю? Я вас поздравляю». Конечно, я должен был, в свою очередь,

ее поздравить с первосортными слезами, но растерялся и неопределенно хмыкнул.

Вторая сцена связана с клопами. По замыслу Пабста, клопы должны были ползти по стене, а Халыбьев - их наступать и давить; причем клопов снимали крупным планом. Отдел заготовок «Уфы» доставил банку с чудесными клопами; однако насекомые оказались несообразительными - они то поспешно покидали поле съемки, то замирали, очевидно сжигаемые слишком ярким светом. Распу, который играл Халыбьева, никак не удавалось их раздавить. Помощник режиссера сказал мне, что клоны влетят «Уфе» в копейку - на них потратили четыре часа.

Третья сцена - кутеж белых офицеров. Пабст пригласил на съемку бывших деникинцев. Они сберегли военную форму; трудно сказать, на что они рассчитывали - на реставрацию или на киносъемки. Сверкали погоны, высились лихие папахи, на рукавах красовались черепа «батальонов смерти». Я вспомнил Крым 1920 года, и мне стало не по себе.

Восемьдесят белогвардейцев кутили в ресторане «Феодосия». Здесь были балалайки, цыганские романсы, водка, а в углу - полевой телефон. До меня доносились разговоры фигурантов: «Давненько мы с вами не видались...», «Простите, в каком полку вы служили?..»

Пабст командовал: «Переведите! Пусть веселятся! Я хочу, чтобы они напились до бесчувствия. Понятно?» Красавец полковник должен был раздеть женщину. Она неожиданно заупрямилась. Пабст кричал: «Переведите - нечего разводить истории! Трусы ей оставят. Пусть думает, что она на пляже...»

Белые получали по пятнадцать марок за день и были довольны.

(В перерыве я слышал, как один поручик рассказывал: «Говорят, что Чжан Цзо-линь вербует русских. Двести долларов подъемных и на дорогу...»)

Чтобы фигуранты лучше играли, Пабст пообещал вызвать их снова: через неделю они будут изображать красногвардейцев, одежду выдаст «Уфа». Бедняга обрадовались: это было куда реальнее, чем Китай...

Не скрою, мне было нелегко плядеть на эти съемки. Я видел, как в парижских кабаре белые офицеры, развлекавая кутил, пели, танцевали, ругались, плакали; видел в притонах Стамбула сотни русских

проституток; и вот эти офицеры, убежденные, что спасли свою воинскую честь от позора, радуются - им обещали, что через неделю они будут изображать большевиков... Нет, лучше на такое не смотреть!

Из актеров мне понравился Фриц Расп, Он выглядел доподлинным злодеем, и, когда он укусил руку девки, а потом положил на укушенное место вместо пластыря доллар, я забыл, что передо мною актер.

Вскоре Расп приехал в Париж: Пабст снимал уличные сцены. Зарядили дожди, съемки откладывались, и Расп бродил со мной по Парижу, катался на ярмарочных каруселях, танцевал до упаду с веселыми модистками, мечтал на набережных Сены. Мы быстро подружились. Он играл негодяев, но сердце у него было нежное, даже сентиментальное, я его называл Жанной.

Мы встречались и позднее - в Берлине, в Париже. Когда в Германии пришел к власти Гитлер, Распу было нелегко. Я снова увидел его после долгого перерыва в 1945 году в Берлине. Он рассказал, что жил в военные годы в восточном предместье. Там засели эсэсовцы, стреляли в советских солдат из окон. Я уже говорил, что Расп похож на классического убийцу. Когда наши части взяли квартал. Распа спасли мои книги с надписями и фотографии, где мы были сняты вместе. Советский майор жал ему руку, принес сласти его детям.

Вернусь к 1927 году. Я попробовал было возражать против сценария, но Пабст ответил, что я не понимаю специфики кино, нужно считаться с дирекцией, с прокатчиками, с публикой.

Неожиданно в фантастику сценария вмешался вполне реалистический эпизод: «Уфа» оказалась накануне банкротства, дефицит достиг пятидесяти миллионов марок. Из-за кулис появился господин Гугенберг, новый король Германии, которому принадлежали сотни газет; он ненавидел Штреземана, либерализм и голубок мира - предпочитал им кривого прусского орла.

Новая дирекция предложила Пабсту изменить сценарий. Пабст пытался возражать, но с директором «Уфы» было куда труднее сговориться, чем с белыми фигурантами.

У меня есть друг, американский кинорежиссер Майльстоун, который в начале тридцатых годов поставил фильм по роману Ремарка

«На Западе без перемен». Он рассказывал мне, что во время съемок к нему пришел кинопродюсер Леммле и сказал: «Я хочу, чтобы конец фильма был счастливым». Майльстоун ответил: «Хорошо, я сделаю счастливую развязку: Германия выигрывает войну...»

Леммле был бизнесменом и человеком без твердых убеждений. А Гугенберг стриг ежиком жесткие волосы и давал деньги на «Стальной шлем». Пабсту пришлось уступить. Мне показали фильм.

(Хемингуэй молча глядел на киноинсценировку романа «Протай, оружие!». Только когда на экране появились голуби - режиссер хотел показать, что война кончилась,- Хемингуэй встал, сказал: «Вот и птички»,- и вышел из просмотрового зала.

Я был куда наивнее и не мог молча глядеть на экран: то злобно смеялся, то ругал всех - Пабста, Гугенберга, Герцфельде, самого себя.)

Я не хочу сейчас за тишать интригу моего романа, написанного в 1923 году,- в ней много натянутых положений. Я писал роман, не только вдохновившись Диккенсом, но прямо ему подражая (конечно, тогда я этого не понимал). А эпоха была другая, нельзя писать о большевике, занимающемся подпольной работой в 1920 году, как о диккенсовском герое, которого сажали в долговую тюрьму, где он пил портер и шутил с тюремщиками. Мой роман изобиловал сентиментализмом. Героя, большевика Андрея, занятого подпольной работой, обвинили в убийстве банкира Раймонда Нея. Андрей мог ответить, что провел ночь, когда было совершено преступление, с племянницей банкира Жанной, которую полюбил. Герой этого не сделал и погиб. Жанна, бывшая прежде заурядной девушкой, многое поняла, для нее начиналась вторая жизнь - борьбы против мира лжи, денег, лицемерия, она уехала в Москву. Так было написано в книге. На экране все выглядело иначе - от деталей до сути. В романе имелся, например, противный французский сыщик Гастон с провалившимся носом. На экране у сыщика орлиный нос и благородное сердце. Дело, однако, не в Гастоне. Пабст придумал счастливую развязку. В романе влюбленные идут по парижской улице мимо старой церкви. Жанна повела Андрея в церковь - там было темно, а ей хотелось поцеловать Андрея. Это, пожалуй, одна из самых реалистических сцен романа, в котором, как я говорил, много несуразностей. На экране Жанна - верующая католичка, она ведет Андрея в церковь, чтобы помолиться

Господу Богу, большевик становится на колени, и Богоматерь спасает его от гибели. Они поженятся, и у них будут дети.

Я протестовал, писал письма в редакцию. Герцфельде напечатал мой протест в виде брошюры, но это никак не могло потревожить ни прокатчиков, ни дирекцию «Уфы». Мне отвечали: «Фильм должен быть с хорошим концом...»

В 1926 году, когда я был в Тбилиси, в народном суде рассматривалось смешное дело. Одна девушка взяла у другой несколько книг и не вернула их. Судья спросил: «Почему вы не вернули книги?» «Потому что я их кинула в реку».- «Как же вы могли выкинуть чужие книги?» Экспансивная девушка ответила: «А как мог Эренбург написать «Жанну Ней» с ужасным концом? Я прочитала и так расстроилась, что бросила в Куру все книги...» Судья присудил ее к штрафу; не знаю, чем он руководствовался: защитой собственности, уважением к книгам или признанием права писателя на трагическую развязку...

Я понял, что такое «фабрика снов», где серийно изготавливаются фильмы, усыпляющие сознание, оглуляющие миллионы людей. В течение одного 1927 года зрители могли увидеть: «Любовь на пляже», «Любовь в снегах», «Любовь Бетти Петерсон», «Любовь и кража», «Любовь и смерть», «Любовь правит жизнью», «Любовь изобретательна», «Любовь слепа», «Любовь актрисы», «Любовь индуски», «Любовь-мистерия», «Любовь подростка», «Любовь бандита», «Кровавая любовь», «Любовь на перекрестке», «Любовь и золото»; «Любовь запросто», «Любовь палача», «Любовь играет», «Любовь Распутина». Зрителям показали еще один вариант: «Любовь Жанны Ней».

Я писал: «В моей книге жизнь устроена плохо,- следовательно, ее нужно изменить. В фильме жизнь устроена хорошо,- следовательно, можно идти спать».

Я усмехаюсь, вспоминая гневные тирады неопытного автора. Все давно ушло в прошлое - и «Любовь Жанны Ней», и консорциум Гугенберга. Одно, впрочем, живо: страх перед трагическими развязками.

Говорят, что счастливые концы связаны с оптимизмом; по-моему, они связаны с хорошим пищеварением, со спокойным сном, но не с философскими воззрениями. Мы прожили жизнь, которую нельзя

назвать иначе как трагедийной. Попятно, когда люди, желающие усыпить миллионы своих граждан, требуют от писателя или кинорежиссера счастливой развязки. Труднее понять такие требования, когда они исходят от сторонников великого исторического поворота. Можно терзаться, быть печальным и сохранять оптимизм. Можно быть и развеселым циником.

В книге о моей жизни, о людях, которых я встретил, много грустных, подчас трагических развязок. Это не болезненная фантазия любителя «черной литературы», а минимальная порядочность свидетеля. Можно перекроить фильм, можно уговорить писателя переделать роман. А эпоху не перекрасишь: она была большой, но не розовой...

Мы сняли мастерскую на бульваре Сен-Марсель; это была надстройка над старым домом, разумеется сизо-пепельным. Домовладелец, желая дороже сдать мастерскую, провел в дом электричество. Съемщикам квартир предложили бесплатно установить электрическое освещение, почти все отказались: не хотели, чтобы в двери стучался контролер, проверяющий счетчик.

Конечно, еще неприятнее контролера была непрошенная гостья история, и парижане радовались, что она убралась восвояси. Правда, прочитав в газете, что Бриан и американец Келлог подписали пакт, запрещающий навеки войны, они по привычке усмехнулись - все-таки они были французами; но в душе они твердо верили, что, пока они живут, никакой войны не будет: дважды в жизни такое не приключается.

Карикатуристы занялись новым премьером Тардье; его легко было рисовать - он всегда держал в зубах длиннуший мундштук. Морис Шевалье пел свои песенки. Газеты несколько месяцев подряд описывали, как ювелир Месторино убил маклера, а потом сжег его труп. Сюрреалист Бюнюэль показал забавный фильм: на двуспальной кровати вместо любовницы нежилась солидная корова. Когда в парламенте обсуждали закон о ввозе нефти, один депутат саркастически сказал: «Прежде при любом скандале говорили: «Ищите женщину», теперь мы вправе сказать: «Ищите нефть». Другой депутат прервал его: «Не сравнивайте нефть с женщиной, женщина божество!» Третий при общем смехе добавил: «К тому же женщина не воспламеняется»...

В очень старом фильме Рене Клера «Париж уснул» применен забавный прием - кино превращается в набор моментальных фотографий, комических с трагическим подтекстом: приподнятые ноги, раскрытые рты, заломленные руки. Таким уснувшим мне вспоминается Париж конца двадцатых годов.

Для меня это были тягучие, длинные годы. С деньгами было туго, приходилось жить наобум, не зная, что будет завтра. Вдруг прислали деньги из издательства «Земля и фабрика», вдруг датская газета

«Политикен» вздумала напечатать перевод «Треста Д. Е», вдруг из Мексики пришел гонорар за «Хуренито». Однако все это мне казалось идиллией - я не голодал, как в предвоенные годы, и не ходил в лохмотьях.

Люба много работала. Друг Модильяни Зборовский устроил выставку ее гуашей; Мак-Орлан написал предисловие к каталогу,

Ирина училась, начала говорить по-французски, как парижанка, - картавила; приходя из школы в жаркий день, пила не воду, а белое вино; как-то я ее увидел на террасе кафе «Капуляд» с девчонками и мальчишками; они о чем-то горячо спорили; я пошел дальше, подумал: вот и новое поколение в новой «Ротонде»...

Я стал очень неразборчиво писать, не мог расшифровать написанное накануне. Как-то, когда пришли нечаянные деньги, я купил пишущую машинку. Жил я в комнате над мастерской я там с утра до вечера стучал: писал о трибуне народа Гракхе Бабёфе, о конвейере на заводах Ситроена, о бурной жизни гомельского портного Лазика Ройтшвансца, изъездившего поневоле свет.

Однажды я увидел Поля Валери. Это было в ресторане «У Венсена», который на вид напоминал рабочую харчевню, но славился отменной кухней. Поль Валери маленькими глоточками пил бордоское вино и нехотя одаривал собеседников печальными афоризмами. В нем была внешняя светскость, за которой скрывались горечь, замкнутость. Мне кажется, что он родился не вовремя; талант у него был не меньший, чем у Малларме, но изменилась акустика... Судьба Валери не напоминала судьбы «проклятых поэтов»: в пятьдесят лет он получил шпагу академика и сан «бессмертного»; но не было вокруг него самозабвенных и бескорыстных последователей, которые когда-то окружали Малларме.

А Поль Валери в то время, о котором я говорю, считал, что эпоха благоприятствует искусству: «Порядок неизменно тяготит человека. Беспорядок заставляет его мечтать о полиции или о смерти. Это два полюса, на которых человеку равно неуютно. Он ищет эпоху, где он чувствовал бы себя наиболее свободным и наиболее защищенным. Между порядком и беспорядком существует очаровательный час; все то хорошее, что вытекает из организации прав и обязанностей, достигнуто. Можно наслаждаться первыми послаблениями системы». Это правильно: плоды созревают в конце лета, их тщетно искать

зимой или ранней весной. Но Поль Валери ошибался в календаре - «очаровательный час» был позади - в конце XIX, в начале XX века. Золотой сентябрь во Франции успел смениться ноябрьскими туманами. Поль Валери дожил до второй мировой войны и увидел, что можно оказаться и без свободы и без порядка. А был он создан для долгого солнечного дня, для легкого треска цикад, для гармонии.

Меня представили Андре Жиду. Он меня озадачил: он походил на ибсеновского пастора, может быть на старого китайского хирурга. Незадолго перед этим я прочитал его книги о поездке в Африку, где он возмущался колониализмом. Теперь это азбучные истины, а тогда я восхитился его смелостью. Я заговорил об Африке. Он почему-то перевел разговор на отвлеченную тему, объяснял, что красота связана с этическими принципами. Рядом сидел предмет его любви - молодой спортсмен, кажется немец или голландец, с туповатым лицом, в коротких штанишках.

Во Франции выходило много развлекательных, легковесных книг. Моруа ввел новый жанр - романизированные биографии знаменитых людей. Литераторы начали изготавливать такие книги на конвейере, они сплетничали о любовных похождениях восьмидесятилетнего Гюго, рассказывали, что Вольтер спекулировал сахаром, а у Сент-Бёва была деспотическая мамаша.

Франсуа Мориак, к которому в 1913 году меня направил Франсис Жамм, писал хорошие романы о нехорошей жизни. Он католик, но в его книгах куда больше жестокой правды, чем христианского сострадания. Жена, изменив нелюбимому мужу, попыталась его отравить; он выжил и, боясь огласки, замуровал свою супругу в самодельную тюрьму, где ей предстоит сойти с ума. Многочисленная семья ждет, когда же отдаст богу душу богач адвокат, а он, старый, больной, живет наперекор всему, его вдохновляет желание лишить своих наследников наследства. Разбирая роман Мориака, критик Эдмон Жалу писал: «Наследство и завещания - самые основные и самые традиционные черты французской жизни».

Я часто думал, что старый мир, с его мастерством, с библиотеками и музеями, как герои Мориака, живет одним: не хочет ничего оставить своим наследникам. А прочитав статью в «Литгазете» или встретившись с рапповцами, я говорил себе, что есть

люди, которые не хотят наследства, беспризорные, облеченные властью цензоров и прокуроров.

Дюамель и Дюртен, побывав в Москве, написали о своей поездке книги умные, миролюбивые, даже, как теперь говорят, «прогрессивные». Я бывал иногда у Дюртека; он говорил о нашей стране приветливо, чуть снисходительно, пытаясь оправдать все, что ему не понравилось, не только особенностями русской истории, но и загадочностью «славянской души». В Париж приехала из Ленинграда О. Д. Форш. Как-то мы обедали втроем: Ольга Дмитриевна, Дюамель, я. Дюамель дружески нам объяснял, что в итоге все образуется. Советская Россия, остепенившись, станет полуевропейским государством; следует только переводить побольше французских книг. Почему-то он вспомнил «версты» в старых русских романах и сказал, что Французская революция дала миру метрическую систему, хорошо, что теперь и русские ее приняли... Когда Дюамель ушел, мы рассмеялись. Нам нравились его книги, а рассмешила наивность: видимо, он убежден, что своим сантиметром сможет измерить наши дороги...

В редакции журнала «Монд» я встречал Барбюса. Он написал тогда книгу о Христе. На него накнулись друзья: «идеализм», «мистика». А для правых он оставался неисправимым коммунистом. Он часто болел, говорил порывисто, глухо, тонкими руками аристократа что-то рисовал в воздухе.

Помню ужин, устроенный Пен-клубом в честь иностранных писателей. Председательствовал Жюль Ромен; в своей речи он постарался каждому из гостей сказать что-либо приятное. Меня он назвал «полупарижанином», а Бабелю сказал: «Вас можно поздравить с переводом вашей книги на французский язык». Он отнюдь не хотел показаться высокомерным, просто он думал, что на дворе стоит век Людовика XIV, Ришелье и Корнеля. (В 1946 году я возвращался из Америки на пароходе «Иль де Франс». На палубе можно было встретить беженцев из различных стран Европы, которые после долгих лет, проведенных в эмиграции, возвращались на родину; среди них я увидел и Жюля Ромена...)

Ужин Пен-клуба я вспоминаю с благодарностью - там я познакомился с Джойсом и с итальянским писателем Итало Свейо. Они были давними друзьями: Джойс много лет прожил в Триесте, а

Итало Свево (его настоящее имя Этторе Шмитц) был триестинцем. За столом они сидели рядом, оживленно беседовали,

Джойс был уже знаменит, его «Улисс» казался многим новой формой романа; его сравнивали с Пикассо. Меня удивила его простота - французские писатели, достигшие славы, держались иначе. Джойс, шутил, чуть ли не сразу рассказал мне, как, приехав юношей впервые в Париж, он пошел в ресторан; когда подали счет, у него не оказалось чем заплатить, он сказал официанту: «Я вам оставлю расписку, в Дублине меня знают». А тот ответил: «Да я тебя знаю, и вовсе ты не из Дублина, ты уже четвертый раз жрешь здесь за счет прусской принцессы...» Он по-детски смеялся.

Это был человек не менее своеобразный, чем его книги. Он плохо видел - страдал болезнью глаз, но говорил, что хорошо запоминает голоса. Любил выпить, страдал тем недугом, который издавна знаком русским писателям. Работал исступленно и, кажется, ничем в жизни не увлекался, кроме своей работы. Мне рассказали, что, когда началась вторая мировая война, он в ужасе воскликнул: «А как же я теперь допишу мою книгу?..» Жена относилась к его занятиям с иронией, не прочитала ни одной из его книг. Он покинул Ирландию в ранней молодости, не хотел возвращаться на родину, жил в Триесте, в Цюрихе, в Париже и умер в Цюрихе, но о чем бы ни писал, всегда ощущал себя в Дублине. Мне он представлялся честным, фанатичным в своей работе, гениальным и вместе с тем ограниченным «перемудрами» ирландским Андреем Белым, но без ощущения истории, без мессии и миссии, необычайным насмешником, которого принимали за пророка, Свифтом по отпущенному ему дару, только Свифтом в пустыне, где нет даже лилипутов.

Итало Свево, в отличие от Джойса, был мало кому известен; редкие французы оценили его роман «Цено». Он был на двадцать лет старше Джойса, и я с ним познакомился за год до его смерти. Свево часто называли дилетантом: он был промышленником, за всю свою жизнь написал всего несколько книг. Но роль его в разрушении старых форм романа бесспорна; его имя нужно поставить рядом с Джеймсом, Марселем Прустом, Джойсом, Андреем Белым. Он много говорил мне о влиянии, которое оказал на него русский роман XIX века. Джойс исходил в романах от своего душевного опыта и от музыкальной стихии, людей не знал, да и не хотел знать. Свево мне рассказывал,

что Стефан Дедал, герой романа «Улисс», должен был называться Телемахом; Джойс любил имена-символы, а Телемах по-гречески означает «далекий от борьбы». Итало Свево, наоборот, искал вдохновения в жизни, пополнял наблюдения своими собственными переживаниями, но никогда их не суживал до своего «я».

Иногда я встречал Шарля Вильдрака, доброго и неизменно огорченного то событиями, то отсутствием событий. Жан-Ришар Блок спрашивал себя и других, как ему примирить Ницше с Толстым, а русскую революцию с Ганди.

Я познакомился с молодыми писателями Арагоном, Десносом, Мальро, Шамсоном, Кассу; о некоторых из них я расскажу впоследствии. А тогда я их недостаточно знал и, главное, плохо понимал.

Сюрреалисты еще не могли расстаться с толкованием снов, с пророчествами, с культом подсознательного. Они устраивали шумные вечера, выступали с ультрареволюционными манифестами, срывали чествования - все это напоминало наших ранних футуристов.

Потом я подружился с некоторыми французскими писателями, а и те годы мне трудно было с ними разговаривать - не было общего языка. Многие из них мечтали о буре, но буря для них была отвлеченным понятием: для одних - апокалипсическим светопредставлением, для других - театральной постановкой. А меня мучило на твердой земле, так иногда бывает после сильной качки.

Андре Жиду было тогда под шестьдесят. Андре Мальро около тридцати, но оба казались мне то подростками, еще не хлебнувшими горн, то стариками, отравленными не спиртом или никотином, а книжной мудростью.

В маленькой уютной квартире Андре Шамсона мы беседовали о новых романах, о чувстве города или о влиянии кино на литературу. Все писатели, с которыми я встречался, восхищались русской революцией, восхищались, как далеким, необычайным явлением природы.

Мне вспомнился забавный эпизод. Богатый литератор, один из владельцев «Лионского кредита», Андре Жермен, любил устраивать у себя приемы. Был он педерастом, и это, кажется, единственное, чему он в жизни не изменил. В конце двадцатых годов он слыл «большевиканом». Задыхаясь, он прибежал к Любе, сюсюкал: «Я вас

умоляю, приведите ко мне ваших пролетарских поэтов, я устрою чай!.. Ах, они так прекрасны!..» В Париже тогда гостили Уткин, Жаров и Безыменский. (Пять лет спустя Андре Жермен писал: «Самая характерная черта нацистов - это идеализм. Геббельс прекрасен странной красотой, у него лицо аскета и одержимого, он вдохновлен своими идеями».) Андре Жермен, конечно, карикатура. Что касается настоящих писателей, то, восторгаясь «Конармией», они удивленно разглядывали Бабеля: этот «красный казак» превосходно говорит по-французски, умен, но в искусстве ретроград - любит, например, Мопассана! Приехал С. М. Эйзенштейн. Я был в Сорбонне на его вечере; должны были показать «Броненосец «Потемкин», но префект показ картины запретил, и Эйзенштейн на безупречном французском языке в течение двух или трех часов беседовал обо всем, зло шутил, потряс зал своей эрудицией.

В Париже выходила ежедневная газета «Комеди»; в ней было мало политических новостей; полосы отводились театру, книгам, выставкам. Однако политика сказывалась в рассуждениях о пьесах или о романах. Однажды я прочитал в этой газете раздраженную статью о моей книге «Заговор равных», вышедшей во французском переводе. Критик заканчивал статью словами: «Было бы лучше, если бы госпожа Илья Эренбург вместо того, чтобы заниматься французской революцией, дала нам рецепт для приготовления русского борща». Имя «Илья» сбилось критика с толку, он принял его за женское. Конечно, не поэтому его рассердила моя книга: не зная, кто я, он хорошо знал, кем был Бабёф. Я решил послать в газету шутовское опровержение: указал, что я не дама, а кавалер, но все же могу дать критику-гурману рецепт, который его интересует. Правда, я не знал, как готовить борщ, но меня выручила Эльза Юрьевна Триоле. Критик не растерялся, моего письма он не опубликовал, а в примечании к очередной статье сообщил читателям, что Илья Эренбург оказался мужчиной - «большевики перепутали все, вплоть до мужского и женского пола». А в гастрономической рубрике редакция опубликовала рецепт для приготовления борща с примечанием: «Любезно предоставлен нам господином Ильей Эренбургом». Я, кажется, слишком часто рассказываю, как критики меня сердили; вот я и припомнил, как порой они меня развлекали.

По вечерам мы шли на Монпарнас. «Ротонду» оккупировали американские туристы; мы сидели в «Доме» или в «Куполе». Приходили туда некоторые старые художники - Дерен, Вламинк; они были когда-то «дикими», сокрушали классическое искусство, но к концу двадцатых годов успели поуспокоиться; нам они казались большими старыми деревьями, переставшими плодоносить. Я подружился с американским скульптором Кальдером, огромным, веселым парнем; он был большим затейником, работал над жестью, над проволокой. Он сделал из проволоки портрет моего любимца, шотландского терьера Бузу. Иногда я видел Шагала; он писал теперь не витебских евреев, летающих над крышами, а голых красавиц верхом на петухах, с Эйфелевой башней или без. Норвежец Пер Крог молча курил трубку. Паскин, окруженный яркими крикливыми женщинами, пил виски и что-то рисовал на клочках бумаги.

Подсаживались к нашему столику молодые художники. Я слышал разговоры о фактуре, о том, что небо на пейзаже чересчур тяжелое, что левый угол не дописан...

Приходил в кафе «Дом» петербургский искусствовед и режиссер К. Миклашевский. Он написал книгу «Гипертрофия искусства». Я частенько вспоминал эти слова: искусство меня окружало со всех сторон, и хотя оно было, да и остается самой большой страстью моей жизни, я порой холодел - мне казалось, что я в паноптикуме и вокруг фигуры из воска.

Не знаю, в моей ли это натуре или присуще всем, но в Париже и в Москве я ко многому по-разному относился. В Москве я думал о праве человека на сложную душевную жизнь, о том, что искусство нельзя подогнать под одну колодку; а в Париже конца двадцатых годов я задыхался - уж слишком много было словесных усложнений, нарочитых трагедий, программной обособленности.

Поль Валери прав - полюсы не похожи ни на Парнас, ни на Геликон, ни на обыкновенный холмик умеренной зоны. Но мне мерещились другие полюсы, нежели Полю Валери: свобода без справедливости или справедливость без свободы, журнал парижских эстетов «Коммерс» или «На литературном посту». (Несколько лет спустя Жан Ришар Блок, выступая на Антифашистском конгрессе писателей, говорил о подлинной и иллюзорной свободе художника: подлинная свобода - в уважении обществом его своеобразия, его

индивидуальности, его творчества: иллюзорная - в тщетном стремлении жить вне общества.)

В прошлом столетии люди знали полярное сияние; русские поэты издавали «Полярную звезду». Полюсы были обследованы в XX веке. Березы, дубы, оливы, пальмы растут между Арктикой и Антарктикой, это знает каждый, и каждому должно быть понятно, что можно долететь до полюса, можно через него перелететь, но жить на нем очень трудно.

Я познакомился с поэтом Робером Десносом в 1927 году, а встречались часто мы позднее, в 1929 - 1930 годах. Никогда он не был моим другом, но он меня привлекал страстностью и в то же время мягкостью, человечностью - ничего в нем не было от профессионального литератора. Потом, он не походил на французов, с которыми я встречался, старавшихся все усложнить, или, как говорят во Франции, «расщепить волос на четыре части». Еще царил культ герметической поэзии, когда Деснос заявил о необходимости понять и быть понятым.

Деснос был одним из самых неистовых приверженцев раннего сюрреализма. Он сразу отозвался на догму «автоматизма» творчества, преклонения перед сновидениями. В шумном кафе он вдруг закрывал глаза и начинал вещать - кто-нибудь из товарищей записывал. Ему было тогда двадцать два года, и я знаю об этом из рассказов других.

А в 1929 году сюрреализм начал раскалываться, и, как ни старался Андре Бретон, которого шутя называли «папой сюрреализма», сохранить единство группы, поэты разбрелись в разные стороны. Вопреки своему названию, сюрреализм был не взлетом, а хорошей стартовой площадкой и, несмотря на шумливую наивность первых деклараций, дал таких поэтов, как Элюар и Арагон.

В 1930 году Деснос заявил: «Сюрреализм, такой, каким его подносит Бретон,- одна из главных опасностей для свободного мышления, коварная западня для атеизма, лучший подручный для возрождения католицизма и церковного духа».

Что меня подкупало и в его стихах, и в нем самом? Отвечу словами Элюара: «Из всех поэтов, которых я знал, Деснос был самым непосредственным, самым свободным, он был поэтом, неразлучным с вдохновением, он мог говорить, как редко кто из поэтов может писать. Это был самый смелый изо всех...»

Я говорил, что мы иногда встречались; несколько раз он приходил ко мне на бульвар Сен-Марсель (консьержка, считавшая и меня и всех приходивших ко мне людьми подозрительными, крикнула Десносу, чтобы он вытер ноги; он ей спокойно ответил: «Мадам, вы ж...»). Как-

то был я в его мастерской на улице Бломе, возле негритянской танцульки. Помещение было завалено неопишуемой рухлядью, которую он зачем-то приобретал на «блошином рынке» - так называется парижская толкучка. У меня осталась в памяти ужасающая сирена из воска. Десносу она очень нравилась. (Много лет спустя я прочитал его стихи: Юки - женщину, которую он любил, он называл «сиреной», а себя - «морским коньком».)

Деснос пытался зарабатывать на жизнь журналистикой был репортером в «Пари-матиналь» у Мерля, потом в других газетах. Он узнал, что такое власть денег, писал: «Разве газета печатается краской? Может быть, но пишут ее главным образом нефтью, маргарином, углем, хлопком, каучуком, если не кровью...»

Деснос много писал о любви и одну из лучших своих книг назвал «Ночь ночей без любви». Он нашел свою сирену. Я знал Юки; красивая, очень живая, она часто приходила на Монпарнас со своим мужем, старым завсегдатаем «Ротонды», японским художником Фужитой. Фужита уехал в Японию, и Юки стала женой Десноса. Он был в своей любви трогательным, с той легкой иронией, которая неотъемлема от романтизма. Когда в 1944 году гестаповцы его арестовали и отправили в пересыльный лагерь, он оттуда писал Юки: «Моя Любовь! Наша боль была бы нестерпимой, если бы мы не принимали ее как болезнь, которая должна пройти. Наша встреча после разлуки украсит нашу жизнь, по крайней мере, на тридцать лет... Я не знаю, получишь ли ты это письмо ко дню твоего рождения. Я хотел бы тебе подарить 100 000 сигарет, двенадцать чудесных платьев, квартиру на улице Сен, машину, домик в Компьенском лесу, дом на острове Беллиль и маленький букетик ландышей за четыре су...» Если подумать, где он это писал и что у него было на сердце, станут понятными мои слова о романтической иронии - это не литературный прием, а душевное целомудрие. Его последние стихи, написанные в «лагере смерти», обращены к Юки:

Я так мечтал о тебе,
Я столько шел, столько говорил,
Я так любил твою тень,
Что у меня ничего не осталось от тебя,
Я теперь тень,
Тень среди теней.

Во сто крат больше
Тень всех теней.
Только тень,
Тень будет ходить.
Тень будет приходить
В твой солнечный день...

В 1931 году Деснос, которому опротивели газеты, поступил на службу в контору, занимавшуюся подысканием квартир. В его биографии мало живописных эпизодов - стыдливость цензуровала жизнь.

Еще в то время, когда он работал в газете, его послали на Кубу - там был какой-то конгресс. Деснос влюбился в народную музыку, рассказывал, Напевал, барабанил по столу. Он захотел подражать анонимным поэтам Кубы, начал сочинять куплеты-песенки.

В 1942 году Деснос написал «Куплеты об улице Сен-Мартен» (он там родился). В то время парижане узнали, что такое звонок или стук в дверь перед рассветом...

Улица Сен-Мартен у меня была.
Улица Сен-Мартен мне теперь не мила,
Улица Сен-Мартен даже днем темна.
Не хочу от нее я плотка вина.
У меня был друг Платар Андре.
Платара Андре увели на заре.
Крышу и хлеб мы делили года.
Увели на заре, кто знает куда.
Улица Сен-Мартен, много крыш и стен.
Но Платар Андре не на Сен-Мартен...

В последний раз я встретил Десноса не то весной, не то летом 1939 года; был очень жаркий день, мы сидели на пустой террасе кафе и говорили, разумеется, о том, о чем тогда говорили все: будет война или не будет?.. Деснос был печален. А когда мы расставались, выругался: «Дерьмо! Чистое дерьмо!» Не знаю, к кому это относилось: к Гитлеру, к Даладье, к судьбе?

Когда после войны я приехал в Париж, мне рассказали, что Деснос умер в концлагере. Потом я узнал подробности. Он участвовал в Сопротивлении, не только писал политические стихи, но и собирал сведения о передвижении немецких войск. 22 февраля 1944 года его

предупредили по телефону: «Не ночуйте дома...» Деснос побоялся, что если он скроется, то возьмут Юки. Он спокойно открыл дверь.

Когда его привезли на улицу Соссэ, где помещалась Сюртэ, молодой фашист гаркнул: «Снимите очки!» Деснос понял, что это означает, сказал: «Мы с вами разного возраста. Я предпочел бы без пощечин - бейте кулаком...»

Крупный гестаповец, ужиная с некоторыми французскими писателями, журналистами, рассказывал о последних арестах: «В Компьенском лагере теперь, представьте себе, поэт! Сейчас я вам скажу... Робер Деснос. Но я не думаю, чтобы его выслали...» Тогда журналист Лебро, хорошо всем нам известный (он потом удрал в Испанию), воскликнул: «Его мало выслать! Его нужно расстрелять! Это опасный субъект, террорист, коммунист!..»

Из Компьена Десноса отправили в Освенцим. Некоторые из заключенных чудом выжили; они рассказывают, что Деснос старался приободрить других. В Освенциме, увидев, что товарищи впали в отчаяние, он сказал, что умеет гадать по руке, и всем предсказал долгую жизнь, счастье. Он что-то бормотал - писал стихи.

Советские войска быстро продвигались на запад. Гитлеровцы погнали заключенных в Бухенвальд, потом в Чехословакию, в лагерь Терезин. Отощавшие люди едва шли; эсэсовцы убивали отстававших.

Третьего мая Советская Армия освободила заключенных в лагере Терезин. Деснос лежал больной сыпняком. Он долго боролся со смертью: любил жизнь, хотел жить. Молодой чех Йозеф Штуна, работавший в госпитале, увидел в списках имя Робера Десноса. Штуна знал французскую поэзию, подумал: может быть, тот?.. Деснос подтвердил: «Да. Поэт». Последние три дня жизни Деснос мог беседовать со Штуной и с санитаркой, которая знала французский язык, вспоминал Париж, молодость, Сопротивление. Он умер восьмого июня.

Теперь я хочу рассказать об одной беседе с Десносом, которая мне запомнилась. Эта беседа для меня приобрела новый смысл после того, как я прочитал стихи, написанные Десносом в концлагере, узнал о последних месяцах его жизни.

Мы случайно встретились на бульваре Пор-Рояль. Я жил тогда на улице Котантен возле вокзала Монпарнас: но почему-то мы пошли в сторону Сен-Марсея и оказались в кофейне при мечети. Там было

темно и пусто. Это было в 1931 году, когда Деснос был счастлив: он нашел Юки, много писал, да и внешне как-то успокоился.

Не знаю почему, мы заговорили о смерти. Обычно люди избегают таких разговоров, каждый предпочитает об этом думать в одиночку.

Я признался, что о многом пережитом в зрелом возрасте умолчу - о том, что в общезнании называют «сердечными делами»; мне трудно рассказывать также о некоторых размышлениях, которые по своему характеру связаны с молчанием. Но, начиная эту главу, я подумал: неужели я буду писать только о «гримасах нэпа» или о борьбе за каучук? Конечно, все это меня волновало, но жизнь шире, да и сложнее. О смерти я думал и ребенком, когда она меня пугала, и юношей - с двойным чувством ужаса и притяжения, но неизменно с романтическими прикрасами. Потом я вдруг понял: нужно мужественно подумать, связать смерть с жизнью.

И все же я никогда не начал бы того разговора, начал его Деснос, и начал неожиданно - не с мыслью о своем конце, а с длинных рассуждений о космосе, о материи. Он как будто обрел новую веру: «Материя в нас становится мыслящей. Потом она возвращается к своему состоянию. Гибнут планеты, наверно, гибнет и жизнь на других небесных телах. Но разве от этого мысль становится ниже? Разве временность лишает жизнь смысла? Никогда!..»

Недавно я получил исследование о поэзии Десноса, изданное Бельгийской академией. Автор, Роза Бюшоль, приводит неопубликованный сонет Десноса, написанный им в концлагере:

Взгляни - у бездны на краю трава,
Послушай песнь - она тебе знакома.
Ее ты пела на пороге дома.
Взгляни на розу. Ты еще жива.
Прохожий, ты пройдешь.
Умрут слова. Глава уйдет разрозненного тома.
Ни голоса, ни жатв, ни водоема.
Не жди возврата. Ты блеснешь едва.
Падучая звезда, ты не вернешься.
Подобно всем, исчезнешь, распадешься.
Забудешь, что звала собой себя.
Материя в тебе себя познала.
И все ушло, и эхо замолчало,

Что повторяло «я люблю тебя».

Этот сонет написан в той обстановке, когда ложь или поза бесполезны. Деснос видел газовые камеры, куда уводили каждый день партию заключенных. Размышляя в стихах о близкой смерти, он повторил то, что сказал мне в дни своего счастья. До чего он любил жизнь, друзей, Юки, стихи, Париж, красные флаги на площади Бастилии, серые дома!..

Эхо замолкло. Но ничто не проходит бесследно: ни стихи, ни мужество, ни тень среди теней, ни беглый свет вспыхивающей звезды. Я мало пригоден для философии, редко думаю об общем; это, наверно, один из самых больших моих недостатков. Но иногда я пытаюсь осознать с какой-то яростью упущенного времени то, что люди называют смыслом или значением жизни: сюда входят, конечно, и ропот «мыслящего тростника», и эхо, которое Деснос слышал до последней минуты,- слова любви, жар сердца.

В семнадцать лет я старательно штудировал первый том «Капитала». Позднее, когда я писал «Стихи о канунах», а ночью работал на товарной станции Вожирар, я возненавидел капитализм; это была ненависть поэта и люмпен-пролетария. В советских газетах я читал о «монополистах», «империалистах», «акулах капитализма» таковы были клички знакомого мне и вместе с тем таинственного дьявола. Я захотел поближе разглядеть сложную машину, которая продолжала изготавливать изобилие и кризисы, оружие и сны, золото и одурь, понять, что за люди «короли» нефти, каучука или обуви, какие страсти их воодушевляют, проследить их загадочные ходы, от которых зависят судьбы миллионов людей.

Я начал работу в 1928 году, а кончил в 1932-м; четыре года я положил на то, что назвал «Хроникой наших дней». Я написал: «10 л. с», «Единый фронт», «Король обуви», «Фабрика снов», «Хлеб наш насущный», «Бароны пяти магистралей».

Мне пришлось изучать статистику производства, отчеты акционерных обществ, финансовые обзоры; беседовать с экономистами, с дельцами, с различными проходимцами, знавшими подноготную мира денег. Ничего отрадного в этом не было, и я понимал, что начатая работа не принесет мне ни славы, ни любви читателей.

В моей личной жизни происходили события, о которых я не стану рассказывать; скажу только, что часто мне хотелось писать не о бирже, а о больших человеческих чувствах, но я сердито себя обрывал. Разведчика посылают на вражескую территорию, это труд неблагодарный, порой опасный, но он связан с профессией человека. Никто мен» никуда не посылал, никто не заказывал мне книг о борьбе трестов; я сам себя осудил на это занятие.

Газеты писали о том, что знаменитая кинозвезда Пола Негра разводится с мужем - грузинским князем, о том, что принц Уэльский упал с лошади, что писатель Морис Бебель рассказал, как спортивно, без переживаний норвежские фрекен проводят ночи с галантным французом, что Прима де Ривера холодно разговаривал с испанским

королем, что в состязании на длительность танца победила чета Смите, протанцевавшая чарльстон без перерыва двадцать часов подряд.

Куда более серьезные события разворачивались за кулисами. Шла, например, война между Англией и Америкой, война без танков, без бомбежек, но со множеством жертв. Каучук, главным производителем которого была английская колония Малайя, упал катастрофически в цене. Тогда министр финансов Великобритании Уинстон Черчилль начал битву; специалисты ее называли «планом Стефенсона»: площадь, засаженная гевеями, сужалась или расширялась в зависимости от мировых цен на каучук. Напрасно Стюарт Готшкинс, вице-председатель «Американской каучуковой компании», пытался договориться с Черчиллем. Напрасно президент Соединенных Штатов Гувер восклицал: «Вмешательство государства прежде всего безнравственно!» Плантации сжимались, и каучук рос в цене. Сотни тысяч малайцев, лишившись нищенского заработка, умирали с голоду. Американцы нажимали на Гаагу - второй страной по производству каучука была Индонезия, принадлежавшая голландцам.

В Соединенных Штатах гевеи не могут расти, но эти деревья оказались в крохотной Никарагуа. На беду, маленькая республика попыталась отстоять свою независимость. Времена меняются. В 1961 году нападение на Кубу возмутило мир. Иначе было в 1929 году. Генерал Сандино напрасно взывал: «Вчера авиация обстреляла четыре деревни. Янки скинули свыше сотни бомб. Убиты семьдесят два человека, среди них восемнадцать женщин. Позор убийцам женщин! Янки хотят пролотить Никарагуа, как они пролотили Панаму, Кубу, Порто-Рико. Братья, вспомните о Боливаре, о Сан-Мартине! Отечество в опасности!..» Американцы лаконично сообщали: «Наш экспедиционный корпус вчера окружил одну из банд Сандино. Преступники уничтожены. Наши потери незначительны.»

Шла и другая война - за нефть - «Роял-Детч» с американским трестом «Стандарт-ойл», сэра Генри Детердинга с мистером Тиглем. Враги заключили перемирие для совместных действий против Советского Союза.

Швед Ивар Крейгер, талантливый авантюрист, романтический шулер, король спичек, раздавив конкурентов, бросил вызов Москве; у него был темперамент Карла XII.

Форд воевал с «Дженерал моторс», «Дженерал электрик» с «Вестингаузом». Магнаты железных дорог опрокидывали правительства Франции. Король обуви Томас Батя глядел свысока на президента Чехословакии.

Я видел, как парижские маклеры организовывали биржевую панику; в Швеции я был на заводах Крейгера; в Лондоне взглянул на сэра Генри.

Детердинг был голландцем. Он уехал на Яву искать счастье и прозябал в банке как мелкий клерк. Но счастье нашлось - его взяли на службу в контору «Роял-Детча». Пять лет спустя Детердинг стал директором, десять лет спустя - королем нефти. Он проник в Мексику, в Венесуэлу, в Канаду, в Румынию. Англичане ему пожаловали титул баронета, и он превратился в сэра Генри. Дельфтский университет присвоил ему звание доктора «гонорис кауза». Каждый год он приезжал на свою родину в день рождения королевы, и королева восхищенно улыбалась. Он содействовал переворотам в Мексике, в Венесуэле, в Албании.

Наверно, он считал себя нефтяным Наполеоном: он не раз говорил, что его миссия - поставить на колени строптивую Россию. Он скупил за гроши акции бывших владельцев нефтяных промыслов в Баку и называл советскую нефть «краденой». Он организовал налет на «Аркос» и разрыв дипломатических отношений между Англией и Советским Союзом. Ему удалось добиться удаления из Парижа советского посла Раковского. Он давал деньги сторонникам Гитлера, одобрял книги Розенберга, устроил набег на «Дероп», торговавший советской нефтью, наладил в Берлине мастерскую, где печатали фальшивые червонцы; он не брезгал ничем. Он встречался с Красиным и предлагал ему мир. Он встречался с Гитлером и предлагал ему войну. Он рекомендовал Чемберлену договориться с Риббентропом.

Это был крепкий, энергичный человек, чуть ли не до смерти он катался на коньках, курил в трубке дешевый матросский табак. Женился он на русской эмигрантке. В Париже была гимназия имени леди Лидии Детердинг, где обучались дети бывших бакинских королей нефти. Нервы у него были солидные; когда разразился мировой кризис, он не пал духом. Однажды журналист спросил его, что самое важное в жизни. Сэр Генри коротко ответил: «Нефть».

Ивар Крейгер построил империю из спичечных коробок. Он давал советы Пуанкаре, как стабилизировать франк, помогал полякам проводить «санацию». На Уолл-стрите он считался самым одаренным из бизнесменов, притом джентльменом, образцом честности, спокойствия, благородства. В Чили он закрыл спичечные фабрики и выбросил рабочих на улицу, в Германии убедил социал-демократов запретить ввоз спичек, чтобы оградить рабочих от безработицы: в годы инфляции он скупил немецкие фабрики. Греческий диктатор Пангалос ему скорее нравился, но Пангалос не захотел предоставить ему спичечную монополию, и Крейгер содействовал очередному перевороту. Он помог свергнуть правительство Боливии. Он ненавидел русских: они осмеливаются не только изготавливать у себя спички, но и вывозить их за границу. Он был вполне светским человеком, мог беседовать о Фрейде или об Уайльде.

В 1930 году вышла моя книга о короле спичек; в отличие от других моих книг того времени (документальных), «Единый фронт» - роман с ключом. Ивар Крейгер в романе назывался Свенем Ольсоном. Не знаю почему, но я решил похоронить короля спичек, он умирал, поговорив о французском премьер-министре Тардьё. Роман перевели на различные языки. Шел 1931 год; мировой кризис рос. Крейгер нервничал; он пытался объяснить публике падение акций «большевистскими интригами»; в некоторых газетах появились статейки о том, что я хочу погубить короля спичек. Это было настолько глупо, что я не мог даже возгордиться.

Правительства во Франции быстро менялись, но Тардьё еще был премьером, когда в 1932 году Ивар Крейгер застрелился. Его секретарь барон фон Драхенфельс писал в своих воспоминаниях, что накануне самоубийства на ночном столике короля спичек он видел мою книгу. Крейгера похоронили с почестями; газеты называли его «невинной жертвой мирового кризиса». Шведский парламент объявил мораторий. Вдруг выяснилось, что Крейгер подделывал итальянские облигации; благородный джентльмен оказался шулером.

Я писал также о главе американской фирмы «Кодак» Джордже Истмэне. Его карьера началась с лозунга: «Нажмите кнопку, мы сделаем остальное» - он рекламировал фотоаппараты для любителей. В 1896 году он вытянул счастливый билет, он писал Эдисону: «Нас запрашивают касательно так называемых живых фотографий». Он

начал изготавливать киноплёнку. Он неслыханно разбогател, но его ждали испытания: на его пути встала «Агфа» - разветвление концерна «ИГ». Немцы повели наступление, заручились поддержкой Форда и «Нэшионел сити бэнк», начали строить фабрики в Соединенных Штатах. Иотмэн не растерялся, принял бой. Его капиталы росли. Он обожал музыку и жертвовал миллионы на различные музыкальные институты. Рабочих он держал в черном теле.

Ему было пятнадцать лет, когда он открыл текущий счет в банке, ему было семьдесят семь, когда он решил его закрыть. К нему приехали гости, говорили о музыке и, разумеется, о кризисе. Джордж Истмэн вышел в соседнюю комнату и застрел идея. Может быть, он вспомнил афоризм своей молодости: «Нажмите кнопку, мы сделаем остальное»?

Многие из подлинных героев моих книг кончили жизнь самоубийством, как будто они были не седыми, опытными дельцами, а молодыми влюбленными иди поэтами. Капитализм пережил мировой кризис, а некоторые капиталисты оказались куда более хрупкими: что же, они были людьми. Начал Крейгер - в марте 1932-го. Месяц спустя покончил с собой король бритв в Шеффилде. Он хвастал, что бреет весь мир, а сам носил бороду и застрелился из старого охотничьего ружья. В мае того же года покончил с собой один из королей стали, Дональд Пирсон. Во время войны он подарил американскому правительству крейсер; он изучал способы борьбы с подводными лодками. Он оставил записку, где говорил, что устал жить.

В том же мае в Чикаго выбросился на мостовую король мясных консервов Свифт. Акции мясного треста за неделю упали с семнадцати долларов до девяти. Сын самоубийцы, стремясь спасти деловую репутацию треста, клялся, что отец случайно выпал из окна.

Личный самолет Бати стоял наготове. Погода была нелетной, и летчик пытался уговорить короля обуви повременить. Батя нервничал. Самолет поднялся над Злином и упал.

О Томасе Бате я должен рассказать: он отнял у меня немало времени.

Король обуви был сыном мелкого сапожника, ездил по деревням - торговал ботинками, потом уехал в Америку и там многому научился. Разразилась война. Батя стал обувать австро-венгерскую армию. Город

Злин напоминал тюрьму: на фабрике Бати работали запасные и военнопленные. Настал мир, и Батя сказал: «Мы должны осушить слезы матерей, которые хотят видеть своих детей обутыми». Он любил афоризмы и, став королем обуви, украсил стены цехов надписями: «Будем веселыми», «Надо работать, надо иметь цель», «Жизнь не роман». На конвертиках, в которых рабочим выдавали зарплату, значилось: «Научитесь делать деньги из вашего тела». Некоторые афоризмы Бати предназначались для потребителей; помню, рядом красовались два его изречения: «Моя обувь никогда не натирает мозолей» и «Не читайте русских романов они вас лишают радости жизни».

Когда я попросил разрешения Бати осмотреть королевство, он ответил: «Я не показываю моих фабрик представителю враждебной державы». (Я все же увидел его вотчину.) У Бати была мания величия; он расписался на скелете мамонта; он объявил «пятилетний план Томаса Бати». Он отказался признавать профсоюзы и организовал свою собственную полицию. Рабочим он платил мало и заполнил мир дешевой обувью. Не было, кажется, города без вывески с четырьмя буквами: «Батя». Он был католиком и ненавидел коммунистов.

Прочитав мой очерк, посвященный порядкам в Злине, Батя рассердился и подал на меня в суд. Статья была напечатана в Германии, и судить меня должны были немецкие судьи. Батя наложил арест на причитавшиеся мне деньги - за переводы книг, за фильм.

Батя любил судиться, он возбудил два процесса - гражданский и уголовный. В гражданском суде он требовал с меня полмиллиона марок (никогда в жизни я не видел таких денег). От уголовного суда Батя добивался, чтобы меня присудили к тюремному заключению за диффамацию.

Батя нанял хороших адвокатов. Пришлось и мне обратиться к адвокату. У меня нашлись защитники: рабочие Злина. Они прислали мне документы, фотографии, подтверждавшие достоверность моего очерка. Рабочие издавали нелегальный журнал «Батовак», где описывали жестокие методы короля обуви, произвол созданной им полиции. Я представил суду и комплект журнала.

Адвокат Бати явился на судебное заседание с переводом «Хулио Хуренито», цитировал роман, чтобы доказать мой цинизм, заверял суд, что я не только занимался дрессировкой кроликов, но и служил

кассиром в публичном доме мистера Куля. Адвокат ссылался также на статьи некоторых московских критиков: «Даже в коммунистической России люди возмущаются безнравственностью и беспринципностью человека, который осмелился оклеветать уважаемого Томаса Батю!..» Суд потребовал от сторон дополнительных данных. Самолет Томаса Бати разбился. В Германии к власти пришел Гитлер. Нацисты сожгли мои книги и закрыли магазины Бати. Что касается моего весьма скромного гонорара, на который был наложен арест, то эти мизерные деньги достались не наследникам Томаса Бати, а третьему рейху.

Я начал писать о трестах и различных королях в последний год тучных коров. Внезапно разразился мировой кризис, и в дальнейших книгах мне пришлось описывать годы тощих коров.

Теперь я скажу о коровах - не иносказательных, но доподлинных фюненских красных коровах, хотя конец этой истории относится к 1933 году и мне снова придется забежать вперед.

Летом 1929 года американцев взволновало небольшое газетное сообщение: в Америке излишек пшеницы превышал двести сорок тысяч бушелей. Вскоре выяснилось, что в Канаде, в Австралии, в Аргентине, в Венгрии тоже чересчур много хлеба. Цены на пшеницу катастрофически падали. Фермеры разорялись и нищенствовали.

Слова о том, что в мире было чересчур много хлеба, не следует понимать буквально. Голодали целые материки. В мире было сорок миллионов зарегистрированных безработных. Импорт пшеницы в западноевропейские страны сократился в семь раз.

В Риме собралась конференция представителей сорока шести государств, которые обсуждали, что делать с излишками пшеницы. Это было весной 1931 года. Безумие овладело всеми. В Бразилии жгли кофе. В Соединенных Штатах жгли хлопок. На конференции было предложено денатурировать пшеницу с помощью эозина: красное зерно сможет пойти на корм скоту.

Началась пропаганда: «Кормите скот пшеницей - она дешевле и питательнее кукурузы». Продолжались банковские крахи. Голодные крестьяне бросали свои поля и уходили за тридевять земель в поисках хлеба.

Коровы ели пшеницу первого сорта - манитобу или барлету. Но через несколько месяцев газеты сообщили, что в мире слишком много масла и мяса, именно поэтому люди умирают от голода.

В 1933 году я был в Дании. Я видел прежде эту страну, тихую, зеленую, зажиточную. Датчане продавали англичанам и немцам масло, мясо, бекон. На острове Лолани, в маленьком городке Найсков, я увидел необычайную машину, которая превращала коров в круглые лепешки, предназначенные для корма свиней. Машина перемалывала кости, смешивала их с мясом в массу землистого цвета. (Англия еще покупала бекон, но уже было ясно, что в мире слишком много сала и что если мировое положение не улучшится, то вскоре придется уничтожать и свиней.)

Машину мне показывал местный ветеринар, беловолосый, честный и очень печальный. Всю свою жизнь он лечил коров и не мог спокойно смотреть, как их уничтожают.

В Копенгагене я видел голодных безработных. Я знал, что такое голод, и, встречаясь с ними, отводил в сторону глаза.

У древних греков было предание о Сизифе - коринфском царе и бандите. Когда он умер, боги придумали для него страшное наказание: он должен был подымать большой камень на гору, с горы камень скатывался вниз. Сизиф грабил, убивал. Но за какие грехи сотни миллионов людей были обречены на сизифов труд? Сначала расширяли посевную площадь; потом окрашивали пшеницу эозином и давали ее коровам; потом начали уничтожать коров и кормили ими свиней...

Четыре года не прошли для меня бесследно. Не знаю, удалось ли мне что-либо показать моим читателям, но лично я многое увидел. Я и прежде ненавидел мир денег, корысти, но одной ненависти мало. Я понял, что дело не в характере людей: среди предпринимателей, финансистов, королей промышленности или финансовых магнатов были люди добрые и злые, умные и ограниченные, симпатичные и отвратительные; дело было не в их дьявольской сущности, а в бессмысленности строя. В эпоху Бальзака капиталисты были жадными, скупыми, порой свирепыми, но они строили заводы, разводили породистых коров, подымали благосостояние. Их можно было обвинить в бессердечности, но не в безумии. Прошло сто лет, и внуки героев Бальзака выглядели буйными умалишенными.

Я рад, что я это понял и продумал на пороге тридцатых годов. Человечество приближалось к эпохе больших испытаний. Вспоминая свое прошлое, я думаю о Германии Гитлера, о годах, проведенных в

Испании, о войне. Одним из самых горьких испытаний для меня был конец 1937 года, когда я приехал прямо из-под Торуэля в Москву. Об этом я расскажу в следующей части моей книги, а теперь мне хочется сказать, что если я не мог предвидеть многого, о чем в 1956 году говорили и на съезде партии, и в любой московской квартире, то тупость, нар царство, изуверство вражеского мира я хорошо изучил до Гитлера, до Герники, до сожженных деревень и коров, застреленных на полях Белоруссии...

Когда я работал над книгами, посвященными борьбе между различными трестами, Эжен Мерль знакомил меня с представителями делового мира, снабжал конфиденциальными материалами. Он издал французский перевод моего романа «Единый фронт». «Давайте назовем вашу книгу «Хорошего аппетита, господа!»,- вдохновенно предлагал он; я упирался; в итоге роман вышел под заглавием, придуманным Мерлем: «Акционерное общество «Европа».

Не следует думать, что Мерль был профессиональным издателем. Он иногда издавал книги; выпускал то большую ежедневную газету, то сатирический журнал, то финансовые бюллетени; писал статейки, делал дела.

В ранней молодости он был анархистом, водился с Бонно, который был налетчиком с убеждениями. Я помню, как года за три до мировой войны Париж взволновался: огромные силы полиции оцепили дом, из которого Бонно отстреливался. Анархистская газета «Либертер» тогда писала: «Вор, жулик, шантажист неизменно восстают против установленного распорядка, они правильно понимают свою роль в обществе...» Многие друзья молодого Мерля погибли. Он случайно выжил, остепенился и стал неотъемлемой частью политического, финансового, литературного Парижа, хотя не был ни депутатом, ни банкиром, ни писателем.

Твердых политических убеждений у Мерля не было, но до конца жизни он сохранял привязанность к анархистам и ненависть к правым. Не было у него и тех принципов морали, которые внушают французским школьникам с ранних лет. С сильными мира сего Мерль был беззастенчив, но к людям, обойденным судьбой, будь то неудачливый поэт или курьерша редакции, относился с любовью. Он чем-то напоминал старых разбойников, которые грабили на большой дороге и делились добычей с окрестными бедняками. Меня он привлекал не только живучестью, весельем, необычайной фантазией, но и добрым сердцем.

Родом он был из Марселя, где его отец, по имени Ангел, торговал апельсинами. Кажется, фамилия отца была Мерло. По-французски

«мерль» - дрозд, и французы вместо «белой вороны» говорят о «белом Дрозде». Одно время Мерль издавал сатирический журнал «Белый Дрозд». Он сам походил на птицу, притом воистину редкую: в эпоху между двумя войнами, когда люди старались покрепче устроиться на земле, когда даже жулики ссылались на философию, на религию, на высокие политические идеи, Мерль порхал, иногда подбирал зернышки, на месяц или на год богател, потом снова рыскал по Парижу в поисках человека, который угостил бы его обедом; он и брал и давал деньги с легкостью, как будто расточал улыбки или срывал цветы.

Еще до того как я с ним познакомился, Париж был потрясен короткой эпопеей «Пари-матиналь» - Мерль решил издавать легкомысленную газету нового типа. Он набрал лучших журналистов. В стеклянной клетке перед толпой зевак молодой человек, Жорж Сим, писал детективный роман; написанную страницу тотчас уносили в типографию. (Жорж Сим стал потом известным писателем Жоржем Сименоном.)

С Жоржем Сименоном меня познакомил Мерль. Сименон тогда был начинающим автором детективных романов, много лет спустя он достиг совершенства, которое позволило ему приподнять презираемый жанр до уровня высокой литературы. Я не читал его романов, но мне нравился большой веселый человек, прекрасный рассказчик, неизменный курильщик трубки. Он жил на яхте, и помню, как однажды я приехал к нему на Марну. Он смешил меня причудливыми историями, но наиболее забавным мне показался его пес ньюфаундлендер, огромный добряк, который пугал приезжавших к реке в жаркий день выкупаться: верный своему долгу и навыкам породы, пес несся к плававшим людям и вытаскивал их на берег. По вечерам Сименон порой заглядывал в бар «Куполь», где царил бармен Боб. Туда приходило много разных писателей - и Рене Кревель, и Вайян, и Деснос. Я там просиживал почти каждый вечер.

Недавно я разыскал часть книг, которые оставил в Париже, оккупированном немцами, у приятеля. Среди них был один из ранних романов Сименон а «Череп» с дарственной надписью автора: «Дружески Илье Эренбургу, чья сознательность и принципиальность помогли мне создать образ-карикатуру Радека». Я прочитал этот роман. Имя Радека Сименон взял случайно - оно приползло с газетной

полосы и никакого отношения к Карлу Радеку не имело. Карикатуру он нарисовал с меня, и, говоря нашим газетным жаргоном, шарж был дружеским. Радек сидел в баре «Куполь». Но чем он занимался? Он зверски убил двух богатых и очень старых дев, живших в предместье Парижа: мстил за нищее детство. Это принципиальный и сознательный убийца, только редкая прозорливость сыщика помогла раскрыть подлинную роль Радека. Конечно, Сименон не подозревал меня в убийствах и прибавил слово «карикатура», но я ему казался сверх сознательным, ультрапринципиальным и непримиримым. А было это в те годы, когда я бился, как щепка в море, когда советские критики называли меня «буржуазным циником», а друзья советовали наконец-то «стать на платформу».

Мы сидели в маленьком прокуренном баре и гадали на кофейной гуще, стараясь разгадать не только будущее, но своих соседей да и самих себя. Трудное это занятие, и нелегкими были те годы...

Мерль грозил политикам сенсационными разоблачениями, подписчикам он сулил ценные премии; и вдруг, когда настает время выдавать премии, газета исчезает...

При одной из первых встреч Мерль сказал мне: «Мой друг, вы чересчур скромны, во Франции мало одного таланта...» Он решил меня разрекламировать, устроил обед в отдельном кабинете роскошного ресторана и пригласил писательницу Жермену Бомон - она заведовала литературным отделом бульварной газеты «Матэн». Кроме нее, Мерль позвал Деснос а, которому покровительствовал.

Деснос поел, а главное, выпил и начал обличать «Матэн», каждый раз поворачиваясь к Бомон: «Я, конечно, имею в виду не вас...» Как подобало раннему сюрреалисту, Деснос любил слова скорее нецензурные и, характеризуя «Матэн», перечислил все части человеческого тела. Жермен Бомон не выдержала и ушла. Мерль был огорчен - ему не удалось сосватать меня с мировой славой. Он объяснял мне: «Может быть, госпожа Бомон в душе и согласна с Десносом, но она не могла допустить, чтобы поносили ее хозяев, да еще в присутствии советского писателя...»

У Мерля была неподалеку от Парижа прекрасная усадьба. Устраивая приемы, он любил пускать пыль в глаза, но сам сохранял демократические привычки своей молодости. Утром он завтракал на кухне - ел помидоры, которые густо солил,- и поездом отправлялся в

Париж. По большей части утром у него денег не было, но в поезде рождались грандиозные планы.

Он любил обедать в ресторанах с провансальской кухней, обожал айоли - майонез с чесноком, часто ходил к Нине: у нее был маленький, на вид очень скромный, но очень дорогой ресторан. Нина была и хозяйкой и кухаркой, пускала к себе только ограниченный круг знатоков. Кого только я не встречал за столом Мерля - анархистов и промышленников, Лавалья и Даладьё, поэта Сен-Поль Ру, Тристана Бернара, «принца гастрономов» Курнонского, Блеза Сандрара, депутатов, биржевых маклеров, модных адвокатов, киноактеров!

Когда Лаваль отправился в Москву, Мерль мне сказал: «Это самый талантливый мошенник Франции. Я хочу, чтобы он договорился с русскими, потому что ему ничего не стоит договориться с Гитлером». Даладьё тогда называли «быком из Воклюзы» - в своих речах он был смел и напорист. Мерль сокрушенно говорил: «Французы перестали разбираться даже в тех вещах, которые считались их специальностью. Ну как можно назвать Даладьё быком? Ведь это типичный вол! Можете спросить любую телку...»

В 1933 году раскрылась очередная панама: «Стависский, которого в 1917 году судили за мелкую кражу и который пятнадцать лет спустя присутствовал как эксперт на дипломатических конференциях, украл шестьсот пятьдесят миллионов франков. Тардьё уверял, что мошеннику покровительствовали радикалы. Мерль посмеивался: «Если они осмелятся меня тронуть, я покажу талоны чековой книжки Стависского - он делал подарки и друзьям Тардьё...»

У Мерля было, разумеется, много врагов, которые хотели его погубить. Он назвал свиней, которых держал в усадьбе, именами своих врагов. Особенно его преследовал редактор фашистской газеты «Гренгуар» Карбучия, и огромный толстый боров был окрещен его именем. Однажды Мерль прислал мне окорок с письмом: «Примите в подарок ногу моего незабвенного Карбучии...»

Как-то я был у него 14 июля. Пришли крестьяне, чтобы его поздравить с национальным праздником. Он вытащил десять ящиков с шампанским и, подняв бокал, торжественно провозгласил: «Да здравствует Франция!» Крестьяне хором ответили: «Да здравствует господин Мерль!»

Он любил пафос: «Когда я умру, не нужно ни пышных похорон, ни речей, пусть только подымут траурный флаг над башней моего замка».

Когда в усадьбу приезжали гости, Мерль надевал фартук и готовил обед, причем фантазировал он и на кухне: народное блюдо луковый суп - обильно приправлял сухим портвейном. Был он чрезвычайно суеверным. Французы говорят, что нужно схватиться за дерево, чтобы не сплзнуть. Мерль жаловался: «Прежде я был спокоен - во всех кафе были деревянные столики. Теперь столы мраморные, приходится носить в кармане огрызок карандаша». Он завел павлинов, это совпало с дурной для него полосой. Он приписывал все напасти птицам - они ночью подходили к дому и роняли перья, на которых был дурной глаз. Убить или отдать павлинов он не решался: «Нельзя перечить судьбе». Однажды крестьяне пришли удрученные: деревенские собаки загрызли павлинов. Мерль воскрес и сразу отправился в Париж с новыми гениальными планами.

Я неправильно сказал, что у Мерля не было моральных принципов,- вернее сказать, его принципы не совпадали с общепринятыми. Он, например, не признавал договоров, не платил своим авторам гонораров; но Деснос мне рассказывал - стоило ему намекнуть, что у него трудное положение, как Мерль давал больше, чем полагалось по договору. До конца жизни он помогал детям своих товарищей по анархистской группе.

Когда Батя подал на меня в суд. Мерль спросил Любу, какой у нее номер обуви. «Завтра вы получите двенадцать пар туфель от синдиката французских фабрикантов». Люба на него накричала, рассказала мне, я рассердился и строго-настрого запретил Мерлю разговаривать обо мне с французскими конкурентами Бати. Мерль посмотрел на меня с жалостью и с восхищением: «Бог ты мой, до чего вы наивны!.. Но я вас за это уважаю...»

Побывав в Москве, Панайт Истрати стал поносить Советский Союз. Мерль возмутился: «Когда я начинал работать в газете, там был славный малый, репортер Гюстав. У него была подруга, красивая, очень высокая и очень темпераментная. Она ему устраивала сцены ревности, он часто приходил в редакцию с синяками. Однажды он пришел с лицом совершенно окровавленным, жалко было на него смотреть. Мы решили поговорить с дамой: «Почему вы обижаете

нашего Гюстава?» Она даже руками всплеснула: «Вы хотите знать почему? Хорошо, я вам расскажу. Это я заплатила за его вставную челюсть, и моими зубами он улыбается другим женщинам». Вы спросите, почему я вспомнил эту историю? Здесь нет никаких аллегорий. Истрати рассказал мне, что ему в Москве вставили чудесные зубы, и вот советскими зубами он улыбается Пуанкаре и Братиану...»

Мерль познакомил меня с госпожой Анно. Ее арестовали, потом выпустили, это было громкое дело. Мерль ее уважал и часто повторял: «Честнейшая женщина!..» Она мне рассказала много интересного о проделках финансовой знати. Что касается Мерля, то он неизменно говорил: «В девяноста девяти случаях из ста мошенник или вор куда порядочнее прокурора и судей».

В Испании началась гражданская война; я уехал в Мадрид. Осенью я вернулся в Париж за грузовиком с кинопередвижкой; встретив Мерля, я рассказал, что еду на Арагонский фронт и хотел купить печатную машину, но не хватило денег. Мерль меня обнял: «Я теперь только и думаю, что об Испании. Там ведь много анархистов...» На следующий день он привез машину и шрифт. В то время у него было туго с деньгами, не знаю, где он достал машину, но работала она превосходно.

При последней встрече он выглядел усталым, поблекшим; у него всегда был хриплый голос, а тут он с трудом говорил, хотя любил поговорить. Он умер от рака горла.

Почему я о нем написал? Уж не так часто мы встречались, да и вся эта история не имеет морали, просто портрет одного непохожего на других человека. Мерль в душе был поэтом. Даже хорошие поэты пишут иногда неудачные стихи; Мерль иногда давал чеки без покрытия. Но он оживлял Париж тех лет. Да и нельзя писать только о героях или об исторических событиях - в жизни нужны и белые вороны...

В 1927 - 1928 годах французы зачитывались книгами Панаита Истрати. Его произведения переводили на различные языки; особенно ими увлекались в Советском Союзе - за два-три года вышло не менее двадцати изданий книг Истрати. Ромен Роллан, восхищаясь молодым автором, называл его «балканским Горьким».

Теперь мало кто помнит книги Истрати. В моей жизни он был случайной встречей. Я слушал с охотой его цветистые истории; он мне, скорее, нравился - добрый, бесшабашный и вместе с тем лукавый, не то скрипач из ночного кабака, не то анархист, перебирающий вместо четок игрушечные бомбы. А когда он исчез из виду, я о нем не вспоминал. Все же мне хочется задуматься над его судьбой: эпоху понимаешь не только по инженерам, прокладывающим автострады, но и по контрабандистам, петляющим в ночи.

Возле Больших Бульваров на улице Шатодэн пометался восточный ресторан, содержал его тучный и сладкий сириец. Туда приходили греки и турки, румыны и египтяне, ливанцы и персы. Там подавали различные кебабы, голубцы из виноградных листьев, медовые пирожки, истекавшие салом, душистый котнар, анисовую водку с водой - арабы этот напиток зовут «львиное молоко», греческое вино с запахом смолы. Меня туда привел Панаит Истрати; он восхищался яствами, которые соблазняли его в детстве; сладости, пряности, запах баранины его пьянили, он начинал рассказывать фантастические истории.

По своей природе Истрати был не писателем, а рассказчиком; рассказывал он очень хорошо, увлекался, сам не знал, было ли на самом деле то, что он выдает за сущую правду. Так часто бывает с одаренными рассказчиками; их слушают затаив дыхание, нет даже времени задуматься над смешными или печальными историями; только потом слушатели, в зависимости от того, как они относятся к рассказчику, говорят: «Ну и врет» или «Какое богатое воображение!»

Почему Истрати стал писателем? У него было множество различных профессий: он подавал в румынском трактире вино и грузил ящики на пароходы, красил дома и пек хлеб, писал вывески и

работал слесарем, копал землю и был бродячим фотографом - в Ницце на набережной снимал туристов; много лет он странствовал, побывал в Египте, в Турции, в Греции, в Ливане, в Сирии, в Италии, во Франции; говорил на многих языках, и ни на одном из них не умел говорить правильно. Своей родиной он считал Румынию; его мать была румынской крестьянкой, отец - греком и контрабандистом. Вся его жизнь была настолько нелепой, что, кажется, ни один писатель не решился бы ее описать. Да и сам Истрати не мечтал о карьере писателя. Он любил читать, причем читал все вперемежку - Эминеску и Гюго, Горького и Ромена Роллана.

Наконец все ему опротивело - голод, фантазия, книги, пальмы Ниццы, полицейские. Он попытался перерезать себе горло бритвой. Его отвезли в госпиталь; он выжил. Из госпиталя он написал Ромену Роллану: хотел рассказать пожилому умному человеку про свое отчаяние; будучи одаренным рассказчиком и в душе ребенком, он отвлекся, начал припоминать забавные истории. Прочитав длинное письмо, Ромен Роллан восхитился талантом молодого румына, и Панаит Истрати узнал новую профессию: стал писателем.

Быстро пришли слава, деньги. Я с ним познакомился, когда он был в зените успеха. Он как бы хотел наверстать упущенное - и перечитывая восторженные рецензии, и выбирая в буфете сирийского ресторана диковинные закуски; были в нем наивность, детская хитрость, обаяние цыгана из пушкинской поэмы, восточного выдумщика, левантийского хвастуна и обыкновенного мечтателя, среди голода и побоев сохранившего тоску по любви, по звездам, по правде. Как-то он сказал мне: «Я ведь не писатель... Просто жизнь была пестрой, а скоро я выдохнусь...» Сказал он это без горечи, как бродяга, случайно оказавшийся в хорошей гостинице, который знает, что его ждут сума и пыльная дорога.

Первые книги Истрати, принесшие ему известность, романтичны, сказочны. Французы изумились, увидав Шехерезаду в пиджаке и брюках. Истрати рассказывал о своем детстве, о скитаниях, о турецких гаремах, о румынских гайдуках. Больше всего его увлекали гайдуки: они защищали обиженных, не было у них партийной дисциплины, и вдоволь шумный, но слабовольный Истрати, который всю свою жизнь был анархистом, видел в них своих учителей, старших братьев. Он как-то рассказал мне, что одно время увлекался

политикой, организовывал забастовки; вероятно, это было правдой; но еще раз напомню - чем только в жизни он не занимался!

Живи он в XIX веке, все кончилось бы хорошо; он написал бы еще десять или двенадцать книг; стал бы французским академиком или вернулся бы на родину, где над его романами проливалась бы слезы сентиментальная писательница Кармен Сильва, она же королева Румынии... Но на дворе стоял иной век.

В 1925 году Истрати поехал в Румынию, он увидел, как жандармы избивали крестьян, как расстреливали участников бессарабского восстания. Он вернулся во Францию возмущенный, выступил в «Лиге прав человека», написал несколько гневных статей. Он спрашивал себя: что делать? Гайдуков давно не было. Были коммунисты, и Панаит Истрати начал мечтать о Советском Союзе.

Рассуждать он не любил, да и не умел; он мыслил сказочными образами; для него мир делился надвое - нечестивцы и праведники, трущобы нищего Неаполя или молочные реки в кисельных берегах. Порой мне трудно было с ним разговаривать: он не мог себе представить, что в Советской России можно встретить глупых или бессердечных людей. Шехерезада по ночам рассказывала сказки, а Истрати начал обличать современных калифов.

Он поехал в Москву, шумно восхищался решительно всем, заявил, что намерен перебраться в Советский Союз. Вернувшись в Париж, он опубликовал книгу, полную резких и по большей части несправедливых нападок на страну, которую только что прославлял. Поворот был настолько крутым, что все обомлели. Одни заговорили о «коварстве» и «подкупе», другие - о «чудодейственном прозрении».

Книга, посвященная поездке в Советский Союз, никак не напоминала книги Истрати, говорили, будто ее написал кто-то другой. Не знаю, правда ли это. Может быть, сказалось вечное легкомыслие Истрати. Пилигрим рассердился: реальность не походила на созданную им восточную сказку. Его тотчас окружили журналисты, политики, фракционеры; он не успел опомниться, как стал игровой картой на зеленом сукне.

Он мне как-то рассказал, что в ранней молодости ездил «зайцем» в поездах, на пароходах, это была увлекательная игра - добраться из Пирея в Марсель без единой драхмы. Может быть, он захотел «зайцем» пересечь век? Его высадили на чужом, незнакомом вокзале.

Не было больше ни старых друзей, ни сказок. Он оправдывался, обвинял, писал истерические статьи. Вскоре он уехал в Румынию. О последних годах его я мало что знаю. Обострился туберкулез, некоторое время Истрати жил в горном монастыре, называл себя анархистом, пробовал пристать к националистам, писал о боге и обрадовался, когда о нем вспомнил Мориак. Умер он в Бухаресте в 1935 году. О нем были коротенькие некрологи во французских газетах: его успели уже забыть...

Много лет спустя на свадьбе в глухой румынской деревне я встретил героев Истрати, задорных и нежных; они пели мятежные, печальные песни. Я вспомнил мечтателя, забияку и забулдыгу, который рассказывал истории в полутемном ресторане на улице Шатодэн; и еще раз подумал о страшной ответственности писателя. Нет легких ремесел, но, пожалуй, самое трудное водить перышком по бумаге: платят за это иногда хорошо, но расплачиваться приходится жизнью...

В годы, о которых я рассказываю, я колесил по Европе, изъездил Францию, Германию, Англию, Чехословакию, Польшу, Швецию, Норвегию, Данию, побывал в Австрии, Швейцарии, Бельгии. С 1932 года я стал корреспондентом «Известий», и многие поездки были связаны, хотя бы частично, с газетной работой. А в 1928 - 1929 годы я еще не был профессиональным журналистом (иногда мои путевые очерки печатала «Вечерняя Москва»). Не был я и классическим туристом. Оказавшись в Норвегии, вместо того чтобы любоваться живописностью фьордов, я поехал на далекий островок Рест, где даже подушки пропахли треской, а потом в маленький порт Мосс, где нет никаких достопримечательностей, и там ночью беседовал о судьбе нашего века с представителем пароходной компании; в Англии я поехал в прокопченный, мрачный Манчестер и спускался в допотопные шахты Сванси; в Швеции забрался в новый заполярный город Кируну, где добывают руду.

Денег у меня было в обрез. В Польшу меня вывез импресарио, я читал доклады о литературе; в Англию пригласили Пен-клуб и издатель; в Вену я поехал на встречу какого-то культурного объединения. Повсюду я разыскивал дешевые гостиницы и полагался больше на свои ноги, чем на такси.

Пушкин писал об Онегине:

И начал странствия без цели,

Доступный чувству одному;

И путешествия ему,

Как все на свете, надоели...

«Цели» и у меня не было, но путешествия мне не надоедали. Конечно, от себя уехать нельзя, и, где бы я ни был, меня не покидали мои мысли, вероятно, именно поэтому я любил (и до сих пор люблю) путешествовать: иногда за тридевять земель, приглядываясь к чужой жизни, находишь ту разгадку, которую напрасно искал у себя за рабочим столом... Мне было тогда под сорок,- следовательно, я вышел из возраста, который обычно связывают с понятием становления; но по-прежнему я чувствовал себя школьником.

Каждый человек постепенно обрастает людьми, с которыми он связан общими интересами, ремеслом. Нельзя уйти от самого себя, но можно на некоторое время вырваться из круга привычных знакомств. Конечно, и в других странах я часто оказывался в среде писателей; познакомился с Майеровой, с Новомеским, с Антони Слонимским, с Броневским, с Андерсеном-Нексе, с Нурдалем Григом, с Иозефом Ротом.

На одном из датских островов я случайно встретил Карин Михаэлис. Она возила меня к крестьянам, показывала превосходные фермы, ее всюду знали, уважали. В ранней молодости мы читали в России ее роман «Опасный возраст». Я думал, что ее волнуют тайны женского сердца, а она говорила о другом: о неминуемой катастрофе; рассказывала, как фермеры не хотели помочь голодающим немецким детям, как теперь отворачиваются, когда она заговаривает о фашизме, об угрозе войны, как ужасны сытость, сон, равнодушие. (Восемь лет спустя в Мадриде на конгрессе писателей, среди разрывов снарядов, кто-то прочитал приветствие больной Карин Михаэлис, и я вспомнил беседу на тихой зеленой ферме.)

Однако, говоря о вылазках из привычной среды, я думаю о других встречах - со старым пастухом «бачей» в Тиссовце, с лодзинскими ткачами, со смотрителем маяка на Лофотенских островах, с внуком цадика из Гуры Кальварии, с берлинскими рабочими.

Упомяну сейчас об одной из пестрых встреч. В Кируне я познакомился с горняком-коммунистом, у которого была русская жена, Нюша. Она меня угощала кофе, показывала восторженно холодильник, электрическую плиту, стиральную машину. Со мною горняк говорил по-немецки, а с женой почти не разговаривал - знал сотню русских слов; Нюша еще не успела овладеть шведским языком. Он мне рассказал, что был в Советском Союзе с делегацией, на Кавказе заболел воспалением легких и в больнице влюбился в сиделку. Он верил, что Нюша - «душа русской революции», и огорчался, что не может спросить у нее совета, как поступить в том или ином случае. А Нюша радовалась, что попала в спокойную, богатую страну, и недоуменно говорила про товарищей мужа: «Это они с жиру бесятся...» Я не хотел ее строго судить: она узнала много горя, голодала, брата расстреляли белые, мать умерла от сыпняка. Муж ее мне очень нравился, был благородным и смелым. Нюша

горевала, что не научилась говорить по-шведски. На столе лежал толстый словарь, но молодожены редко в него заглядывали. Оба проклинали свою немоту, не догадываясь, что ей обязаны счастьем...

Это, конечно, только печальная и смешная история, из которой не нужно делать выводы; да я их и не делал. Я старательно записывал свои впечатления.

Некоторые поездки я описал и назвал книгу очерков «Виза времени». Легко себе представить, что для обладателя советского паспорта, вздумавшего в те времена путешествовать, виза была магическим понятием. Однако, выбрав такое заглавие для книги, я думал не о придирчивых консулах, а о еще более придирчивом веке: хотел проверить, какие из наших прежних представлений могут быть завизированы временем. Поездки помогли мне освободиться от множества условностей, старых и новых, увидеть жизнь такой, как она есть. Разговаривая с датскими фермерами, я старался понять путь советского писателя.

Представитель Советского Союза в Лиге наций М. М. Литвинов поразил всех лаконичной формулой: «Мир неделим». Блуждая по чужим странам, я понял, что неделим и другой мир тот, что по старой орфографии писали через «и» с точкой.

Я понял также, что народы своеобразны, неповторимы, как люди. Автор предисловия к одному из изданий «Визы времени» Ф. Раскольников предостерегал читателей: «Эренбург придерживается устарелой теории национальных характеров. Он полагает, что каждый народ имеет свою «душу», зависящую от свойств его национального характера. В этом отношении Эренбург имеет такого блистательного предшественника, как Стендаль, который в своем «Пармском монастыре» тоже безуспешно пытался разрешить проблему итальянского национального характера. Это ошибочное представление о национальной «душе» логически вытекает из общей идеалистической системы взглядов Эренбурга. Подобно Стендалю он не материалист, а идеалист. Он предпочитает не изучать, а постигать интуицией...»

(Это было написано в 1933 году. Десять лет спустя А. Н. Толстой напечатал рассказ «Русский характер», в театрах шла пьеса Симонова «Русские люди», различные поэты воспевали «русские обычаи», «русскую любовь» и, разумеется, «русскую душу». Никто их не корил,

им дружно аплодировали. Поскольку у русских оказалась «душа» - то есть некоторые черты национального характера,- очевидно, она имеется и у других народов. Много раз я читал про то, как я или как другие писатели «преодолевают былые заблуждения». А те, кто нас упрекал? О них не пишут. Между тем они тоже от многого отказывались и многое начинали понимать.)

Я никогда не думал, что «душа» народа связана с кровью,- я многим болел, но только не расизмом. Душа народа, то есть его характер, складывается веками, и на черты национального характера влияют география, особенности социального развития, повороты истории. Другие материка я увидел позднее - после второй мировой войны, но и в годы, о которых пишу, мог многое сравнить. Конечно, я видел, что шведский рабочий рассуждает иначе, чем Крейгер или банкир Валленберг, но это не помешало мне отметить, что характер шведского рабочего отличается от характера итальянского рабочего. Здесь не было никакого «идеализма», и это не противоречило ни существованию классовой борьбы, ни принципам интернационализма.

Можно ли, побывав в Англии, не заметить, что англичане любят известное отъединение, что они предпочитают неудобные холодные домики с узенькими лестницами квартире в современном многоэтажном доме, что, в отличие от французов, они не живут на улице и не ныряют с удовольствием в толпу? Любой турист, даже лишенный наблюдательности, видит, что в Париже много магазинов, торгующих красками, принадлежностями для художников, много маленьких выставок живописи, а в Вене сотни магазинов, где продают поты, и на стенах афиши концертов. Буржуа в разных странах проводят досуги по-разному. Англичанин обязательно является членом какого-либо клуба, причем и выборе клуба редко сказываются политические симпатии; в каждом клубе имеется библиотека с удобными креслами, и там джентльмены снят, одни тихо, другие похрапывая. Испанцы тоже любят клубы, но сидят они не в полутемных залах, а в витринах или па улице и смотрят па прохожих; когда проходит более или менее молодая женщина, причмокивают. Немецкий буржуа обожает научные новшества и экзотику; в одном ресторане Берлина я увидел в меню цифры - сколько калорий в каждом блюде (витамины пришли позднее), в другом посетители

лежали в гамаках, а над ними порхали тропические птицы. Это явно не понравилось бы французу, который не хочет платить за бутафорию, а любит хорошо покушать в маленьком невзрачном бистро. В английском парламенте люди спорят вежливо, а во французском я не раз присутствовал при драках. Я мог бы исписать сотни страниц, перечисляя особенности характера и быта, но я теперь не собираюсь обрисовывать различные страны, а только хочу отметить, какое впечатление оказали путешествия на мой дальнейший путь.

Я увидел, что люди живут по-разному, по различие форм жизни не заслонило от меня того общего, человеческого, что позволяет верить в единство мира. Конечно, шведы показались мне чопорными (теперь они освободились от многих условностей), нельзя было просто выпить рюмку водки - существовал сложный этикет. Выглядели шведы холодными, замкнутыми. Но вот я познакомился с Акселем Клауссоном, бывшим военным атташе в Петербурге. Он знал русский язык и, выйдя в отставку, занялся переводами, перевел и мои две книги. Он был настоящим старым шведом, любил ужинать при свечах, подносил рюмочку к сердцу, никогда не забывал припомнить, как мы хорошо провели вместе вечер, даже если этот вечер был в позапрошлом году. Мы подружились, и он оказался человеком с горячим сердцем, вернейшим другом, умел поговорить и, что еще труднее, помолчать.

Словакия сначала мне показалась страной далекого прошлого: крестьянки ходили в красивых пестрых костюмах эпохи барокко, крестьяне некоторых округов носили фартуки, кресты на кладбищах были расписаны, как веселые игрушки. Потом я увидел, что словацких писателей волнуют те же вопросы, что и меня; я нашел там много добрых друзей - Клементиса, поэта Новомеского и других.

Англичане выглядели существами с другой планеты, на все отвечали «у вас континентальный вкус» или «это не у нас, а на континенте». Вскоре я увидел, что интеллигенты печальны, увлекаются Чеховым; когда играют «Трех сестер», в зале плачут. Я понял, что могу говорить со многими англичанами по душам.

Я сказал, что повсюду меня сопровождали мои раздумья и сомнения: они родились давно, еще в годы первой мировой войны, когда я начал самостоятельно думать. Увидев огромное военное хозяйство, мгновенное отречение людей от мысли, механизацию

любви, убийства, смерти, я понял, что в опасности само понятие человека. В конце двадцатых годов еще не было ни аплодисментов по команде, ни машин, способных сочинять стихи, ни статистики Освенцима, ни водородных бомб. А я непрестанно, мучительно думал не о характерных чертах того или иного народа, а о характере времени.

Мне не хочется загромождать эту книгу цитатами из самого себя, ссылаться на старые очерки или заметки; но если я начну рассказывать о своих впечатлениях от Западной Европы в 1928 - 1929 годах, я невольно изменю или пополнию их опытом последующих десятилетий. Вот что я тогда писал о Германии:

«Один придумывает, как бы поэкономнее рассадить пассажиров в самолете, другой изготавливает зажигалку, чтобы огонь вспыхивал при небрежном движении... Я был у Максимилиана Гардена... Видимо, он не создан для изготовления усовершенствованных зажигалок. Мы говорили о русской революции, о берлинских улицах. Он сказал мне: «Я боюсь этой равномерности жизни, отсутствия непредвиденного...» В уличных уборных Берлина надпись: «Не позднее, чем через два часа после сношения с женщиной, поспеши на ближайший санитарный пункт...» Берлин - апостол американизма, и зажигалки здесь предметы особого культа. Меня пригласил к себе автор романа «Александерплац» Альфред Деблин. Его угнетает механическая цивилизация, он говорил, что был в Польше, разговаривал с крестьянами и нашел в глухих деревнях больше человечности, чем в Германии.

Я был в Дессау, где теперь помещается Баухаус - школа современного искусства. Стекланный дом; найден стиль эпохи: культ сухого разума. Жилые дома вокруг, построенные в том же стиле, страшны; они до того похожи один на другой, что дети ошибаются. Говорят, что новый стиль подходит для заводов, вокзалов, гаражей, крематориев, а стиль для жилых домов еще не найден. Вряд ли его найдут: люди теперь живут на работе, а не у себя. В доме архитектора Гроппиуса множество кнопок, рычагов, белье носится по трубам, как пневматическая почта, тарелки из кухни проползают в столовую; все продумано, вплоть до ведра. Все безукоризненно и невыразимо скучно. Думали ли мы, защищая кубизм, а потом конструктивизм, что одно десятилетие отделит философские кубы от вполне утилитарного

ведра? В доме художника Кандинского ряд уступок искусству - новгородские иконы, пейзажи таможенника Руссо, томик Лермонтова. Один из учеников мне сказал: «Кандинский путаник и полуконсерватор...»

На вокзале Штутгарта или в типографиях Лейпцига понимаешь, насколько здесь пришлась ко двору Америка. В Кельне на выставке я увидел архисовременную церковь с комфортом и кубическими витражами, Христос напоминает часть сложной машины».

Вот об Англии:

«Презрение к Америке и американизация быта: американские фильмы, американская архитектура, американские магазины.

Хемстед. Длинные улицы. Коттеджи. Все дома как один. Англичане любят индивидуализм, однако эта идиллическая казарма их не смущает.

В Лондоне непрестанно думаешь, откуда взялся этот огромный город - на острове, в стороне от жизни, среди сырости и хандры? Как властвовал и угнетал? Как поколебался, дрогнул, заполнил шкафы мирными трактатами и занимательными романами? Как он живет со старинными париками, с великодержавностью дипломатических нот, еще путает карты, блефует, но боится рассвета? Как познакомился с американскими колонизаторами, с континентальной смутой, с безработицей, с самоубийствами? Англичане - завоеватели, мореплаватели, превосходные спортсмены. Это не мешает им быть на редкость застенчивыми. Отсюда консерватизм, привязанность к шутовским церемониям.

Они стоят, сконфуженные, перед молодой и наглой Америкой.

Есть здесь нечто переходящее меру. Пикадилли и Поплар. Роскошь, выставленная напоказ, и неопишуемая нищета района Доков. Шахты в Южном Уэльсе примитивно оборудованы; часто приключаются обвалы; я видел в шахтах детей, мне объяснили, что недавно запрещена работа до четырнадцати лет, этим уже пошел пятнадцатый. До сих пор в школах применяются телесные наказания. Ад Давида Копперфильда. А Диккенса нет...»

Вот Скандинавия:

«Швеция пытается отстоять свой быт, свои привычки. Вся Европа старательно перенимает механические судороги нью-йоркского бизнесмена, шведы упираются. Вероятно, ненадолго - в Швеции всего

семь миллионов людей, остальное - лес. Деревья вырубят, а людей перевоспитают.

68 гр. с. ш. Три месяца в году ночь. Две горы, между ними город Кируна. Его еще строят, не успели даже окрестить улицы, адрес - это номер дома. Горняки живут хорошо. Среди них много коммунистов, в редакции газеты портрет Ленина. У шахтеров автомобили. А кругом тундра. Роскошная церковь: золотые статуи (стиль модерн) изображают различные добродетели. В газете: акции «Луосаваара-Кируноваара» в повышении. Один из крупных держателей акций Ивар Крейгер.

Рест - крохотный остров (Лофотенские острова). В Норвегии король, он торгует маслом. В Ресте - мэр, рыбак и социалист. Однако подлинными властителями острова - скупщики трески, им принадлежат дома, фабрики консервов. Из отбросов варят клей. У скупщиков рыбы магазины, они же местные банкиры, сдают рыбакам суда, страхуют; вся жизнь острова подвластна им.

Шоколадная фабрика «Фрейя». Работницам делают маникюр, в заводской столовой живопись Мунка. Невообразимый грохот. Владельцы «Фрейи» платят мало, отказались признать профсоюз.

Фугт говорил мне, что у Норвегии «особый путь». Я ему ответил, что на необитаемом острове легко спасти свою душу, конечно до первого американского парохода.

Датские фермеры живут куда комфортабельнее парижских буржуа. На стенах старые крестьянские тарелки: они стали предметом украшения. Один фермер сказал мне, что зимой прочитал «Войну и мир»: «Интересная книжка». Помолчав минуту, спросил: «А сколько могли заплатить вот такому Толстому?..» Другой фермер заказал фрески - история его жизни. Сначала бедный домик его отца на севере Ютландии. Первый собственный дом и, разумеется, свиньи. Дом жены - приданое, свиней все больше и больше. Наконец, роскошная двухэтажная ферма, деревья, сонм свиней.

Художник Гансен, молодые поэты, скептический журналист Киркебю, который пишет в «Политикене». Много пьют, пытаются воскресить богему, жалуются: свиней не только больше, чем людей, свиньям лучше живется. Говорят, что Копенгаген быстро американизируется, дело не в причудах кучки снобов, а в состоянии умов: стихов никто не читает, живопись, даже самая крайняя,

рассматривается, как мебель или как биржевые бумаги, все сведено к механике...»

Впрочем, хватит переписывать старые заметки. Теперь мне понятнее, что меня в те годы угнетало. Это было еще до мирового кризиса. Гитлер шумел в различных пивных, но почему-то люди верили в крепость Мюллера или Брюнинга, в магию плана Юнга, в то, что роман Ремарка «На Западе без перемен» показывает миролюбие рядовых немцев. Я видел, как отстраивали Реймс, Аррас. Про войну начали забывать. Тридцатилетние относились к рассказам о Сомме или о Вердене, как к надоевшей всем древней истории; помню, кто-то сказал: «Была еще Троянская война...» Мир казался прочным. На самом деле он был иллюзорным. Города отстроили, но не жизнь...

До 1914 года сохранялись известные понятия, нормы, идеи. Анатолий Франс, с его скепсисом, с культом красоты, с чуть холодным гуманизмом, в 1909 году входил в пейзаж Парижа. В 1929 году Поль Валери казался анахронизмом. Старые представления о добре и зле, о красоте и уродстве были разрушены, а создать новые не удалось.

Влияние Америки обычно приписывают ее экономической мощи: богатый и энергичный дядюшка наставляет непутевых, обнищавших племянников. А тот американизм, который я отмечал повсюду, был связан не только с экономикой. После первой мировой войны изменилась психика людей. Их увлекали дешевые аттракционы с Бродвея, самые глупые из американских кинокартин, детективные романы. Усложнение техники шло в ногу с упрощением внутреннего мира человека. Все последующие события были подготовлены: мало-помалу исчезало сопротивление. Приближались темные годы, когда в разных странах попиралось человеческое достоинство, когда культ силы стал естественным, надвигалась эпоха национализма и расизма, пыток и диковинных процессов, упрощенных лозунгов и усовершенствованных концлагерей, портретов диктаторов и эпидемии доносов, роста первоклассного вооружения и накопления первобытной дикости. Послевоенные годы как-то незаметно обернулись в предвоенные.

Я томился в роскошном кабинете редактора «Франкфуртер цейтунг», который хотел напечатать в своей газете мои очерки о Германии. Редактор был круглым и благодушным. Рядом с ним сидел худой, нервный человек с добрыми, но насмешливыми глазами; неожиданно он сказал мне на дурном русском языке: «Скажите ему - запрещено резать, и запросите больше - у них много денег...» Так я познакомился с австрийским писателем Йозефом Ротом; это было в 1927 году. Несколько лет спустя он стал известен широкому кругу читателей.

Вот у кого была анкета, способная привести в восторг искателей космополитов! Отец его был австрийским чиновником, запойным пьяницей, мать - русской еврейкой. Родился он в Галиции в пограничном поселке; считался немецким писателем; говорил всем, что он австриец; когда немцы проголосовали за Гинденбурга, сказал: «Все ясно!» - взял шляпу, палку и уехал в Париж. Жил он всегда в гостиницах, иногда хороших, а по большей части замызганных и вонючих. Не было у него мебели, не было и вещей; старомодный кожаный чемодан был набит книгами, рукописями и ножами - никого он не собирался резать, но обожал ножи. «Франкфуртер цейтунг» его посылала в Москву; он пробыл некоторое время в нашей стране, выделялся среди других инкоров желанием понять чужую жизнь, искренностью, участием к нашим бедам, радостью, с которой описывал наши первые успехи. Потом газета посылала его как репортера в различные страны; он писал путевые очерки, мучась над каждой строкой - ему было противно плохо писать. Ходил он быстро, всегда с палкой, но не опирался на нее, а чертил ею что-то в воздухе.

Он никогда не писал стихов, но все его книги удивительно поэтичны - не той легкой поэтичностью, которая вкрапливается некоторыми прозаиками для украшения пустырей; нет, Рот был поэтичен в вязком, подробном, вполне реалистическом описании будней. Он все подмечал, никогда не уходил в себя, но его внутренний мир был настолько богат, что он мог многим поделиться со своими героями. Показывая грубые сцены пьянства, дебоша, унылую

гарнизонную жизнь, он придавал людям человечность, не обвинял, да и не защищал их, может быть жалел. Не забуду я тонкой, чуть печальной усмешки, которую часто видел на его лице.

В 1932 году меня пленил его роман «Марш Радецкого». Тридцать лет спустя я его перечитал и подумал, что это один из лучших романов, написанных между двумя войнами. Это книга о конце Австро-Венгрии, о закате и общества и людей.

Сумерки империи Габсбургов сформировали и вдохновили многих писателей, писавших на различных языках. Когда империя рухнула, Итало Свево было пятьдесят семь лет; Францу Кафке - тридцать пять, а Роту - всего двадцать четыре года. И все же, о чем бы Рот ни писал, он неизменно возвращался не только к быту, но и к душевному климату последних лет Австро-Венгрии.

Писатели, стремившиеся найти новые формы для отображения развала общества между двумя войнами, расшатывали структуру романа; таковы «Улисс» Джойса, «Процесс» Кафки, «Цено» Итало Свево, «Фальшивомонетки» Андре Жида. Эти книги не похожи одна на другую, да и разного калибра, но все они чем-то напоминают живопись раннего кубизма, может быть желанием расчленить мир. Одновременно еще выходили прекрасные романы, написанные по старинке, романы о новой жизни, рассказанной так, как рассказывали писатели прошлого века: «Семья Тибо» дю Гара, последние романы о Форсайтах Голсуорси, «Американская трагедия» Драйзера. «Марш Радецкого» написан по-новому, но это роман, и притом крепко построенный. Если снова прибегнуть к сравнению с живописью, я припомню импрессионистов; в романе Рота много света и воздуха.

Меня поражала любовь Рота к людям. Ну что может быть пошлее и глупее любовной связи молоденького, никчемного офицера с легкомысленной женой жандармского вахмистра? А Рот сумел приподнять, осветить многое изнутри, и я вместе с его героем стою потрясенный у могилы вымышленной женщины, которой писатель сумел придать подлинность, телесность.

Рот одно только делал с сердцем: писал. «Франкфуртер цейтунг» отправила его в Париж как специального корреспондента. Он мог писать романы. Он любил Париж, и я увидел его радостным. Он пришел ко мне с молодой, очень красивой женой, я подумал: вот Рот и нашел счастье...

Вскоре газета прислала в Париж нового корреспондента, и Рот лишился работы. (Об этом новом корреспонденте следует сказать несколько слов. Его звали Зибургом, он считался левым и называл себя другом, почитателем Рота. Зибург написал книгу «Как бог во Франции» - это немецкая поговорка, относящаяся к хорошей жизни; французы говорят «как петух в тесте», а русские «как сыр в масле». В этой книге Зибург расхваливал Францию. Я еще был в оккупированном Париже, когда туда вместе с Абецем приехал Зибург - ему было поручено присматривать за французскими журналистами.)

У Рота не было денег. А здесь случилась катастрофа: его жена душевно заболела. Он долго не хотел с ней разлучаться, но болезнь обострилась, и ее увезли в клинику.

Я тогда слышал от некоторых общих знакомых: «Бедняга Рот спятил... Сидит в кафе напротив гостиницы, пьет и молчит... Стал приверженцем Габсбургов... Словом, с ним плохо...»

Трудно всерьез говорить о политических воззрениях Рота. Были критики, увидевшие в «Марше Радецкого» апофеоз лоскутной империи. А какой же это апофеоз - это ее похороны. Рот показал тупых чиновников, духовно опустившихся офицеров, внешний блеск и нищету, расстрел забастовщиков в украинском поселке, контрабандистов, ростовщиков и надо всем этим выжившего из ума старика, окруженного ложью и боящегося слова правды, которого именуют «императорским величеством» и у которого течет из носу.

Однажды Рот и со мной заговорил о Габсбургах: «Но вы все-таки должны признать, что Габсбурги лучше, чем Гитлер...» Глаза Рота грустно усмехались. Все это было не политической программой, а воспоминаниями о далекой молодости.

Он хорошо описывал печаль, старость, наивность подростков, вековые деревья, любовь к земле украинских крестьян, душевное спокойствие, бородатых евреев, смерть и жаворонков, лягушек, лучи солнца в летний день, пробивающиеся сквозь зеленые жалюзи.

Настали ужасные годы. Гитлеровцы жгли книги. Эмигранты в Париже ссорились друг с другом. Рот жил в старой гостинице Файо на улице Турнон. Гостиницу решили снести; все из нее уехали, только и верхнем этаже в маленькой комнате еще ютился Рот. Потом он перекочевал в скверную гостиницу на той же улице.

В 1937 году я приехал из Испании на несколько дней в Париж; шел по улице Турнон и увидел в кафе Рота. Он меня окликнул. Он плохо выглядел, чувствовалось, что он живет через силу, но, как всегда, был очень вежлив, галстук аккуратно завязан бабочкой. Перед ним стояла гора блюдечек; он говорил связно, только руки дрожали. Спросил меня, как в Мадриде, внимательно слушал, потом сказал: «Я теперь всем завидую. Вы ведь знаете, что вам нужно делать. А я больше ничего не знаю. Слишком много крови, трусости, предательства...» Он заказал еще рюмку. Я торопился, но он меня не отпускал. «Ваши друзья меня ругают. Я написал роман об инспекторе мер и весов. Может быть, это и плохой роман, я теперь часто думаю - до чего мы все неталантливы! Но я хочу вам сказать о другом... Мой инспектор жил плохо, растерялся, как я. В итоге он умирает. Перед смертью он бредит, ему кажется, что он не инспектор, а лавочник, к нему приходит самый главный, грозный инспектор, а у него весы неправильные - обвешивал, обмеривал, надувал. Сейчас его уведут в тюрьму... Он говорит инспектору: «Конечно, у меня гири легче, чем полагается. Но у всех так - без этого в нашем городе не проживешь». Вы знаете, что ему ответил главный инспектор? Он сказал, что правильных весов нет. Ваши друзья говорят, что я хочу оправдать Шушинга. А я думал о людях, таких, как я. Вы скажете: «Зачем вы печатаете ваши романы?..» Я должен жить, хотя это и ни к чему...» Он заказал еще рюмку. Потом мы расстались. Больше я его не видел.

Кончил жизнь самоубийством Эрнст Толлер. По улицам Праги шагали немецкие дивизии. Йозефа Рота тяжело больного увезли из его кафе в больницу. Ему было сорок пять лет, но он не мог больше жить.

Друзьям передали рукописи и старую палку.

С Паскиным меня познакомил Мак-Орлан; было это, кажется, в 1928 году. Мы обедали в маленьком ресторане на Монмартре. Я знал и любил рисунки Паскина и разглядывал его с откровенным любопытством. У него было лицо южанина, может быть итальянца; был он одет чересчур корректно для художника: темно-синий костюм, черные лакированные ботинки; хотя к тому времени котелки почти исчезли, Паскин часто ходил в старомодном котелке. За обедом он молчал. Говорил Мак-Орлан, говорил о минувшей войне, о гигантском росте городов, о том, как светится ночью площадь Пигаль, как бродят тени под черными мостами, и называл все это «новой романтикой». Паскин сначала слушал, потом начал рисовать на меню Мак-Орлана, меня, голых женщин. Подали кофе, коньяк; он выпил стаканчик, как пьют у нас водку, залпом, и вдруг оживился: «Романтика? Вздор! Несчастье. Зачем строить из дерьма художественные школы? На площади Пигаль сто борделей. Точка. Под мостами спят обыкновенные люди; дай им кровати, они будут голосовать и ходить в воскресенье в церковь. Незачем одевать людей в костюмы, моды меняются. Лучше их раздеть. Голый пупок говорит мне больше, чем все платья. «Романтика»? А по-моему, попросту свинство...» Он выпил еще стакан, и тогда я увидел другого Паскина, шумливого, беспокойного, который славился дебошами. Почему-то я вспомнил друга моей ранней молодости Модильяни.

Потом, встречаясь с Паскиным, иногда серьезным, печальным, даже робким, иногда буйным, я понял, что не ошибся при первой встрече: чем-то он напоминал Модильяни. Может быть, внезапным переходом от замкнутости, молчаливости, от сосредоточенной работы к разгулу? Может быть, страстью неизменно рисовать на клочках бумага? Может быть, тем, что оба были всегда окружены людьми и оба узнали всю меру одиночества?

Паскин попал на Монпарнас, когда драма была доиграна. Далеко от «Ротонды» шли другие драмы. Он появился внезапно и слишком поздно, как заблудившаяся звезда. Ему бы сидеть с Моди, они друг

друга поняли бы. А Паскин тогда был далеко - в Вене, в Мюнхене, в Нью-Йорке.

Он прожил жизнь как бродяга. У него в Париже были различные знакомства; то он встречался с писателями, художниками, с Дереном, Вламником, с Сальмоном. Мак-Орланом, с сюрреалистами; то нырял в другой мир, пил с бродячими циркачами, с проститутками, с жуликами. Все знали, что он знаменитый художник, что его работы висят в музеях; а он рвал свои рисунки, рисовал и рвал; и мало кто знал, откуда он взялся, где провел сорок лет своей жизни, есть ли у него родина, дом, семья.

Паскина звали Юлиус Пинкас, и родился он в Видиие - это маленький болгарский городок на Дунае. Он был сыном торговца, еврея-сефарда (как Модильяни),- предки Паскина когда-то жили в Гранаде и были выселены Фердинандом Католиком в 1492 году. Это, следовательно, очень давняя история. Но вот, когда в 1945 году я приехал в Софию и за ужином меня посадили рядом с бывшим партизаном, не знавшим русского языка, вдруг выяснилось, что мы можем объясниться по-испански: партизан был сефардом. В детстве Паскин дома говорил по-испански, а во дворе с ребятами - по-болгарски. Недавно я получил из Болгарии письмо от школьного товарища Паскина, он мне прислал фотографию дома, где учился маленький Пинкас.

Паскин уехал в Вену учиться живописи; в Мюнхене рисовал для «Симплициссимуса»; добрался до Америки, узнал нужду. Потом на него посыпались деньги; он их тратил мгновенно, раздавал случайным собутыльникам, устраивал нелепые кутежи, одаривал натурщиц. Он как бы не верил своей славе, не доверял и себе - часто сердито говорил о своих работах.

Как-то он позвал меня: «Будут друзья...» Еще не дойдя до его дома, я услышал вырывавшийся сквозь окна рев. «Друзей» оказалось слишком много; даже на лестнице стояли люди со стаканами. Гости сидели или лежали на рисунках. Звенела румба: это был воистину бал на площади.

Помню ту же мастерскую на бульваре Клиши в обычный день; диваны и пуфы, пыльные, тусклые; на них Паскин сажал натурщиц; беспорядок, пустые бутылки, засохшие цветы, книги, дамские перчатки, засохшие палитры; а на мольберте начатый холст: две голые

женщины. Краски у Паскина были всегда приглушенными; казалось, что недописанный холст уже пожух.

На чем основывалось распространенное представление о чувственности, об эротике Паскина? Может быть, поражало, что он всегда рисует или пишет женское тело, может быть, сбивал с толку образ жизни Паскина - он неожиданно появлялся, окруженный дюжиной женщин. А был он романтиком, влюблялся по старинке, безоружный, беззащитный перед предметом любви; и если задуматься над его рисунками, они говорят не о сладострастии, а, скорее, об отчаянии; все эти коротконогие, пухлые девушки с обиженными глазами похожи на поломанные куклы, на странный кукольный госпиталь, который я видел в Неаполе.

Удивительно - он все время был в гуще художественных споров, школ, направлений и как будто ничего не заметил: ни «Голубого всадника», ни кубизма, ни шумливых сюрреалистов. Прочитав в журнале статью, где его называли вожаком «парижской школы» и где указывали, что «парижская школа» создана не парижанами, не французами, Паскин смеялся и предлагал критикам создать новое направление «пентоортоксенофагизм» - пятикратное прямое пожирание иностранцев.

Я сидел над книгами об экономике, а вечером шел в бар «Куполь»; часто туда приходил Паскин. Он все больше и больше мрачнел; говорили о неурядицах в его личной жизни; пил он много, но вдруг замыкался в мастерской и отчаянно работал.

Он знал, что мне нравятся его вещи, и однажды ночью сказал: «Мне нужно с вами поговорить. Мы должны вместе сделать книгу. Вы будете писать мне письма, а я буду отвечать рисунками -» не умею отвечать, как вы, едкими фразами, я не писатель. Это будет замечательная книга! Мы скажем всю правду - откровенно, без прикрас. Почему я должен делать иллюстрации к чужим книгам? Это глупо! Я сделал иллюстрации к рассказам Поля Морана, они меня не интересуют. Я иллюстрировал Библию. Зачем? Я незнаком с царицей Савской... Вы мне будете писать о чем хотите, а я вам буду отвечать. Знаете, почему мы должны с вами сделать книгу? Это будет книга о людях; теперь говорят о чем угодно, а о людях забыли. Только не откладывайте. Потом будет поздно...»

Я согласился, но все откладывал, откладывал - хотел дописать роман о Крейгере. (Было это в начале 1930 года.)

В яркое весеннее утро я развернул газету - короткая телеграмма: «Поэт Маяковский покончил жизнь самоубийством». Мы тогда еще не были приучены к потерям, и я обмер. Я не спрашивал себя почему, не гадал, просто видел перед собой огромного, живого Владимира Владимировича и не мог представить, что его больше нет.

Кажется, недели две спустя, точно не помню, я увидел в «Куполе» Паскина. Он что-то кричал, потом заметил меня, сразу притих, молча поздоровался, ни о чем не спросил. Мне рассказывали, что он много работает - готовится к большой выставке.

Прошло еще несколько недель, и вечером в «Куполь» вбежал Фотинский, едва выговорил: «Паскин... Никто не знал... На четвертый день взломали дверь...»

Паскин, как Есенин, пробовал разрезать жилу бритвой. Он тоже написал кровью, не на бумаге - на стене: «Прощай, Люси!» А потом, как Есенин, повесился. На столе лежало аккуратно написанное завещание. Паскин покончил с собой в тот самый день, когда должно было состояться открытие его выставки.

Хоронили его далеко - на кладбище Сен-Уэн; за гробом шли знаменитые художники, писатели, натурщицы, бродячие музыканты, проститутки, нищие. Потом гуськом мы проходили мимо могилы, и каждый кидал на гроб ослепительный летний цветок. И снова я не мог себе представить, что больше не будет ни печального человека в запущенной мастерской, ни серо-розоватых обиженных женщин на недописанном холсте, ни криков в «Куполе», ни котелка, ни нашей книги - только холодные залы музеев...

Осенью 1945 года я был в Бухаресте. Портье сказал, что меня хочет видеть господин Пинкас. Я вспомнил, что у Паскина был богатый брат, осевший в Румынии; братья не встречались, кажется, и не переписывались.

Господин Пинкас приехал ко мне в экипаже, запряженном двумя лошадками, и повез в ресторан «Капша». Это было переходное время; во дворце еще сидел король Михай, в ресторане «Капша» еще хранились для старых посетителей пыльные бутылки котнара, господин Пинкас еще мог выезжать в своем экипаже.

Он рассказал мне историю своей жизни: «Я думал, что мой брат - сумасшедший, он занялся искусством и потом повесился. А я был богат. Жалко, что я не могу вам показать, какие деревья, какие птицы были в моем парке. Я женился на румынской аристократке. И вот настал фашизм... Я хотел спасти мое добро и переписал все на имя моей жены - она была не только чистой арийкой, но из громкой боярской семьи. Стоило ей получить все бумаги, как она меня сразу бросила. У меня больше нет денег. Есть квартира, мебель, экипаж. Я знаю, что скоро отберут и это. Вчера меня хотели уничтожить как еврея, завтра начнут уничтожать как эксплуататора. Да, теперь я вижу, что брат был куда умнее. Я читал во французской газете, что его рисунки продают на аукционах, он карандашом делал настоящие деньги. А у меня оказалась фальшивая монета. Потом он сумел вовремя повеситься. Нет, сумасшедший - это я!»

Пинкас знал, что я был другом Паскина, он вспомнил далекое детство, расчувствовался и подарил мне два рисунка своего брата: «У меня довольно много его вещей. Торговать ими и не собираюсь. Я хочу их отдать в болгарский музей...»

Рассказ о двух братьях звучит как назидательная притча для деловых подростков. А я сейчас думаю о другом: почему среди моих знакомых, среди моих друзей - писателей, художников - столько добровольно распрощались с жизнью? Разными они были и жили в разных мирах; несхожие судьбы, нельзя сопоставить ни глубоких причин, приведших к развязке, ни непосредственного повода - у каждого была своя «капля», которая, по досужим домыслам, «переполняет чашу». И все же в чем разгадка? (Я не хочу сейчас перечислять всех - слишком это тяжело.)

Паскин в последние годы не знал нужды. К нему на поклон приходили критики, торговцы картинами, издатели. Он покончил жизнь самоубийством в сорок пять лет, мог бы жить и жить. Вероятно, на отсутствии силы сопротивления сказались прошлые невзгоды и обиды. Дело, однако, не только в этом. Когда-то Пастернак говорил, что «строчки с кровью - убивают». Вряд ли он думал при этом о фатальной расплате подлинных художников, просто чувствовал на себе, что поэзия дается нелегко. Без обостренной чувствительности не может быть художника, даже если он состоит в десяти союзах или ассоциациях. Для того чтобы привычные слова волновали, чтобы

ожил холст или камень, нужны дыхание, страсть, и художник сгорает быстрее - он живет за двоих, ведь помимо творчества есть у него своя кудлатая, запутанная жизнь, как у всех людей, право не меньше.

Существует юридическое понятие «вредное производство»; рабочим, занятым трудом, вредным для здоровья, выдают специальную одежду, молоко, сокращают рабочий день. Искусство тоже «вредное производство», но поэтов или художников никто не пытается оградить, часто забывают, что по самому характеру профессии царапина для них может оказаться смертельной.

А потом идешь в длинной веренице мимо могилы и бросаешь цветок...

Тысяча девятьсот тридцать первый год был в Париже невеселым: экономический кризис ширился; разорялись лавочники, закрывались цехи заводов. Начали шуметь разные фашистские организации - «Боевые кресты», «Патриотическая молодежь», «Французская солидарность». Во главе правительства стоял хитрый оверньяк Пьер Лаваль. Министр колоний Поль Рейно разъезжал по заморским вотчинам, и в кино показывали, как он пьет чай во дворце аннамского императора. (Среди журналистов, сопровождавших Поля Рейно, была левая писательница Андре Виоллис. Она осталась в Индокитае после отбытия министра, а потом написала книгу, которая потрясла совесть французской интеллигенции,- «Индокитай SOS» с предисловием Андре Мальро.) Состоялись президентские выборы; Бриана провалили - он был чересчур видной фигурой, парламентарии предпочли мало кому известного Думера. Торжественно похоронили маршала Жоффра, и газеты вспомнили про победу на Марне. Впрочем, куда больше места газеты уделяли свежей победе: на состязании самых красивых девушек звание «мисс Европы» было присвоено француженке. Германия продолжала вооружаться. Парижане восхищались кинозвездой Марлен Дитрих. Роялисты, собравшись на площади Конкорд, приветствовали короля Альфонса XIII, которого испанцы выгнали из Испании. В связи с безработицей участились самоубийства.

Открылась международная колониальная выставка. Венсенский лес был переполнен посетителями. Построили пагоды, дворцы, бутафорские деревни. Негры должны были на виду у всех работать, есть, спать; женщины кормили грудью детишек. Зеваки толпились вокруг, как в зоопарке.

Голландский павильон поразил меня деловой откровенностью. На стенах были диаграммы: индонезийцы работали, а деньги текли в окошко сберегательной кассы, над которым значилось: «Нидерланды». Другая карта показывала, как колонизаторы держат в повиновении Индонезию: красные лампочки означали военные посты, зеленые - полицейские.

Французы хвастали Индокитаем, Тунисом, Марокко, Сенегалом.

Я написал статью, предлагая устроить бутафорский «белый город», в котором европейцы жили бы натуральной жизнью: «Парламент - депутат произносит пылкую речь; биржа - рев маклеров; «салон красоты» - даме массируют зад; бордель - посетитель на четвереньках лает; академия - «бессмертные» в опереточных мундирах приветствуют друг друга». Я говорил, что такой деревне обеспечен успех в Азии и в Африке, и кончал статью довольно здоровой мыслью о близком конце колониальных империй. Потом я узнал, что за эту статью меня собирались выслать из Франции.

А я, не подозревая о гневe властей, спокойно бродил с фотоаппаратом «лейка» по улицам Парижа: снимал дома, уличные сцены, людей. Это было подлинной страстью.

Я не люблю ни живописи, похожей на цветные фотографии, ни фотоснимков, пытающихся сойти за художественные произведения, - все это мне кажется суррогатами, шарлатанством.

Почему же я увлекся фотографией? Я говорил в начале этой книги, что в наше время стали редкими дневники, откровенные и содержательные письма. Может быть, именно поэтому читатели набрасываются на человеческие документы, на дневник Анны Франк, на тетрадки кашинской школьницы Ины Константиновой, ставшей партизанкой, на предсмертные письма французских заложников. (Я помню слова Бабеля: «Самое интересное из всего, что я читал, - это чужие письма...»)

Художник изучает свою модель, ищет не обманчивого внешнего сходства, а раскрытия в портрете сущности модели. Когда человек позирует, с его лица постепенно исчезают меняющиеся оттенки, лицо лишается того, что мы обычно называем «выражением». Не раз ночью в последних поездах метро я разглядывал лица усталых людей, в них не было ничего преходящего, выступали характерные черты.

Другое дело фотография: она ценна не глубоким раскрытием сущности, а тем, что предательски подмечает белое выражение, позу, жест. Живопись статична, а фотография говорит о минуте, о моменте - на то она и «моментальная».

Человек, которого фотографируют, однако, не похож на себя: заметив наведенный на него объектив, он тотчас меняется. Это делает

столь неправдоподобными молодоженов в витрине провинциального фотографа. В снимках, где люди стараются прибрать свое лицо, как прибирают для гостей комнату, нет ни постоянного характера модели, ни достоверности минуты.

Я люблю воспоминания Горького; в них много подсмотренного тайком; можно ли забыть, как Чехов старался шляпой поймать солнечный зайчик на скамейке? Ясно, что, если бы Антон Павлович заметил Горького, он тотчас прекратил бы игру.

Фотографии, которые меня увлекали, были человеческими документами, и не будь на свете бокового видоискателя, я не стал бы бродить с аппаратом по улицам парижских окраин.

Боковой видоискатель построен по принципу перископа. Люди не догадывались, что я их снимаю; порой они удивлялись, почему меня заинтересовала голая стена или пустая скамейка: я ведь никогда не поворачивался лицом к тем, кого снимал. Конечно, строгий моралист может меня осудить, но таково ремесло писателя - мы только и делаем, что стараемся заглянуть в щелку чужой жизни.

У меня не было амбиции фоторепортера. В книге «Мой Париж», где собраны сделанные мною фотографии, нет ни одной «актуальной». (Дату выдает только огромное воззвание на стене: «Друг народа». «Семнадцать лет после агрессии. Великое покаяние. Победителям, дважды обкраденным. В ответ на предложение Гувера мы выдвигаем наш пятилетний план». Это воззвание было подписано парфюмером Коти, издававшим фашистскую газету «Друг народа».)

Туристов возят на Елисейские поля, на площадь Оперы, на Большие Бульвары; я туда не ходил с моей «лейкой», а фотографировал рабочие районы: Бельвилль, Менильмонтан, Итали, Вожирар - тот Париж, который полюбил в ранней молодости.

Он печален, порой трагичен и всегда лиричен: старые дома, старухи на скамейках вяжут, рядом с ними целуются влюбленные, уличные писсуары, продавщицы цветов, рабочие рестораны, мамы с детьми, художники, неудачливые консьержки, бродяги, сумасшедшие, рыболовы, букинисты, каменщики, мечтатели.

Десять лет спустя я написал роман «Падение Парижа»; в нем вдоволь горечи и любви. А вот что я писал в 1931 году: «Я не думаю, что Париж несчастнее других городов. Я даже склонен думать, что он их счастливее. Сколько голодных в Берлине? Сколько бездомных в

сыром, темном Лондоне? Но Париж я люблю за его несчастье, оно стоит иного благополучия. Мой Париж заполнен серыми, склизкими домами, в них винтовые лестницы и колтун непонятных страстей. Люди здесь любят неуютно и заведомо ложно, как герои Расина, они умеют смеяться ничуть не хуже старика Вольтера, они мочатся где попало, с нескрываемым удовлетворением; у них иммунитет после четырех революций и четырехсот любовей... Я люблю Париж за то, что в нем все выдуманно... Можно стать гением - никто не поможет, никто не возмутится, никто не будет чересчур изумлен. Можно и умереть с голоду - это частное дело. Разрешается кидать окурки на пол, сидеть повсюду в шляпе, ругать президента республики и целоваться, где вздумается. Это не параграфы конституции, а нравы театральной труппы. Сколько раз здесь уже прошла человеческая комедия, и она неизменно идет с аншлагом. Все выдуманно в этом городе, все, кроме улыбки. У Парижа странная улыбка, едва заметная, улыбка невзначай. Бедняк спит на скамье, вот он проснулся, подбирает окурки, затягивается и улыбается. Ради такой улыбки стоит исходить сотни городов. Серые парижские дома умеют улыбаться столь же неожиданно. За эту улыбку я и люблю Париж, все в нем выдуманно, кроме выдумки, выдумка здесь понята и оправдана».

Парижане живут на улице, и это облегчало мою работу: я снимал влюбленных, людей, которые сплетничают, мечтают, ссорятся, пишут письма, танцуют, падают на мостовую замертво. В те годы на улицах спали безработные, и я заснял многих из них. Вот лежит один на скамейке; перед ним две вывески: «Бюро похоронных процессов» и «Свадебные кареты»...

Иллюстрированный еженедельник «Вю» напечатал страницу моих фотографий консьержек. Нужно сказать, что многие из консьержек отличаются крутым нравом. Я снял одну на пороге лома, готовую шваброй отразить атаку. Эта женщина разгневалась, требовала в редакции, чтобы ей сообщили мой адрес, хотела пустить швабру в ход. (Должен сказать, что не все консьержки таковы. После того как перевели на французский язык отрывки из первой части этой книги, я получил письмо от мужа консьержки того дома на улице Котантен, где я прожил много лет; он писал, что читает журнал общества дружбы «Франция - СССР», ласково вспоминал нас, даже моих собак.)

Альбом моих фотографий с написанным мною текстом был издан в Москве. Эль Лисицкий сделал обложку и фотомонтаж - я снимаю с помощью бокового видоискателя, причем у меня четыре руки: две держат фотоаппарат, другие две стучат на пишущей машинке. Редактором книги был Б. Ф. Малкин, тот самый, которому Маяковский писал:

Когда, убоясь футуристической рыси, в колеса вставляли палки нам,- мы взмаливались:

«Спаси нас, отче Борисе!»

И враги расточались перед бешеным Малинным.

Я неожиданно очутился среди «левых» начала двадцатых годов.

«Лейку» я вскоре забросил: не было на нее времени. Во время «странной войны» ко мне пришел инспектор Сюртэ и сказал: «У вас приспособление для сигнализации вражеским самолетам». Он направился в угол, где стоял покрытый пылью обыкновенный аппарат для увеличения фотографий, и долго его рассматривал.

Я рассказал о книге «Мой Париж», конечно, не потому, что считаю себя хорошим фотографом, да и не из-за желания поделиться с читателями сплетнями о самом себе. Когда я смотрю на сделанные мною тридцать лет назад фотографии, я думаю о моем ремесле - о литературе. Конечно, моя книга фотографий узка - это не весь Париж, это только мой Париж того времени. Парижей множество. Щелкать затвором легче, чем писать, и я мог бы снимать все, что мне попадалось на глаза, но снимал я только то, что выражало мои мысли и чувства. Я фотографировал не чужой мне город и не пытался выдать наблюдения туриста за реальную жизнь: я знал назубок улицы, скамейки, людей, которых снимал.

Д. Заславский писал: «Книга Эренбурга разоблачает Париж, но она разоблачает и самого Эренбурга... Эренбурга привлекают задворки... Боковой видоискатель оказал плохую услугу Эренбургу. Он снимает действительно только то, что «в стороне».

Некоторые французы, в свою очередь разглядывая фотографии, говорили, что я тенденциозен. Я им отвечал, что имеется множество книг, показывающих другой Париж и сделанных опытными профессионалами.

Я думаю, что все сказанное относится не только к фотографии, но и к литературе, не только к Парижу, но и к другим городам. Мне это

кажется очевидным, но вот я пишу уже полвека и слышу все то же:
«Не то снимаете, товарищ! Повернитесь-ка налево, там достойная
модель с добротной, твердо заученной улыбкой...»

Осенью 1931 года в моей жизни произошло важное событие: я увидел впервые Испанию. Поездка в эту страну была для меня не одним из многочисленных путешествий, но открытием; она помогла мне много понять и на многое решиться,

Испания давно притягивала меня к себе. Как часто бывает, я начал ее понимать через искусство. В музеях различных городов я долго простаивал перед холстами Веласкеса, Сурбарана, Эль Греко, Гойи. В годы первой мировой войны я научился читать по-испански, переводил отрывки из «Романсеро», из поэм Гонсало де Берсео, протоиерея Итского Хуана Руиса, Хорхе Манрике, Кеведо. В произведениях этих, непохожих одно на другое, меня привлекали некоторые общие черты, присущие национальному гению Испании (их можно найти и в «Дон-Кихоте», и в драмах Кальдерона, и в живописи): жестокий реализм, неизменная ирония, суровость камней Кастилии или Арагона и одновременно сухой зной человеческого тела, приподнятость без пафоса, мысль без риторики, красота в уродстве, да и уродство красоты.

Конечно, поскольку я с годами менялся, менялось и мое восприятие поэтов или художников. Когда мне было двадцать лет, я воспринимал холсты Эль Греко как откровение. Объясняется это не только близостью Греко к живописи начала нашего века, но и его неистовством, изумительным выражением человеческих страданий, взлета и бессилия - я тогда зачитывался Достоевским. Странная судьба Греко: он родился на Крите, где, скованная догмами Византии, жила страсть обобранной и приниженной Эллады. Ему было тридцать шесть лет, когда он приехал в Испанию, там он нашел себя: критянин выразил одну из существенных черт испанского характера. В сорок лет я к нему охладел; его удлиненные святые и мученики начали мне казаться изнеженными, манерными, а жестокая пестрота красок отталкивала. Осенью 1936 года, очутившись снова в Толедо во время уличных боев, я захотел проверить свои впечатления и попросил одного из дружинников провести меня в церковь, где хранится картина «Похороны графа Оргаса». Церковь оказалась запечатанной,

но дружинник меня впустил, потом запер меня и сказал, что вернется через три часа. Тогда-то я понял, почему я разлюбил Греко: слишком много было вокруг подлинной человеческой беды. Учась, мы одновременно разучиваемся, и я разучился понимать живопись Греко. Некоторые страницы Достоевского, потрясавшие меня в молодости, кажутся мне теперь аффектированными. Все это, разумеется, относится к моей биографии, а не к истории искусства или литературы, я знаю, что и Греко и Достоевский - величайшие художники; но, видимо, они лучше воспринимаются в эпохи внешнего спокойствия, когда люди ищут в искусстве исступления, чрезмерности.

Гойю, напротив, я полюбил в зрелом возрасте, и опять-таки, вероятно, этому способствовала эпоха. Когда-то он мне казался фантастом, творцом неправдоподобного, живописным Эдгаром По. Жизнь, однако, опрокидывала наивные представления о границах возможного, и я вдруг понял, что Гойя прежде всего реалист. Я убежден, что короли, королевы, графы, герцогини были именно такими, какими он их изобразил. Его видения войны меня потрясают, хотя я видел войны куда более страшные, чем наполеоновские,- ведь Гойю интересовали не мундиры, не знамена, не полководцы, а оскал, судорога, безумие. Изобразив расстрел испанских повстанцев солдатами Наполеона, он передал не только всю меру человеческого страдания, но и гнев художника. Он назвал свои кошмары «капризами», но его призраки и по сей день гуляют, убивают, едят, отрывивают, загромождают землю. Он не боялся показаться тенденциозным; но никогда он не упрощал, да и не суживал мира. Я часто вспоминаю его диптих, находящийся в музее Лилля: молодая красотка читает письмо своего поклонника, которое ей передала служанка, и вот пятьдесят лет спустя - две старухи, а над ними смерть с метлой, готовая просто, по-деловому вымести человеческий сор. Гойя часто думал о смерти, и его картины перекликаются со стихами поэта XV века Хорхе Манрике, написанными после кончины отца:

Наша жизнь - это реки,
А смерть - это мере.
Берет оно столько рек,
Туда уходят навеки
Наша радость и горе,

Все, чем жил человек...
Итак, столько пешек передвинув
На шахматном поле
И страсть утоля.
Итак, низвергнув столько властелинов,
Сражаясь по доброй воле
За короля,
Итак, изведав различные испытания,
Которых перечислить нет силы теперь,
Он заперся в своем замке Оканья,
И смерть постучала в дверь.

(Как здесь не вспомнить «старушку» Твардовского, которая вошла без пропуска в Кремль?)

Часто говорят об отъединенности Испании, о ее обособленности, а между тем испанский гений, при всем его своеобразии, неизменно подходил к тем вопросам, которые терзают людей, где бы они ни жили. Сколько писали, доказывали, что «Дон Кихот» - едкая сатира на давно забытый литературный жанр! Но вот прошли века, и на злосчастном Росннанте Рыцарь Печального Образа легче объезжает мир, чем герои, которые уже в пеленках летали на реактивных самолетах.

Роман Сервантеса известен всем, но мало кто знает о Хуане Руисе, протоиерее из Иты. Это поразительный поэт; он жил за сто лет до Франсуа Вийона и выразил всю сложность, всю раздвоенность предстоящего долгого дня. Трудно в точности определить, где он кощунствует и где исповедуется, где издевается и где плачет горькими слезами. Он все описывает откровенно, все называет своим именем, и одновременно у него неизменно второй план, четвертое измерение, поэзия; именно в этом я вижу особенность испанского реализма, да и самого характера Испании.

Я начал, может быть, с конца, но теперь мне будет легче объяснить, какую роль сыграла Испания в моей жизни.

Альфонса XIII прогнали в апреле 1931 года, а мы получили визы только осенью: консулу не нравились ни советские паспорта, ни мои книги.

Власти не знали, как с нами быть: угостить стаканчиком мансанильи или посадить в каталажку. Министры были новичками, а

полицейские могли похвастать трудовым стажем. Республиканцы все переименовывали - учреждения, улицы, гостиницы; но люди, служившие королю, оставались на своих постах. В Мадриде на вокзале нас задержали и повели в участок, долго изучали наш несложный багаж - искали бомбы, револьверы, листовки. Потом нас неизменно сопровождали полицейские; время от времени они забывали про конспирацию и вынимали из карманов бляхи, свидетельствовавшие об их служебном положении.

Заместитель министра внутренних дел меня любезно принял, поулыбался и попросил представить ему список городов, которые мы намерены посетить. Когда мы приезжали в какой-либо город, нас на вокзале ждали полицейские и представители левой интеллигенции; последние узнавали о моем приезде от полицейских, жаждавших поделиться сенсацией,- я ведь был первым советским гражданином, который приехал в Бадахос, Самору или Сан-Фернандо. Я набрал в Мадриде сотни рекомендательных писем, чтобы сразу найти в любом городе собеседников. Письма мне давали испанские писатели, издатель моих книг коммунист Росес, радикальные журналисты, депутаты, случайные знакомые.

Я приехал в захолустный городок Эстремадуры Касерес и разослал несколько рекомендательных писем. Вскоре хозяйка гостиницы сказала, что ко мне пришли. Я увидел двух элегантных бездельников, похожих на провинциальных адвокатов (почему-то больше всего писем было к адвокатам), протянул им руку; они растерялись и вытащили из карманов бляхи: «Мы полиция». Произошел смешной разговор: полицейские со страхом спросили меня, не собираюсь ли я навсегда поселиться в Касересе, и, узнав, что я через два или три дня уеду, растрогались, долго меня благодарили.

Революции почти всегда начинаются идиллически: люди поют, митингуют, обнимают друг друга. Я приехал, когда эпоха лобызаний кончилась. Каждый день гражданская гвардия стреляла в «нарушителей порядка». Вспыхивали забастовки. Когда я был в Бадахосе, там стреляли. Стреляли и в Мадриде: разгоняли демонстрацию. В Севилье я увидел губернатора, который говорил: «Пора дать отпор рабочим...» Я был на заседании кортесов; выступал Мигель Унамуно, он красиво говорил о душе народа, о справедливости. В тот самый день в Эстремадуре гвардейцы

застрелили бедняка, осмелившегося подобрать желуди с земли беглого маркиза.

В Мадриде, в Малаге чернели сожженные весной монастыри и церкви: люди мстили за гнет, за оброки и требы, за злую духоту исповедален, за разбитую жизнь, за туман, века простоявший над страной. Нигде католическая церковь не была такой всесильной и такой свирепой, В соборе Малаги женщины ползали по плитам, вымаливая прощение, а узколицый монах с черными злыми глазами твердил о близком возмездии. Католические газеты расписывали «чудеса»: Богоматерь появлялась почти так же часто, как гвардейцы, и неизменно осуждала республику.

Я побывал в горном районе Ляс Урдес; там жили люди, отрезанные от мира и никогда в жизни не евшие досыта. Молодые матери ходили на десятилетних девочек, тридцатилетние - на дряхлых старух. Трудно было себе представить, что в ста километрах богатые бездельники причмокивают, разглядывая красоток Саламанки. В школьной тетрадке я увидел диктовку «наш благодетель король», а на следующей странице - «наша благодетельница республика трудящихся».

Испания официально именовалась «республикой трудящихся всех классов»; это название было придумано не юмористом, а вполне серьезными депутатами кортесов. Трудящиеся различных классов трудились по-разному. Я проезжал по огромным поместьям в Эстремадуре, в Андалузии. Земля по большей части оставалась невозделанной. Аристократы жили в Мадриде, в Париже или в Биаррице. Управляющие нанимали батраков; в договоре значилось, что рабочие должны трудиться «от зари до зари». Буржуазия была ленивой, жила по старинке. Я видел допотопные фабрики. Молодые щеголи в блистательных ботинках не знали, что им делать; ходовым выражением было «убить время». Республика мало что изменила: голодные продолжали голодать, богачи глупо, по-провинциальному роскошествовали. Я разговаривал с андалузскими батраками, которые не вырабатывали в год и одной тысячи песет. «Трудящийся» герцог Орначуэлос обладал шестьюдесятью тысячами гектаров: он любил охоту и приезжал в свою вотчину на одну неделю. В Мурсии жил некто Сьерва; ему принадлежала земля, оцениваемая в двадцать пять миллионов песет. Он занимался политикой и расстреливал

забастовщиков. После революции он отбыл за границу, оставив на посту управляющего, который продолжал собирать деньги за аренду. Все были объявлены трудящимися: держатели акций, феодалы, монахи, сутенеры.

Я поехал с доктором из Саморы, добрым и справедливым человеком, в глушь, в Санабрию. Мы доехали до озера, дальше дороги не было, нужно было ехать на осле. Маленькая деревня с длинным именем Сан-Мартин де Кастаньеда поразила меня редкой даже в Испании нищетой. Среди лачуг мы увидели развалины монастыря. Когда-то крестьяне платили монахам оброк - «форо». Монахи давно перекочевали в более удобные места, а крестьяне продолжали выплачивать две тысячи пятьсот песет «трудящемуся» бездельнику, адвокату Хосе Сан Рамон де Бобилья, прадед которого перекупил у монахов право обирать крестьян. Потом мы направились в другую деревню - Риваделаго. Ее жители не платили «форо», но земли у них не было; они ютились в курных избах и ели горох. Деревня стояла на берегу озера, изобилующего форелями, озеро принадлежало богатой мадридской домовладелице, и управляющий зорко следил, чтобы голодные крестьяне не похитили рыбешки. Одна крестьянка с горечью сказала доктору: «Что же, дон Франсиско, республика сюда еще не доехала?..»

(После моей поездки в Испанию я написал книгу о том, что увидел. Еще до выхода этой книги в Москве ее издали в Мадриде под названием «Испания - республика трудящихся». Доктор из Саморы поехал с моей книгой в Риваделаго и прочитал крестьянам главу, где я рассказывал о голоде, об озере, о мадридской даме. Крестьяне на следующий день окружили дом управляющего и потребовали, чтобы он тотчас отказался от прав на рыбу. Пошли телеграммы в Мадрид, и перепуганная домовладелица уступила. Крестьяне прислали мне благодарственное письмо, приглашали в Риваделаго, обещали накормить форелями. К чему скрывать - это письмо меня обрадовало, ведь очень редко писатель видит, что его книга что-то на свете изменила. Обычно книги меняют людей, а это процесс долгий и незаметный. Здесь же я понял, что помог крестьянам Риваделаго уничтожить вековую несправедливость. Пусть мое участие в этом деле и было случайным, пусть деревня маленькая, да и победа была

недолгой (вряд ли фашисты оставили форель бунтовщикам), все равно я порой вспоминаю эту историю и радуюсь.)

Гражданская гвардия продолжала стрелять. Депутаты продолжали произносить красивые речи. Народ был безоружен. Социалисты колебались. Анархисты швыряли бомбы. В маленькой андалузской деревне я присутствовал при жарком споре учителя с мэром: учитель был за Третий Интернационал, мэр - за Второй. Вдруг в спор вмешался батрак: «Я за Первый Интернационал - за товарища Мигэля Бакунина...» В крохотной газете, которую издавали батраки Хереса, я прочитал, что испанцы должны вдохновляться принципами Кропоткина. В Барселоне я познакомился с руководителем ФАИ (Федерация анархистов Иберии) Дуррути. Мы сидели в кафе. Дуррути показал мне револьвер, ручные гранаты: «Не боитесь? Я ведь живым не сдамся...» Его суждения были вдоволь фантастическими, но он меня сразу пленил мужеством, чистотой, душевным благородством. Я не знал тогда, что пять лет спустя на Арагонском фронте он наведет на меня свой револьвер: «Сейчас я тебя застрелю» - и что в итоге мы подружимся...

Я тогда еще многого не знал; но одно было ясно: это - первый акт трагедии, за ним неизбежно должны последовать другие. Помню, в Мадриде мне показали сердитого военного: «Вот Санхурхо...» Конечно, я не мог предвидеть, что он вместе с Франко и Мола пять лет спустя зальет Испанию кровью, но в 1931 году я писал: «Командующий гражданской гвардией генерал Сахурхо работает молча. Сорок восемь тысяч гвардейцев время от времени постреливают, они готовятся к всеобщему и массовому расстрелу».

Говоря об осени 1931 года, о фарсе и о трагедии, я еще не сказал о самом главном: о народе. В этой книге я порой пытаюсь показать людей, которых я встретил на своем пути, пытаюсь это сделать с любовью, с верностью, быть не бесстрастным летописцем, а человеком, вспоминающим друзей, которых больше нет в живых. Рассказываю я о людях, читателю более или менее известных,- о писателях, художниках, общественных деятелях. (Есть, конечно, в моем сердце и другие дорогие мне образы; их знают только близкие, я не могу подкрепить мои признания ссылками на книги или па полотна.) Об Испании мне хотелось бы рассказать как о близком, дорогом мне человеке.

Годы гражданской войны я провел в Испании и тогда по-настоящему узнал ее народ: но полюбил я его сразу - в 1931-м. Пабло Неруда назвал одну из своих книг «Испания в сердце». Эти слова мне хочется повторить: Испания действительно в моем сердце, и не случайно, не на время, не гостья, освещенная бенгальским огнем исторических событий, не квартирантка, окруженная фотоаппаратами и репортерами, нет, своя, близкая и в громкие годы и в немые, запретная, скованная, теперь я вправе это сказать - в сердце до самой смерти.

Я писал в 1931 году: «У меня скрипучее перо и скверный характер. Я привык говорить о тех призраках, равно гнусных и жалких, которые правят нашим миром, о вымышленных Крейгерах и живых Ольсонах. Я хорошо знаю бедность, приниженную и завистливую, но нет у меня слов, чтобы как следует рассказать о благородной нищете Испании, о крестьянах Санабрии и о батраках Кордовы или Хереса, о рабочих Сан-Фернандо или Сагунто, о бедняках, которые на юге поют заунывные фламенко, а в Каталонии танцуют сердану, о тех, что безоружные идут против гражданской гвардии, о тех, что сидят сейчас в тюрьмах республики, о тех, что борются, и о тех, что улыбаются, о народе суровом, храбром и нежном. Испания - это не Кармен и не тореадоры, не король Альфонс и не дипломатия Лерруса, не романы Бласко Ибапьеса, не все то, что вывозится за границу вместе с аргентинскими сутенерами и малагой из Перпиньяна, нет, Испания - это двадцать миллионов рваных Дон Кихотов, это бесплодные скалы и горькая несправедливость, это песни, грустные, как шелест сухой маслины, это гул стачечников, среди которых нет ни одного «желтого», это доброта, участливость, человечность. Великая страна, она сумела сохранить отроческий пыл несмотря на все старания инквизиторов и тунеядцев, Бурбонов, шулеров, стряпчих, англичан, наемных убийц и титулованных проходимцев!»

Многое в Испании меня поразило даже при первом, беглом знакомстве с этой страной, и прежде всего чувство собственного достоинства в людях нищих, вечно голодных, зачастую неграмотных. В Севилье на скамейке сидели рядом почтенный буржуа и безработный; бедняк вытащил из сумы гороховую колбасу и дружески предложил соседу по скамье. На террасе дорогого мадридского кафе

ночью нежились бездельники. Женщина с грудным ребенком пыталась продать лотерейные билеты (один из видов нищенства). Младенец стал плакать; женщина спокойно села в кресло перед пустым столиком и начала кормить ребенка грудью. Никого ее поведение не удивило. Я невольно подумал: а ведь ее обязательно бы прогнали не только из «Кафе де ля Пэ», но даже из нашего «Метрополя»...

В нищей деревушке Санабрии я хотел заплатить крестьянке за яблоки; она наотрез отказалась взять деньги. Мой попутчик, испанец, сказал: «Можно дать малышу, но я боюсь, что он сунет монету в рот и пролотит. А дети постарше ни за что не возьмут...» Подросток, чистильщик сапог, увидев, что я стою у табачной лавки, запертой на обеденный перерыв, вытащил из кармана сигарету: кури. Крестьянин возле Мурсии, которому я попытался заплатить за апельсины, покачал головой: «Улыбка дороже песеты».

(Бескорыстность испанских крестьян всегда поражала иностранцев. Мартин Андерсен-Нексе рассказывал мне, что молодые годы он провел в Испании; денег у него не было, и неизменно крестьяне ставили перед ним тарелку супа: «Ешь»...)

Носильщик на вокзале сказал мне: «Я уже сегодня поработал, сейчас позову товарища». Я отнес обувь сапожнику, он спросил жену, есть ли у них деньги на обед, и, узнав, что есть, отослал меня к другому сапожнику. Безработные не получали никаких пособий. Я спрашивал, как они не умирают от голода, мне отвечали: «А товарищи?..» Андалузский батрак разрезал хлеб пополам и половину давал безработному соседу. Рабочие Барселоны несли часть полочки в профсоюзы - для безработных - без призывов, без громких фраз, просто, по-человечески.

Я писал, что Испания - это двадцать миллионов Дои Кихотов в лохмотьях. Я возвращаюсь к этому образу не только потому, что люблю роман Сервантеса, но и потому, что в Рыцаре Печального Образа все душевное обаяние Испании. Вот строки, написанные мной а 1931 году: «Здесь можно выдать мельницу за врага, и с мельницей пойдут сражаться,- это история человеческих заблуждений. Но здесь нельзя выдать человека за мельницу - он не станет послушно махать руками вместо крыльев. Здесь еще живут люди, настоящие живые люди».

Несколько лет спустя, когда большие, передовые, хорошо организованные народы один за другим начали готовиться к капитуляции перед фашизмом, испанский народ принял неравный бой: Дон Кихот остался верен и себе, и человеческому достоинству.

Испания помогла мне преодолеть многие сомнения. Я знал, что придется не раз заблуждаться - порой со всеми, порой в одиночку. Пусть так. Только бы не стать винтиком, роботом, бутафорской мельницей!

Я смотрю на маленькую выцветшую фотографию. Винный погреб в местечке Монтилья, недалеко от Кордовы. Толстяк хозяин, Люба, Эрнст Толлер. Был такой веселый, легкий день. Мы долго пили вино в прохладном погребе. Толлер рассказывал забавные истории. А хозяин нам говорил, что на свете нет вина лучше, чем монтилья: «Ведь не случайно в Хересе делают вино амонтильядо, но в Монтилье никому не придет в голову изготавливать ахересадо». Это звучало убедительно, можно было, кстати, припомнить рассказ Эдгара По о бочке амонтильядо, можно было попробовать еще один сорт монтильи; можно было на несколько часов забыть о том, что у нас позади и впереди. Мы не спешили уходить, Толлер говорил: «Из рая не уходят, из рая выгоняют»; и вернулись мы в Кордову поздно ночью.

(Во время войны неподалеку от Монтильи стояли войска республиканцев. Нужно было напечатать номер армейской газеты; бумаги не было, и газета вышла на тонких листах, в которые толстяк виноторговец заворачивал бутылки; среди военных сводок виднелись слова: «Монтилья - лучшее вино мира».)

Почему я начал рассказ о Толлере с Монтильи? Ведь я с ним познакомился в 1926 или 1927 году в Берлине; встречались мы в разных городах - в Париже, в Москве, в Лондоне,- вели серьезные беседы. А я вспоминаю несколько дней, проведенных вместе в Андалузии (мы встретились в Севилье и расстались в Алхесирасс),- тогда я видел Толлера счастливым. Он прожил трудную жизнь, спорил, убеждал, проклинал, верил, отчаивался и вместе с тем был мечтателем, шутником, даже сибаритом, и, говоря о поэте-партизанине, я прежде всего вспомнил короткий час перекура.

Толлер был красив, походил на итальянца, веселого и печального, неизменно неудачливого героя неореалистического фильма. Может быть, основной его чертой была необычайная мягкость, а прожил он жизнь очень жесткую. Разные бывают люди: одни вылеплены из воска, другие высечены из камня; это вопрос не убеждений, а природы, и часто человек выбирает путь, мало соответствующий материалу, из которого он сделан. Я знал людей твердой воли,

крепких нервов, решительных, по-своему смелых, облюбовавших тыл жизни; сталь ржавела. Толлер был создан для раздумий, для нежной лирики, а он с ранней молодости выбрал трудный путь действия, борьбы.

Прожил он не так уж много - сорок пять лет, но, кажется, не было дня, когда кто-нибудь не писал о его ошибках. Он не протестовал; как-то он сказал мне: «На самом деле я ошибался во сто раз больше, но половины они не знают. Притом они считают только те глупости, которые я делал в одиночку. А сколько раз ошибались все?..»

Некоторые ошибки Толлер а диктовались возрастом, да и временем; он их не только признал, но и перечеркнул поступками. Когда началась первая мировая война, ему еще не было двадцати двух лет; он был хилым, и его забраковали, но он добился, чтобы его послали на фронт - во Францию: он верил, что Германия защищает правое дело. Барбюсу, когда началась война, было сорок лет, и он верил, что правое дело защищает Франция. Толлер очень быстро понял, что поверил лжи, поддался общему психозу, и начал обличать зачинщиков войны. Его арестовали, посадили в военную тюрьму, потом в сумасшедший дом.

Он был молодым одаренным поэтом: его стихи хвалили Рильке, Томас Манн. Он мог бы писать, прославлять революцию в стихах. А он выбрал другое - стал одним из руководителей баварской революции, заместителем председателя Центрального Совета рабочих и солдатских депутатов. Критики часто говорили, да и поныне говорят, что у Толлера было недостаточно политической подготовки. Это бесспорно. Но у него был избыток совести - обременительное свойство, за которое его обладатели всегда расплачиваются.

Баварская Советская республика просуществовала всего несколько недель; в Мюнхен ворвались белые. За голову Толлера была обещана крупная награда; и его выдали. На суде он сказал: «Битва начата, и никаким штыкам, никаким военно-полевым судам капиталистических правительств не задушить революцию!» Ему было двадцать шесть лет, и пять лет он просидел в Нидершенфельдской тюрьме. Я помню, с каким волнением мы глядели в Берлине пьесу Толлера, написанную им в тюрьме: это было письмо, переданное на волю.

Германская реакция в те годы побеждала повсюду: не только в Баварии, но и в Берлине, в Саксонии, в Гамбурге; слов нет, белый генерал Эпп умел лучше вести военные операции, нежели поэт Толлер. Можно пожалеть, что у баварцев не нашлось своего Щорса или Чапаева, но нелепо винить Толлера: он знал, что бой неравный и что впереди не почести, не власть, а расправа усмирителей. Его называли «сентиментальным революционером»; но ведь в революцию он пришел не из подпольных кружков, где годами обдумывали тактику, разрабатывали планы, а из поэзии; в политике он остался до конца своей жизни самоучкой.

Когда он вышел в 1924 году из тюрьмы, у него было крупное литературное имя; его пьесы шли в театрах различных стран. Может быть, их успех объяснялся не только художественными достоинствами, но и остротой тем; может быть, зрители порой аплодировали не тексту, а биографии автора; но Толлер не был в литературе ни самозванцем, ни случайным гостем. О нем тепло отзывались непохожие друг на друга писатели - Томас Манн, Горький, Ромен Роллан, Синклер Льюис, Фейхтвангер. Он мог бы засесть за работу и стать солидным, почитаемым всеми писателем. Но в нем жила вечная неуспокоенность. Солдатом революции он не стал, да и не мог стать, но продолжал партизанить; совесть оказалась сильнее привязанности к тысячам мелочей легкой и беззаботной жизни.

Он был очень сложным человеком; не будь у него редкого обаяния, наверно, он восстановил бы против себя всех; но противники неожиданно смягчились. Один очень придирчивый критик при мне говорил: «Но ведь это - Толлер! Что с него требовать?..»

Помню путаный и хороший разговор в Кордове. Перед этим мы долго бродили по городу; местный урбанист нам объяснял, что извилистые улицы старой Кордовы были запланированы опытными архитекторами - арабами и евреями: даже в июльский полдень на одной стороне улиц обязательно тень. Наш разговор начался с этого. Толлер восхищался: «Они думали о простых пешеходах!» Потом мы заговорили об отношениях между человеком и обществом. Толлер усмехнулся: «Я написал об этом несколько слабых пьес. Может быть, я и не драматург, но меня тянет к театру - иллюзия действия... Репутацию создать легко. Ибсен это замечательно показал: «Враг народа» - честнейший человек... Но сколько честолюбцев, эгоистов,

пустышек кричат о «правах личности»! Они путают карты... Нужно бороться за такое общество, где у каждого человека право и на солнце и на тень... Благодетели все предписывают оптом - солнце так солнце, тень так тень... Я видел, как власть, даже эфемерная, деформирует человека...» Он рассказывал смешные истории о своем прошлом, о немецких писателях и вдруг помрачнел: «Боюсь, что победят нацисты. Вы знаете, что это значит? Война...» Он вспомнил книгу о ласточках, которую написал в тюрьме: «Нет, я не о моих стихах. Но вы помните письмо рабочего, каменщика? Начальник тюрьмы отдал приказ уничтожить ласточкины гнезда, и рабочий, сидевший в соседней камере, написал, что ласточки их выют с трудом, они вообще честные и трудолюбивые птицы. Конечно, письмо не переубедило начальника тюрьмы. Это крохотная картина войны: уничтожение гнезд... Страшно подумать о будущем!...»

В Испании он рассказал мне, что хочет написать пьесу: современный Дон Кихот и Санчо Панса в мире денег, спеси, тупости. Пьесы этой он не написал. Он говорил Фейхтвангеру, что работает над романом о Демосфене - человеке, который хочет отстоять культуру Эллады от варварства. Он не написал и романа. Его всегда лихорадило; он что-то начинал и бросал - слишком беспокойным было время, слишком отзывчивым сердце.

За границей Толлер постоянно защищал Советский Союз, даже когда ему что-либо у нас и не нравилось. У него были в Москве друзья, с ними он подолгу, откровенно беседовал. При последней встрече он сказал мне, что если есть у него надежда, то это - Москва.

В книге о своей юности, написанной в 1933 году - после прихода Гитлера к власти,- Толлер писал о своей любви к Германии; его признания сродни признаниям Тувима: «Разве я не люблю эту страну? Разве среди пышных ландшафтов средиземноморского побережья я не тосковал по скупым песчаным лесам с сосной, по тихим, затерянным озерам германского севера? Разве не захватывали меня в детские годы стихи Гёте и Гельдерлина?.. Немецкий язык - разве он не мой язык, язык, на котором я думаю и чувствую, не часть моего существа, не родина, вскормившая и вырастившая меня?.. Во всех странах поднимают голову слепой национализм и смешное расовое высокомерие. Неужели я дам увлечь себя психозу наших дней?.. Слова «я горжусь тем, что я - немец» или «я горжусь тем, что я

- еврей» кажутся мне такими же бессмысленными, как если бы человек сказал: «Я горжусь тем, что у меня карие глаза...»

Нет, он не поддавался безумию эпохи: остался подлинным интернационалистом. Незадолго до трагической развязки, больной, отчаявшийся, он с каким-то иступлением собирал деньги на голодавших детей Испании, вырывал фунты или доллары у людей себялюбивых, равнодушных, собрал за короткий срок свыше миллиона долларов. Даже черствые люди смягчели, когда с ними говорил Толлер,- от него исходило добро.

Незадолго до начала испанской войны, в июне 1936 года, я был в Лондоне на собрании комитета Антифашистского объединения писателей. Толлер повел меня после заседания к себе; он жил в маленьком домике на окраине города. Как всегда, он был занят множеством неотложных и кропотливых дел, как всегда, окружен людьми и одинок, еще более одинок, чем в камере тюрьмы,- в этом он мне признался сразу. Я нашел его осунувшимся, помрачневшим. Его раздражало пренебрежительное, как ему казалось, отношение англичан и французов к немецкой эмиграции. Газеты писали о Гитлере если не благожелательно, то сдержанно, и Толлер сердито отчеркивал красным карандашом статьи, потом швырял газеты на пол. Он вдруг по-детски пожаловался, что в Лондоне очень холодно зимой, нельзя согреться, помню его слова: «Теперь на дворе зима длиннее, чем в Москве, длиннее, чем в Лапландии,- на десять или двадцать лет. Люди с крепкими корнями выдержат. А другие вымерзают один за другим...»

Толлер продержался еще три года. Я видел его в последний раз в Париже. На минуту мне показалось, что он выпядит лучше; он пробовал даже шутить. Тогда-то он и собирал деньги на испанских детей. Когда мы прощались, он спросил меня: «Вы спите без снотворного?.. Ужасно ночью - все видишь острее, чем днем... Ну, ладно... Скоро, наверно, увидимся. Я решил оставить Америку - слишком далеко, там нельзя даже заикнуться о том, что происходит на свете,- удивляются, рекомендуют невропатолога... До свидания!..»

Мы больше не встретились. Весной 1939 года в Нью-Йорке был конгресс пен-клубов. На парадном обеде Толлер попытался растревожить всех, напомнил о судьбе Мюзама. Осецкого,

Тухольского. Несколько дней спустя, 22 мая, он повесился в ванной комнате гостиницы.

Я вспоминаю Толлера и тихо улыбаюсь; добрый человек, друг, поэт, не только в книгах - в жизни. Я люблю его книгу стихов, написанную в тюрьме «Книгу ласточек».

Строители готических соборов, гордитесь вы. Дробили камень бедняки. и стеклодувы, полные тоски, скрывали солнце горечью узоров, и колокола отливали медью, и к небу рвался свод, чтоб умереть,- вы посвящали ваши камни смерти.

А ласточки, роняя свист и вздох, из глины строят, прутиков, соломы и жизни посвящают те хоромы - земное счастье, теплое гнездо.

Толлер сам походил на ласточку, может быть на ту «одну», что прилетает слишком рано и не делает весны.

В 1931 году я дважды побывал в Берлине - в начале года и осенью. Ничего исключительного тогда не происходило; во главе правительства стоял умеренный католик Брюнинг; несмотря на кризис, жизнь внешне текла по-прежнему. Однако в моей памяти эти поездки остались сном нелепым и вместе с тем полным значения, который, проснувшись среди ночи, тщетно пытаешься распутать. Мне трудно связно рассказать о Берлине 1931 года; будет честнее, если я попытаюсь восстановить отдельные разрозненные картины, сами по себе не столь примечательные, но запомнившиеся; они объяснят, почему я рассказываю о тех поездках.

В купе сидит немолодой немец с выбритым затылком и стоячим воротничком; он читает пухлую газету. Я уже знаю, что он - коммивояжер, продает какие-то усовершенствованные блокноты. Я его спрашиваю, когда мы должны приехать в Берлин. Он достает из портфеля расписание: «В одиннадцать часов тридцать минут тридцать секунд». Потом он снова берет газету и тихо, бесстрастно говорит: «Это конец... Конец абсолютно всего...»

Издатель радикального журнала «Нейес тагебух» Шварцшильде угощает писателей ужином. Все как полагается: различные бокалы из хрусталя, хорошее вино, цветы, разговоры о последнем романе Фейхтвангера, о моратории Гувера, о коварных свойствах рейнских вин. Вдруг хозяин говорит, точь-в-точь как коммивояжер: «А знаете, скоро все кончится...»

Показывают фильм «На Западе без перемен» - по роману Ремарка. Нацисты возмущены: «Немецкие солдаты умирали молча, а герой фильма кричит, как поляк. Это клевета!..» Я уже видел этот фильм в Лондоне, но приятель уговаривает: «Сегодня нацисты собираются дать битву. Их встретят как надо...» Мы смотрим. Вдруг раздаются истерические крики. Зажгли свет. Никто никого не бьет; крики, Однако, продолжают. Публика уходит. Оказывается, нацисты выпустили в зале сотню мышей.

Владелец табачной фабрики говорит мне: «Я не знаю, кто победит - нацисты или ваши друзья. В общем, мне все равно - я давно

перевел деньги в Цюрих. Я теперь увлекаюсь Ганди. Мне нравится Толстой. Но это не ко времени. Немцы хотят диктатуры, величия, а что внутри - не важно. Когда вы покупаете коробку моих сигарет, вы платите больше половины за упаковку... Гугенберг дает деньги на пропаганду против капитализма. Фарс? Нет, он знает немецкий характер... В Цюрихе я открыл маленькое отделение... Там хороший воздух, спокойно. Ромен Роллан писал о Ганди в Швейцарии, я его понимаю...»

Я провел несколько вечеров с Рудольфом (фамилию его я забыл). Это сотрудник «Роте Фане», который прекрасно знает северные районы Берлина; он мне многое показал. Рудольф-сын таможенного чиновника-монархиста; был студентом, не доучился; жена его бросила. Политикой он увлекся еще в 1919 году - подростком; рассказал мне, как он повалил здорового нахала, который хотел перекричать Карла Либкнехта. Рудольф очень высокий, сухой, с большим кадыком и голубыми мягкими глазами. Говорит он газетными фразами, все время вставляет «возьмем факты», но меня трогает его голос: он верит в то, что говорит.

Рудольф мне объясняет: «Возьмем факты - семь миллионов безработных! Капитализм разваливается у всех на глазах. Все понимают, что их песенка спета. Ты знаешь, о чем они теперь мечтают? Познакомиться с сотрудником вашего торгпредства. Может быть, Москва что-нибудь купит... Вообще Москва в центре внимания. Ты видал, сколько переводов с русского? Вчера я с трудом купил билет на «Путевку в жизнь». Публика архибуржуазная, понятно - у рабочих нет денег. Эмиль Людвиг через две недели едет в Москву - решил написать книгу о Сталине. Мне поручили анкету, я разговаривал с писателями, все идут к нам - Эрнст Глезер, Пливье, Оскар Мария Граф. Возьмем факты: в прошлом году мы собрали четыре миллиона шестьсот тысяч голосов, нацисты - шесть миллионов четыреста. Но сколько из голосовавших за них в решающую минуту пойдут за нами? Три четверти. Это ведь рабочие, они голосуют за нацистов потому, что ненавидят капитализм. Хорошо, что наше руководство учло настроения масс. Мы теперь выступаем с программой национального освобождения Германии. Рабочие-нацисты начинают к нам прислушиваться. Есть, конечно, оголтелые, но я убежден, что

здоровый инстинкт победит. Нет, теперь не 1919-й! Когда ты снова приедешь в Берлин, ты увидишь другую Германию...»

Оскар Мария Граф толст, благодушен; у него наивные глаза ребенка. Он слушает споры и молчит. Мария Гресхеннер познакомила меня с новым автором «Малика»; зовут его Домеля. Он выдавал себя за принца Гогенцоллерна, попал в тюрьму и написал обо всем этом книгу. Мария рассказывает, каким успехом пользуется книга «Фальшивый принц». Автор посмеивается. Он словоохотлив - ему нравятся литература, революция и мужчины, к женщинам он равнодушен...

Курфюрстендамм сияет; здесь не скажешь, что на дворе кризис. В витринах магазинов изысканнейшие вещи. Дорогие рестораны и кафе переполнены. Писатель Вальтер Меринг, печальный шутник, повел меня в ресторан «Какаду». Столики под пальмами. Попугаи бодро роняют помет на тарелки. Снобы довольны: им кажется, что они на Таити. Заметив мое смущение, Меринг смеется: «Теперь вы видите, что немцы сошли с ума? Можете не есть, мы пообедаем в обыкновенном ресторане... Попугаи - это мелочь. Я думаю о том, как на нас посыплются бомбы... Но что можно сделать? Бьют стекла, пачкают стены, и это не босяки, это философы, каждый громила ссылается на Ницше. Попугаи тоже философы». Кругом нас говорят о делах, о театральных премьерах, о светских скандалах, о чем угодно, только не о политике. Меринг стучит ножиком о стакан - нора уходить; и попугай старческим голосом раздраженно повторяет: «Счет! Счет!»

Случайно я встретил левого журналиста, с которым познакомился четыре года назад на съемках «Жанны Ней». Тогда он зло высмеивал националистов, называл Гутенберга «глупым мамонтом». Он пошел в гору: заведует литературным отделом большой газеты; постарел, прихрамывает. Заговариваем о политике. «Все не так просто. Мы многого недооценили... Конечно, среди нацистов имеются темные элементы, но в целом это здоровое явление...» Мой приятель потом рассказывает, что у журналиста неприятности: в нацистской газете была заметка, где говорилось о его прошлом он не случайно клеветал на Людендорфа, его мать еврейка и у него больные ноги, а это верный признак еврейского происхождения. Журналист теперь занят

генеалогией: собирает документы, подтверждающие чистокровность всех его предков.

Северная часть города не похожа на Курфюрстендамм: здесь кризис виден на домах, на одежде людей, на лицах. Дуют холодные ветры с Балтики; приближается зима. Много бездомных; они спят к различных ночлежках, некоторые на улице; последнее запрещено, но есть глухие аллеи Тиргартена, пустыри, подвалы. Большая витрина закусочной возле Александерплац; выставлены различные яства - картошка с салом, колбасы, свиная нога. («Колоссально! Всего пятьдесят пять пфеннигов!») Люди подолгу стоят у витрины, смотрят. Некоторые входят и что-то быстро проплатывают.

Один безработный рассказал мне, что получает пособие - девять марок в месяц. К счастью, он одинок. Койка в ночлежке стоит пятьдесят пфеннигов; приходится большей частью ночевать на улице. «У нацистов дают бесплатно суп с мясом, товарищи говорят, что там хорошо, но мне противно...»

Берлин стал эдемом международных педерастов: здесь ничего не стоит раздобыть привлекательного юношу. По вечерам в пассаже Унтер-ден-Линден, в Тиргартене, около Александерплац бродят молодые безработные; на многих короткие штанишки; они стараются кокетливо улыбаться. Платят им одну-две марки. Я разговорился и закусочной с одним из этих парней. Он рассказал, будто в Берлине живет принц Гогенцоллерн, не фальшивый, а настоящий. Увидев юношу, который ему нравится, он его бьет хлыстом, а избив, дает десять марок. Возле дома, где живет принц, бродят юноши - ждут счастья...

Я пошел на собрание нацистов; происходило оно в пивной. Глаза ел дым дешевых сигар. Какой-то нацист, размахивая большими руками, долго кричал, что немцам надоело голодать, что хорошо живут только евреи, что союзники ограбили Германию, нужно расколотить французов и поляков. В России тоже хозяйничают евреи, - значит, придется всыпать и русским. Гитлер покажет миру, что такое немецкий социализм... Я разглядываю посетителей. Одни пьют пиво, другие сидят перед пустыми столами. Много рабочих, и от этого нестерпимо больно. Конечно, я знал и прежде, что среди нацистов немало рабочих, но одно дело прочесть об этом в газете, другое - увидеть. Разве скажешь, что этот пожилой рабочий - фашист?

Хорошее печальное лицо, видно, что ему не сладко. А тот, молодой, похож на товарища, которому Рудольф поручил раздать листовки...

Штаб нацистов - в пивной «Берлинер киндль». На соседней улице другая пивная; там собираются коммунисты. Меня туда привел Рудольф. Протертые бархатные диваны, на стенах олени рога; обыкновенная пивнушка...

Я шел с Рудольфом по глухой улице Нордена. Он что-то досказывал: «Возьмем факты...» Вдруг раздались выстрелы. Рудольф подбежал, крикнул: «Вебер!..» Нацисты застрелили рабочего-коммуниста. Потом не спеша пришел полицейский. Вызвали машину. Долго составляли протокол; я стоял в стороне - ждал Рудольфа. Прибежала старая женщина, громко плакала. Ночь была темной; ветер срывал кепки, последние листья деревьев.

Я вернулся в Париж мрачный: буря надвигалась. В газетной статье я писал: «Капитализм слишком долго, слишком отвратительно разлагается. Гангрена успела поразить живые части тела... Редко история знавала трагедию, равную трагедии германского пролетариата. Сжав зубы от отвращения, он отливал пушки и умирал под Верденом. Женщины рожали дегенератов, слепых, слабоумных. Когда он потребовал права на жизнь, его сумели разъединить, стиснуть... Рабочих снова приучили к нужде и безысходности. Увидав, что они больше не верят социал-демократическим полицейским, из них стали вербовать фашистских погромщиков. Осквернили не только их тело - их душу. Расплата отодвинута, но эта расплата будет жестокой - история умеет мстить».

Четверть века назад в «Книге для взрослых» я писал: «В 1931-м мне исполнилось сорок лет. Этот год показался мне обычным. Теперь я вижу, что он позволил мне жить дальше... Это было пригласительным классом новой школы, в нее я записался на пятом десятке».

Я рассказал об Испании и о поездках в Берлин, о долгих блужданиях по северным районам Парижа с фотоаппаратом. Могу добавить, что побывал в Праге, в Вене, в Швейцарии, был на заседании Лиги наций, глядел на Бриана, который то и дело опускал свои мясистые тяжелые веки, слушал спор между немецким министром Курциусом и поляком Залесским. Все говорили о разоружении, и все понимали, что дело идет к войне.

Люба сняла маленькую квартиру на улице Котантен. Квартира была на первом этаже, и два наших пса не должны были проходить мимо консьержки, а хитрец Бузу научился выпрыгивать один на улицу. Мы перед этим пошли в воскресенье на улицу Котантен и восхитились тишиной. А переехав, мы ужаснулись: ночью да и рано утром по улице непрерывной цепью двигались грузовики: везли с товарной станции Вожирар, где я в годы войны работал, бидоны с молоком. Впрочем, люди ко всему привыкают, и вскоре мы не слышали ни грохота, ни звона.

В начале года я кончил книгу о кинопромышленности «Фабрика снов». Словом, год был, как я писал, скорее обычным. Однако он действительно многое изменил в моем отношении к людям и к жизни.

Передышка, подаренная мне, как и всем людям моего поколения, подходила к концу. Еще не было бурь, но штиль уже казался неестественным. Друзья, приехавшие из Советского Союза, рассказывали о раскулачивании, о трудностях, связанных с коллективизацией, о голоде на Украине. После поездок в Берлин я понял, что фашизм наступает и что его противники разъединены. Экономический кризис продолжал обостряться. Лишения, унижения, голод не всегда способствуют разумным решениям: фашисты вербовали в свои отряды не только обнищавших лавочников или

хорохорившихся подростков, но и отчаявшихся, сбитых с толку безработных.

Я недаром занимался королями нефти, стали или спичек: я знал, что, будучи более или менее просвещенными и брезгая общением с фашистами, они обильно снабжают различные фашистские организации деньгами. Страх перед революцией оказался сильнее не только унаследованного свободомыслия, но и простого благоразумия. В Нюрнберге судили маньяков, а виновата была вся правящая верхушка общества. Может быть, некоторые из тех, кто потакал фашистам, поддерживал их, потом и плакали над сожженными книгами, расщепленными городами, погибшими близкими. Фашизм пытались выдать за приبلудного незнакомца, случайно затесавшегося в благопристойные, цивилизованные страны. А у фашизма были щедрые дядюшки, любвеобильные тетушки, некоторые из них здравствуют и поныне.

Бой был неминуем: дипломаты знают зоны разъединения, нейтральные или буферные государства; а я понимал, что между нами и фашистами нет даже узенькой полоски «ничьей земли».

Возможно, что в прошлом бывали эпохи, когда художник мог отстаивать человеческое достоинство, не расставаясь ни на час с искусством. Наше время требовало от любого человека не вдохновенного костра, а повседневных жертв или отречений.

Бог ты мой, сколько раз в жизни я отвечал на стандартные вопросы анкет! Теперь я хочу рассказать не о поступках, не о поездках, даже не о книгах, а о себе. До сорока лет я не мог найти себя - петлял, метался.

Вероятно, я не прав, относя все к характеру эпохи. Я ведь встречал писателей, которые целиком выражали свои мысли, чаяния, страсти в книгах,- Томаса Манна, Джойса, Вячеслава Иванова, Валери. Конечно, они многим в жизни увлекались, от многого отшатывались, но орудиями действия для них были романы или стихи. Таким был и Бальзак, хотя он мечтал стать депутатом, писал политические памфлеты, разрабатывал проекты финансовых операций, чтобы освободиться от вечных долгов: все это оставалось зыбью на поверхности, загорался он, только говоря о героях своих романов. А для его современника Стендаля литература была одной из возможных форм участия в жизни, он воевал, увлекался политикой,

страстно влюблялся, жил не для того, чтобы лучше узнать страсти других, а для того, чтобы жить.

По-разному бывают скроены не только великие, но и малые писатели. После «Хулио Хуренито» я стал профессиональным литератором. Писал я очень много; сейчас подсчитал, и даже неловко признаться: с 1922 по 1931 год я написал девятнадцать книг. Поспешность диктовалась не честолюбием, а смятением; изводя бумагу, я изводил самого себя.

Никогда меня не удовлетворяло созерцание, мне хотелось не только размышлять над судьбами вымышленных персонажей, но и самому походить на них. А между тем в то десятилетие, которому посвящена третья часть моей книги, я слишком часто оказывался в роли если не наблюдателя, то болельщика.

В 1931 году я почувствовал, что я не в ладах с самим собой. Я задумался над недавним прошлым и, пока ночные грузовики грохотали, звенели, настойчиво спрашивал себя, как мне дальше жить.

Может показаться странным, что такие вопросы ставил себе не зеленый юноша, который, оборванный и голодный, блуждая по парижским улицам, писал стихи о светопреставлении, да и не тот, растерянный, но вместе с тем задорный молодой интеллигент, которого А. Н. Толстой называл «мексиканским каторжником» и который рассказывал девушкам похождения еще не написанного «Хуренито», а сорокалетний литератор, начинавший сесть. Но я уже говорил, что в нашу эпоху, когда события разворачиваются с ошеломляющей быстротой, многие люди складываются медленно. Герцену было сорок лет, когда он сел за «Былое и думы» и начал подводить итоги своей жизни: он никогда не глядел на события из зрительного зала, был актером всех трагедий, которые шли в его время.

Может быть, столь длительные поиски себя объяснялись и тем, что я жил в двух различных мирах, молодость провел в Париже, к началу революции мои вкусы, привязанности, отталкивания успели сложиться. Может быть, сказался и характер: я всегда испытывал необходимость проверить то, что многим казалось таблицей умножения.

Конечно, если говорить о пути писателя, я не изменился за один год. В предисловиях к моим книгам в двадцатые годы неизменно

указывалось, что, хотя я «опустошенный циник» и «нигилист», меня стоит издавать, потому что я хорошо изображаю «гниение капиталистического мира». В «Хуренито» я действительно искренне высмеивал клерикалов и радикалов, фанатичных коммунистов и ручных социалистов, французских жуиров и русских интеллигентов с их угрызениями совести; но мало-помалу я начал отходить от такого подхода к людям. Вероятно, в этом сказался возраст: исчезла жесткость, свойственная молодости. Мне становилось все труднее и труднее жить одним отрицанием: хотелось найти за плулыми или дурными поступками людей нечто настоящее, человеческое. (Это редко мне удавалось, но я ведь говорю не о литературных достоинствах, а о своих намерениях.)

Однако главным для меня в 1931 году был не подход к персонажам романов. Я мало думал о том, как написать следующую книгу; я спрашивал себя, как мне дальше жить, чтобы годы были не пометками на полях жизни, а самой жизнью.

Каждый человек особенно близко принимает к сердцу те вопросы, которые относятся к его работе, и, конечно же, меня волновали судьбы литературы, искусства. Маяковского больше не было. Громче других раздавались голоса рапповцев. Выставки были заполнены огромными полотнами ахрровцев. Эпоха дерзаний и чудачеств была позади.

Революция приобщила к культуре народ, и естественно, что люди, впервые бравшие в руки роман или впервые приходившие на выставку, не очень разбирались в мастерстве; порой подделка под искусство их восхищала. Новых читателей, зрителей можно было воспитывать, можно было и льстить им, говорить, что они - высший суд. Льстецы, разумеется, нашлись.

Стихотворцы сочиняли стихи на случай. Литературная энциклопедия объясняла, что путь идет к производственному роману, который заменит все прочие жанры. Намечался тот стиль, который господствовал в течение четверти века: стиль украшательской архитектуры, тех станций метро, где тесно от статуй; неустанных славословий и сатиры, скромно обличающей нерадивого управдома или подвыпившего эстрадника. Конечно, в 1931 году все это было еще в эмбриональном состоянии. Однако уже появились первые портреты и статуи человека, который, может быть, тогда и не догадывался, что

он станет не только объектом, но и создателем «культы личности». Все это сопровождалось тщательным упрощением; та же Литературная энциклопедия писала, что «Гамлеты бесполезны массе» и что пролетариат «бросает Дон Кихота в мусорную яму истории».

В начале 1932 года я написал неудачную повесть «Москва слезам не верит». Один из ее героев, советский художник, в прошлом участник гражданской войны, прочитал в московской газете заметку о выставке живописи, подписанную инициалами О. В.: «Пейзажи Чужакова показывают, что он окончательно оторвался от масс. Это типичное искусство деклассированного отщепенца, которое нужно десяти - двадцати дегенератам буржуазной богемы». Художник размышляет (и его мысли были мыслями автора повести): «Десяти - двадцати... Допустим... А вот «АХРР» - десяти тысячам?.. Значит, прикажете халтурить?.. Кстати, тот же Рембрандт, скольким он при жизни нравился?.. А теперь экскурсантов загоняете - стой и просвещайся!.. Гражданин О. Б... Или, может быть, вы гражданка? Да я не об этом... Я ведь знаю - у вас все поделено: с бабой - как придется, а статейки пописываете - комар носу не подточит. Расход и приход - просят не смешивать. Картин вы, конечно, не пишете - отсталое это дело - и вообще порадовать никого не можете. Если вы - гражданин, сомневаюсь, можете ли вы порадовать гражданку О. Б. или Б. О. Впрочем, и не в этом суть. Послушаем чижей. Они поют как дегенераты. Оторвались, скажете, от масс? А горловые связки? Ах, О. Б., они поют потому, что поется. Им веселее, и мне, а не хочешь, не слушай. Разве я настаиваю на моих картинах? Могу опять потесниться... Если вы, О. Б., высчитали, что мои картины не нужны, пожалуйста, могу, например, стены белить. Я ведь сговорчивый. Только на живописи не настаивайте. Это особая статья. Чижи поймут, а вам невозможно... Дураки думают - дважды два, всем по бифштексу, и никаких искусств. А искусство только тогда и начнется - после бифштекса, загрызет оно - не четыре, голубчик, а пять. Или двадцать пять... Пусть какой-то О. Б. и не понимает ни черта в живописи, пусть таких О. Б. тысячи, миллионы - что же, тогда надо расстаться с кистями. Найду для себя другое дело - по времени. Проживем и без картин. А пройдет десять лет... Ну, не десять - сто - какая разница? - тогда поймут...»

Помню длинный разговор с молодой француженкой, актрисой Дениз. Мы говорили о гастролях Мейерхольда, о портрете бабушки Дениз, писательницы Северин, написанном Ренуаром, о стихах Десноса, об искусстве: ничего не поделаешь - рыбе нужна вода... И вдруг я признался: «Все это так, Дениз, но сейчас дело не в искусстве... Десять лет назад я доказывал, что искусство умирает, мы тогда верили, что старые формы изнашивались - романы, станковая живопись, рампа. Все это было вздором. Теперь начинается реакция... Но можно не писать романов... Я все давно выбрал... Да я и не выбирал - выбора нет...»

Я о многом думал по ночам: о гуманизме, о цели и средствах. Не дурные картины меня тревожили, да и вообще искусство было только частицей в загадках завтрашнего дня,- речь шла не о художественном направлении, а о судьбе человека.

В библиотеке можно не брать книгу, которая не по душе, можно взять по ошибке и вернуть, не прочитав. А жизнь не библиотека... В 1931 году я понял, что судьба солдата не судьба мечтателя и что нужно занять свое место в боевом порядке. Я не отказывался от того, что мне было дорого, ни от чего не отрекался, но знал: придется жить сжав зубы, научиться одной из самых трудных наук - молчанию. Критики, которые обо мне писали, указывали на 1933 год как на дату поворота: они знали книгу «День второй». А я знаю, почему я поехал в Кузнецк,- все было додумано в 1931 году, не перед котлованами строек, а на улице Котантен, под ночное звяканье бидонов...

Весной 1932 года в Париж приехали драматурги В. М. Киршон и А. Н. Афиногенов. Я их водил по Парижу и рассказывал о достопримечательностях города. Они, в свою очередь, меня посвящали в достопримечательности нашей литературы. Оба были окрылены успехом: в десятках театров шли «Хлеб» Киршона и «Страх» Афиногенова. Однако больше, чем своими произведениями, они гордились победами РАППа. По их словам, РАПП объединил всех «настоящих» советских писателей. Киршон повторял: «Мы столбовая дорога нашей литературы». (Я не знал тогда, что это выражение принадлежало А. А. Фадееву.) Александр Николаевич Афиногенов был очень высоким, скромным, он улыбался и поддакивал словам Киршона. Владимир Михайлович проповедовал, обличал, саркастически усмехался. Он сказал мне: «Пора вам пересмотреть свои позиции...» Я признался, что свои позиции пересмотрел. «Тогда напишите заявление - вступайте в РАПП». Я ответил, что литературные принципы рапповцев меня мало увлекают и что по столбовым дорогам люди ездят - раньше их везли лошади, теперь - моторы, а писатели по своей природе пешеходы, каждый может идти к общей цели своим путем. Афиногенов улыбнулся: «Оставь его! Может быть, он и прав...»

Мы сидели на камнях старых арен Лютеции. День был жаркий, и, несмотря на утренний час, мы забрались в тень. Я развернул газету: «Телеграмма из Москвы - распустили РАПП...» Мне это сообщение показалось несущественным, ведь сколько раз менялись вывески различных писательских организаций; да и вообще меня интересовала литература, а не литература о литературе, я тогда еще не знал, что такое «оргвыводы». Киршон вскочил: «Не может быть! Выдумки! Какая это газета?...» Я ответил: «Юманите». Мы собирались посмотреть рабочие районы; но Киршон сказал, что им нужно в посольство. Через день или два они уехали в Москву, хотя рассчитывали остаться дольше.

Я понял, что ликвидация РАППа - дело серьезное, и приободрился: может быть, и впрямь в Москве поняли, что шоссе

нужно прокладывать для автотранспорта, а писателям предоставить право идти каждому своей писательской тропинкой?..

Однако передо мною стоял вопрос: как подойти ближе к жизни, к действую, к борьбе?

В мае ко мне неожиданно пришел сотрудник «Известий» С. А. Раевский; он сказал, что главный редактор и П. Л. Лапинский, с которым я часто встречался в годы войны, предлагают мне стать постоянным парижским корреспондентом газеты, У «Известий» имелся корреспондент - Садуль, бывший в 1917 году членом французской военной миссии в России и перешедший на сторону революции. Стефан Александрович сказал, что Садуль останется на своем посту; но он - француз и недостаточно знает советских читателей. Я должен писать очерки и, если события потребуют, передавать по телеграфу информацию.

Предложение застало меня врасплох: я слишком долго жил не связанный никакой регулярной работой, привык располагать своим временем. Конечно, журналистика меня привлекала: хотелось делать нечто живое; но я боялся, что не справлюсь.

Я пошел к нашему послу В. С. Довгалевскому, с которым у меня установились дружеские отношения. Это был человек добрый, участливый; разговаривая с ним, я забывал, что он - официальное лицо, посол, а я писатель, не то «правый попутчик», не то «прогнанный циник». Валериан Савельевич превосходно знал Францию; старый большевик, он был политэмигрантом, учился в Тулузе. Французы его ценили; не раз я встречал в посольстве Эррио, который приезжал поговорить с Довгалевским, иногда и посоветоваться. (Умер Довгалевский в сорок девять лет от рака. Я тогда горевал, а после не раз думал, что смерть оградила его от многих испытаний.) Валериан Савельевич уже знал о предложении «Известий» и сразу сказал: «Очень хорошо, здесь и думать не о чем...» Уговорить меня было нетрудно: я ведь мечтал ринуться в бой.

Около восьми лет я исполнял обязанности корреспондента «Известий» - в Париже, потом в Испании, снова в Париже - вплоть до германо-советского пакта; написал сотни очерков и статей, посылал информацию; порой заметки шли без подписи, порой я подписывал их псевдонимами. Я научился писать на машинке латинскими буквами для телеграфа; хрипел и терял голос, диктуя статьи по

телефону. К рассказам о газетной работе мне придется вернуться еще не раз; теперь я только хочу сказать, что вспоминаю ее с благодарностью; конечно, она отняла много времени, но позволила многое увидеть, узнать различных людей. Да и для писательского ремесла она была хорошей школой; я научился писать коротко - приходилось все время думать, как сэкономить расходы газеты: письма шли долго, почти все статьи я передавал по телефону или по телеграфу. (Сжатость, короткие фразы привлекали меня и прежде. Мне хотелось писать, как я думал,- без придаточных предложений. Критики меня ругали за «телеграфный стиль», а я считал, что такая речь отвечает не только моим чувствам, но и ритму времени.)

Почти никого не осталось в живых из моих товарищей по работе в «Известиях»... В годы войны, в седьмом отделе одной из армий, меня поразил голос женщины - старшего лейтенанта: он мне показался хорошо знакомым, а лицо было чужим. Мы разговорились. Старший лейтенант работала стенографисткой в «Известиях», когда я ежедневно передавал статьи или сообщения из осажденного Мадрида. Слышимость была плохая, стенографистка то и дело просила: «Не слышно... по буквам...» Я кричал «Борис, Ольга, Иван...» Иногда со мной хотел поговорить заведующий иностранным отделом, и стенографистка, чтобы нас не разъединили, говорила: «В Москве чудесная погода» или «Ваша дочь вам передает привет». Все это шло под аккомпанемент артиллерии. И вот я встретил знакомую незнакомку, с милым, душевным голосом, возле Брянска, когда шел артиллерийский бой...

Вернусь к 1932 году. Я начал хлопотать о том, чтобы французские власти меня признали как корреспондента «Известий». Меня вызвали в министерство иностранных дел. Я думал, что со мной хотят разговаривать сотрудники, которым поручена связь с иностранной прессой; но меня отослали в знакомый мне по визовым мытарствам «контроль иностранцев». Там работали не дипломаты, а полицейские, и разговаривали они отнюдь не вежливо. Я увидел на столе огромную папку, на которой значилось: «Илья Эренбург». Чиновник поспешил мне объяснить, что я известен ему с плохой стороны, что корреспондент большевистской газеты будет находиться под особым наблюдением и что при любой попытке нарушить правила я буду выслан из Франции.

Месяца два спустя мне довелось беседовать уже не с полицейскими, помещавшимися в здании министерства иностранных дел, а с настоящими дипломатами. Было это в Москве: меня пригласил на завтрак французский посол Дежан. Среди гостей оказался атташе польского посольства. Дежан посадил рядом с собой Любу и вел с нею вполне мирные разговоры о достоинствах различных французских сыров. А советник посольства (не помню его фамилии) начал меня расспрашивать, что я видел во время моей поездки (я перед этим ездил в Бобрики). Моим рассказом он остался явно недоволен: «Вы отвечаете официально, а мы хотели бы поговорить откровенно. Ведь все знают, что пятилетка провалилась...» Польский атташе подхватил: «Особенно строительство в Бобриках...» Я рассердился: где же дипломатическая вежливость - пригласить на завтраки вести провокационные разговоры! Я даже не мог оценить вина или сыры. Кофе мы пили в соседнем салоне. Советник посольства неожиданно раскрыл том Малой советской энциклопедии и торжествующе начал читать (по слогам, не вполне разборчиво), что там написано про меня. Вспомнив этот эпизод, я теперь раздобыл книгу, вот короткая цитата: «Вскормленный деклассированной богемой, Эренбург остроумно высмеивает западный капитализм и буржуазию, но не верит в творческие силы пролетариата. Утверждая бессилие научно-социалистической планировки жизни перед лицом стихийного биологического начала человека и пророка бессилие коммунистических планов перед лицом стихии собственности, Эренбург выступил как один из наиболее ярких представителей новобуржуазного крыла литературы». Статья была подписана одним из руководителей покойного РАППа.

Я вдруг понял, почему советник посольства рассчитывал, что я буду ему рассказывать о провале строительства, понял и засмеялся. Я не стал объяснять, что автор заметки - рапповец и что РАПП недавно распущен: для французов энциклопедический словарь - это справочник: написано, что Жоффри выиграл битву на Марне, что корова жвачное животное, что Анатолий Франс обладал превосходным стилем, а также иронией,- и все это бесспорно, по крайней мере, на жизнь одного поколения. Советник, прочитав, что я - представитель новобуржуазной литературы, решил, что представителю

старобуржуазной дипломатии легко со мной сговориться. Как же ему было понять, что энциклопедический словарь пересматривает свои оценки от одного тома до другого?..

В 1932 году я думал, что ликвидирован не только РАПП, но и некоторый стиль литературной критики. Это было наивным, особенно для автора «Хуренито», вступившего в пятый десяток. Вскоре я понял, что ошибался: один из наших критиков написал, что в моих книгах «проступают искаженные тревогой черты классового врага», и называл меня «литературным приказчиком буржуазии». В 1934 году вышел очередной том уже не Малой, а Большой Советской Энциклопедии, и там я прочитал: «Эренбург - типичный выразитель настроений той буржуазной интеллигенции, которая пошла за идеологами «сменовеховства». Как я говорил, восприятия притупляются: в первый раз я растерялся, в десятый рассердился, в сотый примелькавшиеся этикетки оставили меня равнодушным. Я понял, что беспорядочный огонь - одна из особенностей той войны, которая не вчера началась и не завтра кончится: артиллерия частенько бьет по своим. Это, конечно, нехорошо, но ничего тут не поделаешь; от снаряда человек может погибнуть, от обиды он только каменеет; своих убеждений от обиды, даже самой горькой, не переменишь и на сторону врага не перейдешь.

Я понял также, что дело не в моей путаной биографии, не в том, что я долго жил в Париже; столь же случайно, несправедливо, огульно поносили и некоторых других писателей, которые никогда не увлекались средневековьем, не были знакомы с Пикассо и проживали не на улице Котантен, а в московских переулках. Вот почему на Первом съезде советских писателей я мог с полной искренностью сказать: «Мне трудно себе представить путь писателя как ровное, гладкое, хорошее шоссе. Одно для меня бесспорно: я - рядовой советский писатель. Это - моя радость, это - моя гордость...»

В мае 1932 года Париж был потрясен неожиданным событием: некто Павел Горгулов, уроженец станицы Лабинской, среди бела дня застрелил президента Французской республики Поля Думера. Убийство было совершено накануне парламентских выборов, и правые газеты поспешили объявить, что Горгулов - большевик. Немедленно появился другой казак, по имени Лазарев, который подтвердил, что знает Горгулова, как чекиста, работавшего под кличкой «Монгол».

«Известия» поручили мне осветить судебное разбирательство. У меня еще не было карточки журналиста. Выручил меня Семен Борисович Членов, который со всеми был знаком. Председатель суда, один из крупнейших юристов Франции Дрейфус, разрешил мне присутствовать на процессе и качестве его гостя. Я прошел через служебный ход и сидел не в зале, а позади судей.

Вечером, когда я выходил из помещения суда, меня арестовали: я не мог показать документа, который оправдывал бы мое присутствие на процессе. Меня отвели в префектуру, там подвергли издевательскому допросу и заперли. Я злился: не успею послать телеграмму в газету! Действительно, освободили меня только ночью, и отчет появился в «Известиях» на день позже.

Процесс продолжался три дня; все происходившее казалось неправдоподобным и страшным сном. Я говорил, что некоторые пытались выдать Горгулова за советского агента: «Москва хотела повергнуть Францию в анархию». Имелась и другая версия: Горгулов - агент французской полиции, убийство было организовано для того, чтобы обеспечить успех правых на выборах и сорвать намечающиеся переговоры с Москвой. На самом деле все было проще и сложнее. Преступление было совершено иступленным, отчаявшимся эмигрантом, находившимся на грани безумия. Три дня я глядел на Горгулова, слушал его страстные и нелепые выкрики. Передо мною был человек, которого мог бы выдумать в часы бессонницы Достоевский.

Горгулов был высокого роста, крепок; когда он выкрикивал путаные, сбивчивые проклятия на малопонятном французском языке,

присяжные, по виду нотариусы, лавочники, рантье, испуганно ежились.

Его поступок был прежде всего необъясним. В двадцатые годы Каверда убил советского посла Войкова, Конради - Воровского. Горгулов застрелил французского президента Думера, человека правых воззрений, притом семидесятипятилетнего старика. Однако во всем этом была своя логика - ненависти и отчаяния.

На суде раскрылась биография убийцы. Он кончил в Праге медицинский факультет и работал по своей специальности в небольшом городке Моравии. Это было удачей - сколько русских эмигрантов стали чернорабочими или попросту нищенствовали. Но Горгулов был человеком, неспособным приладиться к скромному существованию в чужой стране. Повсюду ему виделись подвохи, унижения. Он считал, что чешские коллеги его затирают, начал пить, буяннить, внес в быт чинного города разгул русского кабака.

Да и медицина его не увлекала. Еще в Ростовском университете он посещал литературный кружок. Он занялся поэзией. Одна немолодая, но экзальтированная чешка, с которой он случайно познакомился, поверила в его талант и дала деньги на издание книги. Горгулов выбрал многозначительный псевдоним - Бред. Я читал его книги; кажется, способности у него были, но работать он не умел, да и бредил неинтересно, повторно; его сочинения звучали как отголоски чего-то очень знакомого.

Одновременно он не расставался с политикой; вначале он считал себя социалистом, даже объяснял одному из министров Чехословакии, как отстаивать демократию. Потом его увлек фашизм; он основал «национальную крестьянскую партию»; членов в ней не было, зато имелось красивое знамя - его вышили две русские танцовщицы, работавшие в ночном кабаре.

После нескольких скандалов чехи лишили Горгулова права врачебной практики, и он перекочевал в Париж; здесь он познакомился с Яковлевым, который торговал дамскими чулками и выпускал газету «Набат». Успехи Гитлера в те годы вдохновляли многих. Яковлев, Горгулов с десятком единомышленников по воскресеньям собирались в рабочем кафе Бильянкура, подымали руки вверх и кричали: «Русь, пробудись!»

Вскоре Горгулов рассорился с Яковлевым и выпустил программу новой партии. Он придумал также религию «натуризм», предлагал быть добрыми, любить природу. Одновременно он призывал вырезать всех коммунистов и евреев. Денег у него не было; он тайком лечил знакомых казаков, заболевших гонореей, и полученные за это франки тратил на издание то книги стихов, то политической листовки.

Он спрашивал себя, что ему делать дальше. Вот перечень его планов: переехать в Харбин, совершить на ракете межпланетное путешествие, убить Довгалева, записаться в Иностранский легион, уехать в Бельгийское Конго, вступить в отряд гитлеровских штурмовиков, подыскать богатую невесту.

Французская полиция узнала, что Горгулов незаконно принимает пациентов; у него отобрали вид на жительство. Он уехал в Монако. Сначала он попробовал выиграть в рулетку. Потом решил, что необходимо освободить Россию от большевиков - другого выхода нет. Он писал писателю Куприну: «Я одинокий одичавший скиф...»

Он ненавидел французов за то, что они ведут переговоры с большевиками, а его, честного казака, верного союзника, выслали из Франции. Где-то он прочитал, что Колчака «предали французы». На стене его комнаты висел портрет Колчака. Горгулов написал на портрете две даты: день смерти русского адмирала и день предстоящей смерти французского президента.

Все последующее таково, что кажется действительно бредом. Горгулов приехал в Париж с двумя револьверами; пошел в собор, молился; потом выпил литр вина; опасаясь полиции - ведь у него нет вида на жительство,- выбрал третьеразрядную гостиницу, где сдают номера на ночь или на час, для отвода глаз взял с собой проститутку, вскоре ее отослал и всю ночь писал: проклинал коммунистов, чехов, евреев, французов. Потом вышел из гостиницы и убил Думера.

На него трудно было смотреть, он казался затравленным зверем. От него отрекались и Яковлев, и другие его единомышленники.

Помню страшную картину. Ночью, при тусклом свете запыленных люстр, судебный зал напоминал театральную постановку: парадные одеяния судей, черные тоги адвокатов, лицо подсудимого, зеленоватое, омертвевшее,- все казалось неестественным. Судья огласил приговор. Горгулов вскочил, сорвал с шеи воротничок, как

будто торопился подставить голову под нож гильотины, и крикнул: «Франция мне отказала в виде на жительство!»

Я шел по ночной, пустой улице и думал о судьбе человека. Конечно, Горгулов не мог вызвать участия: скверная жизнь, дикое, бессмысленное преступление. Но я думал о том, что когда-то он был обыкновенным русским мальчонкой, играл на горячей пыльной улице в городки. Страшно, что перед смертью он не нашел других слов, кроме «вида на жительство» - будничной, житейской жалобы эмигранта! Почему он писал о любви к букашкам и хотел вырезать миллионы людей? Почему убил Думера? Почему должен был играть чужую роль в нелепой кровавой мелодраме? За три месяца до преступления он писал своему приятелю Яковлеву: «Во мне осталось только одно чувство - жажда мести». Он жил надеждой: «Только война спасет нас!» Я вспомнил, что Яковлев торгует женскими чулками... Под мирной зыбью европейской жизни проходили страшные течения.

Процесс Горгулова был для меня психологическим введением в тяжелое десятилетие. Слово «война» становилось привычным. Люди повсюду начинали втягиваться в новое, недоброе дело. Запахло кровью.

Летом и осенью 1932 года я много колесил по Советскому Союзу; побывал на строительстве магистрали Москва - Донбасс, в Бобриках, ставших потом Сталиногорском, в Кузнецке, ставшем потом Сталинском, в Свердловске, в Новосибирске, в Томске. Время было необычайное; вторично шквал потряс нашу страну; но если первый - в годы гражданской войны - казался стихийным, был тесно связан с борьбой между различными классами, с гневом, ненавистью, тоской, то коллективизация и начало строительства тяжелой индустрии, разворотившие жизнь десятков миллионов, были определены планом, неотделимы от колонок цифр, подчинены не взрывам народных страстей, а железным законам необходимости.

Снова я увидел узловые станции, забытые людьми с пожитками; шло великое переселение. Орловские или пензенские крестьяне бросали деревни и пробивались на восток: им говорили, что там дают хлеб, воблу, даже сахар.

Комсомольцы, охваченные восторгом, отправлялись на Магнитку или в Кузнецк; они верили, что стоит построить заводы-гиганты - и на земле будет рай. В январские морозы железо жгло руки. Казалось, люди промерзли насквозь; не было ни песен, ни флагов, ни речей. Слово «энтузиазм», как многие другие, обесценено инфляцией; а к годам первой пятилетки другого слова не подберешь, именно энтузиазм вдохновлял молодежь на ежедневные и малоприметные подвиги.

Многие рабочие относились к заводам любовно; они звали домну «Домной Ивановной», мартеновскую печь - «дядей Мартыном». Я спросил одного втузовца, как он представляет себе Париж. Он ответил: «В центре, наверно, огромные заводы, а люди живут вокруг в больших домах, и сообщение хорошее - сотни трамваев...» Он пришел в Новосибирск из деревни, и ему казалось, что города растут вокруг заводов, однако он читал Гюго и спросил меня: «Где же там собор Богоматери?..»

Конечно, среди строителей были разные люди. Приезжали циники, авантюристы, летуны, они кочевали в поисках, как тогда

говорили, длинного рубля. Крестьяне недоверчиво глядели на машины; когда рычаг отказывал, они сердились, как на упрямую лошадь, часто портили машины. Если одних подгоняли высокие чувства, то другие напрягались в надежде получить килограмм сахара или отрез на брюки.

Я увидел эшелоны спецпереселенцев - это были раскулаченные, их везли в Сибирь; они походили на погорельцев. Плакали грудные дети, у матерей не было молока. Везли также подмосковных огородников, мелких спекулянтов с Сухаревки, сектантов, растратчиков.

В Ташкенте и в Рязани, в Тамбове и в Семипалатинске вербовщики набирали землекопов, мостовщиков, крестьян, убежавших после коллективизации из деревни.

Я попадал в деревни, где трудно было найти мужчину,- женщины, старики, дети. Многие избы были брошены. Женщины гудели, как растревоженный улей.

Томск был беден, запущен. Заборы разобрали на топливо; тротуаров не было. Люди побойчее уехали в Новосибирск, в Кузнецк. Лишenci прятали от прохожих лампадки перед иконами. Чай пили без сахара. В буфете продавали славянскую воду и картонные коробки для конфет.

Бурно росли некоторые города. Заштатный Новониколаевск превратился в шумный Новосибирск. Дома напоминали выставочные павильоны. В ресторане при гостинице люди ночь напролет хлестали водку. Вокруг города пришельцы строили лачуги, рыли землянки; они торопились - впереди была суровая сибирская зима. Новые поселки называли «Нахаловками». Жители острили; «В Америке небоскребы, а у нас землескребы» - это было задолго до высотных зданий.

Жизнь была трудной; все говорили о пайках, о распределителях. В Томске черный хлеб походил на глину; я вспомнил двадцатый год. На рынке продавали крохотные замызганные кусочки сахара. Профессора между лекциями становились в очереди. Магазины «Торгсина» соблазняли мукой, сахаром, ботинками; но там нужно было расплачиваться золотом - обручальными кольцами, припрятанными царскими монетами. В Кузнецке приезжавшие сразу спрашивали: «Мясо дают?» Тифозный корпус больницы был переполнен: сыпняк снова косил людей. В Томске я видел, как жена

профессора варила мыло. Все напоминало тыл войны, но тыл был фронтом: война шла повсюду.

Огромное полотно было написано двумя красками - розовой и черной; надежда жила рядом с отчаянием; энтузиазм и злоба, герои и летуны, просвещение и тьма - эпоха одним давала крылья, других убивала.

На строительстве магистрали Москва - Донбасс было собрание. Один землекоп, в бараньей шапке, с обветренным лицом, говорил: «Да мы во сто раз счастливее проклятых капиталистов! Они жрут, жрут идохнут - сами не знают, для чего живут. Такой прогадает, смотришь - повесился на крюке. А мы знаем, для чего мы живем: мы строим коммунизм. На нас весь мир смотрит...» Я пошел с ним в столовую. При входе в барак отбирали шапки; выдавали их, когда рабочие сдавали ложки. Шапки валялись грудой на земле; каждый долго разыскивал свою. Я попробовал объяснить заведующему, что это обидно, да и глупо - люди зря тратят время. Он посмотрел на меня пустыми глазами: «За ложки я отвечаю, а не вы».

В Кузнецке я встретил начальника цеха. Он рассказал, что восемь лет назад пас в деревне гусей. Его считали талантливым инженером. Он прочитал «Кара-Бугаз» Паустовского и с жаром говорил о стиле.

Я долго разыскивал в старом Кузнецке дом, где жил когда-то Достоевский, наконец нашел; женщины сердито ответили: «Нет здесь такого...» Школьники объяснили, что они знают много писателей: Пушкина, Горького, Демьяна Бедного, а Достоевского не проходили.

Крестьяне в селе возле Томска рассказывали: «Приехал один, говорит: «Кто хочет строить социализм, пожалуйста, иди добровольно в колхоз, а кто не хочет, пожалуйста, полное у него право. Только я скажу прямо: с такими у нас один разговор - душу вон, кишки на телефон». В той же деревне я познакомился с девушкой; она после работы читала «Цемент», говорила: «Очень трудно все понять, но я учусь. Я в город поеду. Теперь, если хочешь учиться, все тебе открыто. Такая я счастливая, что не скажешь!...»

По ухабам Новосибирска прыгали новенькие автомобили. В Кузнецк привезли изумительные машины. А строили завод-гигант чуть ли не руками. Были мощные экскаваторы, но я видел, как люди таскали землю на себе. Не хватало кранов, и один молодой рабочий сконструировал деревянный кран. Незадолго до моего приезда

рухнули леса, люди упали в ветошку и задохлись. Их хоронили с воинскими почестями.

В Кузнецке работали двести двадцать тысяч строителей. Начальник строительства, старый большевик С. М. Франкфурт, был одержимым, иначе не скажешь, он почти не спал, ел на ходу; нужно было то расследовать причины очередной аварии, то успокоить летунов, которые бросили работу с криком «даешь спецуру», то разместить прибывших самотеком казахов. В его комнате я увидел акварель - Париж в сумерки (Сергей Миронович до революции был политэмигрантом). О начальнике строительства в те годы много писали; после тридцать седьмого имя Франкфурта исчезло. (Недавно я узнал о его судьбе. По Окончании строительства в Кузнецке Орджоникидзе его послал на новую стройку в Орск, и там он был арестован в 1937 году вместе с пятьюдесятью восемью сотрудниками. На заседании (конечно, закрытом) Военной коллегии Сергей Миронович сказал: «Я был большевиком и умру большевиком»; эти слова запротоколировали. В 1956 году С. М. Франкфурта посмертно реабилитировали.) Главный инженер И. П. Бардин был человеком большой культуры; в молодости он работал в Америке; следил за развитием техники. Он понимал, что задача, возложенная на него, трудна, более того - невыполнима, и знал, что он ее выполнит. При одной из аварий Иван Павлович сломал ногу; быстро, однако, встал с койки и возобновил работу. Мне он показался человеком мягким и хмурым.

Города еще не было, но город разрастался. В бараках показывали фильмы. Открылись распределители, столовые для иностранных специалистов. Начали приезжать из Москвы актеры.

Мою книгу о Кузнецке я начал так: «У людей были воля и отчаяние - они выдержали. Звери отступили. Лошади тяжело дышали и падали. Десятник Скворцов привез легавого кобеля. По ночам кобель выл от голода и тоски; он вскоре сдох. Крысы пытались пристроиться, но и крысы не выдержали суровой жизни. Только насекомые не изменили человеку; густыми ордами двигались вши, бодро неслись блохи, ползли деловито клопы. Таракан, догадавшись, что ему не найти другого корма, начал кусать человека».

Иностранные специалисты, работавшие в Кузнецке, говорили, что так строить нельзя, нужно было прежде всего провести дороги,

построить дома для строителей; да и состав текучий, люди не умеют обращаться с машинами; вся затея обречена на провал. Они судили по учебникам, по своему опыту, по психологии людей, живущих в спокойных странах, и никак не могли понять чужой им страны, ее душевного климата, ее возможностей. Я снова увидел, на что способен наш народ в годы жестоких испытаний. Люди строили заводы в таких условиях, что успех казался чудом, как чудом показалась старшему поколению победа в гражданской войне, когда блокированная, голодная, босая Россия разбила интервентов.

Несмотря на трудности, казалось бы непреодолимые, цехи заводов быстро подымались. Среди котлованов пооткрывались кинотеатры; устроили школы, клубы. В 1932 году в Кузнецке еще нельзя было сделать шага, чтобы не попасть в яму, но уже пылали первые домны, и в литературном объединении юноши спорили, кто писал лучше - Маяковский или Есенин.

Рая, о котором тогда мечтали молодые, они не увидели; но десять лет спустя домны Кузнецка позволили Красной Армии спасти Родину и мир от расистских изуверов.

В жизнь входило новое поколение - юноши и девушки, родившиеся накануне первой мировой войны; для них царь, фабриканты, городские были отвлеченными понятиями. Больше домен и мартеновских печей меня интересовали эти новые люди - будущее нашей страны. Приглядываясь к ним, я увидел множество противоречий. Процесс демократизации культуры длителен и сложен. В первые двадцать пять лет расширение культуры шло за счет ее глубины; всеобщая грамотность на первых порах привела к духовной полу грамотности, к упрощению. Только в годы второй мировой войны началась новая стадия - культурного углубления.

Помню, как удивились французские писатели, узнав о тиражах переводов на языки Советского Союза Бальзака, Стендаля, Золя, Мопассана. Конечно, цифры тиражей - это не справка о богатом урожае, но это данные о расширении посевной площади. Жажда знаний в те годы не знала предела; я это особенно остро чувствовал, приехав из страны, где жили Валери, Клодель, Элюар, Сен-Жон Перс, Арагон, Сюпервьель, Деснос, много других прекрасных поэтов, которых все признавали и которых мало кто читал.

Летом 1932 года в Москве я получил письмо из небольшого уральского города; писал мне молодой учитель: «...Кстати, спросите французского писателя Дрие ля Рошелля, какой злой дух нашептывает ему разные нелепости вроде следующей: «То, что было жизнью, не представляет абсолютно никакого интереса. Сознание более невозможно, ибо нечего сознавать». (В передаче нашей «Литгазеты» его роман «Блуждающий огонек».) Сообщите ему заодно, что один из миллионов людей, населяющих страну, из которой вы приехали, и небезуспешно пробуящих перекроить старую жизнь мира по-новому, уверяет его честью, что эта старая жизнь полна «абсолютного» интереса и что, кроме его больного сознания, есть еще нетронутые залежи сознания миллионов, которым предстоит осознать еще бесконечно многое. Скажите ему также, что, по мнению его оппонента с далекого Урала, человеческое сознание только еще готовится к выполнению той великой роли, что определила ему история: роли грамотного переводчика великого языка чувств, состоящего из любви, ненависти, мужества, дерзания, готовности к жертве и т. п., на новый язык, освобождающий их от уз догмата, для новой жизни».

(Дрие ля Рошелль тогда вращался в левых кругах, и я его иногда встречал. Я перевел ему письмо уральского учителя; он развел руками: «Зачем же он принимает каждое мое слово всерьез? Это прекрасно и вместе с тем глупо...») Конечно, учитель, приславший мне письмо, был на десять голов выше рядовых юношей того времени; я привел его размышления отнюдь не как показательные для духовного развития молодых людей в годы первой пятилетки, но в письме есть прекрасные слова о нетронутых залежах сознания. Именно в те годы целина впервые была тронута.

Один молодой тунгус увидел в Кузнецке велосипед; долго его рассматривал, наконец спросил: «Где мотор?» Он хорошо знал, что люди ездят в автомобилях, летают на самолетах, а велосипедов никогда не видел. В глухих селениях Сибири люди знали о существовании беспроводного телеграфа и, увидав столбы с проводами, удивились - зачем проволока?..

В томском музее я познакомился с молоденькой девушкой, шоркой; она училась на медицинском факультете и принесла в музей деревянного человечка, которого родители ей дали как талисман

против лихорадки и злых духов. Она узнала, что в музее собирают предметы старого быта, и принесла экспонат. Она расспрашивала меня о жизни во Франции - много ли там больниц, как борются против алкоголизма, любят ли французы ходить на концерты, сколько лет Ромену Роллану. У нее были глаза доверчивые и пытливые. Наверно, родители просили старого шамана изгнать из непослушной дочери злого духа.

В одном из клубов Кузнецка был литературный вечер; читали стихи Маяковского; аплодировали. Потом один инженер начал декламировать «Для берегов отчизны дальной». Моя соседка, башкирка, послала записку: «Кто автор?» Мы разговорились, она призналась: «Я Пушкина знаю, он написал «Евгения Онегина», а вот таких стихов я никогда не читала. Может быть, я недостаточно культурная, но мне они очень нравятся, даже больше, чем Маяковский... Я не знала, что можно такое писать...»

Передвигаться тогда было трудно; на станции Тайга я застрял на несколько дней. Начальник узла меня разыскал, сказал, что ему нравится «Хулио Хуренито», и дал мне служебный вагон. Правда, с вагоном было тоже нелегко: ночью его неожиданно отцепляли на какой-нибудь станции и загоняли в тупик. Но я хочу рассказать не о вагоне, а о проводнице - молоденькой сибирячке Вале. Вагон она боялась оставить даже на час: «Стекла побьют, порежут сиденья...» Она мне рассказала необычайную историю. В Кузнецк она приехала из деревни и работала уборщицей. В ее бараке было чисто, кто-то из начальства это заметил, и Вале поручили служебный вагон. Времени было много, она начала читать. Один железнодорожник забыл в вагоне книгу «Диспетчерское руководство движением поездов». Валя мне показала эту книгу, я заглянул и ничего не понял. Валя засмеялась: «Я сначала тоже ничего не могла понять, я ее, кажется, сто раз прочитала и в конце стала разбираться. Взяла учебники математики... Теперь подготовилась, обещали отпустить на рабфак...» Не скрою, такие встречи меня потрясали. Я начал смотреть с большим доверием на будущее.

Я много говорил о трудностях жизни; всего не расскажешь. В бараках молодожены пытались завесить койку тряпьем. Случайно я был в одном бараке, когда молодой землекоп привел туда девушку

(уже начались морозы). У них не было занавески, и он прикрыл лица пиджаком.

Несмотря на суровый быт, рождались новые чувства, мысли; юноши и девушки часто при мне спорили, существует ли вечная любовь, можно ли оправдать ревность, принижает ли комсомольца грусть, нужны ли строителям стихи Лермонтова, музыка, часы одиночества.

Я говорил, что собираюсь написать книгу о молодежи, и мне приносили дневники, письма; рассказывали про работу, про сердечные невзгоды. Иногда я спрашивал и записывал ответы.

Еще до того как я написал повесть «День второй», я опубликовал в парижском литературном журнале «Ля нувелль ревью франсез» некоторые из собранных мною документов. В предисловии я говорил: «Обычно писатель не знакомит читателей с различными материалами, которые помогли ему написать книгу; но мне кажется, что эти документы представляют собой ценность независимо от моей работы. Многим они покажутся более убедительными, чем самый удачный роман...»

Теперь я раздобыл в библиотеке старую книжку французского журнала, перечитал отрывки из дневников, писем, стенограмм и подумал - жизнь изменилась, а вот многие вопросы, которые впервые ставили юноши и девушки в те годы, продолжают волновать нашу молодежь: здесь и споры о том, как избежать узкой специализации, и ужас перед двурушничеством, лицемерием, и проблема подлинной дружбы, и проклятия равнодушию.

В двадцатые годы доживала свой век старая, крестьянская Расея. На заводах, в различных учреждениях еще преобладали люди, сформировавшиеся до революции. Начало тридцатых годов стало переломом. Строительство Кузнецка я вспоминаю с ужасом и с восхищением; все там было невыносимо и прекрасно.

Я сказал, что металл Кузнецка помог нашей стране отстоять себя в годы фашистского нашествия. А другой металл - человеческий?.. Строители Кузнецка, как и все их сверстники, прожили нелегкую жизнь. Одни погибли молодыми - кто в 1937-м, кто на фронте. Другие преждевременно стали сутулиться, примолкли - уж слишком много было неожиданных поворотов, к слишком многому приходилось привыкнуть, приспособиться... Теперь тем героям «Дня второго»,

которые выжили, лет пятьдесят или шестьдесят. У этого поколения было мало времени для раздумий. Его утро было романтичным и жестоким - коллективизация, раскулачивание, леса строек. Дальнейшее все помнят. От людей, родившихся накануне первой мировой войны, потребовалось столько мужества, что его хватило бы на несколько поколений, мужества не только в работе или в бою, но в молчании, в недоумении, в тревоге. Я видел этих людей окрыленными в 1932 году. Потом крылья стали не по сезону. Крылья первой пятилетки достались по наследству детям вместе с заводами-гигантами, оплаченными очень дорогой ценой.

До поездки в Кузнецк я читал очерки, рассказы о строительстве. Увидел я не то, о чем читал. Не помню, когда именно в статьях о литературе появилось выражение «лакировать» - кажется, позднее. Толковый словарь так объясняет этот неологизм: «Приукрашать, представлять что-нибудь в лучшем виде, чем есть на самом деле». Между тем действительность не только страшнее, но и прекраснее тех благонаправных и назидательных картинок, которые изготовляли, да и продолжают изготовлять «лакировщики».

Кто не помнит романов или фильмов, в которых война изображалась как маневры - с веселыми солдатами в новеньких гимнастерках, с песнями, с лозунгами, с парадным маршем к победе? Разве под лаком не пропадала глубина красок? Разве можно было, глядя на экран, где падение Берлина показывалось как феерия, понять подвиг советского народа, стоявшего насмерть у Ленинграда, под Москвой, на узкой полоске приволжской земли?

Так было и со строительством Кузнецка или Магнитогорска. Люди строили заводы в неслыханно трудных условиях. Кажется, никто нигде так не строил, да и не будет строить. Фашизм вмешался в нашу жизнь задолго до 1941 года. На Западе шла лихорадочная подготовка к походу на Советский Союз; и первыми окопами были котлованы новостроек.

Я увидел самоотверженность одних, жадность, косность других. Строили все, но строили по-разному: кто по идее, кто по нужде, кто по принуждению. Для многих это было началом строительства не только заводов, но и человеческого сознания. Я назвал мою повесть «День второй». По библейской легенде, мир был создан в шесть дней. В первый день свет отделился от тьмы, день от ночи; во второй - твердь от хляби, суша от морей. Человек был создан только на шестой день. Мне казалось, что в создании нового общества годы первой пятилетки были днем вторым: твердь постепенно отделялась от хляби. А хляби было много (ее всегда больше, чем тверди, как на земном шаре больше морей, нежели суши). Я не хотел об этом умолчать и рядом с Колей Ржа новым, Смолиным, Ириной, с лучшими

представителями молодого поколения, показал циников, эгоистов, людей, равнодушных ко всему, что не связано с их личной судьбой.

Я отнюдь не пытался быть бесстрастным летописцем; повесть диктовалась восхищением, любовью, жаждой отстоять первые побегии нового сознания. Именно поэтому я стремился быть правдивым: действительность не нуждалась в гриме. Я знал, конечно, что многие сочтут мой рассказ за клевету, лишний раз вспомнят, что я «неисправимый скептик», будут говорить, что я захотел исказить прекрасную действительность, то есть не изготовил еще одной олеографии по установленному и одобренному образцу. Но когда я писал, я не думал ни о критиках, ни о редакторах, не гадал, издадут ли мою книгу, писал с волнением дни и ночи напролет.

Я начал повесть в ноябре, кончил в феврале; некоторые главы переписывал много раз. Я упоминал, что почти каждый день ко мне приходил И. Э. Бабель, читал страницы рукописи, иногда одобрял, иногда говорил: нужно переписать еще раз, есть пустые места, невыписанные углы... Порой, снимая после чтения очки, Исаак Эммануилович лукаво улыбался: «Ну, если напечатают, это будет чудо...»

В повести есть и некоторые итоги моих долгих раздумий. Володя Сафонов - хороший, честный юноша; он учится в Томском университете, потом уезжает в Кузнецк; он начитан, душевно тонок, любит чистой любовью Ирину. Но он не верит в рождение нового сознания; по собственным его признаниям, он отравлен мудростью старых книг и терзается от наивности, от детскости своих товарищей. Он пишет в дневнике: «Я работал на заводе. Учусь. Буду, наверно, честным спецом. Но все это навязано мне извне. Сердцем я никак не участвую в окружающей меня жизни... Для стройки я непригоден. В горном деле это, кажется, называется «пустой породой»... Вы устранили из жизни еретиков, мечтателей, философов, поэтов. Вы установили всеобщую грамотность и столь же всеобщее невежество. После этого вы собираетесь и на шпаргалке лопочете о культуре... Муравьиная куча - образец разумности и логики; но эта куча существовала и тысячу лет назад. Существуют муравьи-рабочие, муравьи-спецы, муравьи-начальники. Но еще не было на свете муравья-гения. Шекспир писал не о муравьях. Акрополь построен не

муравьями. Закон тяготения нашел не муравей. У муравьев нет ни Сенек, ни Рафаэлей, ни Пушкиных. У них есть куча, они работают...»

Володя встречает французского журналиста, долго его расспрашивает, видит, что и на Западе нет той культуры, которой он жаждет. На студенческом собрании Сафонов собирался обличать наивность и невежество своих товарищей, но вместо этого, под впечатлением разговора с французом, говорит: «Можно ли сомневаться в том, за кем будущее? Я это чувствую особенно остро, потому что лично я, скорее всего, обречен. Я хочу быть со всеми, стараюсь хорошо работать... Дело не во мне, дело в нас. Я твердо говорю это слово «мы». Мы должны победить... Культура не рента: ее нельзя хранить в шкафу. Она создается ежечасно - каждым словом, каждой мыслью, каждым поступком. Я здесь слышал - вы говорили о музыке, о поэзии. Это и есть рождение культуры, ее рост, мучительный, трудный рост...» Вернувшись домой, он записывает в дневнике: «Самое любопытное, что я говорил искренне. Во всяком случае, не от страха. Но я говорил не то, что думал. Или: то, да не то. За меня как будто говорили другие...»

Ирина в неотправленном письме с ним спорит: «...Ты умней других. Больше знаешь. Но ты ничего не делаешь, чтобы жизнь стала лучше. Ты замечаешь только плохое и насмехаешься. Ты думаешь, я сама не вижу, сколько вокруг безобразия? Наша стройка проходит в прекрасной, чистой лаборатории, но, скажу прямо, на скотном дворе. Малодушие, двурушничество, мелкие интересы! Минутами мне страшно становится за все и за всех. Вот именно поэтому я считаю, что мы должны бороться, а не только усмехаться и рассказывать шепотом плутовые анекдоты... Ты мне сказал «человек теперь не может любить», Володенька, ведь это неправда... Жизнь теперь такая тяжелая, такая напряженная, такая большая, что и любовь растет. Трудно, очень трудно теперь любить!.. Вот ты говорил «теперь не любовь, а чугун» и повторял «чугун, чугун» - тебе это почему-то смешно. А это совсем не смешно. Скажи сам, что сейчас важнее: читать твоего Франса или отливать рельсы, чтобы наконец стало в стране немного больше хлеба или ситца? Но люди сейчас не только отливают чугун. Или нет, они только отливают чугун, но в этом чугуне не только кокс и руда, в нем еще что-то другое. Вот как Сеня

«рвется в тьму мелодии», так сейчас рвутся - все выше и выше! Это и домны, и стихи, и любовь...»

Ирина предпочла обреченному Володе живого Колю Ржанова. Но не поэтому Володя кончил жизнь самоубийством. Никто ему не протягивал веревки - ни товарищи, ни старый профессор, к которому он пришел в последний день за советом, ни автор повести. Его довела до отчаяния обостренная совесть. А если кто-нибудь и осудил его, то разве что эпоха, та самая, что по ночам приходила на улицу Котантен и вела со мной нескончаемые беседы.

Я остановился на Володе, потому что многие критики пытались его выдать за врага. Издание «Дня второго» (1953 год) снабжено примечаниями Б. Емельянова, который уверяет, будто Володя был фашистом: он ведь сказал старой библиотекарше, что хотел бы сжечь все книги. Да, Володя однажды признался, что ненавидит книги, как пьяница - водку. Но вряд ли этот книжник напоминает гитлеровского штурмовика. Володя запутался в собственных противоречиях. Будь у него немного меньше совестливости и немного больше цепкости, он не повесился бы, а стал бы уважаемым всеми специалистом.

Я показал в повести не только Колю и его друзей, я показал также летунов, спекулянтов, темных людей, ломающих машины; старался сказать всю правду. Если повесть мне казалась, да и теперь кажется, оптимистической, то не потому, что в итоге величайших испытаний начинали входить в строй цехи, а потому, что сотни тысяч, миллионы строителей постепенно становились настоящими людьми. Повесть кончается словами бывшего партизана: «Поглядите на Колю Ржана нова, на других ребят. Я с ними сражался в Кузнецке, когда был прорыв на кауперах. Я вместе с ними боролся за эту дамбу... Я, как старый партизан скажу, что я могу теперь спокойно умереть, потому что есть у нас, товарищи, настоящие люди...»

В повести нет главного героя; она, как у нас говорят, «калейдоскопична» - проходит бегло множество персонажей. Я увлекался короткими фразами, быстрым монтажом, мелькающими кадрами: мне хотелось найти для нового содержания новую форму.

В июне 1934 года журнал «Литературный критик» устроил в Москве обсуждение «Дня второго». Я впервые присутствовал на собрании, где говорили о моей книге и где мне самому нужно было выступить. Часто в моих воспоминаниях я отзывался с иронией или

досадой о своих давних суждениях. А вот я прочитал стенограмму обсуждения «Дня второго» и, как это ни странно, почти со всем, что говорил двадцать семь лет назад, согласен и теперь. «Я чувствую себя сегодня, как один из строителей Беломорстроя: грешил, но искупил свои грехи, допущен в ряды сознательных граждан, которые строят социалистическое отечество... Уверенность, что нас, писателей, нужно судить, а мы должны каяться, на мой взгляд, неправильна... Я написал много скверных книг, не умел вынашивать книгу - не хватало зрелости; но никогда я не клеветал на советскую действительность... Теперь некоторые товарищи говорят, что я остановился в «Дне втором» на трудностях, потому что привык к комфорту... Товарищ Франкфурт, начальник строительства, и секретарь горкома считают, что я ничего не «сгущал», а показал трудности, которые были на самом деле... Товарищи здесь говорили, что Володя - умница, но что ему не противопоставлен честный комсомолец с равной эрудицией. Но, товарищи, у нас не шестой день, а второй... Я не знаю, удался ли мне «День второй», но эпигонствовать я не хочу... Мои книги написаны каракулями. Вероятно, мы все в некоторой степени Тредьяковские. Но Тредьяковский сыграл свою роль... Лучше сейчас сделать слабую книгу, но свою, чем взять немножко от Золя, немножко от Льва Толстого и немножко от советской действительности...»

Я и теперь не знаю, удалось ли мне, хотя бы частично, осуществить свой замысел. Может быть, «День второй» - слабая книга, но она не подражательна и написана по внутренней необходимости.

Дочитав последнюю страницу, Бабель сказал «вышло»; в его устах для меня это было большой похвалой. (Когда книгу перевели на французский язык, я получил длинное письмо от Ромена Роллана; он писал, что «День второй» помог ему лучше узнать советскую молодежь.)

Я послал рукопись Ирине и попросил отдать ее в издательство «Советская литература». Вскоре Ирина мне сообщила, что рукопись вернули: «Передайте вашему отцу, что он написал плохую и вредную вещь».

Я решился на отчаянный поступок: напечатал в Париже несколько сот нумерованных экземпляров и послал книги в Москву -

членам Политбюро, редакторам газет и журналов, писателям.

В тридцатые - сороковые годы судьба книги порой зависела от случайности, от мнения одного человека. Это было лотереей, и мне повезло - несколько месяцев спустя я получил длинную телеграмму от издательства: высылают договор, поздравляют, благодарят.

«День второй» вышел в Москве в апреле 1934 года. Радек в «Известиях» писал: «Это не «сладкий роман». Это роман, правдиво показывающий нашу действительность, не скрывающий тяжелых условий нашей жизни...» В тот же самый день появилась в «Литературной газете» статья А. Гарри: «Писатель воспекает разнузданную стихию, в данном случае являющуюся стихией, созидающей один из крупнейших в мире металлургических заводов. На фоне строительного хаоса живут, любят и страдают маленькие человечки. Кроме того, человечки эти, к сожалению, еще и мыслят. Это уже совсем плохо, потому что мыслят они чрезвычайно беспомощно. В романе И. Эренбурга люди потерялись в хаосе новостройки, они заблудились в канавах, экскаваторах и кранах. Такая странная вещь в романе приключилась не только с «отрицательными» типами, но и с «положительными». А это уже клевета. Вообще говоря, если придирается к роману И. Эренбурга, то можно без труда доказать, что это произведение является апологией австромарксистской бредни о «пятилетке, построенной на костях ударников». Радек во второй статье возражал: «Что же считает Гарри, что социалистический реализм состоит в том, чтобы художник рисовал лубки, показывал, каким легким делом является постройка социализма?» Этот спор мне кажется взятым из свежих газет...

Все это было свыше года спустя после того, как я дописал «День второй». А в тот самый день, когда я узнал из письма Ирины, что издательство отвергло мою книгу, мне принесли немецкую газету с описанием майского аутодафе: берлинские студенты, под руководством Геббельса, развели костер перед зданием университета и на нем сжигали ненавистные им книги - по списку, составленному заранее. Среди прочих книг сожгли и переводы моих романов.

Газеты были заполнены ужасающими сообщениями: еврейские погромы, расстрелы коммунистов, концлагеря. В. С. Довгалецкий, вернувшись из Женевы, рассказывал, как сорвали конференцию по разоружению; в Англию ездил Розенберг; некоторые английские

политики стоят за вооружение Германии - рассчитывают, что нацисты двинутся на Россию. Именно поэтому и подписан «Пакт четырех»...

Я был с Жаном Ришаром Блоком на антифашистском митинге в зале «Мютюалитэ». Зал нервничал, люди вскакивали, сжимали кулаки. Один немец, убежавший из концлагеря, своим рассказом довел многих до слез.

Потом мы сидели в маленьком кафе с профессором Ланжевенном. Печально улыбаясь, он говорил: «До чего все это глупо! Человечество еще не вышло из младенческого возраста - позади у него всего два миллиарда лет...» Я спросил: «А сколько впереди?» - «Десять миллиардов, если оно по глупости не кончит своего существования самоубийством...»

Жан Ришар горячился, говорил, что нужно создавать повсюду комитеты, действовать, пока не поздно. Мимо кафе проходили рабочие, пели «Это есть наш последний...».

Потом в кафе пришла Андре Виоллис, женщина смелая и непримиримая. Она рассказывала о зверствах легионеров в Индокитае, о пытках, сожженных деревнях. Я слышал и читал те же истории и десять лет спустя, и двадцать. Менялись формы усмирителей, но жестокие и бессильные колонизаторы походили один на другого. Недавно у меня были вьетнамские писатели; я назвал имя Андре Виоллис, и они с восхищением сказали: «Ее у нас знают, это была писательница, которая первая сказала Западу правду».

Началась новая глава не только истории, но и биографии каждого человека моего поколения, глава, может быть, самая трудная.

AN id=title>

1

Поздней осенью 1921 года после сытого и спокойного Брюсселя я увидел Берлин. Немцы жили, как на вокзале, никто не знал, что приключится завтра. Продавцы газет выкрикивали: «Бе Цет! Последний выпуск! Коммунистическое выступление в Саксонии! Подготовка путча в Мюнхене!» Люди молча читали газету и шли на работу. Владельцы магазинов каждый день меняли этикетки с ценами: марка падала. По Курфюрстендамму бродили табуны иностранцев: они скупали за гроши остатки былой роскоши. В бедных кварталах

разгромили несколько булочных. Казалось, все должно рухнуть, но дымили трубы заводов, банковские служащие аккуратно выписывали многозначные цифры, проститутки старательно румянились, журналисты писали о голоде в России или о благородном немецком сердце Людендорфа, школьники зубрили летопись былых побед Германии. На каждом шагу были танцульки «диле»; там методически тряслись отощавшие парочки. Грохотал джаз. Помню две модные песенки: «Вы любите ль бананы» и «Моя черная Соня» («Шварце Сониа»). В одной из танцулек хриплый тенор был: «Завтра светопреставление...» Светопреставление, однако, со дня на день откладывалось.

Келлерман выпустил роман о революции в Германии - «9 ноября». Не знаю, скажет ли что-нибудь эта дата молодым читателям. 9 ноября 1918 года кайзер поспешно отбыл в Голландию, и социал-демократы объявили республику. В министерствах, однако, сидели прежние сановники и чиновники, швейцар почтительно говорил: «Добрый день, господин тайный советник». Я остановился в пансионе на Прагерплац; рядом был широкий проспект Кайзераллее; я пошел бродить по городу и попал на огромную площадь, она называлась Гогенцоллернплац. В комнатах пансиона висели портреты усатого Вильгельма.

Я подружился с поэтом Карлом Эйнштейном. Это был веселый романтик, лысый, с огромной головой, на которой красовалась шишка. Он рассказывал, что был на Западном фронте солдатом и заболел психическим расстройством. Он напоминал мне моих давних друзей, завсегдатаев «Ротонды», и любовью к негритянской скульптуре, и кощунственными стихами, и тем сочетанием отчаяния с надеждой, которое уже казалось воздухом минувшей эпохи. Карл Эйнштейн написал пьесу о Христе. Его предали суду за богохульство. Я пошел на судебное разбирательство. Происходило это в полутемном, мрачном зале. Обычно понятие религиозного фанатизма связывают с католицизмом, с папскими буллами, с инквизицией. Однако медика Сервета сожгли не католики, а кальвинисты, которых католики считали вольнодумцами,- сожгли за то, что он не связывал функций организма с провидением. Эксперты на процессе Карла Эйнштейна цитировали труды просвещенных теологов XX века.

(В 1945 году я увидел размолотый войной Берлин. От здания, где когда-то судили Карла Эйнштейна, оставалась стена, на которой русский сапер написал, что район очищен от мин.)

В Берлине 1921 года все казалось иллюзорным. На фасадах домов по-прежнему каменели большегрудые валькирии. Лифты работали; но в квартирах было холодно и голодно. Кондуктор вежливо помогал супруге тайного советника выйти из трамвая. Маршруты трамваев были неизменными, но никто не знал маршрута истории. Катастрофа прикидывалась благополучием. Меня поразили в витринах магазинов розовые и голубые манишки, которые заменяли слишком дорогие рубашки; манишки были вывеской, доказательством если не благоденствия, то благопристойности. В кафе «Иости», куда я иногда заходил, бурду, именуемую «мокка», подавали в металлических кофейниках, и на ручке кофейника была перчаточка, чтобы посетитель не обжег пальцев. Пирожные делали из мерзлой картошки. Берлинцы, как и прежде, курили сигары, и назывались они «гаванскими» или «бразильскими», хотя были сделаны из капустных листьев, пропитанных никотином. Все было чинно, по-хорошему, почти как при кайзере.

Как-то вечером мы шли с В. Г. Лидиным, который только что приехал из Москвы. Кафе закрывались рано: «полицайштунде» был остатком военных лет. К нам подошел человек и предложил провести в ночное кафе - «нахтлокаль». Мы ехали в метро, долго шли по скудно освещенным улицам и наконец оказались в добропорядочной квартире. На стенах висели портреты домочадцев в офицерской форме и картина, изображавшая закат солнца. Нам дали шампанское - лимонад с примесью спирта. Потом пришли две дочки хозяина, голые, и начали танцевать. Одна из них разговорилась с Владимиром Германовичем; оказалось, ей нравятся романы Достоевского. Мать с надеждой поглядывала на иностранных гостей: может быть, они соблазнятся ее дочками и заплатят - разумеется, в долларах, с марками беда, за ночь они снова упадут. «Разве это жизнь? - вздыхала почтенная мамаша. - Это светопреставление...»

Незадолго до моего приезда в Берлин исступленные националисты убили одного из руководителей партии центра - Эрцбергера. Приверженцы монархического союза «Бисмарк», не стесняясь, одобряли убийство. Законники делали вид, что изучают

параграфы уложения, социал-демократы стыдливо вздыхали, а будущие эсэсовцы учились стрелять в живую цель.

Все это не мешало выдавать катастрофу за естественную, хорошо налаженную жизнь. Протезы инвалидов не стучали, а пустые рукава были заколоты булавками. Люди с лицами, обожженными огнеметами, носили большие черные очки. Проходя по улицам столицы, проигранная война не забывала о камуфляже.

Газеты сообщали, что из ста новорожденных, поступающих в воспитательные лагера, тридцать умирают в первые дни. (Те, что выжили, стали призывом 1941 года, пушечным мясом Гитлера...)

«Уфа» поспешно изготовляла кинокартины; они были посвящены всему, кроме минувшей войны. Зрители, однако, требовали аффектации страданий, иступленной жестокости, трагических развязок. Я случайно попал на съемку одного фильма. Героиню отец пытался замуровать, любовник бил ее плеткой, она кидалась вниз с седьмого этажа, а герой вешался. Режиссер рассказал мне, что в картине будет и другой, счастливый конец - для экспорта. Не раз я видел, с каким восхищением глядели бледные, тщедушные подростки на экран, где крысы загрызали человека или ядовитая змея жалила красавицу.

Я смотрел выставки «Штурма»; передо мной были не холсты, не живопись, а истерика людей, у которых вместо револьверов или бомб оказались кисти и тюбики с красками. В моих заметках остались названия нескольких холстов: «Симфония крови», «Радиохаос», «Цветная гамма конца света». Душевный разлад требовал выхода, и то, что критики называли «неоэкспрессионизмом» или «дадаизмом», было куда более связано с памятью о битве на Сомме, с восстаниями и путчами, с манишками на голом теле, чем с живописью. У вдохновителя «Штурма» Вальдена было лицо осунувшейся птицы и длинные космы. Он любил говорить о двойниках, об интуиции, о конце цивилизации. В картинной галерее, где стены метались, он чувствовал себя уютно, как в обжитом доме, угощал меня кофе и тортом со взбитыми сливками - их приносили из соседнего кафе.

Я поехал в Магдебург; фасады домов, трамваи, газетные киоски были щедро покрыты все той же истерической живописью. Во главе строительного управления города стоял талантливый архитектор Бруно Таут. Корбюзье вдохновлялся геометрией. Что ж, он жил во

Франции... А Бруно Таут жил в стране, где все путалось: голод и спекуляция, вчерашние мечты о Багдаде и завтрашний поход в Индию, «пивные путчи» и рабочие восстания. (После прихода к власти Гитлера Бруно Таут уехал в Японию и обрадовался, увидав там современную архитектуру - традиционные японские дома, светлые и голые.)

Я помнил полотна супрематистов на улицах Москвы и все же в Магдебурге растерялся. Как бы ни был непривычен, порой сух язык Татлина, Малевича. Поповой, Родченко, то был язык искусства. В немецкой живописи меня стесняла литературщина, да и полное отсутствие чувства меры: холсты вопили.

Помню обложку стихов Газенклевера: человек с отчаянным лицом кричит. В поэзии свирепствовала инфляция прорицаний; и Верфель и Унру сулили миру гибель. А на улице прохожие, равнодушные к поэзии, подозрительно молчали.

Я встречался с Леонгардом Франком. Ему исполнилось сорок лет, он был уже известным писателем, но оставался мечтательным юношей: стоит людям поглядеть друг другу в глаза, улыбнуться - и сразу исчезнет злое наваждение. Да и потом он мало менялся; ничто не могло его ожесточить. Я встречал его в годы фашизма в Париже, после войны, когда, проживая в Западной Германии, он приезжал в Берлин и дружески беседовал с писателями ГДР. Одна из его книг называется «Человек хорош»; это очень субъективная оценка - Франк узнал, что такое эсэсовцы, но он-то сам действительно был хорошим человеком.

Артур Голичер потрясал седыми кудрями. «Ты увидишь - не пройдет и года, как рабочий Берлин протянет руку Москве...»

В квартале, облюбованном иностранными мародерами и новыми богачами, которых звали «шиберами», пометалось «Романишес кафе» - приют писателей, художников, мелких спекулянтов, проституток. Там можно было увидеть итальянцев, убежавших от касторки Муссолини, венгров, спасшихся от тюрем Хорти. Там венгерский художник Моголи Надь спорил с Лисицким о конструктивизме. Там Маяковский рассказывал Пискатору о Мейерхольде. Там итальянские фантазеры мечтали о международном походе рабочих на Рим, а ловкачи покупали или продавали мелкие купюры долларов. Солидные бюргеры, направляясь в воскресенье на богослужение в

Гедехтнискирхе, пугливо поглядывали на «Романишес кафе» - им казалось, что напротив церкви разместился штаб мировой революции.

Западный Берлин и тогда был «западным»: это связано не только с ветрами истории, но и с обыкновенными ветрами: в Берлине, в Лондоне, в Париже западные районы облюбованы богатыми людьми - обычно ветры дуют с океана и заводы размещаются на восточных окраинах.

В западном Берлине надеялись на Запад и в то же время его ненавидели: мечты о защите против коммунистов смешивались с мечтами о реванше. В витринах магазинов можно было увидеть надписи: «Здесь не продают французских товаров»; это редко соответствовало действительности, и жене шибера не приходилось ломать себе голову над вопросом, где купить духи Герлена: патриотизм отступал перед жаждой наживы. Однако московскому Камерному театру, когда он приехал в Берлин на гастроли, пришлось переименовать французскую оперетку «Жирофле-Жирофля» в «Близнецов», а «Адриенну Лекуврер» - в «Морица Саксонского».

В восточном и северном Берлине можно было порой услышать «Интернационал». Там не торговали долларами и не оплакивали кайзера. Там люди жили впроголодь, работали и ждали, когда же разразится революция. Ждали терпеливо, может быть слишком терпеливо... Я видел несколько демонстраций. Шли ряды хмурых людей, подымали кулаки. Но демонстрация заканчивалась ровно в два часа - время обедать... Помню разговор с одним рабочим. Он мне доказывал, что число членов в его профсоюзе возрастает, значит, пролетариат победит. Страсть к организации - почтенная страсть; однако в Германии она мне казалась чрезмерной. (В 1940 году я увидел Берлин без автомобилей - берлинские машины носились по дорогам Европы: третий рейх завоевывал мир. Но прохожие, увидев красный свет, цепенели, никто не осмеливался перейти пустую улицу.) Мой собеседник в 1922 году жил начальной арифметикой. А на дворе была эпоха Ленина и Эйнштейна...

В пивной на Александерплац я впервые услышал имя Гитлера. Какой-то посетитель восторженно рассказывал о баварцах: вот кто молодцы! Скоро они выступят. Это свои люди, рабочие и настоящие немцы. Они всех приберут к рукам: и французов, и евреев, и шиберов,

и русских... Соседи запротестовали, но сторонник некоего Гитлера упрямо повторял: «Я говорю как немец и как рабочий...»

Марка продолжала падать; когда я приехал, газета стоила одну марку; вскоре приходилось платить за нее тридцать. Открыли новую линию метро. В «диле» парочки танцевали до изнеможения, танцевали старательно, будто выполнили тяжелую работу. Ллойд-Джордж заявил, что немцы выплатят репарации до последнего пфеннига. Смертность на почве хронического недоедания возрастала. Все говорили о Стиннесе и Шпенглере. Стиннеса знали хорошо: он был некоронованным кайзером, властителем Рура, Гефестом нового Олимпа. Мало кто читал труды Шпенглера, но все знали название одной из его книг - «Закат Западного мира» (по-русски перевели «Закат Европы»), в которой он оплакивал гибель близкой ему культуры. На Шпенглера ссылались и беззастенчивые спекулянты, и убийцы, и лихие газетчики, - если пришло время умирать, то незачем церемониться; появились даже духи «Закат Запада».

То и дело вспыхивали забастовки. В кафе «Июсти» прилично одетый посетитель упал на пол. Врач, сидевший за соседним столиком, осмотрел его и громко сказал: «Дайте ему настоящего кофе... Истощение на почве хронического недоедания...» Жить становилось все труднее, но люди продолжали аккуратно, старательно работать.

В переполненном трамвае меня обозвали «польской собакой». На стене хорошего буржуазного дома, где возле парадной двери значилось «Только для господ», я увидел надпись мелом: «Смерть евреям!» Все было колоссальным: цены, ругань, отчаяние. Поэты из журнала «Акция» писали, что после нэпа они больше не верят в Россию, немцы покажут миру, что такое настоящая революция. Один из поэтов сказал: «Нужно начать с того, чтобы в различных странах одновременно убили десять миллионов человек, это минимум...» (Герцен писал о «Собакевиче немецкой революции» Гейнцене, который мечтал: «Достаточно избить два миллиона человек на земном шаре, и дело революции пойдет как по маслу».) Один из сотрудников «Роте Фане» мне говорил: «Ваш «Хуренито» - безобразная книга! Не понимаю, как могли ее издать в Москве. Когда мы придем к власти, у нас такого не будет...»

У власти стоял канцлер Вирт. Он пытался спасти Германскую республику и в Рапалло подписал соглашение с Советской Россией. Англичане и французы возмутились. Что касается немцев, то они продолжали ждать: одни ожидали революции, другие - фашистского путча.

Канцлера Вирта я встретил в 1952 году в Вене, на Конгрессе сторонников мира. Ему тогда было семьдесят пять лет. Как-то после затянувшегося заседания мы разговорились. Вирт сказал: «Когда писатель заканчивает роман, он должен испытывать удовлетворение - хотя бы несколько страниц удались. Другое дело - вечер жизни политического деятеля; здесь важны не отдельные удачи, а концовка. Я могу сказать, что моя жизнь перечеркнута. Сначала пришел Гитлер. Я знал, что будет война. Мне пришлось уехать за границу. Когда война кончилась, пришел Аденауэр. Мы с ним были в одной партии, он старше меня на три года. Я ему говорил, что он повторяет ошибки своих предшественников. Он умный человек, но этого понять он не может... Я не хочу дожить до третьей войны. А что я могу сделать? Разве что выступать на ваших конгрессах. Но это, простите меня, ребячество». Он закрыл свои тусклые, утомленные глаза...

В летний день на улице Груневальда фашист из организации «Консул» застрелил министра иностранных дел Ратенау. Когда полиция набрела на след убийц, они покончили жизнь самоубийством. Фашистов похоронили с воинскими почестями.

Владельцы магазинов не успевали менять цены; они придумали выход: цены якобы оставались неизменными, но их нужно было умножить на «плюссельцаль» - на коэффициент. Вчера он был четыреста, сегодня шестьсот: На экранах краинных кино продолжал безумствовать все тот же доктор Калигари. За один день в Берлине было зарегистрировано девять самоубийств. Начал выходить журнал «Дружба», посвященный теории и практике гомосексуализма.

Германия тех лет нашла своего портретиста - Георга Гросса. Он изображал шиберов, у которых пальцы напоминали короткие сосиски. Он изображал героев минувшей и будущей войны, человеконенавистников, обвешанных железными крестами. Критики его причисляли к экспрессионистам; а его рисунки - сочетание жестокого реализма с тем предвидением, которое люди почему-то называют фантазией. Да, он осмелился показать тайных советников

голыми за письменными столами, расфуфыренных толстых дамочек, которые потрошат трупы, убийц, старательна моющих в тазике окровавленные руки. Для 1922 года это казалось фантастикой, в 1942 году это стало буднями. Рисунки Гросса в их жестокости поэтичны, они сродни деревянным Ледам Гильдесгейма, типографским гномам готической азбуки, кабачкам под ратушами, запаху горя и солода, который стоит на узких средневековых улицах.

У Гросса были светлые глаза младенца, застенчивая улыбка. Он был мягким и добрым человеком, ненавидел жестокость, мечтал о человеческом счастье; может быть, именно это помогло ему беспощадно изобразить те хорошо унавоженные парники, в которых укоренялись будущие оберштурмфюреры, любительницы военных трофеев, печники Освенцима.

Весь мир тогда глядел на Берлин. Одни боялись, другие надеялись: в этом городе решалась судьба Европы предстоящих десятилетий. Все мне здесь было чужим - и дома, и нравы, и аккуратный разврат, и вера в цифры, в винтики, в диаграммы. И все же я тогда писал: «... Мои любовные слова о Берлине я снабдил столь непривлекательными описаниями, что ты, вероятно, обрадуешься, что ты не в Берлине... Я прошу тебя, поверь мне за глаза и полюби Берлин - город отвратительных памятников и встревоженных глаз». Два года я прожил в этом городе в тревоге и в надежде: мне казалось, что я на фронте и что короткий час, когда замолкают орудия, затянулся. Но часто я спрашивал себя: чего я жду? Мне хотелось верить, и не верилось...

Маяковский, приехав впервые в Берлин осенью 1922 года, объяснялся в любви:

Сегодня хожу по твоей земле, Германия, и мои любовь к тебе расцветает все романнее и романнее.

«Романнее» звучит для нас странно; видимо, оно произведено от «романа» не в литературном, а в разговорном значении этого слова. Иногда поэт видит то, чего не видят критики, и тогда поэта обвиняют в ошибках. Иногда поэт ошибается вместе с другими, и критики, как добрые экзаменаторы, одобрительно кивают головами. Говоря о Германии, Маяковский повторил то, что думали в 1922 году миллионы людей. Правда, позади были разгром Советской республики в Баварии, убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург; но впереди маячили

огни Гамбургского восстания. Для современников ничего еще не было решено, и осенью 1922 года я вместе с другими ждал революцию.

Напрасно немцам приписывали умеренность, любовь к золотой середине: не только искусство экспрессионистов, но и слишком многие страницы немецкой истории помечены чрезмерностью.

Маяковский писал, что «сквозь Вильгельмов пролет Бранденбургских ворот» пройдут берлинские рабочие, выигравшие битву. История решила иначе: одиннадцать лет спустя сквозь эти ворота прошли бесновавшиеся гитлеровцы, а в мае 1945 года советские солдаты...

Не знаю, сколько русских было в те годы в Берлине; наверно, очень много - на каждом шагу можно было услышать русскую речь. Открылись десятки русских ресторанов - с балалайками, с зурной, с цыганами, с блинами, с шашлыками и, разумеется, с обязательным надрывом. Имелся театр миниатюр. Выходило три ежедневных газеты, пять еженедельных. За один год возникло семнадцать русских издательств; выпускали Фонвизина и Пильняка, поваренные книги, труды отцов церкви, технические справочники, мемуары, пасквили.

Где-то в Сербии врангелевские генералы еще подписывали военные приказы. Газета «Двуглавый орел» публиковала рескрипты «его императорского величества». Суворин-сын в «Новом времени» составлял списки будущего правительства; иностранные дела предполагалось поручить Маркову-второму, внутренние - Бурцеву. Какие-то проходимцы вербовали изголодавшихся людей в фантастические «отряды смерти». Однако вчерашние поручики и корнеты мечтали уже не о штурме российских городов, а о французской или немецкой визе. Атаман Краснов, отложив батожок, единым духом написал длинейший роман «От двуглавого орла к красному знамени».

Некоторым головорезам трудно было сразу стать шоферами такси или рабочими; они пытались продлить прошлое. Большевики были далеко, приходилось сводить счеты с товарищами по эмиграции. На лекции Милюкова монархисты застрелили кадета Набокова. Черносотенцы обрушились на Керенского, уверяя, будто он сын известной революционерки Геси Гельфман. «Черный гусар» Посажной писал:

Языком, что без оков,
Глупости болтает.
Забывает Милюков,
Что терпенье тает.
Загораются огни,
Мщения пожары.
Он погибнет от меня,

Черные гусары!

Помню, как нас веселила книга некоего Бостунича «Масонство и русская революция», в которой говорилось, что эсер Чернов на самом деле Либерман, а октябрист Гучков - масон и еврей по имени Вакье; Россию погубили вечные ручки Ватермана и шампанское Купферберга, помеченные дьявольскими пентаграммами.

Известный в дореволюционные годы журналист Василевский - Не-Буква писал, что «большевики растлили Сологуба», ссылаясь на роман «Заклинательница змей», написанный до революции. Бурцев называл Есенина «советским Распутиным», К. Чуковского за статью «Ахматова и Маяковский» объявили «советским прихвостнем»; а тот самый Кайранский, что сочинил про меня юдофобские стишки, острил: «Музыкальный инструмент Маяковского - канализационная труба». Не уступали журналистам и писатели с именем. Зинаида Гиппиус травила Андрея Белого, беллетрист Е. Чириков, который многим был обязан Горькому, написал пасквиль «Смердяков русской революции». Бунин чернил всех. Белые газеты, что ни день, объявляли о близком конце большевиков.

Все это было бурей в стакане воды, истерикой низ верже иных помпадуров, работой десятка иностранных разведок или бредом отдельных фанатиков. Среди эмигрантов было много людей, не понимавших, почему они очутились в эмиграции. Одни убежали в припадке страха, другие от голода, третьи потому, что уезжали их соседи. Кто-то остался, кто-то уехал; один брат ходил на субботники в Костроме, другой мыл тарелки в берлинском ресторане «Медведь», взгляды у них были одинаковые, да и характеры сходные. Судьбу миллионов людей решила простая случайность.

Казалось бы, все стало на свое место, твердь отделилась от хляби; а на самом деле еще царила неразбериха переходного времени. Издатель Ладыжников выпускал книги Горького и Мережковского. Другой издатель, З. И. Гржебин, на своих изданиях ставил: «Москва - Петербург - Берлин», а печатал он произведения самых различных авторов - Брюсова и Пильняка, Горького и Виктора Чернова.

Издательство, выпустившее «Хулио Хуренито», называлось поэтично - «Геликон». Горы, где обитали некогда музы, не оказалось; была маленькая контора на Якобштрассе, и там сидел молодой человек поэтического облика - А. Г. Вишняк. Он сразу подкупил меня

своей любовью к искусству. Абрам Григорьевич издавал стихи Пастернака и Цветаевой, книги Андрея Белого, Шкловского, Ремизова. Эмигрантские критики его называли «полубольшевиком». А мы его прозвали «Мурзуком». Он внес в берлинский быт нравы московской зеленой богемы. Марина Цветаева посвятила ему цикл стихотворений в книге «Ремесло», писала о глазах Абрама Григорьевича:

Орлы и гады в них, и лунный год.

Весь грустноглазый твой, чужой народ...

Я подружился с ним и с его женой Верой Лазаревной. Потом Вишняки перебрались в Париж. Когда гитлеровцы оккупировали этот город, мы часто обедали у старых друзей. Расстался я с ними в тревоге, а потом узнал, что эти хорошие, добрые люди погибли в Освенциме.

В Берлине существовало место, наминавшее Ноев ковчег, где мирно встречались чистые и нечистые; оно называлось Домом искусств. В заурядном немецком кафе по пятницам собирались русские писатели. Читали рассказы Толстой, Ремизов, Лидин, Пильняк, Соколов-Микитов. Выступал Маяковский. Читали стихи Есенин, Марина Цветаева, Андрей Белый, Пастернак, Ходасевич. Как-то я увидел приехавшего из Эстонии Игоря Северянина; он по-прежнему восхищался собой и прочитал все те же «поэзы». На докладе художника Пуни разразилась гроза; яростно спорили друг с другом Архипенко, Альтман, Шкловский, Маяковский, Штеренберг, Габо, Лисицкий, я. Вечер, посвященный тридцатилетию литературной деятельности А. М. Горького, прошел, напротив, спокойно. Имажинисты устроили свой вечер, буянили, как в московском «Стойле Пегаса». Пришел как-то Е. Чириков, сел рядом с Маяковским, спокойно слушал.

Теперь мне самому все это кажется неправдоподобным. Года два или три спустя поэт Ходасевич (я уже не говорю о Чирикове) никогда не пришел бы в помещение, где находился Маяковский. Видимо, не все кости еще были брошены. Горького некоторые называли «полуэмигрантом». Ходасевич, ставший потом сотрудником монархического «Возрождения», редактировал с Горьким литературный журнал и говорил, что собирается вернуться в Советскую Россию. А. Н. Толстой, окруженный сменевеховцами, то

восхвалял большевиков как «собирателей земли русской», то сердито ругался. Туман еще клубился.

Успеху Дома искусств немало содействовал его первый председатель, поэт-символист Николай Максимович Минский. Ему тогда было шестьдесят семь лет; он был низеньким, круглым, улыбался и мурлыкал, как ласковый кот. Теперь его имя всеми забыто, а когда я был юношей, о нем много говорили; с ним спорил Вячеслав Иванов, про него писал Блок; барышни зачитывались его стихами, попавшими в «Чтец-декламатор»: «Сны мимолетные, сны беззаботные снятся лишь раз...»

В 1905 году Минский, как многие поэты-символисты, пережил увлечение революцией. У него имелось разрешение на издание газеты, и по иронии судьбы проповедник культа «абсолютной личности» стал официальным редактором первой легальной большевистской газеты «Новая жизнь». В редакционную работу он не вмешивался, но напечатал в газете стихи:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Наша сила, наша воля, наша власть.

В бой последний, как на праздник, собирайтесь.

Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть. Поэтом он был посредственным, но роль его в развитии эстетической культуры в конце прошлого века бесспорна.

Газету «Новая жизнь» царские власти вскоре закрыли, а Николая Максимовича предали суду. Он уехал за границу и прожил там до смерти (умер он в возрасте восьмидесяти трех лет).

Может быть, именно потому, что он не видел ни революции, ни гражданской войны, он благодушно беседовал и с советскими писателями, и с самыми непримиримыми эмигрантами. По-моему, он не совсем ясно понимал, что именно их разделяет, и часто попадал впросак: доказывал Л. Шестову, что и у коллектива свои права, требовал от Маяковского признания свободы слова, ссылаясь при этом на традиции Короленко, а обращаясь к А. Н. Толстому, неизменно восхвалял футуризм, имажинизм и другие новшества. Но говорил он все это доброжелательно, и никто на него не обижался. Улыбался он всем, а особенно нежно - женщинам.

Мне он неизменно доказывал: «Мало победы работников физического труда, необходимо объединить работников умственного

труда. Нужно воспитывать детей - от них зависит будущее. Очаги воспитания - такова задача молодых». Он был очень оторван от жизни, особенно русской. Я едва удерживался, чтобы не рассмеяться, когда он называл проектируемые им детские приюты «альмами»; по-латыни «альма» - «кормилица», но по-русски звучит странно, и как раз у моих знакомых была овчарка, которую звали Альмой. А Николай Максимович мурлыкал и улыбался. При встрече Нового года в Доме искусств он прочитал стихотворный тост:

Встретим, радуясь, как дети.

Год тысяча девятьсот двадцать третий...

Конец распрям вздорным,

Андрей Белый подружится с Сашей Черным...

Шкловский примирится с содержанием Шекспира.

Пастернаку достанется Лермонтова лира.

А председателю Минскому в награду за старанья

Достанутся бурные рукоплесканья...

Был в Берлине еще один клочок «ничьей земли», где встречались советские писатели с эмигрантскими,- страницы журнала «Новая русская книга». Издавал его профессор Александр Семенович Яценко, юрист и любитель литературы; из России он уехал с советским паспортом и, подобно Минскому, старался объединить всех. Кто только не сотрудничал в его журнале! Я прославлял работы Татлина и возражал эмигрантским хулителям советской поэзии. Александр Семенович вздыхал: «Резко, чересчур резко»,- но статьи мои печатал. А рядом ставил заклинания бывшего толстовца, монархиста И. Наживина: «Старая Русь быстро стала царством Хама... Но молодежь погибала, генералы пьянствовали, крали, беззаконничали, а тылы спекулировали на крови и похабничали... В эмиграции я стал энергично продолжать национальную и монархическую работу, но с каждым днем во мне грозно нарастали сомнения... И все оподлели, и все обессилели. Будущее наше мучительно и мрачно...» А в следующем номере выступал Маяковский: «Стал писать в «Известиях». Организую издательство МАФ. Собираю футуристов коммуны...»

Кругом был Берлин, с его длинными, унылыми улицами, с дурным искусством и с прекрасными машинами, с надеждой на

революцию и с выстрелами первых фашистов. Поэт Ходасевич описывал берлинскую ночь глазами русского:

Как изваянья - слипшиеся пары.
И тяжкий вздох. И тяжкий дух сигары...
Жди: резкий ветер дунет в окарино
По скважинам громоздкого Берлина,-
И грубый день взойдет из-за домов
Над мачехой российских городов.

Понять «мачеху российских городов» было нелегко. В ее школах сидели чинные мальчики, которым предстояло двадцать лет спустя исполосовать мать городов русских. Впрочем, Ходасевич, как и большинство русских писателей, отворачивался от жизни Германии.

Сидел у себя дома, сгорбившись, А. М. Ремизов и причудливой вязью писал «Россию в письменах». Андрей Белый говорил, что пишет о Блоке. А. Н. Толстой вместе с художником Пуни работал над книгой о русском искусстве. Марина Цветаева в Берлине написала одну из своих лучших книг - «Ремесло».

Я много работал; за два года написал «Жизнь и гибель Николая Курбова», «Трест Д. Е.», «Тринадцать трубок», «Шесть повестей о легких концах», «Любовь Жанны Ней». После «Хулио Хуренито» мне казалось, что я вышел на дорогу, нашел свои темы, свой язык; на самом деле я блуждал, и почти каждая новая книга перечеркивала предшествующую. Об этом я расскажу дальше. Теперь скажу о другом: вместе с художником-конструктивистом Эль Лисицким я издавал журнал «Вещь».

Лисицкий твердо верил в конструктивизм. В жизни он был мягким, чрезвычайно добрым, порой наивным; хворал; влюблялся, как влюблялись в прошлом веке,- слепо, самоотверженно. А в искусстве он казался непреклонным математиком, вдохновлялся точностью, бредил трезвостью. Был он необычайным выдумщиком, умел оформить стенд на выставке так, что бедность экспонатов казалась избытком; умел по-новому построить книгу. В его рисунках видны и чувство цвета, и мастерство композиции.

«Вещь» выпускало издательство «Скифы». Легко догадаться, насколько революционные славянофилы и неисправимые народники были далеки от идей конструктивизма, которые мы проповедовали.

После первого номера они не выдержали и печатно от нас «отмежевались».

Что касается меня самого, то я в каждой книге «отмежевывался» от самого себя. Именно тогда В. Б. Шкловский назвал меня «Павлом Савловичем». В его устах это не могло звучать зло. В жизни он делал то, что делали почти все его сверстники, то есть не раз менял свои воззрения и оценки, делал это без горечи, даже с некоторым задором; только глаза у него были печальными - с такими он, видимо, родился. В книге «Цоо», написанной в Берлине, он писал: «Из-за холода отрекся апостол Петр от Христа. Ночь была свежая, и он подходил к костру, а у костра было общественное мнение, слуги спрашивали Петра о Христе, а Петр отрекался... Хороню, что Христос не был распят в России: климат у нас континентальный, морозы с бураном...» Шкловский никогда ни от чего не отрекался для того, чтобы подойти поближе к костру; но мне кажется, что этому пылкому человеку холодно на свете. Холодно ему было и в Берлине. Там он написал, на мой взгляд, лучшую свою книгу «Сентиментальное путешествие». Ее построение - внезапные переходы от одного сюжета к другому («в огороде бузина, а в Киеве дядька»), ассоциации по смежности, мелькание кадров и подчеркнуто личная интонация,- все это диктовалось содержанием: Шкловский описывал страшные годы России и свое внутреннее смятение. Потом он продолжал писать о предметах куда более спокойных, даже академических, так, как писал прежде о теплушках восемнадцатого года. В нем очень много блеска; отдельные его фразы вошли в фольклор нашей эпохи; это фейерверк, который на минуту озаряет все вокруг; читать при фейерверке трудно.

В Берлине печальные глаза Шкловского были печальны вдвойне; он никак не мог приспособиться к жизни за границей; писал он тогда «Цоо».

Эта книга имела непредвиденное продолжение в жизни: она способствовала рождению писательницы, которую некоторые молодые читатели считают француженкой. Эльза Юрьевна Триоле жила тогда в Берлине, и мы с ней часто встречались. Она - москвичка, сестра Лили Юрьевны Брик. В начале революции она вышла замуж за француза Андре Триоле. Андрея Петровича, которого мы вслед за Эльзой называли просто Петровичем, и уехала с ним на Таити. (Петрович был своеобразным человеком, основной его страстью были

лошади. Как-то в Париже он сказал мне, что на каникулы едет в Данию: там чудесные пастбища, и его лошади смогут хорошо отдохнуть.) Андре Триоле после возвращения с Таити остался в Париже, а Эльза Юрьевна уехала в Берлин. Была она очень молода, привлекательна - розовая, как некоторые холсты Ренуара, и печальная. В. Б. Шкловский включил в свою книгу «Цоо» четыре или пять писем Эльзы. Когда книга вышла. Горький сказал Виктору Борисовичу, что ему понравились женские письма. Два года спустя московское издательство «Круг» издало первую книгу Эльзы Триоле «На Таити». Эльза Юрьевна потом жила в Париже, почти каждый вечер я видел ее на Монпарнасе. Там в 1928 году она познакомилась с Арагоном и вскоре начала писать по-французски.

Шкловский в «Цоо» упрекал свою героиню за то, что она слишком любит «общеевропейскую культуру» и, следовательно, может жить вне России. Чувства Виктора Борисовича понятны: случайно очутившись в Берлине, он тосковал и рвался домой.

Борис Андреевич Пильняк, приехав в Берлин, с любопытством разглядывал чужую жизнь. Был он человеком талантливым и путаным. Он хорошо знал то, о чем писал, поразил читателей и русских и зарубежных не только жестокими деталями описываемого быта, но и непривычной формой повествования. На книгах Пильняка двадцатых годов, как и на книгах многих его сверстников, лежит печать эпохи - сочетание грубости и вычурности, голода и культа искусства, увлечения Лесковым и услышанной на базаре перебранкой. Он погиб одним из первых в начале 1937 года, и трудно сказать, как пошел бы дальше его писательский путь. В Берлине в 1922 году он говорил, что революция «мужицкая», «национальная», ругал Петра, который «оторвал Россию от России». Простота его была с хитрецей: он обожал юродство (это слово, кажется, не существует ни в одном из европейских языков) - древнюю русскую форму самозащиты.

Есенин прожил в Берлине несколько месяцев, томился и, конечно же, буянил. Его неизменно сопровождал имажинист Кусиков, который играл на гитаре и декламировал:

Про меня говорят, что я сволочь,
Что я хитрый и злой черкес.

Они пили и пели. Напрасно Айседора Дункан пыталась унять Есенина; одна сцена следовала за другой. Пильняк, выпив, пытался

построить на русском разоре философию, а Есенин в отчаянии бил посуду.

Начала выходить газета «Накануне». Мне привелось раза два или три разговаривать с ее идеологами. Сменовеховцы откровенно признавались, что коммунизм им не по душе, но хорошо, что большевики создали армию, выгнали интервентов, дали отпор Польше. «Мы за твердую власть,- говорили они,- а остальное образуется». Я писал поэтессе М. М. Шкапской: «Накануновцы» не хотят простить мне отказа писать у них, но, что делать, я для них слишком левый...» Журналист Василевский - Не-Буква напечатал в «Накануне» хлесткую статью обо мне, вспоминая, как в «Хуренито» мулатка хлестала героя романа Эренбурга ломтями ростбифа по щекам, говорил, что меня следует бить по лицу окороком с хорошей костью.

Алексей Николаевич Толстой сидел мрачный, попыхивая трубкой, молчал и вдруг, успокоенный, улыбался. Как-то он сказал мне: «В эмиграции не будет никакой литературы, увидишь. Эмиграция может убить любого писателя в два-три года...» Он уже знал, что скоро вернется домой.

«Скифы» были за Разина, за Пугачева, цитировали то «Двенадцать», то стихи Есенина о «железном госте». Сменовеховцы говорили, что большевики - наследники Ивана Грозного и Петра. Все они клялись Россией, и все твердили о «корнях», о «традициях», о «национальном духе». А рядовые эмигранты, выпив в ресторане «Тройка» несколько стопок и услышав «Выплывают расписные...», плакали и ругались, как плакали и ругались в последней русской теплушке, улепетывая за границу.

Толстой был прав: для большинства русских писателей эмиграция была смертью. В чем тут дело? Действительно ли любая эмиграция убивает писателя? Не думаю. Вольтер прожил в эмиграции сорок два года, Гейне - двадцать пять лет, Герцен - двадцать три года, Гюго - девятнадцать лет, Мицкевич - двадцать шесть; в эмиграции написаны и «Кандид», и «Германия. Зимняя сказка», и «Былое и думы», и «Отверженные», и «Пан Тадеуш». Дело не в разлуке с родиной, как бы тяжела она ни была, в эмиграции могут оказаться разные писатели - и разведчики и обозники. Дантон сказал, что нельзя унести родину на подошвах своих ботинок; это верно; но можно

унести родину в сознании, в сердце. Можно уехать за тридевять земель не с мелкой злобой, а с большими идеями. Тем и отличается судьба Герцена от судьбы Бунина.

«Скифы», «евразийцы», «сменовеховцы» сходились на одном: гнилому, умирающему Западу противопоставляли Россию. Эти обличения Европы были своеобразным отголоском давних суждений славянофилов.

(Четверть века спустя после тех лет, о которых я пишу, неожиданно воскресли некоторые мысли, да и словечки. Бесспорно, низкопоклонство - непривлекательное зрелище, оно унижает и того, кто кланяется, и того, кому кланяются. Еще сатирики XVIII века высмеивали русских дворян, старавшихся «французить». Мне противен советский мешанин, который, увидев пошлый американский фильм, говорит своей супруге (у такого не жена, а обязательно супруга): «Далеко нам до них!» Я готов, однако, низко поклониться не только Шекспиру или Сервантесу, но и Пикассо, Чаплину, Хемингуэю, не думаю, что это может меня принизить. Непрерывные разговоры о своем превосходстве связаны с пресмыкательством перед чужестранным - это различные проявления того же комплекса неполноценности; и мне не менее противен другой мешанин, готовый искренне или лицемерно оплевать все хорошее, если это хорошее - чужое.)

В «Записках писателя» Е. Г. Лундберга есть запись, относящаяся к началу 1922 года: «Группа русских писателей собралась пить чай и ликеры в нарядном кафе над рестораном Вилли. Начались тосты. Кто пил за литературу, кто за мудрость, кто за свободу. «Против насилия!» - поднял бокал, закусывая от внутренней боли губы, экспатриированный философ. Все стихли. Ясно было, против кого направлен тост. Помолчали, обнялись, выпили. Только И. Эренбург и я остались в стороне. О чем думал Эренбург, я не знаю. А я - о рабстве полунищего среднего человека на этом милом сердцам культурных людей кладбище Европы». Я не помню, конечно, о чем я думал в кафе Вилли; смутно припоминаю самую встречу. Но я хорошо знаю, о чем я думал в те годы.

«Скифы» родились от известного стихотворения Блока. Как ни сильна блоковская магия слова, некоторые строфы этого стихотворения мне были и остались чуждыми:

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!
Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!

Нет, я не хотел принять «азиатской рожи»! Слова эти звучат исторически несправедливо, и, конечно же, в Индии не меньше философов и поэтов, чем в Англии. Е. Г. Лундбергу Европа тогда казалась милым сердцу кладбищем. А я Европу не отпевал. Мой роман «Трест Д. Е.», написанный в те годы, - история гибели Европы в результате деятельности американского треста. Это сатира; я мог бы ее написать и сейчас с подзаголовком - «Эпизоды третьей мировой войны». Европа для меня была не кладбищем, а полем битвы, порой милым, порой немилым: такой я ее видел юношей в Париже, такой нашел в тревожном Берлине 1922 года. (Такой вижу ее и теперь. Можно, разумеется, по-разному относиться к Европе - «открывать окно», законопачивать двери, можно и вспомнить, что вся наша культура - от Киевской Руси до Ленина - неразрывно связана с культурой Европы.)

О чем еще я думал в то время? О том, как примирить «интеграл» с человечностью, справедливость с искусством. Я знал, что можно гордиться подвигом народа, который первым решился пойти по неисследованному пути, но этот путь мне казался куда более широким, чем традиции одной страны или душа одной нации.

Не помню, кто именно пил чай и ликеры в кафе Вилли. Может быть, один из находившихся там потом направился в «Тройку» и за рюмкой водки бубнил о миссии России. Чехов записал монолог: «Патриот: «А вы знаете, что наши русские макароны лучше, чем итальянские! Я вам докажу! Однажды в Ницце мне подали севрюги - так я чуть не зарыдал...»

Со временем тостов в кафе Вилли прошло сорок лет. Старая эмиграция исчезла: люди состарились, умерли; их дети стали исправными французами, немцами, англичанами. Сын кадета Набокова, убитого некогда ультра монархистом, теперь один из самых

читаемых писателей Америки; он писал сначала по-русски, потом по-французски, теперь пишет по-английски.

Газеты не раз отмечали недостатки наших рыбных промыслов. Но та северюга, о которой писал Чехов, осталась...

В 1922 году в бюргерский скромный пансион на Траутенауштрассе, где я жил, пришел неизвестный мне человек, застенчиво и гордо сказал: «Я - Тувим». Я тогда не знал его стихов, но сразу почувствовал смятение: передо мной был поэт. Все знают, что стихотворцев на свете много, а поэтов мало, и встречи с ними потрясают. Пушкин говорил, что вне часов вдохновения душа поэта «вкушает хладный сон». Не этот ли мнимый холод обжигает окружающих? «Хладный сон» Тувима был страстен, горек, неистов.

Он расспрашивал меня про русских поэтов, про Москву. Он жил двумя страстями: любовью к людям и трудной близостью к искусству. Мы сразу нашли общий язык.

Почти всю жизнь мы прожили в разных мирах и встречались редко, случайно (прежде говорили - «как корабли в море», я скажу - как пассажиры на шумном аэровокзале, где громкоговорители ревут: «Производится посадка...»). А вот мало кого я любил так нежно, суеверно, безотчетно, как Юлиана Тувима...

При первой встрече меня поразила его красота. Ему тогда было двадцать восемь лет. Впрочем, красивым он оставался до конца своей жизни. Большое родимое пятно на щеке придавало строго обрисованному лицу трагический характер, а улыбался он печально, почти виновато; порывистые движения сочетались с глубокой застенчивостью.

Поэтам не положено долго засиживаться на земле, и молодые литераторы называли Тувима «стариком», а он не дожил до шестидесяти.

Линии жизни извилисты не только на ладони. Некоторые газетчики укоряли Тувима: он тогда-то того-то не понял, отвернулся, отступился, забежал вперед, отошел в сторону. В годы второй мировой войны Тувим писал: «Политика не является моей профессией. Она - функция моей совести и темперамента». Конечно, его путь не был прямой столбовой дорогой, но где и когда поэты маршировали по бетонированным шоссе?.. Тувим страдал болезнью пространства - агорафобией: ему трудно было перейти большую площадь. А

пришлось ему переходить через пустыри и пустыни, перешагнуть из одной эпохи в другую.

Маяковский писал о нем: «беспокоящийся, волнующийся» и, отмечая противоречия, приписывал их условиям жизни в Польше 1927 года: «Ему, очевидно, нравилось бы писать вещи того же порядка, что «Облако в штанах», но в Польше и с официальной поэзией и то не просуществуешь,- какие тут «облака». А ведь Маяковский написал «Облако в штанах» в царской России, и Тувим перевел эту поэму в реакционной Польше. Если он не написал «Облако в штанах», то только потому, что поэты не похожи один на другого.

В 1939 году советский знаток польской литературы уверял, что для Тувима характерны «безыдейность, бегство от жизни». За несколько месяцев до смерти Тувима я слышал радиопередачу «Конгресса за свободу и культуру» (организация, поддерживаемая американцами); комментатор говорил, что Тувим предал Польшу, изменил поэзии, потерял совесть.

Путь человека нельзя понять, увидев один его шаг; дорога жизни видна с горы, а не из подворотни. Годы меняют и облик государства, и мысли людей, но нечто самое существенное поэт пронесет через все свое творчество. Маяковский правильно назвал Тувима «беспокоящимся, волнующимся»; таким он остался до самой смерти: и когда ходил в кафе «Малая Земьянская» со своими друзьями «скамандритами» - Слонимским, Ивашкевичем, Лехонем (группа поэтов, хотевших обновить польскую поэзию, окрестила себя «Скамандр»), и когда порвал со многими из давних друзей, решив вернуться в новую Польшу, и когда в ранней молодости проклинал классические каноны, дерзил, куролесил, и когда незадолго до смерти восклицал: «Я полон таких шаблонов, как вера, надежда, любовь к благородным людям, ненависть к подлецам...»

В ноябре 1950 года в Варшаве проходил Второй Конгресс сторонников мира. Один очень сведущий и в то время очень влиятельный человек, показав мне на Тувима, который скромно сидел в глубине зала, сказал: «Видите, что значит перековка? Поэт беглых настроений теперь участвует в борьбе за мир...» Я в ответ усмехнулся: вспомнил давнее стихотворение Тувима, за которое его ругали на всех перекрестках,- он писал о нефти, о крови и призывал солдат бросить винтовки. Это было за четверть века до Первого

Конгресса сторонников мира. Но у некоторых людей, которые ездят в машинах, а из конного транспорта запомнили только образ обязательной подковы, длинные руки и короткая память.

Марина Цветаева писала, что «каждый поэт - в гетто». Эти строки нравились Тувиму, он их не раз мне повторял. А когда ему еще не было тридцати лет, он написал о тех, кто сажает поэтов в гетто, и о тех, кто в гетто не сдается:

Нет, вам не добиться ни службой, ни лестью

Моего свободного званья Поэта.

Господь не нацепит вон те созвездья

На ваши мундиры и эполеты.

Польша не всегда была ласкова к Тувиму, но он всегда любил Польшу. Природа польского патриотизма связана с трагической историей трех разделов; я никогда об этом не забывал, слушая признания Тувима. (Они, правда, были приправлены той долей иронии, которая диктуется стыдливостью.) Он страстно любил родную Лодзь, город, менее всего созданный для любования. В 1928 году я был в Варшаве, потом в Лодзи - читал отрывки из моих книг. Тувим заклинал меня не забыть посмотреть в Лодзи и Петроковскую улицу, и базар, и гостиницу «Савой», и фабрики, и нищие Балуты. Я остановился в лодзииским «Савое», видел фабрики, Балуты, большую тюрьму, видел литераторов, рабочих, жандармов, гимназистов, фабриканта Познанского, подпольщиков. Я записал тогда: «Короткое имя «Лодзь». Короткие фразы: «пять ящиков», «три вагона», «порцию гуся», «врача», «полицию», «похоронное бюро». Мысли еще короче. «Доллар - восемь злотых», «Сдохну!», «Выбьюсь!», «К черту!», «Арестовать!». Хороший город, откровенный город! Во всей Европе вы не найдете ни такой злобы, ни такой воли к жизни, ни такой тоски». Когда я встретился с Тувимом, я ему сказал: «Чудесный город!» Он улыбнулся,- наверно, он видел Лодзь другой: я был там неделю, а он там вырос; да и тем сильна любовь, что она многое преображает. Только недавно я прочитал стихи Тувима:

Пусть те восхваляют Сорренто, Крым,

Кто на красоты падок.

А я из Лодзи. И черный дым

Мне был отраден и сладок.

Вероятно, Тувим был куда сложнее, чем он казался не только начетчикам из различных монастырей, но и друзьям. Впрочем, об этом я еще скажу. Продолжаю о его любви к Польше.

В 1940 году Тувим добрался до Парижа. Странная то была зима или, как говорили французы, «странная война»! По ночам город был затемнен; но в ресторанах, в кафе за щитами окон было светло и шумно - военные развлекались. На фронте солдаты скучали, а в Париже полицейские работали без усталости: никто в точности не знал, с кем Франция воюет - с немцами или с коммунистами. Стекла окон были покрыты узорами из тонких полосок бумаги - парижане страховали стекла от предполагаемых бомбежек; но все было тихо, невыносимо тихо, и вряд ли кто-нибудь догадывался, что через несколько месяцев разлетится вдребезги не окно предусмотрительной консьержки, а вся Франция. В ту зиму я болел и мало кого видел - многие друзья не хотели со мной встречаться: кто побаивался, а кто сердился - дружба дружбой, политика политикой. Тувим, однако, меня разыскал. Он думал об одном - о Польше, и Париж в ту зиму был ему чужим. Наша дружба выдержала трудное испытание; мы обнялись и поняли друг друга.

Мы расстались на шесть лет. Незачем говорить, какие это были годы. Осенью 1941 года, когда сводки Совинформбюро каждый день сообщали: «Наши войска оставили...», а по московским переулкам нестройно маршировали пожилые ополченцы, когда на Западе нас отпевали, я получил телеграмму из Нью-Йорка - Тувим говорил о дружбе, о любви, о вере. (Ничего у меня не сохранилось, кроме нескольких записных книжек, и я не помню текста телеграммы.) Тувим потом писал: «В период самых больших «триумфов» Гитлера на Восточном фронте я послал телеграмму Эренбургу - телеграмму, исполненную веры в грядущую победу Красной Армии».

Весной 1946 года я сидел в нью-йоркской квартире Тувима, среди сундуков и чемоданов: через неделю он должен был уехать во Францию, а оттуда в Варшаву. Он был необычайно весел, приподнят. Многие поляки, жившие тогда в Нью-Йорке, пробовали его отговорить: возвращение в Варшаву они называли «предательством». Конечно, Тувиму было нелегко рвать с иными из своих друзей, но жил он одним - близкой встречей с Польней, радовался, волновался, как подросток, который идет на первое свидание.

Осенью 1947 года я был в Польше. Тувим днем, вечером, ночью водил меня по развалинам Варшавы. «Нет, ты посмотри - какая красота!..» Город был страшен. Прекрасны развалины древних городов: время - гениальный зодчий, оно умеет и запустению придать гармонию; а города, только что разрушенные войной, терзают и глаз и сердце груды щебня, развороченные дома с клочьями обоев, с повисшей в небе винтовой лестницей, люди, которые ютятся в подвалах, в землянках, в щелях. Но Тувим видел красоту и в сожженной, истерзанной Варшаве: на то он был поляком, и на то он был поэтом.

Мне хочется сказать о любви Тувима к русскому народу и к русской поэзии. Казалось, прошлое могло бы заслонить многое: он ведь хорошо помнил царские порядки и городских на улицах Лодзи. В течение двадцати лет правящие круги Польши разогревали неприязнь: все русское поносилось. Тувима это не коснулось. Много лет он отдал переводам русских поэтов. Когда он читал мне свой перевод «Медного всадника», я слышал сложный пушкинский ритм. При одной из последних встреч он сказал мне: «Русский язык как будто нарочно создан для поэзии...»

Еще в двадцатые годы он мечтал поехать в Советский Союз. Он приехал в Москву весной 1948 года. В день его приезда мы пошли в ресторан. Он рассказывал, что именно хочет увидеть, а хотел он увидеть все. В тот же вечер он заболел; его отвезли в Боткинскую больницу. Врачи заподозрили, что у него рак. Больного Тувима отправили в сопровождении врача в Брест, куда был вызван польский доктор. Советский врач на латыни сообщил коллеге диагноз. Тувим знал латинский язык лучше молодых медиков. Он ждал быстрой развязки. Однако польские врачи установили, что у Тувима язва желудка, его оперировали, и он как будто воскрес. Пять лет спустя он умер от инфаркта. Так он и не увидел Москвы, кроме больничной палаты да номера в «Национале», о котором говорил, что он удивительно напоминает ему номера лодзинского «Савоя».

Есть у меня близкие друзья иностранцы; беседуя с ними, я вдруг чувствую - вот граница... Уж слишком по-разному мы жили и живем. Никогда с Тувимом я ничего подобного не испытывал, между нами не было не только «железного занавеса», но и легонькой занавески.

Гейне писал: «Когда я умру, они вырежут язык у моего трупа». Книги поэта, который прославил Германию, обогатил немецкую лирику, сто лет спустя горели на кострах в его родном Дюссельдорфе: расисты не могли простить автору «Зимней сказки», что он еврей. Когда я был в Польше в 1928 году, антисемиты травили Тувима; он показал мне газету, где говорилось, что его поэзия «отдает чесноком».

Есть у Тувима стихотворение о нищем еврейском мальчике, который пост грустную песню под окнами, надеясь, что какой-нибудь пан швырнет ему медяк. Тувиму хочется бросить мальчику свое сердце, уйти с ним, вместе петь песни печали под чужими окнами.

Только нет приюта в мире человеческом
Странникам-евреям с песней сумасшедшей.

В 1944 году Тувим написал обращение, озаглавленное «Мы - польские евреи». Я приведу несколько выдержек: «И сразу я слышу вопрос: «Откуда это «мы»? Вопрос в известной степени обоснованный. Мае задавали его евреи, которым я всегда говорил, что я - поляк. Теперь мне будут задавать его поляки, для подавляющего большинства которых я был и остаюсь евреем. Вот ответ и тем и другим. Я - поляк, потому что мне нравится быть поляком. Это мое личное дело, и я не обязан давать кому-либо в этом отчет. Я не делю поляков на породистых и непородистых, я предоставляю это расистам иностранным и отечественным. Я делю поляков, как евреев, как людей любой национальности, на умных и глупых, на честных и бесчестных, на интересных и скучных, на обидчиков и па обиженных, на достойных и недостойных. Я делю также поляков на фашистов и антифашистов... Я мог бы добавить, что в политическом плане я делю поляков на антисемитов и антифашистов, ибо антисемитизм - международный язык фашистов... Я - поляк, потому что в Польше я родился, вырос, учился, потому что в Польше узнал счастье и горе, потому что из изгнания я хочу во что бы то ни стало вернуться в Польшу, даже если мне будет в другом месте уготована райская жизнь... Я - поляк, потому что по-польски я исповедовался в тревогах первой любви, по-польски лепетал о счастье и бурях, которые она приносит. Я поляк еще потому, что береза и ветла мне ближе, чем пальма или кипарис, а Мицкевич и Шопен дороже, нежели Шекспир и Бетховен, дороже по причинам, которых я опять-таки не могу объяснить никакими доводами разума... Я слышу голоса: «Хорошо.

Но если вы поляк, почему вы пишете «мы - евреи»? Отвечу: «Из-за крови».- «Стало быть, расизм?» - «Нет, отнюдь не расизм. Наоборот. Бывает двойная кровь: та, что течет в жилах, и та, что течет из жил. Первая - это сок тела, ее исследование дело физиолога. Тот, кто приписывает этой крови какие-либо свойства, помимо физиологических, тот, как мы это видим, превращает города в развалины, убивает миллионы людей и в конце концов, как мы это увидим, обрекает на гибель свой собственный народ. Другая кровь - это та, которую главарь международного фашизма выкачивает из человечества, чтобы доказать превосходство своей крови над моей, над кровью замученных миллионов людей... Кровь евреев (не «еврейская кровь») течет глубокими, широкими ручьями; почерневшие потоки сливаются в бурную, вспененную реку, и в этом новом Иордане я принимаю святое крещение - кровавое, горячее, мученическое братство с евреями... Мы, Шлоймы, Срули, Мойшки, пархатые, чесночные, мы, со множеством обидных прозвищ, мы показали себя достойными Ахиллов, Ричардов Львиное Сердце и прочих героев. Мы в катакомбах и бункерах Варшавы, в зловонных трубах канализации дивили наших соседей - крыс. Мы, с ружьями на баррикадах, мы, под самолетами, которые бомбили наши убогие дома, мы были солдатами свободы и чести. «Арончик, что же ты не на фронте?» Он был на фронте, милостивые паны, и он погиб за Польшу...»

Эти слова, написанные кровью, «той, что течет из жил», переписывали тысячи людей. Я прочитал их в 1944 году и долго не мог ни с кем говорить: слова Тувима были той клятвой и тем проклятием, которые жили у многих в сердце. Он сумел их выразить.

Прошли годы. Гитлер отравился. Лидеры польских антисемитов эмигрировали в Англию, в Америку. Но в сердце Тувима не зажила рана. Помню последнюю встречу с ним; было это в злое время в 1952 году... Много мы вспомнили, о многом происходящем говорили. Юлек (да позволено мне будет здесь назвать его именно так) вдруг встал, подошел, обнял меня и тотчас, желая скрыть волнение, сказал: «А теперь пойдём в «Золушку», там готовят кофе по-итальянски...»

Я упомянул о Гейне: было у Тувима с ним нечто общее помимо того, что интересует знатоков человеческих пород,- ирония, порождаемая обостренной чувствительностью. Тувим мог порой

показаться высокомерным; многие его стихи обижали людей, уважающих иерархию; он отпускал едкие словечки. «Ты знаешь, у ежа, наверно, нежнейшее сердце»,- как-то сказал он. Будучи растроганным, он обычно пытался шутить. В 1950 году на Конгрессе мира к Тувиму подошла молоденькая девушка и стала восторженно рассказывать, как она любит его книгу «Седьмая осень». Тувим застеснялся и неожиданно, повернувшись ко мне, сказал: «А ты помнишь, как шпик оказался моим поклонником?..» Это было в 1928 году; в Варшаве за мной присматривали два шпики; один был рослый, с лицом и повадками боксера, другой - тщедушный, чернявый и очень близорукий: на улице он часто терял меня из виду. Я к ним привык, просил иногда купить газету или пакет табаку, словом - приручил. Однажды я шел по улице с Тувимом, мы говорили о поэзии; вдруг я увидел, что чернявый, вместо того чтобы трусить позади, идет рядом с Тувимом. Я рассердился и напомнил шпику о правилах приличия, но он ответил: «Это я не по службе... Как же мне не слушать, когда говорит Тувим?..» Мы рассмеялись от неожиданности.

Есть у Тувима много злых стихов о мещанах. Я вспоминаю кафе «Малая Земьянская» зимой 1928 года. Приходили туда не только поэты-«скамандриты», не только блистательный адъютант Пилсудского, Длугошовский-Венява, обожавший мир искусства,- там варшавяне, желавшие прослыть изысканными, за час до обеда пили кофе и поглотали пирожные с кремом. Тувим над ними издевался:

В час дня благоговейно
Балбес вошел в кофейню,
Сел важный, энергичный.
Почти что заграничный,
Из кожи лез бедняга,
Изображая гордо
Боксера иль варяга,
А может быть, и лорда...
Никем замечен не был
И, улыбаясь криво.
Решился быть испанцем
Де Мендос-и-Олива,
Дельцом из Пампелоны,
Певцом из Аликанте,

Испанцем-монархистом,
Испанцем-эмигрантом.
Но было все напрасно.
Хоть был он из Толедо,
И посему пошел он
До Ватер-и-Клозедо.
И там, изливши горе
Старухе бестолковой,
Вернулся в дом семнадцать
На Малой Кошиковой.

Порой многим казалось, что Тувим готов в сердцах повторить пушкинские слова: «Подите прочь - какое дело поэту мирному до вас!» На самом деле Тувим любил тех, кого называл «простыми людьми», когда эти слова еще не стали газетным штампом. Не случайно одно из лучших стихотворений, «Парикмахеры», он посвятил Чарли Чаплину - трогательному насмешнику, который в наш грозный век попытался защитить смешного маленького человека:

Вдоль стен пустой парикмахерской парикмахеры дремлют часами.

Ждут, глядят - нет клиентов, томятся, без дела шатаются,
Сами бреются, сами стригутся - все сами и сами,
Перемолвятся словом, задремлют, всхрапнут и опять
просыпаются...

Назревает гроза, посинело вокруг, петухи распевают,
Парикмахерам страшно, забегали - слышите гром!
Парикмахеры плачут, поют, парикмахеры ошалевают.
То стоят истуканами, то мечутся чуть не бегом.

Вряд ли в 1926 году политики Польши, сидя в парикмахерских или даже в зале сейма, слышали первые раскаты грома. Их услышал поэт.

В 1928 году я писал о Тувиме: «Спорить с ним нельзя. Он думает ассоциациями, аргументирует ассонансами...» Да, Тувим был прежде всего лириком; это не помешало ему понять эпоху лучше, чем ее поняли иные трезвенники сознания, которые думают схемами и аргументируют цитатами. Тувим в стихах выражал себя; может быть, поэтому его стихи воспринимались людьми как выражение их мыслей и чувствований, как нечто общее. Один поляк мне рассказывал, что,

будучи в годы войны партизаном, он повторял, как заклинание, стихи Тувима:

Я, может, лишь день там прожил,
А может, прожил век...
Я помню только утро
И белый-белый снег.

В молодости Тувим страстно любил Артюра Рембо, озорника и провидца, мятежника и подростка с лицом отчаявшегося ангела. При последней нашей встрече он вдруг сказал: «А лучше Блока, кажется, никто не сказал о самом трудном...» Поэтов он любил бескорыстно, переводил с равным увлечением «Облако в штанах» и «Слово о полку Игореве», не пытаясь ни у кого заимствовать. А Блок ему был все-таки сродни... Я очень люблю стихотворение Тувима «За круглым столом» с эпиграфом, взятым из песни Шуберта «О высокое искусство, сколько раз в часы печали...»:

А может, снова, дорогая,
В Томашув на день закатиться.
Там та же вьюга золотая
И тишь сентябрьская длится...
В том белом доме, в том покое,
Где мебель сдвинута чужая.
Наш давний спор незавершенный
Должны мы кончить, дорогая.

Может быть, это и есть «самое трудное» - поэзия здесь обнажена, она кажется сделанной из ничего, как в «Ночных часах» Блока, как в песенках Верлена.

Говоря, что Тувима порой не понимали даже его друзья, я думал именно об этом: в необычайной сложности, которая становится простотой, о человеке, много знавшем, мудром и в то же время ребячливом, об авторе смешных фарсов и трудной лирики. Он писал стихи для детей, и в одном стихотворении рассказал о чуде Янеке, который все делает наоборот. Дети, слушая стихи, смеялись, а Тувим виновато улыбался: он сам ходил на высмеянного им Янека.

Когда в последний раз я был у него дома, он шутил с восьмилетней Евой. Почему-то нам было грустно обоим; но не думал я, что больше его не увижу.

Он любил деревья. Помню его стихи: в лесу он пытался опознать то дерево, из которого ему сколотят гроб; по светлой печали это стихотворение сродни «Брожу ли я вдоль улиц шумных...».

В парках Варшавы, за городом, в саду поэта Ивашкевича, глядя на деревья, я думал о дереве Юлиана Тувима. Он был на три года моложе меня, и вот уже много лет прошло с его смерти. Я привык к потерям и все же не могу примириться: больно.

Но как хорошо, что я его встретил!

В кафе «Прагер-диле» иногда приходили русские писатели. Разговоры между ними были шумливыми и путаными; и кельнеры никак не могли привыкнуть к загадочным завсегдатаям. Однажды Андрей Белый поспорил с Шестовым; говорили они о распаде личности, и говорили на том языке, который понятен только профессиональным философам. Потом настал роковой «полицейский час», в кафе погасили свет, а философский спор не был закончен.

Как забыть последующую сцену? В створках вращающейся двери кричали Андрей Белый и Шестов. Каждый, сам того не замечая, толкал вперед дверь, и они никак не могли выйти на улицу. Шестов, в шляпе, с бородой, с большой палкой, походил на Вечного жида. А Белый неистовствовал, метались руки, вздымался пух на голове. Старый кельнер, выдавший виды, сказал мне: «Этот русский, наверно, знаменитый человек...»

В 1902 году Андрею Белому, или, вернее сказать, Борису Николаевичу Бугаеву, студенту московского физико-математического факультета, было двадцать два года. Он писал тогда слабые символистические стихи и предстал перед В. Я. Брюсовым, который считался мэтром новой поэзии. Вот что записал Валерий Яковлевич в дневнике: «Был у меня Бугаев, читал свои стихи, говорил о химии. Это едва ли не интереснейший человек в России. Зрелость и дряхлость ума при странной молодости». А. А. Блок был связан с Андреем Белым многолетней дружбой; все было в их взаимоотношениях - и близость, и тяжелые разрывы, и примирения. Казалось, Блок мог привыкнуть к Белому; но нет, к Борису Николаевичу привыкнуть было невозможно. В 1920 году после встречи с Белым Блок записал: «Он такой же, как всегда: гениальный, странный».

Гений? Чудак? Пророк? Шут?.. Андрей Белый потряс всех с ним встречавшихся. В январе 1934 года, узнав о смерти Бориса Николаевича, Мандельштам написал цикл стихотворений. Он видел величие Белого:

Ему кавказские кричали горы

И нежных Альп стесненная толпа,
На звуковых громад крутые всходы
Его ступала зрячая стопа.
И все же, выражая смятение других, писал:
Скажите, говорят, какой-то Гоголь умер?
Не Гоголь, так себе писатель, гоголек.
Тот самый, что тогда невнятицу устроил,